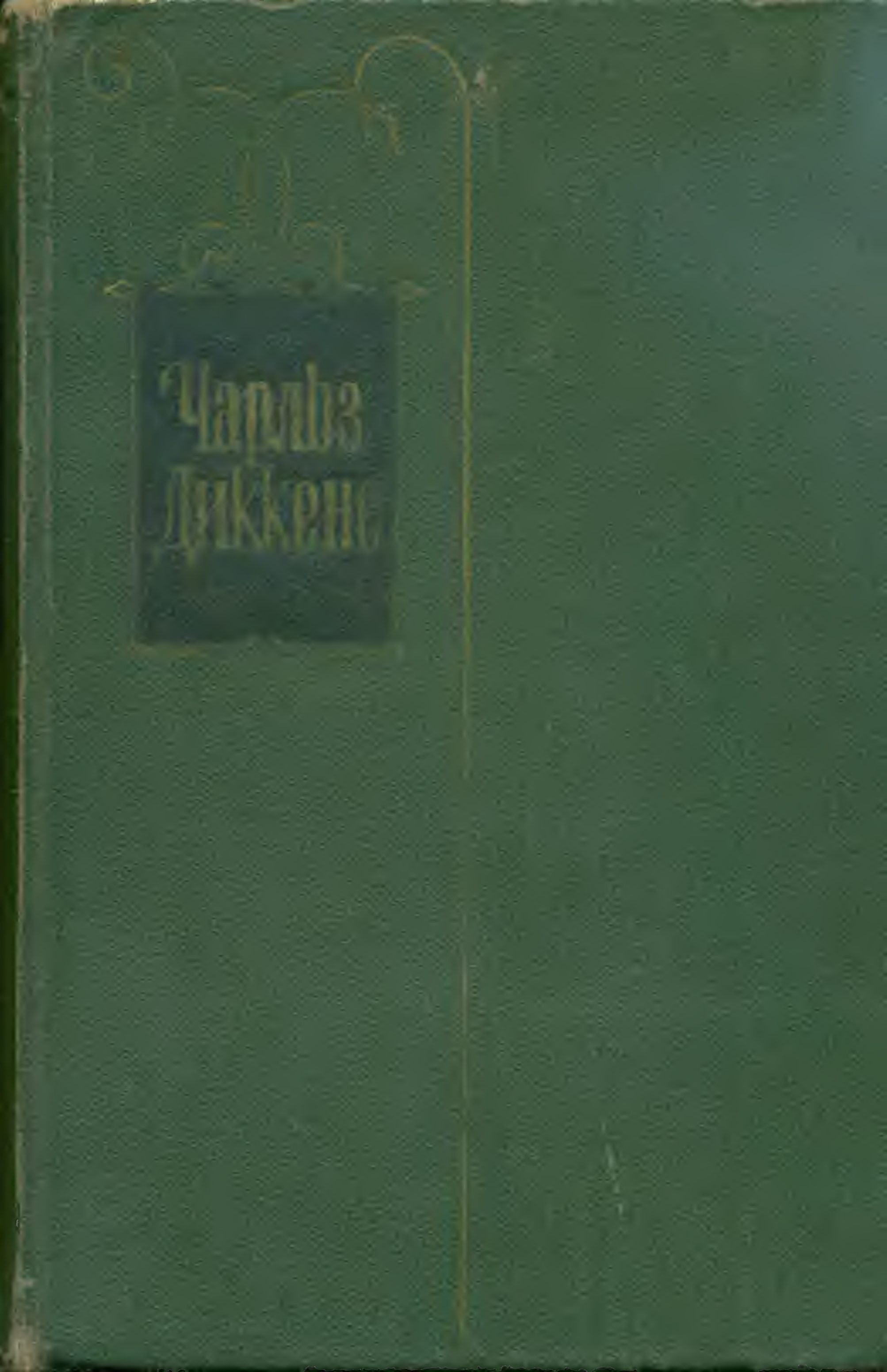

5
Чарльз
Диккенс

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией
А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Роман

Перевод с английского

М. ЛОРИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1960

CHARLES DICKENS

GREAT EXPECTATIONS

1861

Иллюстрации
МАРКУСА СТОУНА

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

ГЛАВА I

Фамилия моего отца была Пиррип, мне дали при крещении имя Филип, а так как из того и другого мой младенческий язык не мог слепить ничего более внятного, чем Пип, то я называл себя Пипом, а потом и все меня стали так называть.

О том, что отец мой носил фамилию Пиррип, мне достоверно известно из надписи на его могильной плите, а также со слов моей сестры миссис Джо Гарджери, которая вышла замуж за кузнеца. Оттого, что я никогда не видел ни отца, ни матери, ни каких-либо их портретов (о фотографии в те времена и не слыхивали), первое представление о родителях странным образом связалось у меня с их могильными плитами. По форме букв на могиле отца я почему-то решил, что он был плотный и широкоплечий, смуглый, с черными курчавыми волосами. Надпись «А также Джорджиана, супруга вышереченного» вызывала в моем детском воображении образ матери — хилой, веснушчатой женщины. Аккуратно расположенные в ряд возле их могилы пять узеньких каменных надгробий, каждое фута в полтора длиной, под которыми покоились пять моих маленьких братцев, рано отказавшихся от попыток уцелеть во всеобщей борьбе, породили во мне твердую уверенность, что все они появились на свет, лежа навзничь и

спрятав руки в карманы штанишек, откуда и не вынимали их за все время своего пребывания на земле.

Мы жили в болотистом крае близ большой реки, в двадцати милях от ее впадения в море. Вероятно, свое первое сознательное впечатление от окружающего меня широкого мира я получил в один памятный зимний день, уже под вечер. Именно тогда мне впервые стало ясно, что это унылое место, обнесенное оградой и густо заросшее крапивой,— кладбище; что Филип Пиррип, житель сего прихода, а также Джорджиана, супруга вышереченного, умерли и похоронены; что малолетние сыновья их, младенцы Александер, Бартоломью, Абраам, Тобиас и Роджер, тоже умерли и похоронены; что плоская темная даль за оградой, вся изрезанная дамбами, плотинами и шлюзами, среди которых кое-где пасется скот,— это болота; что замыкающая их свинцовая полоска — река; далекое логово, где родится свирепый ветер,— море; а маленькое дрожащее существо, что затерялось среди всего этого и плачет от страха,— Пип.

— А ну, замолчи! — раздался грозный окрик, и среди могил, возле паперти, внезапно вырос человек.— Не ори, чертенок, не то я тебе горло перережу!

Страшный человек в грубой серой одежде, с тяжелой цепью на ноге! Человек без шапки, в разбитых башмаках, голова обвязана какой-то тряпкой. Человек, который, как видно, мок в воде и полз по грязи, сбивал и ранил себе ноги о камни, которого жгла крапива и рвал терновник! Он хромал и трясся, таращил глаза и хрипел и вдруг, громко стуча зубами, схватил меня за подбородок.

— Ой, не режьте меня, сэр! — в ужасе взмолился я.— Пожалуйста, сэр, не надо!

— Как тебя звать? — спросил человек.— Ну, живо!

— Пип, сэр.

— Как, как? — переспросил человек, сверля меня глазами.— Повтори.

— Пип. Пип, сэр.

— Где ты живешь? — спросил человек.— Покажи!

Я указал пальцем туда, где на плоской прибрежной низине, в доброй миле от церкви, приютилась среди ольхи и ветел наша деревня.

Посмотрев на меня с минуту, человек перевернул меня

вниз головой и вытряс мои карманы. В них ничего не было, кроме куска хлеба. Когда церковь стала на место,— а он был до того ловкий и сильный, что разом опрокинул ее вверх тормашками, так что колокольня очутилась у меня под ногами,— так вот, когда церковь стала на место, оказалось, что я сижу на высоком могильном камне, а он пожирает мой хлеб.

— Ух ты, щенок,— сказал человек, облизываясь.— Надо же, какие толстые щеки!

Возможно, что они и правда были толстые, хотя я в ту пору был невелик для своих лет и не отличался крепким сложением.

— Так бы вот и съел их,— сказал человек и яростно мотнул головой,— а может, черт подери, я и взаправду их съем.

Я очень серьезно его попросил не делать этого и крепче ухватился за могильный камень, на который он меня посадил,— отчасти для того, чтобы не свалиться, отчасти для того, чтобы сдержать слезы.

— Слышь ты,— сказал человек.— Где твоя мать?

— Здесь, сэр,— сказал я.

Он вздрогнул и кинулся было бежать, потом, остановившись, оглянулся через плечо.

— Вот здесь, сэр,— робко пояснил я.— «Также Джорджиана». Это моя мать.

— А-а,— сказал он, возвращаясь.— А это, рядом с матерью, твой отец?

— Да, сэр,— сказал я.— Он тоже здесь: «Житель сего прихода».

— Так,— протянул он и помолчал.— С кем же ты живешь, или, вернее сказать, с кем жил, потому что я не решил еще, оставить тебя в живых или нет.

— С сестрой, сэр. Миссис Джо Гарджери. Она жена кузнеца, сэр.

— Кузнеца, говоришь? — переспросил он. И посмотрел на свою ногу.

Он несколько раз переводил хмурый взгляд со своей ноги на меня и обратно, потом подошел ко мне вплотную, взял за плечи и запрокинул назад сколько мог дальше, так что его глаза испытующе глядели на меня сверху вниз, а мои растерянно глядели на него снизу вверх.

— Теперь слушай меня,— сказал он,— и помни, что я еще не решил, оставить тебя в живых или нет. Что такое подпилок, ты знаешь?

— Да, сэр.

— А что такое жратва, знаешь?

— Да, сэр.

После каждого вопроса он легонько встряхивал меня, чтобы я лучше чувствовал грозящую мне опасность и полную свою беспомощность.

— Ты мне достанешь подпилок.— Он тряхнул меня.— И достанешь жратвы.— Он снова тряхнул меня.— И принесешь все сюда.— Он снова тряхнул меня.— Не то я вырву у тебя сердце с печенкой.— Он снова тряхнул меня.

Я был до смерти перепуган, и голова у меня так кружилась, что я вцепился в него обеими руками и сказал:

— Пожалуйста, сэр, не трясите меня, тогда меня, может, не будет тошнить и я лучше пойму.

Он так запрокинул меня назад, что церковь перескочила через свою флюгарку. Потом выпрямил одним рывком и, все еще держа за плечи, заговорил страшнее прежнего:

— Завтра чуть свет ты принесешь мне подпилок и жратвы. Вон туда, к старой батарее. Если принесешь, и никому ни слова не скажешь, и виду не подашь, что встретил меня или кого другого, тогда, так и быть, живи. А не принесешь или отступишь от моих слов хоть вот на столько, тогда вырвут у тебя сердце с печенкой, зажарят и съедят. И ты не думай, что мне некому помочь. У меня тут спрятан один приятель, так я по сравнению с ним просто ангел. Этот мой приятель слышит все, что я тебе говорю. У этого моего приятеля свой секрет есть, как добраться до мальчишки, и до сердца его, и до печенки. Мальчишке от него не спрятаться, пусть лучше и не пробует. Мальчишка и дверь запрет, и в постель залезет, и с головой одеялом укроется, и будет думать, что вот, мол, ему тепло и хорошо и никто его не тронет, а мой приятель тихонько к нему подберется, да и зарежет!.. Мне и сейчас-то, знаешь, как трудно сделать, чтобы он на тебя не бросился. Я его еле держу, до того ему не терпится тебя сцапать. Ну, что ты теперь скажешь?

Я сказал, что достану ему подпилок, и еды достану, сколько найдется, и принесу на батарею, рано утром.

— Повтори за мной: «Разрази меня бог, если вру»,— сказал человек.

Я повторил, и он снял меня с камня.

— А теперь,— сказал он,— не забудь, что обещал, и про того моего приятеля не забудь, и беги домой.

— П-покойной ночи, сэр,— пролепетал я.

— Покойной! — сказал он, окидывая взглядом холодную мокрую равнину.— Где уж тут! В лягушку бы, что ли, превратиться. Либо в угря.

Он крепко обхватил обеими руками свое дрожащее тело, словно опасаясь, что оно развалится, и заковылял к низкой церковной ограде. Он продирался сквозь крапиву, сквозь репейник, окаймлявший зеленые холмики, а детскому моему воображению представлялось, что он увертывается от мертвецов, которые бесшумно протягивают руки из могил, чтобы схватить его и утащить к себе, под землю.

Он дошел до низкой церковной ограды, тяжело перелез через нее,— видно было, что ноги у него затекли и онемели,— а потом оглянулся на меня. Тогда я повернул к дому и пустился наутек. Но, пробежав немного, я оглянулся: он шел к реке, все так же обхватив себя за плечи и осторожно ступая сбитыми ногами между камней, набросанных на болотах, чтобы можно было проходить по ним после затяжных дождей или во время прилива.

Я смотрел ему вслед: болота тянулись передо мною длинной черной полосой; и река за ними тоже тянулась полосой, только поуже и посветлее; а в небе длинные кроваво-красные полосы перемежались с густо-черными. На берегу реки глаз мой едва различал единственные во всем ландшафте два черных предмета, устремленных вверх: маяк, по которому держали курс корабли,— очень безобразный, если подойти к нему поближе, словно бочка, надетая на шест; и виселицу с обрывками цепей, на которой некогда был повешен пират. Человек ковылял прямо к виселице, словно тот самый пират воскрес из мертвых и, прогулявшись, теперь возвращался, чтобы снова прицепить себя на старое место. Мысль эта привела меня в содрогание; заметив, что коровы подняли головы и задумчиво смотрят ему вслед, я спросил себя, не кажется ли им то же

самое. Я огляделся, ища глазами кровожадного приятеля моего незнакомца, но ничего подозрительного не обнаружил. Однако страх снова овладел мною, и я, уже не останавливаясь больше, побежал домой.

ГЛАВА II

Моя сестра миссис Джо Гарджери была меня старше более чем на двадцать лет и заслужила уважение в собственных глазах и в глазах соседей тем, что воспитала меня «своими руками». Поскольку мне пришлось самому додумываться до смысла этого выражения и поскольку я знал, что рука у нее тяжелая и жесткая и что ей ничего не стоит поднять ее не только на меня, но и на своего мужа, я считал, что нас с Джо Гарджери обоих воспитали «своими руками».

Моя сестра была далеко не красавица; поэтому у меня создалось впечатление, что она и женила на себе Джо Гарджери своими руками. У Джо Гарджери, светловолосого великана, льняные кудри обрамляли чистое лицо, а голубые глаза были до того светлые, как будто их синева нечаянно перемешалась с их же белками. Это был золотой человек, тихий, мягкий, смирный, покладистый, простоватый, Геркулес и по силе своей и по слабости.

У моей сестры, миссис Джо, черноволосой и черноглазой, кожа на лице была такая красная, что я порою задавал себе вопрос: уж не моется ли она теркой вместо мыла? Была она рослая, костлявая и почти всегда ходила в толстом переднике с лямками на спине и квадратным нагрудником вроде панциря, сплошь утыканным иголками и булавками. То, что она постоянно носила передник, она ставила себе в великую заслугу и вечно попрекала этим Джо. Я, впрочем, не вижу, зачем ей вообще нужно было носить передник или почему, раз уж она его носила, ей нельзя было ни на минуту с ним расстаться.

Кузница Джо примыкала к нашему дому, а дом был деревянный, как и многие другие,— вернее, как почти все дома в нашей местности в то время. Когда я прибежал

домой с кладбища, кузница была закрыта и Джо сидел один в кухне. Так как мы с Джо были товарищами по несчастью и у нас не было секретов друг от друга, он и тут шепнул мне кое-что, едва я, приподняв щеколду и заглянув в щелку, увидел его в углу у очага, как раз против двери.

— Миссис Джо раз двенадцать, не меньше, выходила тебя искать, Пип. Сейчас опять пошла, как раз будет чертова дюжина.

— Ой, правда?

— Правда, Пип,— сказал Джо.— И хуже того, она Щекотун с собой захватила.

Услышав эту печальную весть, я совсем упал духом и, глядя в огонь, стал крутить единственную пуговицу на своей жилетке. Щекотун — это была трость с навощенным концом, до блеска отполированная частым щекотанием моей спины.

— Она тут сидела,— сказал Джо,— а потом как вскочит, да как схватит Щекотун, да и побежала лютовать на улицу. Вот так-то,— сказал Джо, глядя в огонь и помешивая угли просунутой через решетку кочергой.— Взяла да и побежала, Пип.

— Она давно ушла, Джо? — Я всегда видел в нем равного себе, такого же ребенка, только побольше ростом.

Джо взглянул на стенные часы.

— Да наверно уже минут пять как лютует. Ого, идет! Прячься за дверь, дружок, да завесься полотенцем.

Я послушался его совета. Моя сестра миссис Джо распахнула дверь и, почувствовав, что она не отворяется до конца, немедленно угадала причину и стала ее обследовать с помощью Щекотуна. Кончилось тем, что она швырнула мною в Джо,— в семейном обиходе я нередко служил ей метательным снарядом,— а тот, всегда готовый принять меня на любых условиях, спокойно усадил меня в уголок и загородил своим огромным коленом.

— Где тебя носило, постреленок? — сказала миссис Джо, топнув ногой.— Сейчас же говори, где ты шатался, пока я тут места себе не находила от беспокойства да страха, а не то выволоку тебя из угла, будь вас тут хоть полсотни Пипов и целая сотня Гарджери.

— Я только ходил на кладбище,— сказал я, плача и потирая побитые места.

— На кладбище! — повторила сестра.— Кабы не я, ты бы давно был на кладбище. Кто тебя воспитал своими руками?

— Вы,— сказал я.

— А для чего это мне понадобилось, скажи на милость? — продолжала сестра.

Я всхлипнул:

— Не знаю.

— Ну и я не знаю,— сказала сестра.— В другой раз ни за что бы не стала. Это-то я знаю наверняка. С тех пор как ты родился, я вот этот передник, можно сказать, никогда не снимала. Мало мне горя, что я кузнецова жена (да притом муж-то Гарджери), так нет, изволь еще тебе быть матерью!

Но я уже не прислушивался к ее словам. Я уныло смотрел на огонь, и в злобно мерцающих углях передо мной вставали болота, беглец с тяжелой цепью на ноге, его таинственный приятель, подпилок, жратва и связывавшая меня страшная клятва обворовать родной дом.

— Н-да! — сказала миссис Джо, водворяя Щекотун на место.— Кладбище! Легко вам говорить «кладбище»! — Один из нас, кстати сказать, не произнес ни слова.— Скоро я по вашей милости сама попаду на кладбище, и хороши вы, голубчики, будете без меня! Нечего сказать, славная парочка!

Воспользовавшись тем, что она стала накрывать на стол к чаю, Джо заглянул через свое колено ко мне в уголок, словно прикидывая в уме, какая из нас получится парочка, в случае если осуществится это мрачное пророчество. Потом он выпрямился и, как обычно бывало во время домашних бурь, стал молча следить за миссис Джо своими голубыми глазами, правой рукой теребя свои русые кудри и бакены.

У моей сестры был особый, весьма решительный способ готовить нам хлеб с маслом. Левой рукой она крепко прижимала ковригу к нагруднику, откуда в нее иногда впивалась иголка или булавка, которая затем попадала нам в рот. Потом брала на нож масла (не слишком много) и размазывала его по хлебу, как аптекарь готовит горчичник, проворно поворачивая нож то одной, то другой стороной, аккуратно подправляя и обирая масло у корки. Нако-

нец, ловко отерев нож о край горчичника, она отпиливала от ковриги толстый ломоть, рассекала его пополам и одну половину давала Джо, а другую мне.

В тот вечер я не посмел съесть свою порцию, хоть и был голоден. Нужно было приберечь что-нибудь для моего страшного знакомца и его еще более страшного приятеля. Я знал, что миссис Джо придерживается строжайшей экономии в хозяйстве и что моя попытка стащить у нее что-нибудь может окончиться ничем. Поэтому я решил на всякий случай спустить свой хлеб в штанину.

Оказалось, что отвага для выполнения этого замысла требуется почти сверхчеловеческая. Словно мне предстояло спрыгнуть с крыши высокого дома или броситься в глубокий пруд. И еще больше затруднял мою задачу ничего не подозревавший Джо. Оттого что мы, как я уже упоминал, были товарищами по несчастью и в своем роде заговорщиками и оттого что он по доброте своей всегда рад был меня позабавить, мы завели обычай — сравнивать, кто быстрее съест хлеб: за ужином мы украдкой показывали друг другу свои надкусанные ломти, а потом старались еще пуще. В тот вечер Джо несколько раз вызывал меня на это дружеское состязание, показывая мне свой быстро убывающий ломоть; но всякий раз он убеждался, что я держу свою желтую кружку с чаем на одном колене, а на другом лежит мой хлеб с маслом, даже не початый. Наконец, собравшись с духом, я решил, что больше медлить нельзя и что будет лучше, если неизбежное свершится самым естественным при данных обстоятельствах образом. Я улучил минуту, когда Джо отвернулся от меня, и спустил хлеб в штанину.

Джо явно огорчился, вообразив, что я потерял аппетит, и рассеянно откусил от своего хлеба кусок, который, казалось, не доставил ему никакого удовольствия. Он гораздо дольше обычного жевал его, что-то при этом обдумывая, и наконец проглотил, как пилюлю. Потом, нагнув голову набок, чтобы получше примериться к следующему куску, он невзначай поглядел на меня и увидел, что мой хлеб исчез.

Изумление и ужас, изобразившиеся на лице Джо, когда он, не успев донести ломоть до рта, впился в меня глазами, не ускользнули от внимания моей сестры.

— Что там еще случилось? — сварливо спросила она, отставляя свою чашку.

— Ну, знаешь ли! — пробормотал Джо, укоризненно качая головой.— Пип, дружок, ты себе этак и повредить можешь. Он где-нибудь застрянет. Ты ведь не прожевал его, Пип.

— Что еще случилось? — повторила сестра, повысив голос.

— Я тебе советую, Пип,— продолжал ошеломленный Джо,— ты покашляй, может хоть немножко да выскочит. Ты не смотри, что это некрасиво, ведь здоровье-то важнее.

Тут сестра моя совсем взбеленилась. Она налетела на Джо, схватила его за бакенбарды и стала колотить головой об стену, а я виновато взирал на это из своего угла.

— Теперь ты, может быть, скажешь мне, что случилось, боров ты пучеглазый,— выговорила она, переводя дух.

Джо рассеянно посмотрел на нее, потом так же рассеянно откусил от своего ломтя и опять уставился на меня.

— Ты ведь знаешь, Пип,— торжественно произнес он, засунув хлеб за щеку и таким таинственным тоном, словно, кроме нас, в комнате никого не было,— мы с тобой друзья, и не стал бы я никогда тебя выдавать. Но чтобы так...— он отодвинул свой стул, посмотрел на пол, потом опять перевел глаза на меня,— чтобы враз проглотить целый ломоть...

— Опять глотает не прожевав? — крикнула сестра.

— Ты пойми, дружок,— сказал Джо, глядя не на миссис Джо, а на меня и все еще держа свой кусок за щекой,— я в твоем возрасте и сам так озорничал и много мальчишек видел, которые этакие штуки выкидывали; но такого я сроду не запомню, Пип, и счастье еще, что ты жив остался.

Сестра коршуном налетела на меня и за волосы вытащила из угла, ограничившись зловещими словами: — Открой рот.

В те дни какой-то злодей-доктор воскресил репутацию дегтярной воды как лучшего средства от всех болезней, и миссис Джо всегда держала ее про запас на полке бу-

фета, твердо веря, что ее лечебные свойства вполне соответствуют тошнотворному вкусу. Этот целительный эликсир давали мне в таких количествах, что, боюсь, порою от меня несло дегтем, как от нового забора. В тот вечер, ввиду серьезности заболевания, дегтярной воды потребовалась целая пинта, каковую в меня и влили, для чего миссис Джо зажала мою голову под мышкой, словно в тисках. Джо отделался половинной дозой, которую его, однако, заставили проглотить (к великому его расстройству,— он размышлял о чем-то у огня, медленно дожевывая хлеб), потому что его «схватило». Судя по собственному опыту, могу предположить, что схватило его не до приема лекарства, а после.

Укоры совести тяжелы и для взрослого и для ребенка; когда же у ребенка к одному тайному бремени прибавляется еще и другое, спрятанное в штанине, это — могу засвидетельствовать — поистине суровое испытание. От греховной мысли, что я намерен обокрасть миссис Джо (что я намерен обокрасть самого Джо, мне и в голову не приходило, потому что я никогда не считал его хозяином в доме), а также от необходимости и сидя и на ходу все время придерживать рукою хлеб, я едва не лишился рассудка. А когда угли в очаге разгорались и вспыхивали от ветра, налетавшего с болот, мне чудился за дверью голос человека с цепью на ноге, который связал меня страшной клятвой и теперь говорил, что не может и не хочет голодать до утра, а подавай ему есть сейчас же. Беспокоил меня и его приятель, так жаждавший моей крови,— а вдруг у него не хватит терпения, или же он по ошибке решит, что может угоститься моим сердцем и печенкой не завтра, а уже сегодня. Да, если у кого-нибудь волосы вставали дыбом от ужаса, так, наверно, у меня в тот вечер. Но, может, это только так говорится?

Дело было в сочельник, и меня заставили от семи до восьми, по часам, месить скалкой рождественский пудинг. Я попробовал месить с грузом на ноге (при этом лишний раз вспомнив про груз на ноге *того* человека), но от каждого моего движения хлеб неудержимо стремился выскочить наружу. К счастью, мне удалось под каким-то предлогом ускользнуть из кухни и спрятать его у себя в каморке под крышей.

— Что это? — спросил я, когда, покончив с пудингом, сел у огня погреться, пока меня не погнали спать.— Это пушка стреляет, Джо?

— Угу,— ответил Джо.— Опять арестант дал тягу.

— Что ты сказал, Джо?

Миссис Джо, всегда предпочитавшая сама давать объяснения, отчеканила: «Сбежал. Утек»,— так же безапелляционно, как поила меня дегтярной водой.

Видя, что миссис Джо снова склонилась над своим рукоделием, я беззвучно, одними губами, спросил у Джо: «Что такое арестант?», а он, тоже одними губами, произнес в ответ длинную фразу, из которой я разобрал только одно слово — Пип.

— Один арестант дал тягу вчера вечером, после заката,— сказал Джо вслух.— Они тогда стреляли, чтобы оповестить об этом. Теперь, видно, оповещают о втором.

— Кто стрелял? — спросил я.

— Вот несносный мальчишка,— вмешалась сестра, оторвавшись от работы и строго взглянув на меня,— вечно он лезет с вопросами. Кто вопросов не задает, тот лжи не слышит.

Я подумал, как невежливо она говорит о себе,— значит, если я буду задавать вопросы, то услышу от нее ложь. Но вежливой она бывала только при гостях.

Тут Джо еще подлил масла в огонь: широко раскрыв рот, он старательно изобразил губами слово, которое я истолковал как «блажит». Я, натурально, показал на миссис Джо и произнес одним придыханием: «Она?» Но Джо и слышать об этом не хотел и, снова разинув рот, нечеловеческим усилием выдавил из себя какое-то слово, какое — я так и не понял.

— Миссис Джо,— обратился я с горя к сестре,— объясните, пожалуйста — мне очень интересно,— откуда это стреляют?

— Господи помилуй! — воскликнула сестра так, словно она просила для меня у господа чего угодно, но только не помилования.— Да с баржи!

— А-а,— протянул я, глядя на Джо.— С баржи!

Джо укоризненно кашлянул, словно хотел сказать: «Я же так и говорил!»

— А что это за баржа? — спросил я.

— Наказание с этим мальчишкой! — вскричала сестра, указывая на меня рукой, в которой держала иголку, и качая головой.— Ответишь ему на один вопрос, так он тебе еще десять задаст. Плавучая тюрьма на старой барже, что стоит за болотами.

— Интересно, кого сажают в эту тюрьму и за что,— сказал я с мужеством отчаяния, ни к кому особо не адресуясь.

Терпение у миссис Джо лопнуло.

— Вот что, голубчик,— сказала она, быстро вставая,— не для того я воспитала тебя своими руками, чтобы ты из людей душу выматывал. Не велика бы мне тогда была честь. В тюрьму людей сажают за убийство, за кражу, за подлоги, за разные хорошие дела, а начинают они всегда с того, что задают дурацкие вопросы. А теперь — марш в постель.

Брать с собой наверх свечу мне не разрешалось. Я ощупью поднимался по лестнице, в ушах у меня звенело, потому что миссис Джо, в подкрепление своих слов, наперстком отбивала дробь на моей макушке, и я с ужасом думал о том, как удобно, что плавучая тюрьма так близко от нас. Было ясно, что мне ее не миновать: я начал с дурацких вопросов, а теперь собираюсь обокрасть миссис Джо.

Много раз с того далекого дня я задумывался над этой способностью детской души глубоко затаить в себе что-то из страха, пусть совершенно неразумного. Я смертельно боялся кровожадного приятеля, зарившегося на мое сердце и печенку; я смертельно боялся моего знакомца с цепью на ноге; связанный страшной клятвой, я смертельно боялся самого себя и не надеялся на помощь моей всемогущей сестры, которая на каждом шагу шпыняла меня и осаживала. Страшно подумать, на какие дела меня можно было бы толкнуть, запугав и принудив к молчанию.

В ту ночь, едва я закрывал глаза, мне мерещилось, что быстрым течением меня несет прямо к старой барже; вот я проплываю мимо виселицы, и призрак пирата кричит мне в трубу, чтобы я выходил на берег, потому что меня давно пора повесить. Даже если бы мне хотелось спать, я бы боялся уснуть, помня, что, чуть рассветет, мне предстоит очистить кладовую. Ночью об этом нечего было и

думать,— в то время зажечь свечу было не так-то просто; искру высекали огнивом, и я бы нашумел не меньше, чем сам пират, если бы он загромыхал своими цепями.

Едва только черный бархатный полог за моим оконцем начал бледнеть, я встал и отправился вниз, и каждая половица и каждая щель в половице кричала мне вслед: «Держи вора!», «Проснитесь, миссис Джо!». В кладовой, где по случаю праздника всякой снеди было больше обычного, меня сильно напугал заяц, подвешенный за задние ноги,— мне показалось, что он хитро подмигивает у меня за спиной. Однако проверить мое подозрение было некогда, и долго выбирать было некогда, у меня не было ни минуты лишней. Я стащил краюху хлеба, остаток сыра, полбанки фруктовой начинки (завязав все это в носовой платок вместе с вчерашним ломтем), отлил немного бренди из глиняной бутыли в склянку, которая была припрятана у меня на предмет изготовления крепкого напитка — лакричной настойки, а бутыль долил из кувшина, стоявшего в кухонном буфете, стащил кость почти без мяса и великолепный круглый свиной паштет. Я совсем было ушел без паштета, но в последнюю минуту меня взяло любопытство, что это за миска, накрытая крышкой, стоит в самом углу на верхней полке, и там оказался паштет, который я и забрал в надежде, что он приготовлен впрок и его не сразу хватятся.

Из кухни была дверь прямо в кузницу; я отпер ее, отодвинул засов и среди инструментов Джо нашел подпилок. Потом снова задвинул все болты и засовы, открыл входную дверь и, затворив ее за собой, побежал в туман, на болота.

ГЛАВА III

Утро было мглистое и очень сырое. Еще вставая, я видел, что по оконному стеклу бегут струйки, словно бесприютный бесенок проплакал там всю ночь, уткнувшись в окошко вместо носового платка. Теперь было видно, как изморозь густой паутиной легла на голые ветки изгородей и чахлую траву, протянулась от сучка к сучку, от былинки

к былинке. Ворота, заборы — все было липко от влаги, а с болот наползал такой густой туман, что прибитый к столбу деревянный палец, указывающий путникам дорогу в нашу деревню,— только путники, видно, не слушались его, потому что к нам никто никогда не заходил,— возник в воздухе, лишь когда я очутился прямо под ним. И пока я смотрел на стекающие с него капли, неспокойная совесть шептала мне, что это — призрак, навеки обрекающий меня плавучей тюрьме.

На болотах туман был еще плотнее, так что казалось, словно не я бежал навстречу предметам, а они выбегали мне навстречу. Помня о своей вине, я ощущал это особенно болезненно. Шлюзы, плотины и дамбы выскакивали на меня из тумана и явственно кричали: «Держи его! Мальчик украл свиной паштет!» Коровы, столь же внезапно налетая на меня, говорили глазами и выдыхали вместе с паром: «Попался, воришка!» Черный бык в белом галстуке — измученный угрызениями совести, я даже усмотрел в нем сходство с пастором — так пристально поглядел на меня и с таким укором помотал головой, что я обернулся и, всхлипнув, сказал ему: «Я не мог иначе, сэр! Я взял не для себя!» Тогда он, нагнув голову, выпустил из ноздрей целое облако пара, брыкнул задними ногами, взмахнул хвостом и исчез.

Я быстро приближался к реке, но, хотя я очень спешил, ноги у меня ничуть не согревались; ледяная сырость сковала их, как железо сковало ногу человека, на свидание с которым я бежал. Дорога на батарею была мне известна,— я ходил туда с Джо как-то в воскресенье, и Джо, сидя на старой пушке, еще сказал мне в тот раз, что когда меня честь честью запишут к нему в подмастерья, то-то будет расчудесно! И все же, сбившись в тумане с пути, я забрал слишком далеко вправо, и мне пришлось возвращаться обратно берегом реки, по каменистой дорожке вдоль илистой кромки и свай, задерживающих воду во время прилива. Стараясь не терять ни минуты, я живо перебрался через канаву, проходившую, как я помнил, совсем близко от батареи, и только что влез на противоположный откос, как увидел своего знакомца. Он сидел ко мне спиной, скрестив руки, и покачивался, словно во сне.

Решив устроить ему приятный сюрприз, я тихонько подошел к нему сзади и тронул его за плечо. Он мигом вскочил, и что же? Это был не тот человек, а совсем другой!

Однако у этого человека тоже была грубая серая одежда и железная цепь на ноге, и он хромал, и хрипел, и дрожал от холода, совсем как тот; только лицо было другое, и на голове — широкополая шляпа с низкой тульей. Все это я увидел в одно мгновение, потому что всего мгновение и видел его: он выругался и хотел меня ударить, но лишь замахнулся неуверенным, слабым движением и сам едва удержался на ногах, а потом побежал прочь, в туман, два раза споткнулся, и тут я потерял его из виду.

«Это и есть тот приятель!» — подумал я, и у меня больно закололо в сердце. Вероятно, у меня и печенка бы заболела, если бы я только знал, где она находится.

Теперь мне оставалось добежать несколько шагов до батареи, где мой знакомец, поджидая меня, уже ковылял взад-вперед, обхватив себя руками, словно не прекращал этого занятия всю ночь. Он, как видно, совсем продрог. Я бы не удивился, если бы он тут же, не сходя с места, упал и замерз насмерть. Глаза у него были ужасно голодные: когда он, взяв у меня подпилок, положил его на траву, я даже подумал, что он, наверно, попытался бы его съесть, если бы не увидел моего узелка. На этот раз он не стал переворачивать меня вниз головой, а предоставил мне самому вывернуть карманы и развязать узелок.

— Что в бутылке, мальчик? — спросил он.

— Бренди.

Он уже начал набивать себе рот фруктовой начинкой,— причем похоже было, что он не столько ест ее, сколько в страшной спешке убирает куда-то подальше,— но тут он сделал передышку, чтобы глотнуть из бутылки. Его так трясло, что, закусив горлышко бутылки зубами, он едва не отгрыз его.

— У вас, наверно, лихорадка,— сказал я.

— Скорей всего, мальчик.

— Тут очень нездоровое место, очень сырое,— сообщил я ему.— Вы лежали на земле, а этак ничего не стоит схватить лихорадку. Или ревматизм.

— Ну, я еще успею закусить, пока лихорадка меня не свалила,— сказал он.— Знай я, что меня за это вздернут вон на той виселице, я бы и то закусил. Настолько-то я справлюсь со своей лихорадкой.

Он глодал кость, заглатывал вперемешку мясо, хлеб, сыр и паштет, но все время зорко всматривался в окружавший нас туман, а порою даже переставал жевать, чтобы прислушаться.

Внезапно он вздрогнул — то ли услышал, то ли ему почудилось, как что-то звякнуло на реке или фыркнула какая-то зверюшка на болоте,— и спросил:

— А ты не обманул меня, чертенок? Никого с собой не привел?

— Нет, нет, сэр!

— И никому не наказывал идти за тобой следом?

— Нет!

— Ладно,— сказал он,— я тебе верю. Никудышным ты был бы щенком, ежели бы с этих лет тоже стал травить колодника несчастного, когда его и так затравили до полусмерти.

Что-то булькнуло у него в горле, как будто там были спрятаны часы, которые сейчас начнут бить, и он провел по глазам грязным, разодранным рукавом.

Мне стало очень жалко его, и, глядя, как он, покончив с остальным, всерьез принялся за паштет, я набрался храбрости и заметил:

— Я очень рад, что вам нравится.

— Ты что-нибудь сказал?

— Я сказал, я очень рад, что вам нравится паштет.

— Спасибо, мальчик. Паштет хоть куда.

Я часто смотрел, как ест наша большая дворовая собака, и теперь вспомнил ее, глядя на этого человека. Он ел торопливо и жадно — ни дать ни взять собака; глотал слишком быстро и слишком часто, и все озирался по сторонам, словно боясь, что кто-нибудь подбежит к нему и отнимет паштет. Мне думалось, что в таком волнении и спешке он его и не распробует как следует и что если бы он ел не один, то наверняка стал бы лязгать зубами на своего соседа. Все это в точности напоминало нашу собаку.

— А *ему* вы ничего не оставите? — осведомился я робко, после некоторого колебания, потому что опасался, как бы мои слова не показались ему невежливыми.— Ведь больше я ничего не могу вам достать.— Это я знал твердо, и только потому и решился заговорить.

— Ему не оставлю? Кому это? — спросил он, сразу перестав хрустеть корочкой от паштета.

— Вашему приятелю. О котором вы говорили. Который у вас спрятан.

— Ах, ты вот о чем,— отвечал он с грубоватым смехом.— Ему-то? Так, так. Ну, он в еде не нуждается.

— А мне показалось, что нуждается,— сказал я.

Он оторвался от еды и в полном изумлении впился в меня глазами.

— Показалось? Когда это?

— Да вот только что.

— Где?

— Там,— указал я пальцем,— вон там; он спал, и я еще подумал, что это вы.

Он схватил меня за шиворот и так сверкнул глазами, что я испугался, как бы ему опять не захотелось перерезать мне горло.

— И одет так же, как вы, только в шляпе,— объяснил я, весь дрожа,— и... и...— мне очень хотелось выразиться помягче,— и ему для того же самого нужен подпилок. Разве вы вчера вечером не слышали, как палила пушка?

— Значит, и вправду стреляли,— сказал он, точно про себя.

— Странно, как вы еще сомневаетесь,— удивился я.— Мы дома все слышали, а это дальше, и двери у нас были закрыты.

— А ты тò сообрази, что, когда человек один на этом болоте, и голова у него пустая, и в брюхе пусто, и сам он еле живой от холода и голода, он всю ночь только и слышит, что выстрелы и голоса. Да что там слышит! Он видит, как солдаты окружают его, видит их красные мундиры при свете факелов. Слышит, как выкрикивают его номер, как его окликают, как щелкают мушкеты, слышит команду: «Готовьсь! Целься!», и его хватают... и вдруг ничего этого нет. Да я за ночь не раз, а сто раз видел, что за мной

гонятся солдаты — топ, топ сапожищами, черт бы их побрал! А пушки? Я, уж когда рассвело, и то видел, как туман колышется от выстрелов... Ну, а этот человек,— до сих пор он говорил так, словно забыл о моем существовании,— ты не приметил в нем ничего особенного?

— У него лицо было сильно разбито,— сказал я, припомнив то, что и сам не знал, когда успел заметить.

— Вот здесь? — воскликнул он, безжалостно хлопнув себя ладонью по левой щеке.

— Да, здесь.

— Где он? — Человек запихал остатки еды за пазуху.— Показывай, куда он пошел? Я его выслежу не хуже ищейки. Ох, еще эта цепь на ноге, будь она проклята! Подай-ка мне подпилок.

Я указал, в какой стороне туман поглотил незнакомца, и он, подняв голову, взглянул туда, но в следующую минуту он уже сидел на спутанной мокрой траве и, как одержимый, пилил железное кольцо, не обращая внимания ни на меня, ни на свою ногу, которая была стерта до крови, что не мешало ему обходиться с нею так, словно она сама была железная. Теперь, когда он довел себя до такого исступления, мне опять стало с ним очень страшно, и страшно было, что дома заметят мое долгое отсутствие. Я сказал ему, что мне пора домой, но он будто не слышал, и я решил уйти потихоньку. Я оглянулся на него напоследок,— низко пригнувшись, он продолжал что есть силы пилить железное кольцо, вполголоса ругая и его и собственную ногу. Пробежав несколько шагов, я прислушался — и скрежет подпилка донесся до меня из тумана.

ГЛАВА IV

Я был вполне готов к тому, что в кухне меня дожидается констебль, чтобы тотчас взять под стражу. Однако там не только не оказалось констебля, но и кража еще не была обнаружена. Миссис Джо выбивалась из сил, готовя дом к праздничному пиршеству, а Джо велено было

убраться за дверь, подальше от совка для сора, потому что всякий раз, как моя сестра особенно рьяно принималась наводить чистоту в своих владениях, Джо неизбежно попадал ногой в этот предмет домашнего обихода.

— А тебя где носило? — услышал я от миссис Джо в виде праздничного приветствия, лишь только мы с моей совестью показались в дверях.

Я сказал, что ходил слушать, как славят Христа.

— Ну, это еще куда ни шло,— процедила миссис Джо.— А то ведь с тебя все станет.

Я подумал, что это верно.

— Не будь я кузнецовой женой, а стало быть рабой несчастной, которой и передник-то снять некогда, я бы, может, и сама сходила послушать,— сказала миссис Джо.— Я смерть люблю, когда Христа славят, потому мне, наверно, и не удается никогда послушать.

Увидев, что совок отступил от порога, Джо вслед за мной бочком пробрался в кухню и в ответ на гневный взгляд миссис Джо примирительно почесал переносицу, а когда сестра отвернулась, молча скрестил указательные пальцы и подмигнул мне. Этим условным знаком мы сообщали друг другу, что миссис Джо не в духе, а поскольку это было обычное ее состояние, мы с Джо, можно сказать, иногда на целые недели уподоблялись надгробным статуям рыцарей, с той разницей, что они, как известно, лежат скрестив ноги.

Обед нам предстоял поистине роскошный,— соленый окорок с гарниром и фаршированные куры. Сладкий пирог был испечен еще вчера утром (почему никто и не хватился остатков фруктовой начинки), а пудинг уже стоял на огне. Ввиду такого обеденного изобилия завтрак нам попросту отменили.

— Чтобы я еще вас с утра кормила, да поила, да посуду за вами мыла,— сказала миссис Джо,— когда мне с обедом дай бог управиться,— нет уж, увольте!

Она сунула нам по ломтю хлеба так, словно мы были полк солдат на походе, а не мужчина и ребенок у себя дома, и мы стыдливо запили его молоком, разбавленным водой, из стоявшего на полке кувшина. А миссис Джо тем временем повесила на окна чистые белые занавески, сме-

нила пышную цветастую оборку над очагом и открыла взорам маленькую парадную гостиную, где в остальное время года никто не бывал и все недвижимо покоилось в холодном блеске серебряной бумаги — даже четыре белых фарфоровых собачки на камине, совершенно одинаковые, с черными носами и с корзиночками цветов в зубах. Миссис Джо была очень чистоплотной хозяйкой, но обладала редкостным умением обращать чистоту в нечто более неуютное и неприятное, чем любая грязь. Чистоплотность, говорят, сродни благочестию, и есть люди, достигающие того же своей набожностью.

Будучи всегда занята по горло, сестра моя посещала церковь через доверенных лиц; другими словами, в церковь ходили Джо и я. В рабочем платье Джо выглядел ладным мужчиной, заправским кузнецом; в парадном же костюме он больше всего напоминал расфранченное огородное пугало. Все, что он надевал по праздникам, было ему не впору, словно с чужого плеча, все ему жало, тянуло. И в этот день, когда зазвонили в церкви и он вышел из своей комнаты, закованный с головы до пят в праздничные доспехи, вид у него был самый несчастный. Что касается меня, то у сестры, видимо, сложилось обо мне представление как о малолетнем преступнике, который в самый день своего рождения был взят под надзор полицейским акушером и передан ей с внушением — действовать по всей строгости закона. Она всегда обращалась со мною так, точно я появился на свет из чистого упрямства, вопреки всем велениям разума, религии и нравственности и наперекор увещаниям своих лучших друзей. Даже когда мне заказывали новое платье, от портного требовали, чтобы оно являло собой нечто вроде колодок и ни в коем случае не оставляло мне свободы движений.

Поэтому не одно жалостливое сердце, должно быть, сжималось при виде того, как мы с Джо шествуем в церковь. Однако куда горше телесных страданий были душевные муки, которые я испытывал. Страх, охватывавший меня всякий раз, как миссис Джо приближалась к кладовой или выходила из кухни, мог сравниться только с раскаянием при мысли о содеянном мною. Подавленный своим тайным проступком, я размышлял о том, в силах ли будет церковь оградить меня от мщения ненасытного «при-

ятеля», если я во всем ей откроюсь. Я уже решил, что самое подходящее время, чтобы встать и попросить о частной беседе в ризнице, наступит, когда священник прочтет оглашение и скажет: «Все имеющие что-либо против объявите о том немедля!» И вполне возможно, что, будь в тот день не рождество, а воскресенье, я действительно прибегнул бы к этой крайней мере, тем повергнув в изумление наших немногочисленных прихожан.

Обедать к нам были приглашены псаломщик мистер Уопсл, колесник мистер Хабл со своей женой миссис Хабл и дядя Памблчук, состоятельный торговец зерном из соседнего городка, разъезжавший в собственной тележке (он приходился дядей нашему Джо, но миссис Джо присвоила его себе). Обед был назначен на половину второго. Когда мы с Джо воротились из церкви, стол был уже накрыт, миссис Джо готова, обед почти готов, парадная дверь отперта для приема гостей (обычно она стояла на запоре), словом — все обстояло как нельзя лучше. И о краже попрежнему — ни звука.

Пришло время обеда, не принеся мне никакого облегчения; пришли и гости. Мистер Уопсл, джентльмен с римским носом и огромным блестящим лысым лбом, обладал низким раскатистым голосом, которым необычайно гордился; среди его знакомых было даже распространено мнение, что, только дай ему волю, он заткнул бы за пояс нашего священника; и сам он не раз говорил, что, будь двери церкви открыты (для всех желающих служить в ней), он не преминул бы отличиться на этом поприще. Поскольку же двери церкви не были открыты, он был у нас, как я уже сказал, псаломщиком. Но «аминь» звучало в его устах поистине сокрушительно, а перед тем как объявить псалом — непременно весь первый стих до конца,— он всегда, бывало, оглядит собравшихся, словно говоря: «Вы слышали с кафедры голос нашего друга; ну, а *это* как вам понравится?»

Я открывал гостям дверь — с таким видом, будто открывать эту дверь для нас самое привычное дело,— и впустил сначала мистера Уопсла, потом мистера и миссис Хабл и наконец дядю Памблчука, которого мне, кстати сказать, запрещалось называть дядей под страхом самого сурового наказания.

— Миссис Джо,— возгласил дядя Памблчук, грузный, неповоротливый мужчина, страдающий одышкой, с выпученными глазами, рыбьим ртом и изжелта-рыжими волосами, торчком стоявшими на голове, так что казалось, точно его недавно душили и он еще не совсем очнулся.— Я принес вам по случаю праздника... я принес вам, сударыня, бутылочку хереса и еще, сударыня, бутылочку портвейна.

Из года в год он являлся к нам на рождество и произносил, как великую новость, в точности те же слова, держа свои бутылки на манер гимнастических гирь. Из года в год миссис Джо отвечала ему, как и в этот раз: «Ах, дя-дя Памбл-чук! Какое баловство!» Из года в год он возражал, как и в этот раз: «По заслугам и честь. Ну, как вы тут? Скрипите помаленьку? Как наш пенни с фартингом?» Последнее относилось ко мне.

Обедали мы в этих случаях в кухне, а потом переходили в гостиную есть орехи, апельсины и яблоки, причем переход этот очень напоминал переодевание Джо из рабочего платья в парадный костюм. Сестра моя была в тот день необычайно оживлена; впрочем, общество миссис Хабл всегда оказывало на нее благотворное действие. Миссис Хабл запомнилась мне как маленькая, сухощавая женщина с кудряшками, в небесно-голубом платье, притязавшая на неувядаемую молодость по той причине, что была намного моложе мистера Хабла, когда в давно прошедшие времена выходила за него замуж. Мистер Хабл запомнился мне как крепкий, высокий, сутулый старик, приятно пахнувший опилками и на ходу так широко расставлявший ноги, что, когда я в раннем детстве встречал его на деревенской улице, мне открывался между ними вид на всю нашу округу.

В этом почтенном обществе я чувствовал бы себя прескверно, даже если бы не ограбил кладовую. И не потому, что мне было тесно сидеть и острый угол стола впивался мне в грудь, а локоть Памблчука лез в глаза; и не потому, что мне не велели разговаривать (я и сам не хотел разговаривать) или что на мою долю доставались только жесткие куриные лапки и те глухие закоулки окорока, которыми свинья при жизни имела меньше всего оснований гордиться. Нет; это все было бы с полбеды, если бы взрос-

лые оставили меня в покое. Но они не оставляли меня в покое. Они словно хватались за всякую возможность перевести разговор на мою особу и чем-нибудь да кольнуть меня. И я, как несчастный бычок на арене испанского цирка, болезненно ощущал уколы этих словесных копий.

Началось это, лишь только мы сели за стол. Мистер Уопсл продекламировал молитву,— теперь я бы сказал, что это было нечто среднее между духом Гамлетова отца и Ричардом Третьим, но с сильной примесью благочестия,— и под конец, как подобает, высказал упование, что мы будем вечно благодарны творцу. Тут сестра уставилась на меня и проговорила тихо и укоризненно:

— Слышишь? Будь благодарен.

— Особенно же, мальчик,— сказал мистер Памблчук,— будь благодарен тем, кто воспитал тебя своими руками.

Миссис Хабл покачала головой и, устремив на мою особу безнадежный взгляд, казалось говоривший, что ничего путного из меня не выйдет, спросила: — И почему это дети всегда такие неблагодарные? — Все стали в тупик перед этой загадкой, и только мистер Хабл разгадал ее, сухо отрезав: — Такими уж родятся уродами.— Все подтвердили вполголоса: — Истинная правда! — и посмотрели на меня как-то особенно враждебно.

При гостях Джо (если только это возможно) значил в доме еще меньше, чем без них. Но по мере сил он всегда выручал и утешал меня, и за обедом давал мне как можно больше подливки, если таковая имелась. В тот день подливки было много, и Джо тотчас зачерпнул мне ее с полпинты.

Мистер Уопсл довольно строго отозвался о проповеди, которую мы слышали в то утро, и дал понять в общих чертах, какую проповедь произнес бы он сам в том мало вероятном случае, если бы двери церкви были открыты. Познакомив присутствующих с главными пунктами этого сочинения, он заявил, что на его взгляд и тема была выбрана священником неудачно, а это уж вовсе не простительно, потому что хороших тем, как он выразился, «хоть пруд пруди».

— Правильно,— сказал дядя Памблчук.— В самую точку попали, сэр! Тем действительно хоть пруд пруди,

только надо суметь насыпать им соли на хвост. В этом вся штука. За темами недалеко ходить, была бы солонка наготове.— Немного подумав, мистер Памблчук добавил: — Взять хотя бы свинину. Чем не тема? Если вам нужна тема, повторяю, возьмите свинину!

— Совершенно верно, сэр,— отвечал мистер Уопсл.— Для малолетних...— я уже знал, что сейчас он приплетет меня,— ...в высшей степени благодарная и поучительная тема.

(«Слушай хорошенько»,— в скобках цыкнула на меня сестра.)

Джо добавил мне подливки.

— Свинья! — продолжал мистер Уопсл глубочайшим басом, указуя вилкой на мою смущенную физиономию, словно называл меня по имени.— Со свиньями водил компанию блудный сын. Прожорливость свиней приводится как дурной пример в назидание малолетним. («А сам только что расхваливал окорок,— подумал я,— какой он жирный да сочный».) То, что предосудительно в свинье, тем более предосудительно в мальчике.

— Или в девочке,— подсказал мистер Хабл.

— Ну, разумеется, мистер Хабл,— согласился мистер Уопсл не без досады,— но девочек я здесь не вижу.

— К тому же, подумай,— сказал мистер Памблчук, внезапно наскакивая на меня,— как ты должен быть благодарен судьбе. Доведись тебе родиться маленьким визгливым поросенком...

— А он как раз и был таким,— убежденно заметила моя сестра.

Джо добавил мне подливки.

— Да, но я имею в виду поросенка четвероногого,— сказал мистер Памблчук.— Доведись тебе родиться свинушкой, был бы ты сейчас здесь, а? Как бы не так.

— Разве что в таком виде,— сказал мистер Уопсл, кивая на блюдо.

— Но я говорю не о таком виде, сэр,— с досадой возразил мистер Памблчук, не любивший, чтобы его перебивали.— Я хотел сказать, мог бы он тогда наслаждаться обществом старших, просвещать свой ум их беседой и купаться в роскоши? Я спрашиваю, мог бы или нет? Нет, не мог бы. А что бы тебя тогда ожидало? — снова наскочил

он на меня.— Продали бы тебя за столько-то шиллингов, смотря по тому, какая этому товару цена на рынке, и мясник Данстебл поднял бы тебя с соломенной подстилки, прихватил бы левым локтем, а правой рукой отвернул бы полу, чтобы достать из кармана ножичек, и пролилась бы твоя кровь, и пришел бы тебе конец. Тут уж никто не стал бы воспитывать тебя своими руками. Где там!

Джо предложил мне еще подливки, но я побоялся взять.

— Он, должно быть, доставил вам немало хлопот, сударыня,— сказала миссис Хабл, преисполнившись сострадания к моей сестре.

— Хлопот? — отозвалась та.— Хлопот? — И пустилась перечислять все болезни, в которых я провинился, и все случаи моей злостной бессонницы, и все деревья и крыши, с которых я падал, и все пруды и канавы, в которых я чуть не утонул, и все мои синяки и ссадины, и сколько раз она молила бога о моей смерти, а я упорно отказывался умирать.

Я склонен думать, что римляне изрядно раздражали друг друга своими носами. Поэтому, возможно, из них и получился такой непоседливый народ. Во всяком случае, римский нос мистера Уопсла так раздражал меня, пока оглашался список моих провинностей, что я готов был вцепиться в него и не отпускать, покуда его обладатель не взвоет. Но все, что я вытерпел до сих пор, не могло и сравниться с тем смятением, какое охватило меня, когда молчание, которое последовало за рассказом моей сестры и во время которого (как я мучительно сознавал) все смотрели на меня с гневом и отвращением,— когда это молчание было нарушено.

— А между тем,— сказал мистер Памблчук, ловко возвращая своих собеседников к предмету, от которого они отклонились,— свинина — в вареном виде,— право же, недурная вещь, а?

— Выпейте бренди, дядя Памблчук,— предложила моя сестра.

О господи, вот оно! Сейчас он почувствует, что бренди разбавлено, и скажет это, и все пропало! Обеими руками я крепко ухватился под скатертью за ножку стола и стал ждать, что будет.

Сестра отправилась за глиняной бутылью, принесла ее и налила мистеру Памблчуку,— кроме него никто не пил. Злодей повертел стакан в руках, поднял его, посмотрел на свет, поставил на стол, точно задался целью продлить мои мученья. А тем временем моя сестра и Джо быстро убирали со стола все лишнее, чтобы освободить место для паштета и пудинга.

Я неотступно смотрел на мистера Памблчука. Крепко обхватив руками и ногами ножку стола, я следил за тем, как этот презренный человек любовно оглядел стакан, поднял его, сладко улыбнулся, запрокинул голову и залпом выпил до дна. В следующее мгновение неизъяснимый ужас отразился на всех лицах: мистер Памблчук вскочил со стула, несколько раз перевернулся на месте в каком-то судорожном коклюшном танце и ринулся к двери; а затем мы увидели его в окно: явно лишившись рассудка, он прыгал, отплевывался и строил рожи одна страшнее другой.

Я крепко держался за ножку стола, между тем как сестра и Джо бросились к нему на помощь. У меня не оставалось сомнений, что я убил его, неведомо как и чем. Поэтому я даже испытал некоторое облегчение, когда его втащили обратно в кухню и он, окинув собравшихся таким взглядом, будто это они во всем виноваты, опустился на стул и выдохнул одно роковое слово:

— Деготь!

Второпях я долил в бутыль дегтярной воды! Я знал, что через некоторое время ему станет еще хуже, и так налег на ножку стола, что, уподобившись нынешним медиумам, даже сдвинул его немного с места.

— Деготь! — в изумлении повторила сестра.— Да как же туда мог попасть деготь?

Но дядя Памблчук, чувствовавший себя в нашей кухне полновластным хозяином, не желал и слышать этого слова или говорить об этом предмете и, отмахнувшись величественным мановением руки, потребовал горячего джина. Сестра, впавшая было в подозрительную задумчивость, тотчас захлопотала,— нужно было принести джин и горячую воду, смешать их с сахаром, добавить лимонной корочки. На какое-то время я был спасен. Я все не отпускал ножку стола, но теперь обнимал ее с чувством самой пылкой благодарности.

Скоро я настолько успокоился, что разжал руки и занялся пудингом. Мистер Памблчук занялся пудингом. Все занялись пудингом. Покончили и с этим блюдом, и под благотворным воздействием горячего джина мистер Памблчук снова повеселел. Во мне уже затеплилась надежда, что я переживу этот день, но тут моя сестра обратилась к Джо:

— Подай чистые тарелки, греть не надо.

В тот же миг я опять впился в ножку стола и прижал ее к груди, как друга детства и закадычного товарища. Я знал, что последует, и чувствовал, что на этот раз погиб безвозвратно.

— А на закуску,— сказала сестра, подарив гостей любезнейшей улыбкой,— я прошу вас отведать одного замечательного, редкостного кушанья,— это подарок дяди Памблчука.

Отведать? Пусть лучше и не надеются!

— Я скажу вам, что это такое,— продолжала сестра, вставая.— Это паштет; вкуснейший свиной паштет.

Раздался ропот одобрения. Дядя Памблчук, всегда готовый признать свои заслуги перед ближними, произнес, можно даже сказать, игриво (принимая во внимание все обстоятельства):

— Что ж, рады стараться; давайте-ка посмотрим, что это за паштет.

Сестра вышла из кухни. Я слышал, как ее шаги направились к кладовой. Я видел, как мистер Памблчук вооружился ножом и как от нового приступа аппетита раздулись римские ноздри мистера Уопсла. Я слышал замечание мистера Хабла, что «свиным паштетом можно заесть что угодно, вреда не будет», и слова Джо: «Тебе тоже дадут, Пип». До сих пор не знаю, только ли мысленно я испустил пронзительный вопль, или его слышали остальные. Почувствовав, что мне больше не выдержать, что нужно спасаться, я отпустил ножку стола и сломя голову бросился к двери.

Но дальше порога я не добежал, потому что с размаху врезался в целую партию солдат с мушкетами, и один из них сказал, протягивая мне наручники:

— Ага, попался, ну теперь берегись!

ГЛАВА V

При виде отряда солдат, грохавших прикладами заряженных мушкетов о наше крылечко, все повскакали из-за стола, а миссис Джо, возвращавшаяся из кладовой с пустыми руками, застыла на месте, не закончив горестного восклицания: «О господи боже мой милостивый, куда же... девался... паштет?»

Взгляд миссис Джо был устремлен на меня и на сержанта, и эта новая угроза несколько прояснила мой ум. Сержант и был тем, кто заговорил со мной, и теперь он обводил взглядом гостей и хозяев, правой рукой любезно предлагая им наручники, а левую положив мне на плечо.

— Прошу прощенья, леди и джентльмены,— сказал сержант,— но как я уже докладывал этому юному франту (он мне ничего не докладывал!), я именем короля послан в погоню, и мне нужен кузнец.

— А позвольте узнать, зачем он вам понадобился? — спросила сестра, задетая за живое тем, что Джо кому-то нужен.

— Сударыня! — галантно ответил сержант.— От своего имени я бы сказал — ради чести и удовольствия познакомиться с его прекрасной супругой; от имени же короля скажу, что у меня есть к нему небольшое дельце.

Все поняли, что сержант за словом в карман не лезет, а мистер Памблчук даже произнес довольно громко: «Хорошо сказано!»

— Понимаете, хозяин,— продолжал сержант, подходя к Джо, в котором он тем временем распознал нужного ему человека,— у нас с этими наручниками промашка вышла, и теперь замок отказал и цепочка плохо работает. А они нам понадобятся сегодня же, так будьте добры взглянуть, в чем тут дело.

Джо взглянул и определил, что придется разжигать горн и работа займет часа полтора, а то и два.

— Вот как? Ну так принимайтесь за дело немедля,— сказал расторопный сержант,— помните, вы служите его величеству королю. Если понадобится помощь, мои люди к вашим услугам.

С этими словами он кликнул своих солдат, и они гуськом протопали в кухню и, составив ружья в углу, столпились у дверей, кто сцепив перед собой руки, кто прислонясь плечом к стене, поправляя ремни и подсумки, изредка открывая дверь и вытягивая шею, сдавленную высоким воротником мундира, чтобы сплюнуть во двор.

В то время я и не сознавал, что замечаю все это, потому что был сам не свой от страха. Но, сообразив наконец, что наручники предназначаются не для меня и что с появлением солдат паштет скромно отодвинулся на задний план, я стал понемногу собираться с мыслями.

— Виноват, который теперь час? — обратился сержант к мистеру Памблчуку, очевидно считая, что раз этот последний понимает толк в людях, он должен иметь понятие и о времени.

— Ровно половина третьего.

— Ну, это еще ничего,— сказал сержант, прикинув что-то в уме.— Даже если придется задержаться здесь часа на два, все равно успеем. Сколько от вас тут считается до болот? Наверно, не больше мили?

— Как раз миля,— сказала миссис Джо.

— Успеем. Начнем облаву с наступлением темноты. Таков приказ — перед самым наступлением темноты. Успеем.

— Беглые, сержант? — деловито осведомился мистер Уопсл.

— Да,— ответил сержант.— Двое. Есть сведения, что они еще на болотах, а пока светло, они не будут пытаться улизнуть оттуда. Из вас тут никому не попадалась на глаза такая птица?

Все, кроме меня, чистосердечно ответили в отрицательном смысле. Обо мне никто не подумал.

— Ничего,— сказал сержант,— они и не подозревают, как скоро окажутся в кольце. Ну, хозяин, вы, я вижу, готовы, а его величество король и подавно.

Джо, успевший снять сюртук, шейный платок и жилет и надеть свой кожаный фартук, первым прошел в кузницу. Один из солдат отворил ставни, другой разжег огонь, третий взялся за мехи, остальные стали кружком у огня, который разгорелся быстро и жарко. И пошел тут у Джо стук и звон, стук и звон, а мы все смотрели, как он работает.

Всеобщее увлечение предстоящей погоней так захватило мою сестру, что она даже расщедрилась — нацедила солдатам из бочки кувшин пива, а сержанту предложила стаканчик бренди. Но мистер Памблчук решительно заявил: «Дайте ему вина, сударыня, уж в вине-то не будет дегтя, за это я ручаюсь», после чего сержант поблагодарил его и сказал, что предпочитает напитки без дегтя, а потому, если не будет возражений, лучше выпьет вина. Когда ему поднесли, он провозгласил здоровье его величества, поздравил всех с праздничком и, одним духом осушив стакан, громко причмокнул губами.

— Ну как, сержант, недурное винцо? — спросил мистер Памблчук.

— Сдается мне,— отвечал сержант,— что это винцо вы сами и раздобыли.

— Почему же это вам так сдается? — спросил мистер Памблчук с самодовольным смешком.

— А потому,— отвечал сержант, хлопнув его по плечу,— что вы человек понимающий.

— В самом деле? — спросил мистер Памблчук с тем же самодовольным смешком.— Выпейте еще стаканчик!

— Только с вами. За нашу дружбу,— отвечал сержант.— Чокнемся! И еще разок! Вон как славно поют стаканчики! Ваше здоровье! Дай вам бог прожить тысячу лет и чтобы вы всегда выбирали такие же отменные вина!

Сержант залпом осушил и этот стакан и, казалось, не прочь был выпить третий. Я заметил, что мистер Памблчук в пылу гостеприимства, видимо, совсем забыл, что принес вино в подарок,— он взял у миссис Джо бутылку и распоряжался ею, как радушный хозяин. Даже мне досталось немножко. Когда первая бутылка кончилась, он велел подать вторую и распорядился ею не менее щедро.

Глядя, как оживленно они толпятся в кузнице и как им весело, я думал — какой отличной закуской оказался для них мой беглый болотный знакомец! За обедом, до того как он доставил им столько развлечений, им было куда скучнее. И теперь, когда все только и мечтали о том, как «злодеи» будут изловлены; и словно во след беглецам ревели мехи и тянулись языки пламени; и дым устремлялся в погоню за ними; и ради них стучал и звенел молотом Джо; и, угрожая им, метались по стене зловещие тени,

а огонь то разгорался, то спадал, и красные искры гасли на излете,— детскому моему воображению смутно представлялось, что бледный день за окном побледнел от жалости к этим горемыкам.

Но вот Джо закончил свою работу, стук и гудение стихли. Надевая сюртук, Джо набрался смелости и предложил, не пойти ли нам вместе с солдатами — посмотреть на облаву. Мистер Памблчук и мистер Хабл отказались, их больше прельщало покурить трубочку в обществе дам; но мистер Уопсл сказал, что охотно составит компанию Джо, а Джо сказал, что, ежели миссис Джо позволит, он возьмет с собой и меня. Я уверен, что нас нипочем бы никуда не пустили, но самой миссис Джо до смерти хотелось узнать, чем кончится погоня. Она поставила лишь одно условие:

— Если мальчишке там голову разнесет пулей, я ее склеивать не буду, не надейся.

Сержант учтиво простился с дамами, а с мистером Памблчуком расстался как со старым другом, хотя я подозреваю, что без помощи живительной влаги он едва ли оценил бы достоинства этого джентльмена. Солдаты разобрали ружья и построились. Мистер Уопсл, Джо и я получили строгий приказ — держаться в арьергарде и не произносить ни слова, после того как мы выйдем на болота. Когда мы, поеживаясь от холода, бодрым шагом выступили в поход, я изменнически шепнул Джо:

— Хорошо бы мы их не нашли.

А Джо шепнул мне в ответ:

— Я бы шиллинга не пожалел, если бы им удалось удрать, Пип.

Больше никто из жителей деревни не пошел с нами: погода была холодная, неприветливая, дорога унылая, под ногами скользко; к тому же темнело, а дома люди грелись у камелька и справляли праздник. Тут и там на нашем пути удивленные лица поспешно приникали к освещенным окнам, но наружу никто не вышел. Дойдя до перекрестка, мы свернули прямо к кладбищу. Здесь по знаку сержанта сделали короткую остановку, и солдаты рассыпались среди могил и осмотрели церковную паперть. Они возвратились, не обнаружив ничего подозрительного, и мы вышли через боковые ворота на просторы болот. Восточный ветер стал

хлестать нам в лицо мокрым снегом, и Джо взял меня на закорки.

Только сейчас, на пустынной равнине, где я побывал восемь-девять часов тому назад и видел обоих каторжников (как бы все удивились, когда бы узнали про это!), мне пришла в голову страшная мысль: а вдруг, если мы их найдем, мой арестант решит, что это я привел сюда погоню? Ведь он спрашивал, не обманул ли я его, и сказал, что я был бы никудышным щенком, если бы стал его травить. Неужели он подумает, что я и вправду щенок и обманщик и мог так подло предать его?

Но теперь это был праздный вопрос. Я сидел на закорках у Джо, а Джо брал одну канаву за другой, как охотничья лошадь, и покрикивал мистеру Уопслу, чтобы тот не отставал и, боже сохрани, не ткнулся в землю своим римским носом. Солдаты двигались впереди нас, растянувшись длинной цепью. Мы держались того же направления, по какому я шел утром, пока не заплутался в тумане. Сейчас туман либо еще не пал, либо его развеяло ветром. В красном зареве заката были ясно видны и маяк, и виселица, и холм с батареей, и дальний берег реки — все одинакового мутно-свинцового цвета.

Я напряженно всматривался вдаль, и сердце у меня стучало о широкую спину Джо, как кузнечный молот. Но никаких признаков беглых я не мог уловить. Сперва меня сильно пугало сопенье и тяжелое дыхание мистера Уопсла; но потом я привык к этим звукам и уже знал, что они не имеют отношения к предмету наших поисков. Один раз я вздрогнул от ужаса: мне показалось, что я все еще слышу скрежет подпилка; но то был лишь овечий колокольчик. Овцы поднимали головы и робко смотрели на нас, коровы, отворачиваясь от ветра и мокрого снега, провожали нас сердитыми взглядами, словно это мы принесли им непогоду, и боязливо шелестела трава в последних отблесках дневного света,— больше ничто не нарушало безотрадной тишины болот.

Солдаты все приближались к старой батарее, и мы шли следом, немного позади их цепи, как вдруг все стали: на крыльях дождя и ветра к нам донесся протяжный крик. Потом второй. Он возник далеко от нас, где-то к востоку, но был протяжный и громкий. Казалось даже, что кричат

сразу два или три человека, так сбивчиво и неясно долетал до нас этот звук.

Сержант и ближайшие к нему солдаты вполголоса говорили об этом, когда мы с Джо подошли к ним. Прислушавшись, Джо (хорошо разбиравшийся в таких вещах) подтвердил их мнение, так же как и мистер Уопсл (ничего в таких вещах не смысливший). Сержант, будучи человеком решительным, отдал приказ: на крики не отвечать, но изменить направление и идти к востоку «беглым шагом». Тогда и мы повернули вправо, на восток, и Джо так ретиво поскакал вперед, что я крепко ухватился за него, чтобы не свалиться.

Теперь мы неслись во весь опор, так что даже Джо не удержался и крикнул мне разок: «Ох, и гонка!» Не разбирая дороги, мы мчались вверх и вниз по дамбам, перемахивали через ручьи, шлепали по воде, продирались сквозь жесткий камыш. Чем ближе звучали крики, тем ясней становилось, что кричит не один человек. Временами крик как будто стихал, тогда и солдаты застывали на месте. Когда же он раздавался вновь, солдаты бежали быстрее прежнего, и мы за ними. Скоро мы уже стали различать, что один голос кричит: «Убивают!», а другой — «Арестанты! Беглые! Стража! Сюда!» На минуту шум драки заглушил оба голоса, потом крик возобновился. И тут солдаты стрелой понеслись вперед, а вместе с ними и Джо.

Сержант первым добежал до места, двое солдат тотчас догнали его. Когда подоспели остальные, эти двое уже взвели курки.

— Оба тут! — задыхаясь, прокричал сержант, соскакивая в глубокую канаву.— Сдавайтесь, вы! Экие звери, черт бы вас взял! Да уймитесь вы, дьяволы!

Фонтаном взлетали брызги воды и комья грязи, сыпались проклятия и удары, и наконец еще несколько солдат, соскочив в канаву на помощь сержанту, вытащили порознь обоих каторжников — моего и другого. Они были все в крови и отчаянно отбивались и сквернословили, но я, разумеется, тотчас узнал обоих.

— Обратите внимание! — прохрипел мой каторжник, стирая с лица кровь драными рукавами и стряхивая с пальцев вырванные волосы.— Это *я* его задержал! *Я* передаю его вам! Обратите внимание!

— Нашел о чем разговаривать,— сказал сержант.— Едва ли тебе будет от этого польза, любезный,— ведь ты с ним одного поля ягода. Подать наручники!

— А я и не жду для себя пользы. Мне больше никакой пользы не надо,— сказал мой каторжник и хищно усмехнулся.— Я его задержал. Ему это известно. С меня и хватит.

У другого арестанта лицо совсем посинело, и, вдобавок к старому кровоподтеку на левой щеке, он весь был в синяках и ссадинах. Пока на него надевали наручники, он все силился заговорить и не мог, и даже прислонился к одному из солдат, чтобы не упасть.

— Заметьте, служивый, он хотел меня убить,— были его первые слова.

— Хотел убить? — пренебрежительно повторил мой арестант.— Хотел, и не убил? Я его задержал и сдал кому следует, вот что я сделал. Мало того, что я не дал ему уйти с болота, я его сюда приволок, немножко не доволок до места. Этот мерзавец, видите ли, благородный, джентльмен. Так вы теперь мне спасибо скажите, что тюрьма получит обратно своего джентльмена. Убить его? Очень нужно руки марать, когда я мог сделать кое-что похуже,— опять его засадить.

А тот все бормотал, задыхаясь:

— Он хотел... хотел меня убить. Будьте... будьте свидетелями.

— Вы *меня* послушайте,— сказал мой каторжник сержанту.— Я сам ушел с баржи, мне никто не помогал. Захотел и ушел. Я бы и на этом болоте не остался замерзать — вон, посмотрите, нога-то не закована,— кабы не узнал, что он тоже здесь. Допустить, чтобы *он* ушел? Чтобы он воспользовался моей хитростью да сноровкой? Чтобы опять согнул меня в бараний рог? Ну нет, шалишь! Да если б я сдох в этой канаве,— он указал на нее, неуклюже взмахнув скованными руками,— я б и то его не выпустил, так и держал бы до вашего прихода.

Другой арестант повторил, с содроганием оглядываясь на него:

— Он хотел меня убить. Если бы не вы, меня уже не было бы в живых.

— Врет он! — свирепо оборвал его мой каторжник.— Всю жизнь врал и до смерти не перестанет. Да вон, у него это на лице написано. Пусть-ка посмотрит мне в глаза. Вот увидите, не посмеет.

Тот пытался выдавить из себя презрительную усмешку,— хотя так и не мог унять дрожь, кривившую его губы,— посмотрел на солдат, окинул взглядом болота и небо, но от своего противника упорно отводил глаза.

— Вот вам,— продолжал мой арестант.— Видали мерзавца? Видали, как у него глаза шмыгают да стреляют по сторонам? Так же было и тогда, когда нас вместе судили. Ни разу на меня не взглянул.

У второго каторжника все кривились пересохшие губы, и глаза продолжали беспокойно бегать, но наконец он остановился взглядом на своем враге, проговорил: «Было бы на что смотреть», и с издевкой прищурился на его скованные руки. Тут мой каторжник совсем рассвирепел и рванулся вперед, но солдаты его удержали.

— Я ведь говорю вам, что он убил бы меня, если б мог,— сказал второй, и было видно, как он трясется от страха, а на губах у него выступили белые хлопья пены.

— Довольно разговаривать,— сказал сержант.— Зажечь факелы.

Один из солдат, несший вместо ружья корзину, опустился на колено и стал ее открывать, и тут мой арестант впервые огляделся и увидел меня. Я неподвижно стоял рядом с Джо,— он спустил меня на землю, еще когда мы только добрались до канавы. Поймав на себе взгляд каторжника, я умоляюще посмотрел на него и еле заметно развел руками и покачал головой. Я долго ждал этой минуты, чтобы попытаться уверить его, что я тут ни при чем. Я не мог бы сказать, понял ли он мое намерение: он только взглянул на меня как-то странно и тотчас отвернулся. Но если бы он смотрел на меня хоть целый час или целый день, лицо его не могло бы выразить более напряженного внимания.

Солдат, который нес корзину, скоро высек огонь, зажег несколько факелов и роздал их, оставив один себе. И до этого было почти темно, теперь же стало совсем темно, а потом тьма еще сгустилась. Прежде чем уйти с этого

места, четыре солдата, став в кружок, дважды выстрелили в воздух. Вскоре в отдалении тоже зажглись факелы, одни — позади нас, другие — на дальнем берегу реки.

— Все в порядке,— сказал сержант.— Вперед, марш!

Мы прошли совсем немного, когда впереди три раза выстрелила пушка — так громко, что у меня словно что-то лопнуло в ушах.

— Это в твою честь,— сказал сержант моему каторжнику.— На барже уже известно, что тебя ведут. Не отставай, любезный. Сомкнись!

Их вели каждого под особым конвоем, поодаль друг от друга. Джо держал меня за руку, а в другой руке нес факел. Мистер Уопсл был бы не прочь воротиться домой, но Джо решил остаться до конца, и мы по-прежнему следовали за солдатами. Теперь под ногами у нас была твердая тропинка; она шла у самого края воды, кое-где отступая от нее в обход запруды с осклизлым шлюзом или с крошечной мельницей. Оглядываясь, я видел, как нас догоняют другие огоньки. С наших факелов капали на тропинку большие огненные кляксы, и я видел, как они дымятся и вспыхивают. А больше я ничего не видел, кроме черной тьмы. От смолистого пламени факелов воздух вокруг нас согревался, и это как будто нравилось нашим пленникам, с трудом ковылявшим каждый в своем кольце мушкетов. Мы не могли идти быстро, потому что оба они хромали и совсем обессилели; раза два-три нам даже пришлось остановиться, чтобы дать им передохнуть.

Так мы шли около часа, а потом увидели перед собой какое-то деревянное строение и пристань. Нас окликнул часовой, сержант ответил. Мы вошли. В доме пахло табаком и известкой, ярко пылал огонь, горела лампа, и была стойка для мушкетов, барабан и низкие деревянные нары, похожие на подставку от огромного катка для белья, где могли уместиться друг возле дружки не меньше десяти солдат. Лежавшие на них три-четыре солдата в шинелях не выказали особого интереса при нашем появлении: приподняв голову, они сонно посмотрели на нас и улеглись снова. Сержант с кем-то поговорил, записал что-то в книге, а потом того каторжника, которого я называю «другим», вывели под конвоем на пристань, чтобы первым отправить на баржу.

Мой каторжник больше ни разу не взглянул на меня. Пока мы были в доме, он стоял у очага, задумчиво глядя в огонь, или по очереди ставил ноги на решетку и задумчиво их разглядывал, словно жалея за то, что им так досталось в последние дни. Вдруг он повернулся к сержанту и сказал:

— Я хочу кое-что заявить касательно своего побега. Это для того, чтобы подозрение не пало на кого другого.

— Ты заявишь все, что тебе угодно,— сказал сержант, скрестив на груди руки и холодно глядя на него,— но не к чему это делать здесь. Тебе еще представится полная возможность и поговорить и послушать.

— Я знаю, только это статья особая. Человек не может жить без еды. Я по крайней мере не могу. Это я к тому говорю, что взял кое-какую снедь в той деревне, где церковь, вон что за болотами.

— Попросту говоря, украл,— сказал сержант.

— И сейчас скажу у кого. У кузнеца.

— Эге! — сказал сержант и уставился на Джо.

— Эге, Пип! — сказал Джо и уставился на меня.

— Еды было так, всякие остатки, и еще глоток спиртного, и паштет.

— Вы как, не заметили у себя дома пропажи паштета? — спросил сержант, наклоняясь к Джо.

— Жена хватилась его как раз перед вашим приходом. Ты ведь слышал, Пип?

— Вот как,— сказал мой арестант, хмуро подняв глаза на Джо и даже не взглянув в мою сторону,— это вы, значит, и будете кузнец? Ну, тогда не прогневайтесь, ваш паштет я съел.

— Да на здоровье... мне-то не жалко,— добавил Джо, вовремя вспомнив про миссис Джо.— В чем ты провинился, нам неизвестно, но, видит бог, мы вовсе не хотим, чтобы ты из-за этого помер с голоду, бедный ты, несчастный человек. Верно, Пип?

Опять, как утром на болоте, в горле у каторжника что-то булькнуло, и он поворотился к нам спиной. Лодка тем временем вернулась, конвойные стояли наготове; мы вышли вслед за моим арестантом на пристань, сложенную из камня и грубо отесанных бревен, и видели, как его поса-

дили в лодку, где на веслах сидели такие же каторжники, как он. При встрече с ним никто не проявил ни удивления, ни интереса, ни радости, ни сочувствия, никто не сказал ни слова, только чей-то голос в лодке рявкнул, точно на собак: «Давай греби!», и раздался мерный плеск весел. В свете факелов нам видна была плавучая тюрьма, черневшая не очень далеко от илистого берега, как прòклятый богом Ноев ковчег. Сдавленная тяжелыми балками, опутанная толстыми цепями якорей, баржа представлялась мне закованной в кандалы, подобно арестантам. Мы видели, как лодка подошла к борту и как моего каторжника подняли на баржу и он исчез. Тогда остатки факелов шипя полетели в воду и погасли, словно для него все навсегда было кончено.

ГЛАВА VI

Даже после того как обвинение в краже было столь неожиданно с меня снято, я ни минуты не помышлял о чистосердечном признании; однако мне хочется думать, что мною руководили и добрые чувства.

Когда миновала опасность, что мой проступок будет обнаружен, мысль о миссис Джо, сколько помнится, перестала меня смущать. Но Джо я любил — в те далекие дни, возможно, лишь за то, что он, добрая душа, не противился этому,— и уж тут мне не так-то легко было усыпить свою совесть. Еще долго (а в особенности, когда он хватился своего подпилка) меня мучило сознание, что надо рассказать Джо всю правду. И все же я этого не сделал — не сделал потому, что боялся показаться в его глазах хуже, чем был на самом деле. Страх, что я лишусь доверия Джо и отныне буду сидеть по вечерам у огня, устремив тоскливый взор на того, кто уже не будет мне товарищем и другом, накрепко сковал мне язык. Больное воображение твердило мне, что если я откроюсь Джо, то всякий раз, как он начнет теребить свои русые бакены, мне будет казаться, что он размышляет о моем прегрешении. Если я откроюсь Джо, то всякий раз, как он хотя бы мимоходом взглянет на поданные к столу остатки вчерашнего мяса

или пудинга, мне будет казаться, что он думает, не побывал ли я в кладовой. Если я откроюсь Джо и когда-нибудь пиво покажется ему безвкусным или слишком густым, то я весь зальюсь краской от сознания, что он заподозрил в нем примесь дегтя. Короче говоря, я из трусости не сделал того, что заведомо надлежало сделать, так же как раньше из трусости сделал то, чего делать заведомо не надлежало. В то время я совсем не знал света и не подражал никому из многочисленных его обитателей, поступающих точно так же. Как истый философ-самородок, я нашел для себя этот путь без посторонней помощи.

Я стал клевать носом, как только мы отошли от плавучей тюрьмы, и Джо, заметив это, снова взял меня на закорки и нес до самого дома. Бедняга порядком измучился дорогой, ибо мистер Уопсл, который совсем выбился из сил, был в таком скверном настроении, что, будь двери церкви открыты, он, наверно, отлучил бы от нее всех участников нашего похода, начиная с меня и Джо. За отсутствием же такой возможности он упорно плюхался в грязь, да так часто, что если бы подобное поведение каралось смертью, то вещественных доказательств, обнаруженных на его брюках, когда он снял свой мокрый сюртук у огня в нашей кухне, с избытком хватило бы, чтобы отправить его на виселицу.

Я в это время стоял посреди кухни и шатался как пьяненький, потому что меня только что спустили на пол и потому что я успел крепко заснуть, а проснулся в теплой, светлой комнате, среди шума голосов. Когда я пришел в себя (чему способствовал чувствительный толчок между лопатками и ободряющее восклицание моей сестры: «Ох, до чего же несносный мальчишка!»), Джо только что кончил рассказ об удивительном признании каторжника, и все наперебой строили предположения насчет того, как он проник в кладовую. Мистер Памблчук, тщательно осмотрев наши владения, пришел к выводу, что он залез на крышу кузницы, оттуда — на крышу дома, а затем по трубе спустился в кухню на веревке, которую сплел из своих простынь, разрезав их на полосы. Мистер Памблчук говорил очень уверенно, а кроме того, мистер Памблчук разъезжал в собственной тележке,— и никому не уступал дороги,— а потому все согласились, что так оно и было.

Правда, мистер Уопсл, с раздражением усталого человека, громко выкрикнул: «Нет!», но поскольку у него не было своей теории и поскольку он был без сюртука, никто не стал его слушать; к тому же от заднего его фасада валил пар — он сушился, стоя спиной к огню,— а это отнюдь не внушало доверия.

Больше я ничего не слышал в тот вечер: сестра сочла мой сонный вид оскорбительным для гостей и, схватив меня за шиворот, препроводила в постель так властно, что могло показаться, будто на мне надето пятьдесят башмаков и все они разом громыхают о края ступенек.

Описанное мною выше состояние духа возникло еще до того, как я наутро встал с постели, и не покидало меня даже тогда, когда причина его была уже предана забвению и о ней перестали упоминать, кроме как в самых исключительных случаях.

ГЛАВА VII

В ту пору, когда я стоял на кладбище, разглядывая родительские могилы, моих познаний едва хватало на то, чтобы разобрать надписи на каменных плитах. Даже нехитрый их смысл я понимал не вполне правильно, считая, например, что в словах «супруга *выше*реченного» заключается почтительный намек на переселение моего отца в горнюю обитель; и если бы о ком-нибудь из моих умерших родственников было сказано «*ниже*реченный», я, несомненно, составил бы себе о покойнике самое нелестное мнение. Не отличалось ясностью и мое восприятие догматов, изложенных в катехизисе; так, например, я прекрасно помню, что, обещая «следовать оным путем во все дни жизни моей», я воображал, будто должен всегда ходить по деревне одной и той же дорогой и, боже упаси, не сворачивать с нее ни вправо у мельницы, ни влево у мастерской колесника.

Со временем мне предстояло поступить в подмастерья к Джо, пока же я еще не дорос до этой чести, миссис Джо считала, что со мной нечего миндальничать. Поэтому я и в кузнице помогал, и если кому-нибудь из соседей потре-

буется, бывало, мальчик гонять с огорода птиц или выбирать из земли камни, эти почетные дела поручались мне. Однако, дабы не уронить достоинства нашего семейства в глазах соседей, на полке над кухонным очагом была водружена копилка, в которую, как о том было широко оповещено, опускались мои заработки. Я готов предположить, что они в конечном счете предназначались на погашение государственного долга; во всяком случае, надежды самому воспользоваться этими сокровищами у меня не было.

Двоюродная бабушка мистера Уопсла держала у нас в деревне вечернюю школу; другими словами, эта старушенция, располагавшая весьма ограниченными средствами и неограниченным количеством всяких недугов, ежедневно от шести до семи часов вечера отсыпалась в присутствии десятка юнцов, с которых брала по два пенса в неделю за возможность любоваться сим поучительным зрелищем. Она снимала небольшой домик, в верхней комнате которого жил мистер Уопсл, и нам внизу бывало слышно, как он изливал свои чувства в возвышенных и грозных монологах, временами топая ногою в потолок. Считалось, что раз в три месяца мистер Уопсл устраивал школьникам экзамен. На самом же деле все сводилось к тому, что мистер Уопсл, отвернув обшлага и взъерошив волосы, декламировал нам монолог Марка Антония над трупом Цезаря. Затем следовала ода Коллинза * «Страсти», причем больше всего мистер Уопсл мне нравился в роли Мщения, когда бросал он оземь меч кровавый свой и, грозным взором всех испепеляя, войну, и мор, и горе возвещал. Лишь много позже, когда я на опыте узнал, что такое страсти, я сравнил их с впечатлениями от Коллинза и Уопсла, и должен сказать — сравнение оказалось не в пользу этих джентльменов.

Кроме упомянутого просветительного заведения, двоюродная бабушка мистера Уопсла держала (в той же комнате) мелочную лавочку. Она никогда не знала, какой товар есть в лавке и что сколько стоит; но в одном из ящиков комода хранилась засаленная тетрадка, служившая прейскурантом, и с помощью этого оракула Бидди производила все торговые операции. Бидди была внучкой двоюродной бабушки мистера Уопсла. Кем она приходилась мистеру Уопслу, я не берусь определить,— эта задача мне не по

разуму. Она была сирота, как и я, и, подобно мне, воспитана своими руками. Самым примечательным в ней казались мне ее конечности, ибо волосы ее всегда взывали о гребне, руки — о мыле, а башмаки — о дратве и новых задниках. Впрочем, это описание годится только для будних дней. По воскресеньям Бидди отправлялась в церковь преображенная.

Главным образом собственными силами, и уж скорее с помощью Бидди, чем двоюродной бабушки мистера Уопсла, я продрался сквозь алфавит, как сквозь заросли терновника, накалываясь и обдираясь о каждую букву. Потом я попал в лапы к разбойникам — девяти цифрам, которые каждый вечер, казалось, меняли свое обличье нарочно для того, чтобы я не узнал их. Но в конце концов я с грехом пополам начал читать, писать и считать, правда — в самых скромных пределах.

Однажды вечером я сидел в кухне у огня и, склонившись над грифельной доской, прилежно составлял письмо к Джо. С нашей памятной гонки по болотам прошел, очевидно, целый год,— снова стояла зима и на дворе морозило. Прислонив к решетке очага букварь для справок и промучившись часа полтора, я изобразил печатными буквами следующее послание: «мИлы ДЖО жылаю теБе здаровя ДЖО я Скоро буду теБя учит и Мы будим так раДы ДЖО а када я буду у ТИбя пдмастерем тото будиТ рас чуДесна Остаюсь слюбовю ПиП».

Никакой необходимости сноситься с Джо письменно у меня не было, потому что он сидел рядом со мной и мы были одни в кухне. Но я передал ему свое послание из рук в руки, и он принял его как некое чудо премудрости.

— Ай да Пип! — воскликнул Джо, широко раскрыв свои голубые глаза.— Ты, дружок, стал у нас совсем ученый, верно я говорю?

— Нет, куда мне! — вздохнул я, с сомнением поглядывая на доску; теперь, когда она была в руках у Джо, я увидел, что строчки получились совсем кривые.

— Да у тебя тут есть Д,— удивился Джо,— и Ж, и О, да какие красивые. Вот и выходит, Пип, Д-Ж-О, ДЖО.

Я не помнил, чтобы Джо хоть раз прочел что-нибудь, кроме этого короткого слова, а в прошлое воскресенье в церкви, нечаянно перевернув молитвенник вверх ногами,

я заметил, что Джо, сидевший со мной рядом, не испытал от этого ни малейшего неудобства. Решив тут же выяснить, с самого ли начала мне придется начинать, когда я буду давать Джо уроки, я сказал:

— А ты прочти дальше, Джо.

— Дальше, Пип? — сказал Джо, внимательно вглядываясь в мое послание.— Раз, два, три. Да тут, Пип, целых три Д, и Ж, и О, и Д-Ж-О — Джо!

Я нагнулся к Джо и, водя пальцем по доске, прочел ему письмо с начала до конца.

— Поди ж ты! — сказал Джо, когда я кончил.— Ученый ты у нас, право ученый.

— Как ты напишешь «Гарджери», Джо? — спросил я скромно-покровительственным тоном.

— А я его не буду писать,— сказал Джо.

— Ну, а ты представь себе, что пишешь.

— Этого никак не представишь,— сказал Джо.— А я, между прочим, чтение тоже очень уважаю.

— Разве, Джо?

— Очень уважаю. Дай мне хорошую книжку, либо газету хорошую, и посади у огонька, так мне больше ничего не нужно.— Он задумчиво потер себе колено и продолжал: — А уж как увидишь Д, и Ж, и О, да скажешь: «Вот оно Д-Ж-О, Джо»,— тогда читать и вовсе интересно.

Из этого я заключил, что образование Джо, так же как применение силы пара, находится еще в зачаточном состоянии.

— А ты разве не ходил в школу, когда был маленький, Джо?

— Нет, Пип.

— А почему ты не ходил в школу, когда был маленький?

— Почему? — переспросил Джо и, как всегда, когда впадал в задумчивость, стал медленно помешивать угли, просунув кочергу между прутьев решетки.— А вот послушай. Мой отец, Пип, был любитель выпить, проще сказать — пил горькую, а когда, бывало, напьется, то бил мою мать безо всякой жалости. Лучше бы он так молотом по наковальне бил,— так нет же, все ей доставалось, все ей, да еще мне. Ты, Пип, слушаешь меня, понимаешь, что я говорю?

— Да, Джо.

— По этой самой причине мы с матерью несколько раз от отца убегали. Вот мать наймется где-нибудь на работу и скажет, бывало: «Джо, теперь ты с божьей помощью и учиться пойдешь», и отдаст меня в школу. Только отец у меня был предобрый человек, и никак ему было невозможно жить без нас. Вот он узнает, где мы находимся, да и соберет народ, да такой шум поднимет перед домом, что хозяевам невтерпеж станет, они и говорят: «Уходите вы, подобру-поздорову», и выгонят нас на улицу. Ну, он тогда ведет нас домой и бьет пуще прежнего. И понимаешь, Пип,— сказал Джо, переставая мешать угли и устремив на меня задумчивый взгляд,— ученью моему это здорово мешало.

— Еще бы, бедный Джо!

— Только ты помни, Пип,— сказал Джо, строго постучав кочергой по решетке,— каждому надо воздавать по справедливости, чтобы никому обидно не было, и я так скажу, что отец мой был предобрый человек, понял ты меня?

Я не понял, но промолчал.

— То-то и есть,— продолжал Джо.— Однако ж кому-то надо варить похлебку, не то похлебка не сварится, понятно, Пип?

Это я понял, и так и сказал.

— По этой самой причине отец слова против того не вымолвил, чтобы я шел работать; я и пошел работать, по той же части, что и он,— только он-то ни по какой части ничего не делал,— и работал я на совесть, это ты можешь мне поверить, Пип. Скоро я уже мог его содержать, и содержал до самых тех пор, пока его не хватил покалиптический удар. И было у меня такое желание, чтобы у него на могиле значилось, что хотя не без грехов он свой прожил век, читатель, помни, он был предобрый человек.

Джо произнес это двустишие так выразительно и с такой явной гордостью, что я спросил, уж не сам ли он это сочинил.

— Сам,— ответил Джо.— Единым духом сочинил. Точно подкову одним ударом выковал. Со мной сроду такого не бывало — я даже себе не поверил,— сказать по

правде, просто диву дался, как это у меня вышло. Так вот, я и говорю, Пип, было у меня такое желание, чтобы это вырезали у него на могильной плите; но стихи денег стоят, как их ни вырезай — крупными буквами или мелкими,— и дело не выгорело. Похороны и без того недешево обошлись, а те деньги, что остались, нужны были для матери. У нее здоровье сильно сдало, совсем была никуда. Она, бедная, ненамного его пережила, пришло время и ее косточкам успокоиться.

Голубые глаза Джо подернулись влагой, и он потер сначала один глаз, потом другой самым неподходящим для этого дела предметом — круглой шишкой на рукоятке кочерги.

— Остался я тогда один-одинешенек,— сказал Джо.— А потом познакомился с твоей сестрой. Имей в виду, Пип,— Джо посмотрел на меня решительно и твердо, словно знал, что я с ним не соглашусь,— твоя сестра — видная женщина.

Я невольно отвел глаза и с сомнением покосился на огонь.

— Что бы там люди ни говорили, Пип, будь то среди родных или, к примеру сказать, в деревне, но твоя сестра,— и Джо закончил, отбивая каждый слог кочергой по решетке,— вид-на-я женщина.

Не в силах придумать лучшего ответа, я сказал только:

— Я рад, что ты так считаешь, Джо.

— Вот и я тоже,— подхватил Джо.— Я тоже рад, что я так считаю, Пип. А что немножко красна, да немножко кое-где костей многовато, так неужели мне на это обижаться можно?

Я глубокомысленно заметил, что если уж он на это не обижается, то другим и подавно нечего.

— Вот-вот,— подтвердил Джо.— Так оно и есть. Ты правильно сказал, дружок. Когда я познакомился с твоей сестрой, здесь только и разговоров было о том, как она тебя воспитывает своими руками. Все ее за это хвалили, и я тоже. А уж ты,— продолжал Джо с таким выражением, будто увидел что-то в высшей степени противное,— кабы ты мог знать, до чего ты был маленький да плохонький, ты бы и смотреть на себя не захотел.

Не слишком довольный таким отзывом, я сказал:

— Ну что говорить обо мне, Джо.

— А как раз о тебе и шел разговор, Пип,— возразил Джо с простодушной лаской.— Когда я предложил твоей сестре, чтобы, значит, нам с ней жить и чтобы обвенчаться, как только она надумает переехать в кузницу, я ей тут же сказал: «И ребеночка приносите. Бедный ребеночек, говорю, господь с ним, для него в кузнице тоже место найдется».

Я расплакался и, бросившись Джо на шею, стал просить у него прощенья, а он выпустил из рук кочергу, чтобы обнять меня, и сказал:

— Не плачь, дружок! Мы же с тобой друзья, верно, Пип?

Когда я немного успокоился, Джо снова заговорил:

— Вот такие-то дела, Пип. Так оно и обстоит. И когда ты начнешь меня обучать, Пип (только я тебе вперед говорю, я к ученью тупой, очень даже тупой), пусть миссис Джо лучше не знает, что мы с тобой затеяли. Надо будет это, как бы сказать, втихомолку устроить. А почему втихомолку? Сейчас я тебе скажу, Пип.

Он снова взял в руки кочергу, без чего, вероятно, не мог бы продвинуться ни на шаг в своем объяснении.

— Твоя сестра, видишь ли, адмиральша.

— Адмиральша, Джо?

Я был поражен, ибо у меня мелькнула смутная мысль (и, должен сознаться, надежда), что Джо развелся с нею и выдал ее замуж за лорда адмиралтейства.

— Адмиральша,— повторил Джо.— То есть, я имею в виду, что она любит адмиральствовать над тобой да надо мною.

— А-а.

— И ей не по нраву, чтобы в доме были ученые,— продолжал Джо.— А уж если бы я чему-нибудь выучился, это ей особенно пришлось бы не по нраву, она бы стала бояться, а ну, как я вздумаю бунтовать. Вроде как мятежники, понимаешь?

Я хотел ответить вопросом и уже начал было: «А почему...», но Джо перебил меня:

— Погоди. Я знаю, что ты хочешь сказать, Пип, но ты погоди. Слов нет, иногда она здорово нами помыкает. Слов нет, она и на тумаки не скупится, и на голову нам рада

сесть. Уж когда твоя сестра начнет лютовать,— Джо понизил голос до шепота и оглянулся на дверь,— тут, кто не захочет соврать, всякий скажет, что она сущий Дракон.

Джо произнес это слово так, будто оно начинается по крайней мере с трех заглавных Д.

— Почему я не бунтую? Это самое ты хотел спросить, когда я тебя остановил?

— Да, Джо.

— Ну, перво-наперво,— сказал Джо, перекладывая кочергу в левую руку, чтобы правой подергать себя за бакен (я привык не ждать ничего хорошего от этого его мирного жеста),— у твоей сестры ума палата, Пип. Да, вот именно, ума палата.

— Что это значит? — спросил я, рассчитывая поставить его в тупик. Но Джо нашелся быстрее, чем я ожидал: пристально глядя в огонь и обходя существо вопроса, он ошарашил меня ответом: — Это значит — у твоей сестры... Ну, а у меня ума поменьше,— продолжал Джо, оторвав наконец взгляд от огня и снова принимаясь теребить свой бакен.— А еще, Пип,— и намотай ты это себе на ус, дружок,— столько я насмотрелся на свою несчастную мать, столько насмотрелся, как женщина надрывается, трудится до седьмого пота, да от горя и забот смолоду и до смертного часа покоя не знает, что теперь я пуще всего боюсь, как бы мне чем не обидеть женщину, лучше я иной раз себе во вред что-нибудь сделаю. Оно бы, конечно, лучше было, кабы доставалось одному только мне, кабы ты не знал, что такое Щекотун, и я мог бы все принять на себя. Но тут уж ничего не поделаешь, Пип, как оно есть, так и есть, и ты на эти неполадки плюнь, не обращай внимания.

С этого вечера я, хоть и был очень молод, научился по-новому ценить Джо. Мы с ним как были, так и остались равными; но теперь, глядя на Джо и думая о нем, я часто испытывал новое ощущение, будто в душе смотрю на него снизу вверх.

— Ишь ты! — сказал Джо, поднимаясь, чтобы подбросить в огонь угля.— Стрелки-то на часах куда подобрались, того и гляди пробьет восемь, а ее до сих пор дома нет. Не дай бог, лошадка дяди Памблчука поскользнулась на льду и упала.

Поскольку дядя Памблчук был холостяком и пользовался услугами кухарки, которой не доверял ни на грош, миссис Джо иногда наведывалась к нему в базарные дни, чтобы своим женским советом помочь при покупке всего, что требовалось по домашности. Сегодня как раз был базарный день, и миссис Джо отправилась в одну из таких поездок.

Джо раздул огонь, подмел пол у очага, и мы вышли за дверь послушать, не едет ли тележка. Вечер выдался ясный, морозный, дул сильный ветер, земля побелела от инея. Мне подумалось, что на болотах не выдержать в такую ночь — замерзнешь насмерть. А потом я посмотрел на звезды и представил себе, как страшно, должно быть, замерзающему человеку смотреть на них и не найти в их сверкающем сонме ни сочувствия, ни поддержки.

— Вон и лошадку слышно,— сказал Джо.— Звон-то какой, что твой колокольчик.

Железные подковы выбивали по твердой дороге мелодичную дробь, причем лошадка бежала гораздо быстрее обычного. Мы вынесли стул, чтобы миссис Джо было удобно слезть с тележки, помешали угли, так что окошко ярко засветилось в темноте, и проверили, чисто ли все прибрано на кухне. Едва эти приготовления были закончены, как путники подъехали к дому, укутанные до бровей. Вот миссис Джо спустили на землю, вот и дядя Памблчук слез и укрыл лошадку попоной, и вот уже мы все стоим в кухне, куда нанесли с собой столько холодного воздуха, что он, казалось, остудил даже огонь в очаге.

— Ну,— сказала миссис Джо, быстро и взволнованно сбрасывая с себя шаль и откидывая назад капор, так что он повис на лентах у нее за спиной,— если и сегодня этот мальчишка не будет благодарен, так, значит, от него и ждать нечего.

Я придал своему лицу настолько благодарное выражение, насколько это возможно для мальчика, не ведающего, кого и за что он должен благодарить.

— Нужно только надеяться,— сказала сестра,— что с ним там не будут миндальничать. Я на этот счет не спокойна.

— Она не из таких, сударыня,— сказал мистер Памблчук.— Она в этом понимает.

Она? Я посмотрел на Джо, изобразив губами и бровями «Она?». Джо посмотрел на меня и тоже изобразил губами и бровями «Она?». Но так как на этой провинности его застигла миссис Джо, он, как всегда в подобных случаях, примирительно посмотрел на нее и почесал переносицу.

— Ну? — прикрикнула сестра.— На что уставился? Или в доме пожар?

— Как, стало быть, здесь кто-то говорил «Она»,— вежливо намекнул Джо.

— А разве она не она? — вскинулась сестра.— Или, может быть, по-твоему, мисс Хэвишем — он? Но до такого, пожалуй, даже ты не додумаешься.

— Мисс Хэвишем, это которая в нашем городе? — спросил Джо.

— А разве есть мисс Хэвишем, которая в нашей деревне? — съязвила сестра.— Она хочет, чтобы мальчишка приходил к ней играть. И он, конечно, пойдет к ней. И пусть только попробует не играть,— прибавила миссис Гарджери, грозным потряхиванием головы побуждая меня к беспечной резвости и веселью,— уж я ему тогда покажу!

Я слыхал кое-что о мисс Хэвишем из нашего города,— о ней слыхали все, на много миль в округе. Говорили, что это необычайно богатая и суровая леди, живущая в полном уединении, в большом мрачном доме, обнесенном железной решеткой от воров.

— Надо же! — протянул изумленный Джо.— А откуда она, интересно, знает Пипа?

— Вот олух! — вскричала сестра.— Кто тебе сказал, что она его знает?

— Как, стало быть, здесь кто-то говорил,— снова вежливо намекнул Джо,— что, дескать, она хочет, чтобы он приходил к ней играть.

— А не могла она разве спросить дядю Памблчука, нет ли у него на примете какого-нибудь мальчика, чтобы приходил к ней играть? И не может разве быть, чтобы дядя Памблчук арендовал у нее участок и иногда — не стоит говорить раз в полгода или в три месяца, это не твоего ума дело,— иногда ходил к ней платить за аренду? И не могла она, что ли, его спросить, нет ли у него на примете мальчика, чтобы приходил к ней играть? А дядя Памблчук, который всегда о нас думает и заботится,— хоть ты, Джозеф,

кажется, с этим не согласен (она произнесла это с глубокой укоризной, словно он был самым бесчувственным племянником на свете), не мог он разве упомянуть об этом мальчишке, что стоит тут и хорохорится (клянусь, я этого не делал!), даром что с колыбели сидит у меня на шее?

— Хорошо сказано! — воскликнул дядя Памблчук.— Что верно, то верно! В самую точку! Теперь, Джозеф, тебе все ясно.

— Нет, Джозеф,— сказала сестра все так же укоризненно, в то время как Джо продолжал виновато почесывать переносицу,— тебе, хоть ты, может быть, этого не подозреваешь, еще не все ясно. Ты, наверно, решил, что всё, ан нет, Джозеф. Ты еще не знаешь, что дядя Памблчук подумал: как знать, а может, мальчик там свое счастье найдет, и предложил сегодня же отвезти его в город в своей тележке и взять к себе переночевать, а завтра утром самолично доставить к мисс Хэвишем. О господи милостивый! — внезапно крикнула сестра, яростно сдергивая с себя капор,— что же это я, заболталась со всякими разинями, когда дядя Памблчук ждет, и лошадка мерзнет на улице, а мальчишка весь в грязи да в саже от макушки до пят!

Тут она схватила меня, как орел ягненка, и, сунув лицом в деревянную шайку, а головой под кран, до тех пор мылила, и толкла, и месила, и терла, и скребла, и терзала, пока я совсем не ошалел. (Замечу кстати, что едва ли кто из ныне живущих столпов науки лучше меня знает, как болезненно действует на человеческую физиономию грубое прикосновение обручального кольца.)

Когда с омовением было покончено, меня одели в чистое, жесткое, как дерюга, белье, словно кающегося грешника во власяницу, и втиснули в самое узкое и неудобное платье. В таком виде я был сдан мистеру Памблчуку, и он, приняв меня сугубо официально, точно шериф преступника, разразился фразой, которую, без сомнения, уже давно смаковал про себя:

— Будь вечно благодарен всем твоим друзьям, мальчик, особенно же тем, кто воспитал тебя своими руками!

— Прощай, Джо!

— Прощай, Пип, храни тебя бог, дружок!

Я еще никогда с ним не расставался, и от нахлынувших на меня чувств, а также от оставшейся в глазах мыльной

пены, сначала даже не видел из тележки звезд. Но потом они одна за другой засияли в небе, не пролив, однако, ни малейшего света на вопрос, почему, собственно, я должен идти играть к мисс Хэвишем и во что, собственно, я должен там играть.

ГЛАВА VIII

Владения мистера Памблчука на Торговой улице нашего городка были пропитаны особым, перечно-мучнистым духом, как и подобает владениям торговца зерном и семенами. Мне представлялось, что он должен быть очень счастливым человеком, потому что в лавке у него так много маленьких выдвижных ящичков; а заглянув в те из них, что были поближе к полу, и увидев там завязанные нитками бумажные пакетики, я подумал, что в теплые дни семенам и луковицам, наверно, хочется вырваться из своих темниц и цвести на воле.

Эта мысль пришла мне в голову наутро после приезда. С вечера меня сразу отправили спать в каморку на чердаке, где скат крыши проходил так низко над кроватью, что расстояние от черепицы до моих бровей было едва ли более фута. В то же утро я обнаружил своеобразную связь между огородными семенами и плисовыми панталонами. В плисовых панталонах ходил и сам мистер Памблчук и его приказчик; и почему-то общий вид и запах плиса так отдавал семенами, а общий вид и запах семян так отдавал плисом, что в моем представлении они как бы сливались воедино. Тогда же я сделал еще одно наблюдение: торговая деятельность мистера Памблчука, казалось, состояла в том, чтобы поглядывать через улицу на седельника, который, казалось, занимался тем, что глаз не спускал с каретника, который, казалось, наживал деньги тем, что, заложив руки в карманы, разглядывал пекаря, который в свою очередь, скрестив руки на груди, глазел на бакалейщика, который стоял у дверей своей лавки и зевал, уставившись на аптекаря. Выходило, что единственным, кто уделял внимание собственному делу, был часовщик, с увеличительным стеклом в глазу, неизменно склоненный над своим столи-

ком и неизменно привлекавший взоры кучки досужих фермеров в холщовых блузах, толпившихся перед его витриной.

В восемь часов мистер Памблчук и я сели завтракать в комнате, выходившей во двор, в то время как приказчик пил чай и ел свою краюху хлеба с маслом, пристроившись на мешке с горохом в самом магазине. В обществе мистера Памблчука я чувствовал себя отвратительно. Мало того, что он разделял мнение моей сестры, будто пища моя предназначается единственно для умерщвления плоти, мало того, что он норовил дать мне как можно больше корок и как можно меньше масла, а в молоко подлил столько теплой воды, что честнее было бы обойтись вовсе без молока,— вдобавок ко всему этому разговор его сплошь состоял из арифметики. В ответ на мое вежливое утреннее приветствие он вопросил: «Сколько будет семью девять?» А что я мог ему сказать, застигнутый врасплох, в чужом доме, и притом натощак? Я был голоден, но едва я проглотил первый кусок, как на меня посыпались арифметические примеры, которых хватило на все время завтрака. «Семь да четыре? — Да восемь? — Да шесть? — Да два? — Да десять?» и так далее. Ответив на один вопрос, я только-только успевал сделать глоток, как уже слышал следующий; а мистер Памблчук, которому ничего не нужно было отгадывать, сидел, развалясь, на стуле и (да простится мне это выражение) как заправский обжора поедал горячие булочки с свиной грудинкой.

Вот почему я очень обрадовался, когда пробило десять часов и мы отправились к мисс Хэвишем, хотя я понятия не имел, как мне следует вести себя у этой незнакомой леди. Через четверть часа мы подошли к ее дому — кирпичному, мрачному, сплошь в железных решетках. Некоторые окна были замурованы; из тех, что еще глядели на свет божий, в нижнем этаже все были забраны ржавыми решетками; перед домом был двор, тоже обнесенный решеткой, так что мы, позвонив у калитки, стали ждать, чтобы кто-нибудь вышел нам отворить. Заглянув внутрь (мистер Памблчук и тут нашел время спросить: «Да четырнадцать?», но я сделал вид, что не слышу), я увидел в глубине двора большую пивоварню. В пивоварне никто не работал, и видно было, что она бездействует уже давно.

В доме поднялось окошко, звонкий голосок спросил: «Как фамилия?» Мой спутник ответил: «Памблчук». Голос сказал: «Правильно», окошко захлопнулось, и во дворе показалась нарядная девочка с ключами в руках.

— Вот,— сказал мистер Памблчук,— я привел Пипа.

— Это и есть Пип? — переспросила девочка; она была очень красивая и очень гордая с виду.— Входи, Пип.

Мистер Памблчук тоже шагнул было во двор, но она быстро притворила калитку.

— Простите,— сказала она,— вам разве угодно видеть мисс Хэвишем?

— Если мисс Хэвишем угодно видеть меня...— отвечал мистер Памблчук сконфузившись.

— Ах, вот как,— сказала девочка.— Нет, ей не угодно.

Это было сказано так хладнокровно и твердо, что мистер Памблчук, как ни было оскорблено его достоинство, ничего не мог возразить. Он только окинул меня строгим взглядом — точно это я его обидел! — и удалился, но не раньше, чем произнес с упреком:

— Мальчик! Да послужит твое поведение к чести тех, кто воспитал тебя своими руками.

Я уже боялся, что он вот-вот воротится и спросит через решетку: «Да шестнадцать?», но этого не случилось.

Юная моя провожатая заперла калитку, и мы пошли к дому. Двор был мощеный и чистый, но из щелей между плитами пробивалась трава. Вправо уходила дорога к пивоварне; деревянные ворота, когда-то замыкавшие дорогу, стояли настежь, и все двери пивоварни стояли настежь, так что за ними видна была высокая ограда; и все было пусто и заброшено. Холодный ветер казался здесь холодней, чем на улице; он пронзительно завывал, проносясь под крышей пивоварни, как воет ветер в снастях корабля в открытом море.

Заметив, что я смотрю на пивоварню, девочка сказала:

— Ты бы, мальчик, мог выпить все пиво, сколько его здесь ни варят, и ничего бы с тобой не было.

— Наверно, мог бы, мисс,— робко подтвердил я.

— Теперь здесь лучше и не пробовать варить пиво, все равно выйдет кислое, ты как думаешь, мальчик?

— Похоже на то, мисс.

— Впрочем, никто и не собирается пробовать,— добавила она.— С этим давно покончили, и все здесь так и будет стоять, пока не рассыплется. А пива в погребах напасено столько, что можно бы утопить весь Мэнор-Хаус.

— Так называется этот дом, мисс?

— Это одно из его названий, мальчик.

— А у него есть и другие названия, мисс?

— Есть еще одно. Он называется Сатис-Хаус; «Сатис» — это значит «довольно», не то по-гречески, не то по-латыни, не то по-древнееврейски,— мне, в общем, все равно.

— «Дом Довольно»! — сказал я.— Какое чудное название, мисс.

— Да,— отвечала она,— но в нем есть особенный смысл. Когда дому давали такое название, это значило, что тому, кто им владеет, ничего больше не будет нужно. В то время, видно, умели довольствоваться малым. Но пойдем, мальчик, не мешкай.

Она все время называла меня «мальчик» и говорила обидно-пренебрежительным тоном, а между тем она была примерно одних лет со мной. Но выглядела она, разумеется, много старше, потому что была девочка, и очень красивая и самоуверенная; а на меня она смотрела свысока, точно была совсем взрослая, и притом королева.

Мы вошли в дом через боковую дверь — парадная была заперта снаружи двойной цепью,— и меня поразила полная темнота в прихожей, где девочка оставила зажженную свечу. Взяв ее со стола, она повела меня длинными коридорами, а потом вверх по лестнице, и везде было так же темно, только пламя свечи немного разгоняло мрак.

Наконец мы подошли к какой-то двери, и девочка сказала:

— Входи.

Я хотел пропустить ее вперед — не столько из вежливости, сколько потому, что оробел,— но она только проронила: «Какие глупости, мальчик, я не собираюсь туда входить», и гордо удалилась, а главное — унесла с собой свечу.

Мне стало очень неуютно, даже страшновато. Однако делать было нечего,— я постучал в дверь, и чей-то голос разрешил мне войти. Я вошел и очутился в довольно

большой комнате, освещенной восковыми свечами. Ни капли дневного света не проникало в нее. Я решил, что, судя по мебели, это спальня, хотя вид и назначение многих предметов обстановки были мне в то время совершенно неизвестны. Но среди них выделялся затянутый материей стол с зеркалом в золоченой раме, и я сразу подумал, что это, должно быть, туалетный стол знатной леди.

Возможно, что я не разглядел бы его так быстро, если бы возле него никого не было. Но в кресле, опираясь локтем на стол и склонив голову на руку, сидела леди, диковиннее которой я никогда еще не видел и никогда не увижу.

Она была одета в богатые шелка, кружева и ленты — сплошь белые. Туфли у нее тоже были белые. И длинная белая фата свисала с головы, а к волосам были приколоты цветы померанца, но волосы были белые. На шее и на руках у нее сверкали драгоценные камни, и какие-то сверкающие драгоценности лежали перед ней на столе. Вокруг в беспорядке валялись платья, не такие великолепные, как то, что было на ней, и громоздились до половины уложенные сундуки. Туалет ее был не совсем закончен,— одна туфля еще стояла на столе, фата была плохо расправлена, часы с цепочкой не надеты, а перед зеркалом вместе с драгоценностями было брошено какое-то кружево, носовой платок, перчатки, букет цветов и молитвенник.

Все эти подробности я заметил не сразу, но и с первого взгляда я увидел больше, чем можно было бы предположить. Я увидел, что все, чему надлежало быть белым, было белым когда-то очень давно, а теперь утеряло белизну и блеск, поблекло и пожелтело. Я увидел, что невеста в подвенечном уборе завяла, так же как самый убор и цветы, и ярким в ней остался только блеск ввалившихся глаз. Я увидел, что платье, когда-то облегавшее стройный стан молодой женщины, теперь висит на иссохшем теле, от которого осталась кожа да кости. Однажды на ярмарке меня водили смотреть страшную восковую фигуру, изображавшую не помню какую легендарную личность, лежащую в гробу. В другой раз меня водили в одну из наших старинных церквей на болотах посмотреть скелет в истлевшей одежде, долгие века пролежавший в склепе под каменным полом церкви. Теперь скелет и восковая фигура, казалось,



обрели темные глаза, которые жили и смотрели на меня. Я готов был закричать, но голос изменил мне.

— Кто здесь? — спросила леди.

— Пип, мэм.

— Пип?

— Мальчик от мистера Памблчука, мэм. Я пришел... играть.

— Подойди ко мне, дай на тебя посмотреть. Подойди ближе.

Вот тут-то, стоя перед ней и стараясь не встречаться с ней глазами, я и разглядел подробно все, что ее окружало, и заметил, что часы ее остановились и показывают без двадцати девять, и большие часы в углу комнаты тоже стоят и тоже показывают без двадцати девять.

— Посмотри на меня,— сказала мисс Хэвишем.— Ты не боишься женщины, которая за все время, что ты живешь на свете, ни разу не видала солнца?

Каюсь, я не побоялся отягчить свою совесть явной ложью, заключавшейся в слове «нет».

— Ты знаешь, что у меня здесь? — спросила она, приложив сначала одну, потом другую руку к левой стороне груди.

— Да, мэм (я невольно вспомнил моего каторжника и его приятеля).

— Что это у меня?

— Сердце.

— Разбитое!

Она выговорила это слово горячо, настойчиво, с загадочной, точно горделивой улыбкой. Еще некоторое время она держала руки у груди, а потом опустила, словно они были очень тяжелые.

— Я устала,— сказала мисс Хэвишем.— Я хочу развлечься, а взрослые люди мне опостылели. Играй!

Мне кажется, даже самые заядлые спорщики среди моих читателей вынуждены будут согласиться, что при данных обстоятельствах она не могла потребовать от бедного мальчугана ничего более трудного.

— У меня бывают болезненные прихоти,— продолжала она,— и сейчас у меня такая прихоть: хочу смотреть, как играют. Ну же! — Она нетерпеливо пошевелила пальцами правой руки.— Играй, играй, играй!

Я так хорошо помнил угрозу сестры «показать мне», что на мгновение меня обуяла безумная мысль — пуститься вскачь по комнате, изображая собою лошадку мистера Памблчука. Но я тут же почувствовал, что у меня ничего не выйдет, и продолжал стоять неподвижно, глядя на мисс Хэвишем, которая, видимо, заподозрила меня в своеволии, потому что спросила, после того как мы вдоволь насмотрелись друг на друга:

— Ты, может быть, бука и упрямец?

— Нет, мэм. Мне вас очень жалко, и мне очень жалко, что я сейчас не могу играть. Если вы на меня пожалуетесь, мне попадет от сестры, так что я не стал бы отказываться, если б мог. Но здесь все для меня так ново, и все такое странное и красивое... и печальное...

Я замолчал, чувствуя, что могу сболтнуть или уже сболтнул лишнее, и мы опять долго смотрели друг на друга.

Прежде чем снова заговорить, она отвела от меня глаза и поглядела на свой наряд, на туалетный стол и наконец на свое отражение в зеркале.

— Так ново для него,— пробормотала она,— так старо для меня; так странно для него, так привычно для меня; так печально для нас обоих! Позови Эстеллу.

Она по-прежнему смотрела в зеркало, и я, думая, что она все еще разговаривает сама с собой, не двинулся с места.

— Позови Эстеллу,— повторила она, сверкнув на меня глазами.— Это ведь ты можешь сделать. Выйди за дверь и позови Эстеллу.

Стоять в потемках в таинственном коридоре незнакомого дома, орать во весь голос «Эстелла» гордой красавице, невидимой и невнемлющей, и чувствовать, что, выкрикивая ее имя, допускаешь непростительную вольность,— это было почти так же тяжко, как играть по заказу. Но в конце концов она откликнулась, и свет ее свечи замерцал в темном коридоре, подобно звезде.

Мисс Хэвишем поманила к себе Эстеллу и, взяв со стола какое-то блестящее украшение, любовно приложила его сначала к ее круглой шейке, потом к темным вьющимся волосам.

— Когда-нибудь, дорогая, это будет твое, ты-то сумеешь носить драгоценности. Поиграй с этим мальчиком в карты, а я посмотрю.

— С этим мальчиком! Но ведь это самый обыкновенный деревенский мальчик!

Мне показалось,— только я не поверил своим ушам,— будто мисс Хэвишем ответила:

— Ну что же! Ты можешь разбить его сердце!

— Во что ты умеешь играть, мальчик? — спросила меня Эстелла самым что ни на есть надменным тоном.

— Только в дурачки, мисс.

— Вот и оставь его в дурачках,— сказала мисс Хэвишем.

И мы сели играть в карты.

Тут-то я начал понимать, что не только часы, но и все в комнате остановилось давным-давно. Я заметил, что мисс Хэвишем положила блестящее украшение в точности на то же место, откуда взяла его. Пока Эстелла сдавала карты, я опять взглянул на туалетный стол и увидел, что пожелтевшая белая туфля, стоящая на нем, ни разу не надевана. Я взглянул на необутую ногу и увидел, что пожелтевший белый шелковый чулок на ней протоптан до дыр. Если бы в комнате не замерла вся жизнь, не застыли бы в неподвижности все поблекшие, ветхие вещи,— даже это подвенечное платье на иссохшем теле не было бы так похоже на гробовые пелены, а длинная белая фата — на саван.

Мисс Хэвишем сидела, глядя на нас, подобная трупу, и казалось, что кружева и оборки на ее подвенечном платье сделаны из желтовато-серой бумаги. В то время я еще не знал, что при раскопках древних захоронений находят иногда тела умерших, которые тут же, на глазах, обращаются в пыль; но с тех пор я часто думал, что она производила именно такое впечатление — словно вот-вот рассыплется в прах от первого луча дневного света.

— Он говорит вместо трефы — крести,— презрительно заявила Эстелла, едва мы начали играть.— А какие у него шершавые руки! И какие грубые башмаки!

Прежде мне в голову не приходило стыдиться своих рук; но тут и мне показалось, что руки у меня неважные.

Презрение Эстеллы было так сильно, что передалось мне, как зараза.

Она выиграла, и я стал сдавать. Я тут же сбился, что было вполне естественно,— ведь я чувствовал, что она только и ждет какого-нибудь промаха с моей стороны,— и она обозвала меня глупым, нескладным деревенским мальчиком.

— Что же ты ей не ответишь? — спросила мисс Хэвишем.— Она наговорила тебе так много неприятного, а ты все молчишь. Какого ты о ней мнения?

— Не хочется говорить,— замялся я.

— А ты скажи мне на ухо,— и мисс Хэвишем наклонилась ко мне.

— По-моему, она очень гордая,— сказал я шепотом.

— А еще?

— По-моему, она очень красивая.

— А еще?

— По-моему, она очень злая (взгляд Эстеллы, устремленный в это время на меня, выражал беспредельное отвращение).

— А еще?

— Еще я хочу домой.

— Хочешь уйти и никогда больше ее не видеть, хотя она такая красивая?

— Не знаю, может быть и захочется еще ее увидеть, только сейчас я хочу домой.

— Скоро пойдешь домой,— сказала мисс Хэвишем вслух.— Доиграй до конца.

Если бы не та первая загадочная улыбка, я бы готов был поспорить, что мисс Хэвишем не умеет улыбаться. На поникшем ее лице застыло угрюмое, настороженное выражение,— по всей вероятности, тогда же, когда все окаменело вокруг,— и, казалось, не было силы, способной его оживить. Грудь ее ввалилась,— от этого она сильно горбилась, и голос потух,— она говорила негромко, глухим, безжизненным тоном; глядя на нее, каждый сказал бы, что вся она, внутренне и внешне, душою и телом, поникла под тяжестью какого-то страшного удара.

Эстелла опять обыграла меня и бросила свои карты на стол, словно гнушаясь победой, которую одержала над таким противником.

— Когда же тебе опять прийти? — сказала мисс Хэвишем.— Сейчас подумаю.

Я хотел было напомнить ей, что нынче среда, но она остановила меня прежним нетерпеливым движением пальцев правой руки.

— Нет, нет! Я знать не знаю дней недели, знать не знаю времен года. Приходи опять через шесть дней. Слышишь?

— Да, мэм.

— Эстелла, сведи его вниз. Покорми его, и пусть побродит там, оглядится. Ступай, Пип.

Следом за свечой я спустился вниз, так же как раньше поднимался следом за свечой наверх, и Эстелла поставила ее там же, откуда взяла. Пока она не отворила наружную дверь, я бессознательно представлял себе, что на дворе давно стемнело. Яркий дневной свет совсем сбил меня с толку, и у меня было ощущение, будто в странной комнате, освещенной свечами, я провел безвыходно много часов.

— Ты подожди здесь, мальчик,— сказала Эстелла и исчезла, затворив за собою дверь.

Оставшись один во дворе, я воспользовался этим для того, чтобы внимательно осмотреть свои шершавые руки и грубые башмаки, и пришел к печальному выводу. Прежде эти принадлежности моей особы не смущали меня, теперь же они были мне в тягость. Я решил спросить у Джо, почему он научил меня называть крестями карты, которые называются трефы. Я пожалел, что Джо не получил более тонкого воспитания, которое могло бы пойти на пользу и мне.

Эстелла вернулась и принесла мне хлеба, мяса и небольшую кружку пива. Кружку она поставила наземь, а хлеб и мясо сунула мне в руки, не глядя на меня, точно провинившейся собачонке. Мне стало так обидно, тяжко, досадно, стыдно, гадко, грустно,— не могу подобрать верное слово для своего ощущения, одному богу ведомо, как называется эта боль,— что слезы выступили у меня на глазах. При виде их взгляд девочки оживился: она обрадовалась, что довела меня до слез. Это дало мне силы сдержать их и посмотреть на нее; тогда она презрительно тряхнула головой, хотя, кажется, поняла, что торжество ее было преждевременным,— и ушла.

А я, оставшись один, стал искать, куда бы спрятаться, и, забравшись за створку ворот, ведших к пивоварне, прислонился локтем к стене, а лицом уткнулся в рукав и заплакал. Я плакал, и колотил ногой стену, и дергал себя за волосы — так горько было у меня на душе и такой острой была безымянная боль, просившая выхода.

Воспитание сестры сделало меня не в меру чувствительным. Дети, кто бы их ни воспитывал, ничего не ощущают так болезненно, как несправедливость. Пусть несправедливость, которую испытал на себе ребенок, даже очень мала, но ведь и сам ребенок мал, и мир его мал, и для него игрушечная лошадка-качалка все равно что для нас рослый ирландский скакун. С тех пор как я себя помню, я вел в душе нескончаемый спор с несправедливостью. Едва научившись говорить, я уже знал, что сестра несправедлива ко мне в своем взбалмошном, злом деспотизме. Меня не покидало сознание, что, воспитывая меня своими руками, она все же не имеет права воспитывать меня рывками. Это сознание я берег и лелеял наперекор всем поркам, брани, голодовкам, постам и прочим исправительным мерам; и тем, что я, одинокий и беззащитный ребенок, так много носился с этими мыслями, я в большой мере объясняю свою душевную робость и болезненную чувствительность.

На сей раз, однако, я справился со своими оскорбленными чувствами, вколотив их ногой в стену пивоварни и повыдергав вместе с волосами, после чего утер лицо рукавом и вышел из-за створки ворот на двор. Тут я не без удовольствия принялся за хлеб и мясо, пиво приятно грело и щекотало в носу, и скоро я воспрянул духом настолько, что мог оглядеться по сторонам.

Да, все здесь было заброшено, вплоть до голубятни, которая покривилась от какой-то давнишней бури и покачивалась на своем шесте, так что, будь она населена голубями, они бы думали, что их качает шторм в открытом море. Но голубей в голубятне не было, как не было ни лошадей в конюшне, ни свиней в хлеву, ни солода в кладовой, ни запаха зерна и пива в котле и чанах. Все запахи и самая жизнь пивоварни словно улетучились из нее с последними клочьями дыма. В одном закоулке двора свалены были пустые бочки, еще отдававшие кислотцой в

память о лучших днях; но по кислому их духу нельзя было судить о пиве, когда-то их наполнявшем; такова, вероятно, судьба всех отшельников — их воспоминания мало похожи на их прошлую жизнь.

Там, где кончалась пивоварня, за старой стеной виднелся запущенный сад; стена была не очень высокая,— подтянувшись, я повис на руках и, заглянув через нее в сад, увидел, что он примыкает к дому и весь зарос кустами и сорняком, но среди желто-зеленого бурьяна вилась протоптанная тропинка, словно кто-то часто гулял там, и по этой тропинке от меня уходила Эстелла. Впрочем, она, казалось, была везде: когда я, не устояв перед таким соблазном, забрался на бочки и стал по ним ходить, я увидел, что она тоже ходит по бочкам в дальнем конце склада. Она шла спиной ко мне, поддерживая поднятыми руками свои прекрасные темные волосы, и, ни разу не оглянувшись, быстро скрылась у меня из глаз. То же было и в самой пивоварне — просторном помещении с каменным полом, где когда-то варили пиво и до сих пор осталось кое-что из утвари,— едва я заглянул туда и, смущенный ее мрачным видом, остановился в дверях и стал озираться по сторонам, как увидел, что Эстелла прошла между погасших печей, поднялась по узкой железной лестнице и, мелькнув на галерейке высоко у меня над головой, исчезла, точно ушла прямо в небо.

Вот в эту-то минуту и в этом-то месте воображение сыграло со мной странную шутку. Она показалась мне странной тогда, а много лет спустя показалась еще более странной. Взгляд мой, слегка затуманенный оттого, что я долго глядел в морозное светлое небо, упал на толстую балку в углу, справа от меня, и я увидел, что на ней висит женская фигура. Женщина в пожелтевшем белом платье, об одной туфле; мне даже было видно, что поблекшие оборки на платье словно сделаны из желтовато-серой бумаги и что лицо женщины — лицо мисс Хэвишем, и все черты его в движении, точно она пытается окликнуть меня.

Так страшен был вид этой фигуры, которая — я готов был в том поручиться — только что возникла из ничего, что я сперва бросился бежать прочь, а потом бросился бежать к ней. Но страшнее всего было то, что никакой фигуры там не оказалось.

Лишь увидев морозный свет, приветливо льющийся с неба, и прохожих за оградой двора, да подкрепившись остатками хлеба с мясом и пива, я немного успокоился. Возможно, впрочем, что я еще долго не пришел бы в себя, если бы не увидел Эстеллу, которая несла ключи, чтобы выпустить меня на улицу. Я подумал, что, заметив мой испуг, она сочтет себя вправе пуще прежнего презирать меня, и решил не давать ей для этого повода.

Бросив в мою сторону торжествующий взгляд, словно злорадствуя, что у меня такие шершавые руки и такие грубые башмаки, она отомкнула калитку. Я хотел выйти, не глядя на нее, но она исподтишка тронула меня за плечо.

— Что ж ты не плачешь?

— Не хочу.

— Нет, хочешь,— сказала она.— У тебя все глаза заплаканные, и опять вот-вот разревешься.

Она презрительно засмеялась, подтолкнула меня в спину и заперла за мной калитку. Я пошел к мистеру Памблчуку и с огромным облегчением узнал, что его нет дома. Попросив приказчика передать, в какой день мне снова нужно быть у мисс Хэвишем, я пустился пешком в обратный путь и прошел все четыре мили, отделявшие меня от кузницы Джо, размышляя обо всем, что видел, и снова и снова возвращаясь мыслью к тому, что я — самый обыкновенный деревенский мальчик, что руки у меня шершавые, что башмаки у меня грубые, что я усвоил себе предосудительную привычку называть трефы крестями, что я — куда бо́льший невежда, чем мог полагать накануне вечером, и что вообще жизнь моя самая разнесчастная.

ГЛАВА IX

Когда я воротился домой, сестра, которой не терпелось разузнать, как все было у мисс Хэвишем, забросала меня вопросами. И тут же принялась награждать увесистыми шлепками и подзатыльниками и самым унизительным

образом тыкать лицом в стену кухни за то, что я отвечал недостаточно подробно.

Если все дети одержимы таким же страхом, что их могут не понять, какой владел в детстве мною,— а я, не имея причин считать себя исключением, вполне допускаю, что это так,— то именно этим нередко можно объяснить, что они бывают столь молчаливы и замкнуты. Я был глубоко убежден, что, если опишу дом мисс Хэвишем таким, каким я его видел, меня не поймут. Более того, я был убежден, что не поймут и мисс Хэвишем; и хотя для меня самого она была полнейшей загадкой, я счел бы себя повинным в гнусной измене, если бы чистосердечно вынес ее (не говоря уже про мисс Эстеллу) на суд моей сестры. И вот я отмалчивался, сколько мог, а меня за это тыкали лицом в стену кухни.

В довершение несчастья под вечер к нашему дому пыхтя подкатил в своей тележке противный Памблчук, обуреваемый любопытством и желанием досконально узнать обо всем, что я видел и слышал. И одного взгляда на моего мучителя, на его рыбьи глаза и разинутый рот, на рыжеватые волосы, вопросительно торчащие кверху, на жилет, распираемый арифметическими примерами, было достаточно, чтобы я решил назло ему ничего не рассказывать.

— Ну, мальчик,— начал дядя Памблчук, едва только уселся на почетном месте у огня.— Как ты провел время в городе?

Я ответил: — Ничего, сэр,— и сестра погрозила мне кулаком.

— Ничего? — переспросил мистер Памблчук.— Ничего — это не ответ. Расскажи нам, мальчик, что ты имеешь в виду, когда говоришь «ничего»?

Возможно, что от соприкосновения лба с известкой мозг затвердевает и это придает нам особенное упрямство. Не знаю, так это или нет, но только лоб у меня был весь в известке от стены и упрямство мое уподобилось алмазу. Я с минуту подумал, а потом отвечал, словно набрел на совершенно новую мысль:

— Я имею в виду ничего.

У сестры вырвалось гневное восклицание, и она уже готова была броситься на меня,— Джо работал в кузнице,

и мне неоткуда было ждать даже видимости защиты,— но мистер Памблчук остановил ее:

— Нет, не нужно выходить из терпения. Предоставьте мальчика мне, сударыня, предоставьте его мне.— Затем он повернул меня к себе лицом, словно собираясь подстричь мне волосы, и сказал: — Сначала, чтобы собраться с мыслями, ответь мне: сколько составят сорок три пенса?

Я прикинул, что будет, если я скажу: «Четыреста фунтов», и, решив, что это не сулит мне ничего хорошего, ответил по возможности правильно, то есть ошибся всего на каких-нибудь восемь пенсов. Тогда мистер Памблчук заставил меня повторить всю таблицу денежного счета, начиная с «двенадцать пенсов — один шиллинг» и кончая «сорок пенсов — три шиллинга четыре пенса», после чего, видимо, полагая, что справился со мной, победоносно вопросил:

— Ну, так сколько же будет сорок три пенса?

После долгого раздумья я отвечал: — Не знаю.— Вероятно, я и в самом деле не знал, до того был раздражен и взвинчен.

Мистер Памблчук покрутил головой, словно штопором, чтобы вытянуть из меня нужный ответ, и сказал:

— Ну, например, равняются сорок три пенса семи шиллингам шести пенсам и трем фартингам?

— Да! — сказал я. И хотя сестра незамедлительно дала мне по уху, я ощутил глубокое удовлетворение от того, что своим ответом испортил ему шутку и поставил его в тупик.

— Мальчик! Какая из себя мисс Хэвишем? — снова начал мистер Памблчук, когда немного оправился. Он крепко скрестил руки на груди и снова пустил в ход свой штопор.

— Очень высокая, с черными волосами,— отвечал я.

— Это верно, дядя? — спросила сестра.

Мистер Памблчук утвердительно подмигнул, из чего я сразу заключил, что он никогда не видел мисс Хэвишем, потому что она была совсем не такая.

— Очень хорошо! — самодовольно сказал мистер Памблчук. (Вот как с ним нужно обращаться! Кажется, сударыня, наша берет?)

— Ах, дядя,— сказала миссис Джо,— как жаль, что он

мало с вами бывает. Только вы и умеете добиться от него толку.

— Ну, мальчик, а что она делала, когда ты к ней пришел? — спросил мистер Памблчук.

— Сидела в черной бархатной карете.

Мистер Памблчук и миссис Джо удивленно воззрились друг на друга — еще бы им было не удивиться! — и оба повторили:

— В черной бархатной карете?

— Да,— сказал я.— А мисс Эстелла — это, кажется, ее племянница — подавала ей в окошко пирог и вино на золотой тарелке. И мы все ели пирог с золотых тарелок и пили вино. Я со своей тарелкой влез на запятки, потому что она мне велела.

— А еще кто-нибудь там был? — спросил мистер Памблчук.

— Четыре собаки,— ответил я.

— Большие или маленькие?

— Громадные. И они ели телячьи котлеты из серебряной корзины и передрались.

Мистер Памблчук и миссис Джо снова изумленно воззрились друг на друга. У меня же совсем ум за разум зашел, как у отчаявшегося свидетеля под пыткой, и я способен был в ту минуту наговорить им чего угодно.

— Боже милостивый, да где же стояла карета? — спросила сестра.

— В комнате у мисс Хэвишем.— Они удивились еще больше.— Только она была без лошадей.— Эту спасительную оговорку я добавил после того, как мысленно отменил четверку коней в богатой сбруе, которых чуть было сгоряча не запряг в карету.

— Возможно ли это, дядя? — спросила миссис Джо.— Что он такое несет?

— Сейчас я вам скажу, сударыня,— отвечал мистер Памблчук.— Сдается мне, что это портшез. Она, знаете ли, с причудами, с большими причудами, с нее станется целые дни проводить в портшезе.

— А вы когда-нибудь видели, чтобы она в нем сидела, дядя? — спросила миссис Джо.

— Как я мог это видеть,— сказал мистер Памблчук, припертый к стене,— когда я и ее-то отродясь не видел?

— Ах, боже мой, дядя? Но ведь вы с ней разговаривали?

— Разве вы не знаете,— недовольно отозвался он,— что, когда я там бывал, меня оставляли снаружи за приоткрытой дверью, и она со мной разговаривала, не выходя из комнаты. Не могли вы этого не знать, сударыня. Вот мальчик — другое дело, он ходил к ней играть. Во что ты там играл, мальчик?

— Мы играли во флаги,— сказал я. (Должен заметить, что я сам поражаюсь, вспоминая, сколько я тогда выдумал всяких небылиц.)

— Во флаги? — ахнула сестра.

— Да. Эстелла махала синим флагом, а я красным, и мисс Хэвишем тоже махала флагом из окошка кареты, у нее флаг был весь в золотых звездочках. А потом мы все размахивали саблями и кричали «ура».

— Саблями! — повторила сестра.— А где вы взяли сабли?

— В шкафу. Я в нем видел еще пистолеты... и варенье... и лекарство. А в комнате было совсем темно, только горело много свечей.

— Это правда, сударыня,— сказал мистер Памблчук, важно покивав головой.— Можете не сомневаться, это я и сам видел.— И они оба воззрились на меня, а я, изобразив на лице полнейшее простодушие, воззрился на них и стал разглаживать рукой смятую штанину.

Задай они мне еще хотя бы один вопрос, и я бы несомненно попался, потому что уже выдумал, что видел во дворе у мисс Хэвишем воздушный шар, и, вероятно, сообщил бы им об этом, если бы мне одновременно не пришла в голову другая выдумка,— будто в пивоварне сидел живой медведь. Однако они так оживленно обсуждали диковины, которые я уже успел предложить их вниманию, что им было не до меня. Они все еще не наговорились, когда Джо зашел из кузницы выпить чашку чаю, и сестра — не столько для его сведения, сколько для облегчения собственной души,— доложила ему обо всем, что якобы произошло со мной.

И тут, когда Джо, широко раскрыв свои голубые глаза, стал недоуменно и беспомощно озираться по сторонам, меня охватило раскаяние, но только по отношению к

нему,— до тех двоих мне не было дела. Перед Джо, и только перед Джо я чувствовал себя малолетним чудовищем, когда они обсуждали, какие выгоды могут проистечь для меня из знакомства с мисс Хэвишем. Все они были уверены, что мисс Хэвишем как-нибудь облагодетельствует меня, и расходились лишь в том, во что ее благодеяние выльется. Сестра толковала о богатых подарках, мистер Памблчук склонялся к мысли о щедрой плате за обучение какому-нибудь приличному, благородному делу,— скажем, к примеру, торговле семенами и зерном. Джо окончательно пал в их глазах, высказав остроумное предположение, что мне всего-навсего подарят одну из тех собак, которые дрались из-за телячьих котлет.

— Если умнее этого ты своей глупой головой ничего не можешь придумать,— сказала сестра,— и если тебя ждет работа, так ты лучше иди и работай.— И он пошел.

Когда сестра, проводив мистера Памблчука, стала мыть посуду, я улизнул в кузницу и примостился около Джо, дожидаясь, когда он кончит, а потом заговорил:

— Джо, пока не погас огонь, я хочу сказать тебе одну вещь.

— Хочешь сказать? — молвил Джо, пододвигая к горну низкую скамеечку, на которую он садился, когда ковал лошадей.— Ну так скажи. Я тебя слушаю, Пип.

— Джо,— сказал я и, ухватив рукав его рубашки, закатанный выше локтя, стал крутить его двумя пальцами,— ты помнишь, что там было, у мисс Хэвишем?

— А как же! — сказал Джо.— Неужто нет! Чудеса, да и только!

— Вот в том-то и беда, Джо. Это все неправда.

— Да ты что это говоришь, Пип? — воскликнул Джо, отшатываясь от меня в величайшем изумлении.— Как же, значит ты...

— Да, Джо. Я все наврал.

— Но не совсем же все? Этак выходит, Пип, что там не было черной бархатной каре...? — Он не договорил, увидев, что я качаю головой.— Но собаки-то уж наверно были, Пип? — умоляюще протянул Джо.— Ладно, пусть телячьих котлет не было, но собаки-то были?

— Нет, Джо.

— Ну хоть одна собака? — сказал Джо.— Хоть щеночек. А?

— Нет, Джо, ничего не было.

Я мрачно уставился на него, а он не отводил от меня огорченного, растерянного взгляда.

— Пип, дружок, ведь это никуда не годится! Ты сам подумай, что за это может быть?

— Это ужасно, Джо. Да?

— Ужасно? — вскричал Джо.— Просто уму непостижимо! И что на тебя нашло?

— Я не знаю, что на меня нашло, Джо,— отвечал я и, отпустив его рукав, уселся в кучу золы у его ног и понурил голову,— но только зачем ты научил меня говорить вместо трефы — кресть, и почему у меня такие грубые башмаки и такие шершавые руки?

И тут я рассказал Джо, что мне очень худо и что я не сумел ничего объяснить миссис Джо и Памблчуку, потому что они меня совсем задергали, и что у мисс Хэвишем была очень красивая девочка, страшная гордячка, и она сказала, что я — самый обыкновенный деревенский мальчик, и это так и есть, и очень мне неприятно, и отсюда и пошла вся моя ложь, хотя как это получилось — я и сам не знаю.

Это был чисто метафизический вопрос, уж, конечно, не менее трудный для Джо, чем для меня. Но Джо изъял его из области метафизики и таким способом справился с ним.

— В одном ты можешь не сомневаться, Пип,— сказал он, поразмыслив немного.— Ложь — она и есть ложь. Откуда бы она ни шла, все равно плохо, потому что идет она от отца лжи и к нему же обратно и приводит. Чтобы больше этого не было, Пип. Таким манером ты, дружок, от своей обыкновенности не избавишься. К тому же, тут что-то не так. Ты кое в чем совсем даже необыкновенный. Вот, скажем, роста ты необыкновенно маленького. Опять же, ученость у тебя необыкновенная.

— Нет, Джо, какой уж я ученый!

— А ты вспомни, какое ты вчера письмо написал! — сказал Джо.— Да еще печатными буквами! Видал я на своем веку письма, и притом от господ,— так и то, головой тебе ручаюсь, они были написаны не печатными буквами.

— Ничего я не знаю, Джо. Просто тебе хочется меня утешить.

— Ну, Пип,— сказал Джо,— так ли это, нет ли, еще неизвестно, но ты сам посуди, ведь до того как стать необыкновенным ученым, надо быть обыкновенным или нет? Возьми хоть короля — сидит он на троне, с короной на голове, а разве мог бы он писать законы печатными буквами, если бы не начал с азбуки, когда еще был в чине принца? Да! — прибавил Джо и многозначительно тряхнул головой,— если бы он не начал с первой буквы и не одолел бы их все как есть до самой последней? Я-то знаю, что это такое, хоть и не могу сказать, чтобы сам одолел.

В этих мудрых словах был проблеск надежды, и я немного воспрянул духом.

— Оно, пожалуй, и лучше было бы,— задумчиво продолжал Джо,— кабы обыкновенные люди, то есть кто попроще да победнее, так бы и держались друг за дружку, а не ходили играть с необыкновенными... кстати, флаг-то, может, все-таки был?

— Нет, Джо.

— Очень мне жалко, Пип, что флага не было. Но уж лучше там или не лучше, мы этого сейчас не будем касаться, не то сестра твоя сразу начнет лютовать; а уж самим на это напрашиваться — распоследнее дело. Ты послушай, Пип, что тебе скажет твой верный друг. Вот тебе твой верный друг что скажет: хочешь стать необыкновенным — добивайся своего правдой, а кривдой никогда ничего не добьешься. Так что гляди, чтоб больше этого не было, Пип, тогда и проживешь счастливо и умрешь спокойно.

— Ты на меня не сердишься, Джо?

— Нет, дружок. Но ежели вспомнить, каких ты только басен не выдумал и как у тебя только на это духу хватило,— это я про телячьи котлеты, ну и что собаки дрались,— так искренний доброжелатель посоветовал бы тебе, Пип, чтобы ты еще хорошенько обо всем этом подумал, когда пойдешь к себе наверх спать. Вот тебе и весь сказ, дружок, и больше так не делай.

Когда, поднявшись в свою каморку, я стал читать молитвы, я твердо помнил наставления Джо; а между тем юный мой ум был так взбудоражен и столь чужд благо-

дарности, что, улегшись в постель, я еще долго думал о том, каким обыкновенным показался бы Эстелле Джо — простой кузнец,— какие у него грубые башмаки и какие шершавые руки. Я думал о том, что Джо и моя сестра сидят сейчас в кухне, и сам я только что пришел из кухни, а вот мисс Хэвишем и Эстелла никогда не сидят в кухне,— такая обыкновенная жизнь неизмеримо ниже их достоинства. Я заснул, вспоминая, как, «бывало», проводил время у мисс Хэвишем, словно я пробыл там не каких-нибудь два-три часа, а несколько недель или месяцев, словно воспоминания эти не родились только сегодня, а были давнишними и привычными.

То был памятный для меня день, потому что он произвел во мне большую перемену. Но так случается с каждым. Представьте себе, что из вашей жизни вычеркнули один особенно важный день, и подумайте, как по-иному повернулось бы ее течение. Вы, кто читаете эти строки, отложите на минуту книгу и подумайте о той длинной цепи из железа или золота, из терниев или цветов, которая не обвила бы вас, если бы первое звено ее не было выковано в какой-то один, навсегда памятный для вас день.

ГЛАВА X

Как-то утром я проснулся со счастливой мыслью, что, если я хочу стать необыкновенным, хорошо бы для начала позаимствовать у Бидди все, чему она успела выучиться. В осуществление этого блестящего замысла я в тот же вечер, придя в школу двоюродной бабушки мистера Уопсла, сказал Бидди, что по некоей важной причине я твердо намерен выйти в люди и буду ей очень обязан, если она поделится со мной своими знаниями. Бидди, добрая девочка, всегда готовая всем услужить, тотчас согласилась и, более того, немедля приступила к делу.

Систему или курс обучения, проводившийся двоюродной бабушкой мистера Уопсла, можно вкратце описать следующим образом: ученики грызли яблоки и совали друг другу за шиворот соломинки, пока двоюродная

бабушка мистера Уопсла, собравшись с силами, не подступала к ним слабенькими шажками, грозя всем без разбора пучком березовых прутьев. Встретив этот натиск презрительными смешками, ученики выстраивались в ряд и под громкое гуденье начинали передавать друг другу истрепанную книжку. В этой книжке был алфавит, кое-какие цифры и таблицы и несколько страниц упражнений для чтения,— вернее, имелись признаки того, что когда-то все это в ней было. Как только сей фолиант пускали по рукам, двоюродная бабушка мистера Уопсла впадала в транс — состояние, вызывавшееся либо старческой сонливостью, либо приступом ревматизма. Тогда ученики сами себе устраивали конкурсный экзамен по увлекательнейшему предмету — Башмакам, имевший целью выяснить, кто кому больнее наступит на ногу. Эта гимнастика для ума продолжалась до тех пор, пока Бидди, взяв учеников штурмом, не раздавала им три обветшалых библии (такой формы, точно их неумело отрубили от толстого бревна), напечатанные более неразборчиво, чем все антикварные книги, какие с тех пор попадались мне на глаза, украшенные разноцветными пятнами плесени и хранящие между своими листами сплющенные трупы множества разнообразных насекомых. Эта часть учебной программы обычно проходила оживленно благодаря поединкам, которые то и дело завязывались между Бидди и непокорными школярами. По окончании военных действий Бидди называла страницу, и мы душераздирающим хором читали вслух, что могли (и что не могли) разобрать, причем Бидди вела первый голос все на одной и той же высокой, пронзительной ноте, и никто из нас не понимал ни единого слова и не испытывал ни малейшего чувства благоговения. Этот безобразный шум длился довольно долго, но в конце концов от него просыпалась двоюродная бабушка мистера Уопсла и, выбрав наудачу какого-нибудь мальчика, ковыляла к нему, чтобы надрать ему уши. Так нам давалось понять, что на сегодня занятия окончены, и мы выбегали на улицу, оглашая воздух победными кликами во славу науки. Справедливости ради следует заметить, что ученикам не возбранялось побаловаться грифельной доской или даже чернилами (если таковые имелись в наличии), но зимой эти ученые занятия оказывались почти недоступ-

ными, поскольку мелочная лавочка, где происходили уроки, служившая двоюродной бабушке мистера Уопсла также гостиной и спальней, освещалась одной-единственной подслеповатой сальной свечой, с которой к тому же нечем было снимать нагар.

Меня беспокоило, что при таких обстоятельствах немало времени уйдет на то, чтобы стать необыкновенным; но все же я решил попробовать и, заключив с Бидди особое соглашение, тут же получил от нее кое-какие сведения, содержавшиеся в ее маленьком прейскуранте под рубрикой «мелкий сахар», а также — для домашнего списывания — заглавное староанглийское Д, которое она срисовала с названия какой-то газеты и которое я лишь после ее разъяснений перестал принимать за изображение пряжки.

Само собой разумеется, в нашей деревне был трактир, и, само собой разумеется, Джо любил иногда посидеть там и выкурить трубочку. В тот вечер я получил от сестры строгий наказ — по пути из школы зайти за ним к «Трем Веселым Матросам» и привести его домой живого или мертвого. К «Трем Веселым Матросам» я поэтому и направил свой путь.

В первой комнате трактира была стойка, а за ней, на стене возле двери — написанные мелом удручающе-длинные счета, по которым, как мне казалось, никто никогда не платил. Я видел их там с тех пор, как себя помнил, и росли они быстрее, чем я. Впрочем, мéла в нашей местности было хоть отбавляй, и люди, возможно, пользовались всяким случаем, чтобы пустить его в дело.

Поскольку описываемый мною вечер приходился в субботу, я застал хозяина за мрачным созерцанием этих записей, но мне был нужен не он, а Джо, и потому я только поздоровался с ним и прошел дальше по коридору в заднюю комнату, где в очаге ярко пылал огонь и Джо курил свою трубочку в обществе мистера Уопсла и еще какого-то незнакомого мне человека. Джо встретил меня обычным своим приветствием: «А, Пип, здорово, дружок!», и не успел он произнести эти слова, как незнакомец обернулся и посмотрел на меня.

В этом человеке, которого я видел впервые, было немало таинственного. Голову он держал набок, и один глаз у него был прищурен, точно он целился во что-то из

невидимого ружья. Он курил трубку, а тут вынул ее изо рта, медленно, не сводя с меня пристального взгляда, выпустил дым и кивнул головой. Я тоже кивнул, и тогда он кивнул еще раз и подвинулся на скамье, приглашая меня сесть с ним рядом.

Но так как я привык, бывая в этом приюте отдохновения, всегда садиться рядом с Джо, я только поблагодарил его и сел на скамью напротив, где Джо уже освободил мне местечко. Тогда незнакомец, взглянув на Джо и убедившись, что тот смотрит в другую сторону, снова кивнул мне головой и потер себе ногу пониже колена каким-то очень, на мой взгляд, странным движением.

— Вы как будто говорили, что вы кузнец,— сказал незнакомец, обращаясь к Джо.

— Говорил,— сказал Джо.

— Что будем пить, мистер... вы, кстати сказать, и не назвали себя.

Джо восполнил этот пробел, и теперь незнакомец обратился к нему по имени:

— Что будем пить, мистер Гарджери? За мой счет. Разгонную.

— Да знаете,— отвечал Джо,— сказать по правде, не в обычае у меня пить за чей-нибудь счет, кроме как за свой собственный.

— Не в обычае? Пусть,— возразил незнакомец,— но один-то разок не грех, особенно в субботу вечером. Ну же, мистер Гарджери, выбирайте, вам чего?

— Ладно, не буду портить компанию,— сказал Джо.— Рому.

— Рому,— повторил незнакомец.— А в каком смысле выскажется другой джентльмен?

— Рому,— сказал мистер Уопсл.

— Рому на троих! — крикнул незнакомец, вызывая хозяина.— Три стакана.

— Этот другой джентльмен,— пояснил Джо, решив, что настало время представить мистера Уопсла,— этот джентльмен — наш псаломщик. Вам бы надо послушать его в церкви.

— Ага! — быстро подхватил незнакомец и прищурился на меня,— в той церкви, что стоит на отлете от деревни, у самых болот, и вокруг нее могилы?

— Вот-вот,— сказал Джо.

Незнакомец с довольным видом крякнул, не вынимая трубки изо рта, и устроился с ногами на скамье, благо никто больше на ней не сидел. На нем была дорожная шляпа с большими обвислыми полями, а под ней платок, туго повязанный вокруг головы, так что волос совсем не было видно. Он смотрел на огонь, и мне показалось, что лицо у него стало вдруг очень хитрое; потом он усмехнулся.

— Я в этих краях не бывал, джентльмены, но сдается мне, что местность у вас тут ближе к реке пустынная.

— Болота все больше бывают пустынные,— сказал Джо.

— Ну, конечно, конечно. А случается вам встретить там цыган, либо каких-нибудь бродяг или нищих?

— Нет,— сказал Джо.— Разве что беглого арестанта. Да и те попадаются не часто. Верно я говорю, мистер Уопсл?

Мистер Уопсл милостиво, но несколько холодно подтвердил слова Джо, напомнившие ему бесславную страницу его жизни.

— Вам, видно, случалось их ловить? — спросил незнакомец.

— Один раз было дело,— отвечал Джо.— Мы-то, впрочем, не старались их поймать, просто поглядеть хотелось, вот и пошли,— мистер Уопсл и мы с Пипом. Верно, Пип?

— Да, Джо.

Незнакомец опять посмотрел на меня — по-прежнему прищурив один глаз, точно старательно целясь в меня из своего невидимого ружья,— и сказал: — А паренек у вас ничего, подходящий. Как вы его зовете-то?

— Пип,— сказал Джо.

— Это такое имя?

— Нет, не имя.

— Значит, фамилия?

— Нет,— сказал Джо.— Это вроде как семейное прозвище, он сам себя так окрестил, когда был совсем маленький, ну, и все его так зовут.

— Ваш сын?

— Да как вам сказать...— глубокомысленно протянул Джо, хотя размышлять тут было решительно не о чем, просто уж так повелось у «Трех Веселых Матросов» — по-

пыхивая трубкой, принимать глубокомысленный вид, о чем бы ни зашел разговор.— Пожалуй, что нет. Нет, не сын.

— Племянник?

— Да как вам сказать...— протянул Джо все с тем же выражением глубокого раздумья,— нет, не стану вас обманывать, нет, не племянник.

— Так кто же он вам, черт подери? — спросил незнакомец, и мне послышалась в его вопросе совершенно излишняя горячность.

Тут в беседу вступил мистер Уопсл; будучи хорошо осведомлен в вопросах родства, поскольку ему по долгу службы полагалось помнить всех родственников, с коими не разрешается вступать в брак, он подробно разъяснил, какие узы связывают меня с Джо. Увлекшись, мистер Уопсл в заключение своей речи грозно прорычал какой-то монолог из Ричарда Третьего и добавил: «Как сказал поэт», видимо считая, что этим достаточно оправдал свое поведение.

Замечу кстати, что, упоминая обо мне, мистер Уопсл всякий раз считал своим долгом взъерошить мои волосы и спустить их мне на глаза. Одному богу известно, зачем и он и все, кто бывал у нас в гостях, подвергали мои глаза этой пытке. Но в моем детстве не было, кажется, ни одного случая, чтобы при упоминании обо мне какой-нибудь обладатель огромной ручищи не выразил мне своего покровительства таким вот глазоубийственным способом.

Все это время незнакомец не отрываясь смотрел на меня, да так смотрел, словно твердо решил в конце концов выстрелить и уложить меня на месте. Однако после того, как он помянул черта, он ни разу не раскрыл рта до тех самых пор, пока не подали стаканы с ромом; вот тут-то он и выстрелил, и выстрел этот был совсем особенный.

То были не слова, а некая пантомима, которую он разыграл специально для меня. Он специально для меня помешал в стакане и специально для меня попробовал свой ром с водой, причем и пробовал он его и помешивал не ложкой, которую ему подали, а *подпилком*.

Он сделал это так, что никто, кроме меня, подпилка не видел, и тут же вытер его и спрятал в карман. Но я мгновенно понял, что это подпилок Джо и что странный человек знаком с моим каторжником. Как завороженный, я си-

дел и смотрел на него, но он, словно забыв о моем существовании, развалился на скамье и безмятежно беседовал, главным образом о кормовой репе.

Субботними вечерами на нашу деревню нисходило сладостное чувство,— словно все дела сделаны и можно спокойно передохнуть перед тем, как жить дальше,— и, поддаваясь этому чувству, Джо осмеливался по субботам засиживаться в трактире на полчаса дольше, чем в другие дни. Когда же эти полчаса и ром с водой одновременно подошли к концу, он поднялся и взял меня за руку.

— Одну минутку, мистер Гарджери,— сказал незнакомец.— Кажется, у меня где-то есть блестящий новенький шиллинг; если это так, ваш мальчик его сейчас получит.

Он вытащил из кармана горсть мелочи, порылся в ней и, найдя шиллинг, завернул его в какую-то смятую бумажку и вложил мне в руку.

— Это тебе,— сказал он.— Помни: тебе и никому другому.

Я поблагодарил, вытаращив на него глаза вопреки всем правилам приличия и крепко держась за Джо. Он попрощался с Джо, попрощался с мистером Уопслом, который уходил вместе с нами, а на меня только посмотрел своим нацеленным глазом,— нет, даже не посмотрел, потому что глаз у него был прищурен, но чего только не выразит глаз, если его закрыть!

Будь у меня желание поговорить, я мог бы болтать без умолку до самого дома, ибо мистер Уопсл расстался с нами у двери «Трех Веселых Матросов», а Джо всю дорогу держал рот широко открытым, чтобы как можно основательнее выветрить из него запах рома. Но я был ошеломлен тем, как внезапно всплыли из прошлого мое давнишнее преступление и мой давнишний знакомец, и ни о чем другом не мог думать.

Переступив порог кухни, мы застали мою сестру в не особенно скверном расположении духа, и это необычайное обстоятельство побудило Джо рассказать ей про новенький шиллинг.

— Бьюсь об заклад, что фальшивый,— торжествующе заявила сестра,— иначе с какой стати он дал бы его мальчишке? А ну-ка, покажи.

Я развернул бумажку, шиллинг оказался не фальшивый.

— А это что такое? — сказала миссис Джо, бросив его на стол и хватая бумажку.— Два билета по фунту стерлингов?

Да, именно так,— два засаленных билета по фунту стерлингов, казалось, обошедших на своем веку все скотопригонные рынки графства. Джо схватил шапку и побежал к «Трем Веселым Матросам» вернуть деньги владельцу. А я, в ожидании его, уселся на свою скамеечку и рассеянно поглядывал на сестру, говоря себе, что незнакомца наверняка не окажется на месте.

Вскоре Джо возвратился с известием, что тот человек ушел, но что он, Джо, велел передать, где он может получить свои деньги. Тогда сестра крепко обернула их бумагой и положила под сухие розовые лепестки в чайник, украшавший собою верхнюю полку буфета в парадной гостиной. Там они и остались лежать и мучили меня как тяжелый сон в течение многих дней и ночей.

Я пошел спать, но почти не сомкнул глаз до утра, вспоминая, как незнакомец целился в меня из невидимого ружья, и терзаясь тем, какое я грубое, низкое существо, раз мог войти в тайные сношения с каторжниками,— ведь я совсем было успел забыть об этом постыдном случае. И подпилок не давал мне покоя. Меня преследовал страх, что он вдруг опять появится в самую неожиданную минуту. В конце концов я заставил себя заснуть, думая о том, как я в среду пойду к мисс Хэвишем; но мне приснилось, что в комнату входит подпилок, а кто его держит — не видно, и я закричал так громко, что снова проснулся.

ГЛАВА XI

В назначенное время я был около дома мисс Хэвишем, и на мой робкий звонок к калитке вышла Эстелла. Впустив меня, она, как и в первый раз, заперла калитку и предоставила мне следовать за собой в темную прихожую, где стояла ее свеча. Казалось, она вовсе не замечала меня

и только сейчас оглянулась через плечо, сказала надменно: «Сегодня ты пойдешь вот сюда», и повела меня совсем в другую часть дома.

Коридор был длинный,— очевидно, он огибал весь первый этаж. Однако мы прошли только вдоль одной стороны, и здесь Эстелла остановилась, поставила свечу и отворила какую-то дверь. Дневной свет ударил мне в лицо, я очутился в небольшом мощеном дворике, противоположную сторону которого замыкал флигель, когда-то, видимо, принадлежавший управляющему заброшенной пивоварней. В стену флигеля вделаны были часы. Так же, как большие часы в комнате мисс Хэвишем и как ее золотые часики, они показывали без двадцати минут девять.

Через отворенную дверь мы прошли в мрачную низкую комнату на первом этаже. Здесь сидело несколько человек гостей, и Эстелла присоединилась к ним, бросив на ходу:— Ты постой вон там, мальчик, пока тебя позовут.— Поскольку «Вон там» означало у окна, я проследовал к окну и, с ощущением величайшей неловкости, уткнулся носом в стекло.

Окно приходилось на уровне земли и смотрело в самый неприглядный уголок запущенного сада, где из грядок торчали гниющие остатки капустных кочнов и одинокий куст самшита. Когда-то, давным-давно, он был подстрижен в виде пудинга, а теперь из него лезли кверху новые ветки другого цвета, точно пудинг в этом месте пристал к форме и подгорел,— это нехитрое сравнение пришло мне в голову, пока я глядел на старый самшитовый куст. Накануне выпал снежок, но везде он как будто успел растаять; только в этом глухом уголке, куда не проникало солнце, снег еще залежался, и ветер подхватывал его и горстями швырял в окно, словно норовил ударить меня за то, что я посмел сюда прийти.

Я чувствовал, что при моем появлении люди, сидевшие в комнате, прекратили начатый разговор и теперь смотрят на меня. Комнату мне не было видно, я видел только отсвет камина в оконном стекле, но от сознания, что меня внимательно разглядывают, я весь сжался и закостенел.

В комнате сидели три леди и один джентльмен. Я не простоял у окна и пяти минут, как у меня сложилось

впечатление, что все они — подхалимы и жулики, но что каждый из них делает вид, будто не знает, что остальные — подхалимы и жулики, потому что, признав это, каждый тем самым должен был и себя причислить к подхалимам и жуликам.

Казалось, все они скучают и томятся, ожидая, когда кто-то соизволит заметить их присутствие, а самая разговорчивая из трех леди нарочно растягивала слова, чтобы сдержать зевоту. Леди эта, которую называли Камилла, очень напомнила мне мою сестру, только она была постарше и (как я убедился, когда разглядел ее) с менее резкими чертами лица. Впрочем, узнав ее поближе, я подумал: хорошо еще, что у нее есть хоть какие-нибудь черты,— так похоже было ее лицо на глухую стену.

— Бедняга! — сказала эта леди отрывисто и сердито, точь-в-точь как моя сестра.— Он этим только самому себе вредит.

— Лучше бы он вредил кому-нибудь другому,— сказал джентльмен.— Это гораздо естественнее и разумнее.

— Кузен Рэймонд,— возразила другая леди,— ведь мы должны любить своих ближних.

— Сара Покет,— отвечал кузен Рэймонд,— кто же человеку ближе, чем он сам?

Мисс Покет засмеялась, и Камилла тоже засмеялась и сказала (сдерживая зевок): — Надо же выдумать такое! — Но мне показалось, что выдумка-то им понравилась. Третья леди, до тех пор молчавшая, сказала сурово и с убеждением: — Совершенно верно!

— Бедняга! — продолжала Камилла после некоторого молчания. (Я знал, что, пока оно длилось, все они смотрели на меня.) Он такой странный! Вы не поверите, когда у Тома умерла жена, ему невозможно было втолковать, что девочкам просто необходимы траурные платья с плерезами. «Ах, боже мой, Камилла,— сказал он,— не все ли равно, лишь бы бедные сиротки были в черном!» Это так похоже на Мэтью. Ведь надо же выдумать такое!

— В нем есть хорошие стороны, есть хорошие стороны,— сказал кузен Рэймонд.— Я этого не отрицаю,

боже сохрани, но у него никогда не было и не будет ни малейшего понятия о приличиях.

— Поверите ли,— продолжала Камилла,— я была вынуждена, просто вынуждена была настоять на своем. Я сказала: «Нет, мне дорог престиж семьи, и *я этого не допущу»*. Я ему прямо заявила, что, если не будет платьев с плерезами, это набросит тень на всю семью. Я твердила об этом не переставая, с завтрака и до обеда. Я расстроила себе пищеварение. В конце концов он вспылил, как это свойственно его несдержанной натуре, и сказал: «Делай как знаешь», и даже прибавил одно очень некрасивое слово. Но мне до конца дней будет утешением, что я в ту же минуту вышла из дому под проливным дождем и купила все, что нужно.

— А заплатил, вероятно, он? — спросила Эстелла.

— Не важно, кто заплатил, дитя мое,— отвечала Камилла.— Купила все я. И еще не раз, просыпаясь по ночам, я буду вспоминать об этом с удовлетворением.

Тут все замолчали, услышав далекий звон колокольчика и чей-то оклик, эхом отдавшийся в коридоре, по которому мы пришли, и Эстелла сказала: — Пойдем, мальчик! — Когда я обернулся, все они посмотрели на меня с величайшим презрением, и, выходя из комнаты, я услышал слова Сары Покет: «Ну, знаете ли, это уж слишком!», и негодующее восклицание Камиллы: «Ведь надо же выдумать такое!».

Мы быстро шли со свечой по темному коридору, но вдруг Эстелла остановилась и, круто повернувшись, так что лицо ее оказалось вплотную к моему, сказала задорно:

— Ну что?

— Ничего, мисс,— отвечал я, чуть не налетев на нее с разбегу.

Она стояла и смотрела на меня, а я, естественно, смотрел на нее.

— Так я красивая?

— Да, по-моему, очень красивая.

— И злая?

— Не такая, как в тот раз.

— Не такая?

— Нет.

Задавая последний вопрос, она вспыхнула, а услышав мой ответ, изо всей силы ударила меня по лицу.

— Ну? — сказала она.— Что ты теперь обо мне думаешь, заморыш несчастный?

— Не скажу.

— Потому что хочешь нажаловаться там, наверху. Так?

— Нет, не так.

— Почему ты сегодня не плачешь, гаденыш?

— Потому что я никогда больше не буду из-за вас плакать,— сказал я. И бессовестно солгал: уже тогда я горько плакал в душе, а сколько мне пришлось выстрадать из-за нее в позднейшие годы, о том знаю я один.

После этой задержки мы пошли дальше и, поднимаясь по лестнице, чуть не столкнулись с каким-то джентльменом, который ощупью спускался нам навстречу.

— Это кто же у нас тут? — спросил джентльмен, останавливаясь и глядя на меня.

— Один мальчик,— сказала Эстелла.

Передо мной стоял плотный мужчина, необычайно смуглый, с необычайно крупной головой и такими же руками. Он взял меня своей большой рукой за подбородок и повернул лицом к свету, падавшему от свечи. У него была лысая, не по годам, макушка, черные мохнатые брови упрямо топорщились. Глаза, очень глубоко посаженные, глядели недоверчиво и проницательно, словно видели меня насквозь. Из кармашка у него свисала массивная цепочка от часов, а лицо, там, где росли бы усы и борода, если бы он их не брил, было усеяно черными точками. Это был посторонний для меня человек, я не мог предвидеть тогда, что он будет что-то для меня значить, но случайно мне представилась возможность как следует разглядеть его.

— Деревенский мальчик, да? — сказал он.

— Да, сэр,— сказал я.

— Как же ты здесь очутился?

— Мисс Хэвишем за мной послала, сэр,— объяснил я.

— Ну, веди себя хорошо. Я кое-что знаю о мальчиках и могу сказать — народец вы неважный. Так помни! — повторил он, строго глядя на меня и покусывая свой длинный указательный палец.— Веди себя хорошо!

С этими словами он отпустил меня (чему я очень обрадовался, потому что рука его неприятно пахла душистым мылом) и пошел дальше, вниз по лестнице. Сначала я подумал, что это, может быть, доктор, но потом решил — нет, доктор был бы спокойнее и обходительнее. Впрочем, долго размышлять над этим мне не пришлось, потому что мы уже входили в комнату мисс Хэвишем, где все, начиная с нее самой, было в точности таким же, как несколько дней назад, когда я уходил отсюда. Эстелла покинула меня у двери, и я стоял молча, покуда мисс Хэвишем не увидела меня со своего места у туалетного стола.

— Так! — сказала она, не выказав ни испуга, ни удивления.— Значит, дни пробежали?

— Да, мэм. Нынче уже...

— Не надо, не надо! — Пальцы нетерпеливо зашевелились.— Я не хочу знать. Играть ты сегодня можешь?

Я растерялся и вынужден был ответить:

— Наверно нет, мэм.

— А в карты, как тогда? — спросила она, пытливо взглянув на меня.

— В карты могу, мэм, если вы прикажете.

— Раз в этом доме ты не чувствуешь себя ребенком,— в голосе мисс Хэвишем послышалась досада,— и раз тебе не хочется играть, может быть, хочешь поработать?

Этот вопрос пришелся мне куда больше по душе, чем предыдущий, и я сказал, что с удовольствием поработаю.

— Тогда пройди вон в ту комнату,— сказала она, указывая морщинистой рукой на дверь, которую я еще не успел затворить,— и подожди меня там.

Я послушался и отворил другую дверь, через площадку. Из этой комнаты дневной свет был тоже изгнан, и воздух в ней был тяжелый и спертый. В старомодном отсыревшем камине, как видно, только что зажгли огонь, но он более склонен был погаснуть, чем разгореться, и дым, лениво повисший над ним, казался холоднее воздуха — как туман на наших болотах. С высокой каминной полки несколько свечей, похожих на голые ветки, едва освещали комнату, вернее — едва рассеивали царившую в ней

тьму. Это была просторная зала, когда-то, вероятно, богато убранная; но сейчас все предметы, какие я мог в ней различить, вконец обветшали, покрылись пылью и плесенью. На самом видном месте стоял стол, застланный скатертью,— в то время, когда все часы и вся жизнь в доме внезапно остановились, здесь, видно, готовился пир. Посредине стола красовалось нечто вроде вазы, так густо обвешанной паутиной, что не было возможности разобрать, какой оно формы; и, глядя на желтую ширь скатерти, из которой ваза эта, казалось, вырастала как большой черный гриб, я увидел толстых, раздувшихся пауков с пятнистыми лапками, спешивших в это свое убежище и снова выбегавших оттуда, словно бы в паучьем мире только что разнеслась весть о каком-то в высшей степени важном происшествии.

А за обшивкой стен слышалась мышиная возня,— видно, и мышей это событие тоже близко касалось. Зато черные тараканы не обращали ни малейшего внимания на всю эту суету; они не спеша, по-стариковски, бродили возле камина, словно были подслеповаты и туги на ухо, и к тому же не ладили между собой.

Завороженный видом этих ползучих тварей, я издали наблюдал за ними, как вдруг почувствовал, что мисс Хэвишем положила руку мне на плечо. Другой рукой она опиралась на толстую клюку — ни дать ни взять колдунья, страшная хозяйка этих мест.

— Вот здесь,— сказала она, указывая клюкой на длинный стол,— здесь меня положат, когда я умру. А они придут и будут смотреть на меня.

Охваченный смутным опасением, как бы она тут же не улеглась на стол и не умерла, окончательно уподобившись той жуткой восковой фигуре на ярмарке, я весь сжался от прикосновения ее руки.

— Как ты думаешь, что это такое? — спросила она, снова указывая клюкой на стол.— Вот это, где паутина.

— Не знаю, мэм, не могу догадаться.

— Это большой пирог. Свадебный пирог. Мой.

Она горящими глазами оглядела комнату, а потом сказала, крепко опершись рукой о мое плечо:

— Ну, пойдем скорее! Веди меня, веди!

Из ее слов я заключил, что это и будет моя работа —

водить мисс Хэвишем по комнате, все кругом и кругом. Я не стал мешкать, и мы пустились в путь так бодро, словно задались целью (во исполнение шальной мысли, мелькнувшей у меня в тот раз) изобразить лошадку мистера Памблчука.

Сил у мисс Хэвишем было немного, и скоро она сказала: «Потише!», но мы все же подвигались вперед судорожным, неровным аллюром, и рука ее, лежавшая у меня на плече, подрагивала, а губы кривились, и этим она внушала мне, что мы быстро бежим, потому что мысли ее бежали быстро. Наконец она сказала: «Позови Эстеллу!», и я вышел на площадку и стал во весь голос кликать ее, как и в прошлый раз. Когда вдали показалась ее свеча, я возвратился к мисс Хэвишем, и мы снова затрусили по комнате, все кругом и кругом.

Будь Эстелла единственным свидетелем нашего времяпрепровождения, мне и то было бы достаточно неловко; но она привела с собой тех трех леди и джентльмена, которых я видел внизу, и я просто не знал куда деваться. Из вежливости я хотел было остановиться, однако мисс Хэвишем больно сжала мое плечо, мы понеслись дальше, и я сгорал от стыда, чувствуя, что они видят во мне виновника этой затеи.

— Дорогая мисс Хэвишем, вы прекрасно выглядите,— сказала Сара Покет.

— Неправда,— отвечала мисс Хэвишем.— Только и есть, что желтая кожа да кости.

Камилла так и расцвела, услышав, какой отпор встретила мисс Покет, и жалобно простонала, бросая на мисс Хэвишем сострадательные взгляды:

— Ах, бедненькая! Ну где ей, бедняжке, хорошо выглядеть? Надо же выдумать такое!

— А *вы* как поживаете? — обратилась мисс Хэвишем к Камилле. В это время мы как раз проходили мимо нее, и я хотел остановиться, но мисс Хэвишем не пожелала останавливаться. Мы проследовали дальше, и я почувствовал, что Камилла воспылала ко мне ненавистью.

— Благодарю вас, мисс Хэвишем,— отвечала она,— я здорова, насколько это для меня возможно.

— А что с вами? — спросила мисс Хэвишем далеко не любезным тоном.

— Ничего такого, о чем бы стоило упоминать,— отвечала Камилла.— Я стараюсь не выставлять напоказ свои чувства, но последнее время я столько думаю о вас по ночам, что это не может не отразиться на моем здоровье.

— Так не думайте обо мне,— отрезала мисс Хэвишем.

— Легко сказать! — нежно возразила Камилла и всхлипнула, причем верхняя губа ее приподнялась, а из глаз брызнули слезы.— Вот и Рэймонд скажет, сколько имбирной настойки и нюхательной соли мне приходится ставить на ночь возле кровати. Рэймонд вам скажет, как часто ноги у меня сводит нервная судорога. Впрочем, и спазмы и нервные судороги — самая обычная для меня вещь, когда меня терзает беспокойство о тех, кого я люблю. Не будь я столь привязчива и чувствительна, у меня было бы прекрасное пищеварение и железные нервы. Ничего лучшего я бы и не желала. Но не тревожиться о вас по ночам... нет, надо же выдумать такое! — И она залилась слезами.

Я решил, что «Рэймонд» и есть тот джентльмен, которого я перед собой вижу, и что это не кто иной, как мистер Камилла. Он тотчас поспешил на помощь своей супруге и сладким голосом стал ее успокаивать:

— Камилла, дорогая моя, всем известно, что ваши родственные чувства вас подтачивают так, что одна нога у вас уже стала короче другой.

— Я бы не сказала, моя милая,— заметила суровая леди, чей голос я до этого слышал всего один раз,— что, думая о ком-нибудь, мы тем самым получаем право чего-то ожидать от этого человека.

Мисс Сара Покет, которую я лишь теперь рассмотрел,— маленькая, сухонькая, сморщенная старушка с коричневым личиком, точно склеенным из скорлупок грецкого ореха, и большим ртом, похожим на кошачий, только без усов,— присоединилась к этому мнению, заявив:

— Ну разумеется нет, моя милая! Хм!

— Думать — это не трудно,— продолжала суровая леди.

— Это легче легкого,— подтвердила мисс Сара Покет.

— Да, конечно, конечно! — вскричала Камилла, чьи накипевшие чувства, видимо, переместились из ее ног в бурно вздымавшуюся грудь.— Вы тысячу раз правы!

Нельзя быть такой чувствительной, но я ничего не могу с собой поделать. Я знаю, что гублю свое здоровье, и все же я не хотела бы стать другой, даже если бы могла. Страдания мои ужасны, но, просыпаясь по ночам, я нахожу утешение в том, что я именно такая.— И она опять разрыдалась.

За все это время мисс Хэвишем ни разу не остановилась,— мы продолжали ходить по комнате все кругом и кругом, то чуть не задевая гостей, то отдаляясь от них на всю длину мрачной залы.

— Но каков Мэтью! — воскликнула Камилла.— Забыть о тех, кто ему всего ближе, ни разу не справиться, как чувствует себя мисс Хэвишем! Я иногда лежу на диване, расшнуровав корсет, лежу часами без чувств, голова у меня закинута, волосы в беспорядке, а ноги даже не знаю где...

(— Значительно выше, чем голова, моя радость,— вставил мистер Камилла.)

— ...лежу в таком состоянии часами, буквально часами,— а все из-за неестественного, необъяснимого поведения Мэтью,— и хоть бы слово благодарности от когонибудь услышала.

— Не вижу в этом ничего удивительного,— заметила суровая леди.

— Видите ли, дорогая,— добавила мисс Сара Покет (особа тихая, но ехидная),— вам бы следовало спросить себя, от кого вы, душечка, ожидаете благодарности.

— Не ожидая ни от кого благодарности,— продолжала Камилла,— я лежу в таком состоянии часами, вот и Рэймонд вам скажет, что я буквально задыхаюсь, и имбирная настойка уже мне не помогает, а однажды меня услышали через улицу у настройщика, и его бедные невинные детки подумали, что это голуби воркуют под крышей, и когда после этого мне говорят...— тут Камилла поднесла руку к горлу, и оттуда полились звуки, столь же сложные по своему составу, как новые химические соединения.

Услышав имя Мэтью, мисс Хэвишем остановила меня, остановилась сама и стала пристально смотреть на говорившую. Под действием этого взгляда химическая деятельность Камиллы внезапно прекратилась.

— Мэтью придет ко мне тогда,— сказала мисс Хэвишем строгим голосом,— когда я буду лежать на этом столе. Вот где будет его место,— она ударила по столу клюкой,— вот здесь, у меня в головах. А вы будете стоять здесь! А ваш муж — здесь! А Сара Покет — здесь! А Джорджиана — здесь! Ну, вот вы все и знаете, где вам стоять, когда вы придете пировать над моим трупом. А теперь уходите!

Называя их по именам, она каждый раз ударяла клюкою стол в новом месте. Потом сказала:

— Веди меня, веди! — И мы снова пустились в путь.

— По-видимому, нам ничего не остается,— воскликнула Камилла,— как повиноваться и разойтись. Спасибо и на том, что я повидала предмет моей любви и родственного долга. Как ни кратко было это свидание, но, просыпаясь по ночам, я буду вспоминать о нем с грустью и отрадой. Ах, если бы это утешение было дано Мэтью! Но он сам от него отказывается. Я раз навсегда решила не выставлять напоказ мои чувства, но как это тяжело, когда тебе говорят, что ты жаждешь пировать над трупами своих родных — точно ты людоед из сказки! — и когда тебя гонят прочь! Надо же выдумать такое!

Миссис Камилла уже прижала руку к своей вздымающейся груди, но тут ее подхватил мистер Камилла, и достойная леди, придав своему лицу выражение нечеловеческой твердости,— в котором ясно сквозило намерение упасть замертво, едва выйдя за дверь,— послала мисс Хэвишем воздушный поцелуй и дала себя увести. Сара Покет и Джорджиана попробовали было потягаться — кто останется в комнате последней; но перехитрить Сару было не легко, она так ловко семенила вокруг Джорджианы, незаметно подталкивая ее к двери, что той пришлось-таки уйти первой. После этого ничто не мешало Саре Покет и самой удалиться, выразительно вздохнув на прощанье: «Да хранит вас бог, дорогая мисс Хэвишем!» — и изобразив на своем ореховом личике улыбку, говорившую яснее слов, что она по-христиански прощает остальным их слабости и заблуждения.

Эстелла, взяв свечу, пошла проводить их вниз, а мисс Хэвишем еще некоторое время ходила, опираясь на мое плечо, но уже все медленнее и медленнее. Наконец она

остановилась перед камином, постояла, бормоча что-то про себя, и сказала:

— Сегодня день моего рожденья, Пип.

Я хотел поздравить ее, но она угрожающе подняла палку.

— Я не разрешаю об этом говорить. Не разрешаю ни тем, что сейчас были здесь, ни кому-либо другому. Они приходят сюда в этот день, но упоминать о нем не смеют.

Я, разумеется, тоже не стал больше о нем упоминать.

— В этот самый день, задолго до того как ты родился, вот эту гниль,— она махнула клюкой по направлению кучи паутины на столе,— принесли и поставили здесь. Мы состарились вместе. Пирог сглодали мыши, а меня гложут зубы острее мышиных.

Она смотрела на стол, прижав к груди свою палку,— в желтом, поблекшем, когда-то белом платье, смотрела на желтую, поблекшую, когда-то белую скатерть, и казалось — все вокруг только ждет чьего-то прикосновения, чтобы рассыпаться в прах.

— Когда разрушение станет полным,— глаза мисс Хэвишем загорелись зловещим огнем,— когда меня мертвую, в подвенечном уборе, положат на свадебный стол,— пусть *ему* это послужит последним проклятием! — хорошо бы и это случилось в день моего рожденья.

Она смотрела на стол так, словно видела на нем себя, мертвую. Я молчал. Эстелла, воротившаяся снизу, тоже молчала. Мне казалось, что мы стоим так очень долго. Удрученный спертым воздухом комнаты, тяжелым мраком, притаившимся в ее углах, я испытывал тревожное ощущение, что и Эстелла и сам я тоже вот-вот начнем разрушаться.

Наконец мисс Хэвишем, как-то сразу очнувшись от своего бреда, сказала:

— Ну, вы играйте в карты, а я посмотрю; что же вы не начинаете?

Тогда мы вернулись в ее комнату и расселись по своим местам; я опять стал проигрывать, а мисс Хэвишем, как и в тот раз не сводившая с нас внимательного взгляда, все предлагала мне любоваться Эстеллой и прикладывала драгоценности к ее шее и волосам, чтобы красота ее выступила еще ярче.

Эстелла, со своей стороны, тоже обращалась со мною по-прежнему; только теперь она даже не удостаивала меня разговором. Мы сыграли пять или шесть конов, а затем был назначен день, когда мне прийти опять, и меня свели во двор и покормили, все так же пренебрежительно, словно собаку. И, как в прошлый раз, мне было разрешено побродить одному по усадьбе.

Не так уж существенно, открыта или закрыта была в прошлый раз калитка в той ограде, на которую я вскарабкался, чтобы заглянуть в сад. Важно то, что тогда я не заметил никакой калитки, а теперь заметил. Она стояла отворенная, и так как я знал, что Эстелла уже проводила гостей,— когда она вернулась наверх, ключи были у нее в руке,— я вошел в калитку и отправился бродить по саду. Там царило полное запустение, и в старых парниках, где некогда разводили огурцы и дыни, теперь видны были только чахлые всходы сношенных башмаков и шляп, да там и сям тянулась к свету ручка дырявой кастрюли.

Обойдя весь сад и обследовав теплицу, где не оказалось ничего, кроме упавшей наземь виноградной плети и нескольких разбитых бутылок, я очутился в том глухом уголке, на который давеча смотрел из окна. Вполне уверенный, что в доме никого нет, я заглянул в другое окошко и к величайшему своему изумлению увидел прямо перед собой бледного молодого джентльмена с красными веками и очень светлыми волосами.

Бледный молодой джентльмен сразу исчез и через мгновение появился со мною рядом. Очевидно, я застиг его за приготовлением уроков, потому что пальцы у него были все в чернилах.

— Ого, приятель! — сказал он.

Зная по опыту, что на такое малозначащее замечание, как «ого», удобнее всего отвечать тем же, я тоже сказал — ого! — из скромности опустив «приятеля».

— Кто тебе отпер калитку? — спросил он.

— Мисс Эстелла.

— Кто тебе позволил забраться в сад?

— Мисс Эстелла.

— Пошли драться,— сказал бледный молодой джентльмен.

Что мне оставалось, как не последовать за ним? Я и потом не раз задавал себе этот вопрос, но что другое мне оставалось? Он говорил так решительно, а я был так удивлен, что пошел за ним следом, как завороженный.

— Впрочем, погоди,— сказал он, едва мы прошли несколько шагов.— Надо же дать тебе повод для драки. Вот, получай! — И он вызывающе хлопнул в ладоши, грациозно отвел одну ногу назад, дернул меня за волосы, снова хлопнул в ладоши и, изловчившись, боднул меня головою в живот.

Этот последний, чисто бычий прием показался мне особенно неприятным на сытый желудок, не говоря уже о том, что я, естественно, расценил его как недопустимую вольность. Поэтому я ответил ударом и хотел ударить еще раз, но он сказал: — Ах, ты так? — и стал скакать взад и вперед, изображая какой-то невиданный мною дотоле танец.

— Правила игры! — сказал он. И запрыгал на правой ноге.— Только по правилам! — И запрыгал на левой.— Надо выбрать место и проделать предварительные церемонии.— И он стал изгибаться вперед и назад, а я беспомощно взирал на все его выкрутасы.

Видя, какой он быстрый и ловкий, я в глубине души побаивался его; но и физическое и нравственное ощущение говорило мне, что его светлой шевелюре было совсем не место у меня под ложечкой и что я вправе обидеться на такую навязчивость с его стороны. Вот почему я молча последовал за ним в глубь сада, где две стены образовали угол, скрытый от посторонних глаз кучей мусора. Справившись, доволен ли я выбором места, и услышав, что доволен, он попросил разрешения на минутку отлучиться и скоро вернулся с бутылкой воды и губкой, смоченной в уксусе.— Это для обоих,— сказал он, прислонив бутылку к стене. А потом стал стягивать с себя не только пиджак и жилет, но и рубашку, являя вид одновременно беззаботный, деловитый и кровожадный.

Хоть он и не выглядел особенно здоровым — лицо у него было в прыщах, на губе лихорадка,— но эти устрашающие приготовления сильно смутили меня. Примерно одних со мной лет, ростом он был много выше и умел необычайно эффектно вертеться вокруг собственной оси. Вообще же это был молодой джентльмен в сером костюме

(частично сброшенном ввиду предстоящего боя), у которого локти, колени, кисти рук и ступни значительно обогнали в своем развитии остальные части тела.

Сердце у меня екнуло, когда он стал в позу и, видимо, с полным знанием дела стал оглядывать меня с головы до ног, выбирая самое подходящее место для удара. И я в жизни еще не был так удивлен, как в ту минуту, когда, размахнувшись, вдруг увидел, что он лежит на спине и смотрит на меня, а по лицу его, странно изменившемуся в ракурсе, течет кровь из разбитого носа.

Но он мгновенно вскочил и, ловко обтеревшись губкой, снова стал наступать на меня. Второй раз я удивился почти так же сильно, когда увидел, что он опять лежит на спине и смотрит на меня подбитым глазом.

Его мужество вызвало во мне глубокое уважение. Силенок ему явно не хватало, он ни разу не ударил меня как следует и то и дело летел на землю; но тут же вскакивал, отпивал из бутылки и обтирался губкой, с увлечением и по всем правилам разыгрывая собственного секунданта, а затем лез на меня с таким задором, что я каждый раз думал — ну, теперь мне несдобровать. Ему жестоко досталось, потому что,— должен с сожалением в том сознаться,— я с каждым разом бил все сильнее; но он вскакивал снова, и снова, и снова, пока наконец, свалившись еще раз, не трахнулся затылком о стену. Однако даже и после этого поворота в наших делах он встал на ноги и несколько раз перевернулся на месте, не соображая, где я стою, но в конце концов рухнул на колени, нашел свою губку и, подбросив ее в воздух, не забыл объяснить, пыхтя и задыхаясь:

— Это значит, ты победил.

Он был такой храбрый и безобидный, что, хотя не я затеял эту драку, победа доставила мне не радость, а только угрюмое удовлетворение. Мне даже смутно вспоминается, что, одеваясь, я ощущал себя злобным волчонком или каким-то другим диким звереньшем. Как бы там ни было, я оделся, несколько раз за это время мрачно вытерев свою окровавленную физиономию, и спросил: — Тебе помочь? — А он ответил: — Нет, спасибо.— После чего я сказал: — Всего хорошего! — А он ответил: — И тебе того же.

Когда я вышел во двор, Эстелла ждала меня с ключами наготове. Но она не спросила, ни куда я ходил, ни почему заставил ее ждать; на щеках у нее играл румянец, как будто случилось что-то очень для нее приятное. И вместо того чтобы сразу пройти к калитке, она отступила обратно в прихожую и поманила меня к себе:

— Поди сюда! Если хочешь, можешь меня поцеловать.

Она подставила мне щеку, и я поцеловал ее. Вероятно, я готов был дорого заплатить за то, чтобы поцеловать ее в щеку. Но я почувствовал, что этот поцелуй — все равно что монетка, брошенная грубому деревенскому мальчику, что он ничего не стоит.

Визитеры мисс Хэвишем, карты, драка — все это заняло так много времени, что, когда я подходил к дому, маяк на песчаной косе за болотами уже мерцал на фоне черного неба, а из кузницы Джо бежала через улицу яркая огненная дорожка.

ГЛАВА XII

Мысль о бледном молодом джентльмене стала не на шутку тревожить меня. Чем больше я думал о нашей драке, вспоминая, как он снова и снова падал на спину и как лицо его все больше вспухало и расцвечивалось, тем менее сомневался в том, что это мне даром не пройдет. Я чувствовал, что кровь бледного молодого джентльмена пала на мою голову и что мне не уйти от возмездия Закона. Не представляя себе сколько-нибудь отчетливо, какую именно кару я на себя навлек, я все же понимал, что не могут деревенские мальчишки безнаказанно бродить по округе, вламываться в господские владения и избивать преданную наукам английскую молодежь. Несколько дней я старался держаться поближе к дому и, прежде чем бежать с каким-нибудь поручением, с величайшей осторожностью и трепетом выглядывал за дверь кухни, чтобы невзначай не попасть в лапы констеблям из тюрьмы графства. Нос бледного молодого джентльмена запятнал мне штаны, и глубокой ночью я старался смыть с них это доказательство моей виновности.

Следы зубов бледного молодого джентльмена остались у меня на пальцах, и я всячески изощрял свое воображение, придумывая самые невероятные способы отвести от себя эту роковую улику, когда предстану перед судом.

В тот день, когда мне вновь полагалось посетить места, где я совершил свое злодеяние, страхи мои достигли предела. Что, если за калиткой притаились в засаде служители правосудия, нарочно присланные за мной из Лондона? Что, если мисс Хэвишем, предпочитая самолично отомстить за оскорбление, нанесенное ее дому, вдруг поднимется с места в этом своем саване, выхватит пистолет и застрелит меня? Что, если кто-нибудь подкупил мальчишек, чтобы они — целой шайкой — напали на меня в пивоварне и избили до смерти? В благородство бледного молодого джентльмена я, по-видимому, верил свято, потому что ни разу не заподозрил его соучастия в этих актах мщения; они неизменно рисовались мне как дело рук его безрассудных родственников, разъяренных плачевным видом его физиономии и негодующих по поводу порчи фамильного портрета.

Однако идти к мисс Хэвишем было нужно, и я пошел. И что же? Решительно ничего из драки не воспоследовало. Никто ни словом не упомянул о ней, никаких признаков бледного молодого джентльмена нигде не было. Калитка снова стояла отворенная, и я обследовал весь сад и даже заглянул в окна флигеля; но взгляд мой уперся в ставни, которыми окна оказались закрыты изнутри, и везде было пусто и тихо. Лишь в уголке, где состоялось наше побоище, обнаружил я кое-что, указывающее на существование молодого джентльмена: здесь виднелись засохшие следы его крови, и я схоронил их от людского глаза под землей и прелыми листьями.

На площадке лестницы между комнатой мисс Хэвишем и залой, где стоял накрытый стол, я заметил садовое кресло — легкое кресло на колесах, которое возят, толкая его сзади. Оно появилось здесь после моего предыдущего посещения, и я в тот же день приступил к новым обязанностям — катать в этом кресле мисс Хэвишем (когда она уставала ходить, опираясь на мое плечо) по ее комнате, а потом через площадку и вокруг залы. Снова и снова совершали мы этот путь, и бывало, что

наши прогулки длились по три часа кряду. Я нечаянно упомянул об этих прогулках во множественном числе, потому что было тут же решено, что катать мисс Хэвишем я буду приходить через день в обед, а кроме того, я хочу теперь в коротких чертах рассказать о целом периоде моей жизни, который длился не меньше восьми, а то и десяти месяцев.

По мере того как мы привыкали друг к другу, мисс Хэвишем все больше разговаривала со мной, расспрашивала, чему я учился и чем думаю заниматься, когда вырасту. Я рассказал ей, что, наверно, пойду в подмастерья к Джо, и не раз говорил о том, как мало я знаю и как мне хочется учиться. Я надеялся получить от нее помощь в достижении этой заветной цели; но она не предлагала помочь мне, напротив — мое невежество было ей, казалось, больше по душе. Она и денег мне никогда не давала, только кормила каждый раз обедом и даже не упоминала о том, что собирается как-нибудь оплатить мои услуги.

Эстелла всегда была тут же и всегда впускала и выпускала меня, но никогда больше не говорила: «Можешь меня поцеловать». Порой она холодно терпела мое присутствие; порой снисходила ко мне; порой держалась со мной совсем просто; порой с жаром заявляла, что ненавидит меня. Мисс Хэвишем нередко спрашивала меня шепотом или когда мы оставались одни: «Не правда ли, Пип, она все хорошеет и хорошеет?» И когда я отвечал «да» (потому что так оно и было), это, казалось, доставляло ей какую-то хищную радость. А когда мы играли в карты, мисс Хэвишем смотрела на нас, ревниво наслаждаясь изменчивыми настроениями Эстеллы. И порой, когда настроения эти менялись так быстро и так противоречили одно другому, что я окончательно терялся, мисс Хэвишем обнимала ее с судорожной нежностью, и мне слышалось, будто она шепчет ей на ухо: «Разбивай их сердца, гордость моя и надежда, разбивай их сердца без жалости!»

Работая в кузнице, Джо любил напевать обрывки несложной песни с припевом «Старый Клем». Нельзя сказать, чтобы это было очень благочестивым восхвалением святого угодника и покровителя, каким Старый Клем считался по отношению к кузнецам. Песня эта пелась в лад с ударами молота по наковальне и была не более как по-

тическим предлогом для упоминания почтенного имени Старого Клема. Так, мы подбодряли друг друга: «Куй, ребята, не зевай — Старый Клем! Дружно разом поддавай — Старый Клем! Звонче звон, громче стук — Старый Клем! Не жалей крепких рук — Старый Клем! Раздувай огонь сильней — Старый Клем! Взвейтесь, искры, веселей — Старый Клем!» Однажды, вскоре после появления кресла на колесах, когда мисс Хэвишем вдруг приказала мне: «Ну же, спой что-нибудь, спой!» — и, как всегда, нетерпеливо зашевелила пальцами, я, не переставая катить кресло, неожиданно для самого себя затянул «Старого Клема». И наша песня так понравилась мисс Хэвишем, что она стала мне подтягивать тихим печальным голосом, словно во сне. После этого пение во время прогулок по комнатам вошло у нас в обычай, и нередко к нам присоединялась Эстелла; но даже и в этих случаях хор наш звучал так приглушенно, что малейшее дуновение ветра — и то отдалось бы громче в старом мрачном доме.

Что могло из меня получиться в такой обстановке? Как могла она не повлиять на весь мой душевный склад? Удивительно ли, что, когда я выходил на залитую солнцем улицу из желтой мглы этих комнат, в мыслях у меня, так же как перед глазами, стоял туман?

Возможно, что я рассказал бы Джо про бледного молодого джентльмена, если бы в свое время не наплел сгоряча столько небылиц, в чем сам же ему и сознался. А теперь я побаивался, как бы Джо не усмотрел в бледном молодом джентльмене подходящего седока для черной бархатной кареты, и поэтому ничего ему не рассказал. К тому же болезненное нежелание выносить мисс Хэвишем и Эстеллу на чей-либо суд, возникшее у меня с самого начала, с течением времени еще усилилось. Я не доверял до конца никому, кроме Бидди; зато бедной Бидди я рассказал все. Почему это выходило у меня само собой и почему Бидди слушала меня с таким интересом, этого я тогда не знал, хотя теперь, кажется, знаю.

Тем временем в кухне у нас происходили военные советы, от которых раздражение, постоянно владевшее мною, достигало почти невыносимого накала. Болван Памблчук частенько заезжал к нам вечерком, чтобы потолковать с миссис Джо о моем будущем; и я, честное

слово, думаю (даже сейчас не испытывая при этом особых угрызений совести), что с удовольствием вытащил бы чеку́ из его тележки, если бы только сумел. Презренный этот человек отличался столь непроходимой тупостью, что не мог говорить о моем будущем, не имея меня перед глазами — в качестве своего рода наглядного пособия. Он вытаскивал меня (обычно за шиворот) из угла, где я спокойно сидел на своей скамеечке, и, поставив перед огнем, словно мне предстояло быть зажаренным или испеченным, начинал примерно так:

— Вот, сударыня, вот он! Вот мальчик, которого вы воспитали своими руками. Держи голову выше, мальчик, и будь вечно благодарен своим благодетелям. Так вот, сударыня, касательно этого мальчика...— После чего он грубо ерошил мне волосы (как уже упоминалось, я с младенческих лет ни за кем не признавал такого права), все время придерживая меня за рукав,— так что я своим дурацким видом мог соперничать разве что с ним самим.

А затем они с моей сестрой пускались в такие нелепые рассуждения относительно мисс Хэвишем и того, что она из меня и для меня сделает, что злые слезы жгли мне глаза и меня так и подмывало кинуться на Памблчука и нещадно исколотить его. Сестра моя во время этих разговоров обращалась ко мне так, словно каждый раз, выражаясь фигурально, вырывала мне по зубу, в то время как Памблчук, сам себя произведший в мои покровители, неодобрительно обозревал меня, как бы с грустью убеждаясь, что, решив устроить мое счастье, он ввязался в весьма невыгодное дело.

Джо в этих совещаниях не участвовал. Но во время их многое говорилось по его адресу, ибо миссис Джо заметила, что затея взять меня из кузницы отнюдь не встречает в нем сочувствия. По возрасту я уже вполне годился в подмастерья; и когда Джо сидел, бывало, перед огнем, просунув кочергу между прутьями решетки и задумчиво помешивая золу, сестра столь явственно распознавала в этом невинном занятии выражение протеста, что налетала на него и, как следует встряхнув, выхватывала у него из рук кочергу и отставляла в сторону. Разговоры эти неизменно заканчивались самым неприятным образом. Ни с того ни с сего, без всякого к тому повода, сестра

вдруг обрывала неоконченный зевок и, словно только что обнаружив мое присутствие, как коршун набрасывалась на меня со словами: «Ну! Хватит тебе тут торчать! Марш в постель! Довольно мы с тобой намучились на один вечер!» Как будто это я покорнейше просил их изводить меня до потери сознания.

Так шла наша жизнь в течение долгих месяцев, и казалось, что она будет идти так еще долго; но однажды во время нашей прогулки мисс Хэвишем вдруг остановилась и, не снимая руки с моего плеча, сказала неодобрительно:

— Ты сильно вырос, Пип.

Я счел нужным выразить с помощью задумчиво устремленного вдаль взора, что причиной тому — обстоятельства, над которыми я не властен.

Мисс Хэвишем ничего больше не сказала; но скоро снова остановилась и посмотрела на меня; потом это повторилось еще раз; а потом она словно помрачнела и насупилась. В следующий мой приход, когда моцион наш был закончен и я благополучно доставил ее к туалетному столу, она задержала меня нетерпеливым движением пальцев.

— Скажи мне еще раз, как зовут твоего кузнеца?

— Джо Гарджери, мэм.

— Это к нему ты должен был идти в подмастерья?

— Да, мисс Хэвишем.

— Пожалуй, сейчас для этого самое время. Как ты думаешь, захочет Гарджери прийти сюда с тобой и принести ваш договор?

Я высказал твердую уверенность в том, что он будет весьма польщен этим приглашением.

— Тогда пускай придет.

— В какое время лучше, мисс Хэвишем?

— Ах, перестань! Что мне до времени? Пусть приходит поскорее и с тобой вместе.

Когда я вечером вернулся домой и передал Джо это поручение, сестра моя залютовала как никогда раньше. Она спросила у меня и у Джо, не воображаем ли мы, что она — половик у нас под ногами, и как мы смеем так с ней обращаться, и для какого же общества, скажите на милость, она в таком случае годится? Когда поток вопросов, подобных этим, иссяк, она швырнула в Джо подсвечником, разразилась громкими воплями, вытащила из угла совок

для мусора,— что всегда было зловещим предзнаменованием,— надела свой толстый передник и начала яростно наводить чистоту. Не удовлетворившись уборкой всухую, она вооружилась ведром и шваброй и выжила нас из дома, так что мы долго стояли на заднем дворе, дрожа от холода. Только в десять часов вечера мы осмелились потихоньку вернуться домой, и тут она спросила Джо, почему он с самого начала не женился на чернокожей рабыне? Бедный Джо ничего не ответил, он только молча стоял, теребя свои бакены и удрученно поглядывая на меня, словно думал, что, может быть, это и в самом деле было бы не в пример умнее.

ГЛАВА XIII

Через день после этого я с тяжелым сердцем наблюдал, как Джо облачается в свой воскресный костюм, чтобы сопровождать меня к мисс Хэвишем. Однако поскольку он считал парадный мундир совершенно необходимым для такого торжественного случая, не мне было говорить ему, что он выглядит куда авантажнее в рабочем платье; к тому же я знал, что он идет на эту муку исключительно ради меня, и только для меня он подтянул сзади воротник сорочки так высоко, что волосы у него на макушке поднялись в виде султана.

За завтраком сестра объявила о своем намерении отправиться в город вместе с нами, с тем чтобы мы оставили ее у дяди Памблчука и зашли за ней, «когда покончим со своими знатными леди»,— план, от которого Джо, видимо, не ждал ничего хорошего. Кузницу заперли на весь день, и Джо (как у него было в обычае в тех чрезвычайно редких случаях, когда он не работал) мелом начертил на двери короткое слово УШОЛ, а сбоку пририсовал стрелу, указующую, в каком направлении он скрылся.

Мы пошли в город пешком. Сестра шагала впереди, в огромном касторовом капоре, и тащила с собой корзину наподобие большой государственной печати, сплетенной из соломы, а также, несмотря на то, что стояла прекрасная погода,— пару деревянных калош, запасную шаль и

зонтик. Не могу точно сказать, для чего она несла все это добро — в виде ли добровольной епитимии или просто напоказ; но все же склоняюсь к мысли, что ей хотелось похвастаться своим достоянием,— так Клеопатре или другой залютовавшей властительнице могло прийти в голову выставить свои сокровища на всенародное обозрение во время какого-нибудь праздничного шествия.

Дойдя до владений Памблчука, сестра пулей влетела в дом и оставила нас одних. Так как было уже около полудня, мы с Джо сразу пошли к мисс Хэвишем. На звонок, как всегда, вышла Эстелла, и Джо, едва завидев ее, снял шляпу и, держа ее за поля, стал взвешивать в руках, словно имел особые основания бояться недовеса хотя бы на одну восьмую унции.

Эстелла, не взглянув ни на меня, ни на Джо, повела нас знакомой мне дорогой; я шел следом за нею, а Джо — за мной. Оглянувшись в длинном коридоре, я увидел, что он все так же тщательно взвешивает свою шляпу и поспевает за мной огромными шагами, но на цыпочках.

Эстелла сказала мне, чтобы мы оба вошли в комнату, и я, взяв Джо за обшлаг, подвел его к мисс Хэвишем. Она сидела за своим туалетным столом и тотчас повернула голову в нашу сторону.

— Значит, вы,— обратилась она к Джо,— муж сестры этого мальчика?

Я никак не думал, что мой милый Джо может быть так не похож на самого себя и так похож на какую-то диковинную птицу: он стоял безмолвный, хохолок его растрепался, а рот был открыт, словно он просил червяка.

— Вы,— повторила мисс Хэвишем,— муж сестры этого мальчика?

Это было очень досадно, но это было так: с начала и до конца последовавшего затем разговора Джо упорно обращался не к мисс Хэвишем, а ко мне.

— Дело-то оно, видишь, как обстояло, Пип,— начал он, причем в тоне его сочетались спокойная рассудительность, дружеская задушевность и тонкая вежливость обращения,— я, значит, так-таки женился на твоей сестре, ну а до той поры был, значит, это самое, с позволения сказать — холост.

— Так,— продолжала мисс Хэвишем.— И вы выра-

стили мальчика с тем, чтобы взять его себе в подмастерья; правильно, мистер Гарджери?

— Ты сам знаешь, Пип,— отвечал Джо,— мы же с тобой всегда были друзьями и сколько раз говорили, что вот, мол, как оно будет расчудесно. Но я еще то скажу, Пип, что, ежели бы ты имел что против,— ну, к примеру, что работа грязная и сажи много,— так неволить тебя никто не будет.

— Мальчик когда-нибудь говорил о своем нежелании работать? — спросила мисс Хэвишем.— Он любит ваше ремесло?

— Кому же и знать, как не тебе, Пип,— отвечал Джо тоном еще более рассудительным, задушевным и вежливым,— что ты только о том и мечтаешь целый век. (Еще до того как были произнесены следующие слова, я понял, что Джо вдруг усмотрел возможность почти дословно повторить свою эпитафию.) Ведь ты, Пип, ученый и хороший человек, и ты о том мечтаешь целый век.

Тщетно я пытался довести до его сознания, что ему следует обращаться к мисс Хэвишем. Чем больше я дергал его за рукав и хмурил брови, чтобы внушить ему это, тем вежливее, рассудительнее и задушевнее он становился со мной.

— Вы принесли его бумаги? — спросила мисс Хэвишем.

— Ну как же, Пип,— отвечал Джо, словно считая ее вопрос излишним,— ты ведь сам видел, как я клал их в шляпу,— так где же им и быть, как не здесь? — С этими словами он достал бумаги и протянул их не мисс Хэвишем, а мне. Боюсь, что в эту минуту я стыдился моего доброго Джо,— даже знаю наверно, что я его стыдился,— ведь за стулом мисс Хэвишем стояла Эстелла, и глаза ее озорно смеялись. Я взял бумаги из рук Джо и передал их мисс Хэвишем.

— Мистер Гарджери,—сказала она, просматривая мои документы,— вы не рассчитывали получить плату за обучение мальчика?

— Джо! — воскликнул я укоризненно, ибо он молчал.— Что же ты не отвечаешь?

— Пип! — остановил он меня с огорчением и обидой.— Вот уж о чем бы тебе не след меня спрашивать. Ты сам посуди, могу я что-нибудь тебе ответить, кроме

как «нет и нет»? Знаешь ведь, что нет, Пип, так чего же мне еще говорить?

Мисс Хэвишем взглянула на Джо так, словно понимала его куда лучше, чем я мог ожидать при его нелепом поведении, и взяла с туалетного стола какой-то мешочек.

— Пип заработал здесь плату за свое ученье,— сказала она.— Вот, возьмите, в этом мешочке двадцать пять гиней. Отдай их своему хозяину, Пип.

Но Джо, словно лишившись рассудка под воздействием этой удивительной комнаты и удивительной ее обитательницы, даже теперь продолжал упорно обращаться ко мне.

— Это очень щедро с твоей стороны, Пип,— сказал Джо.— И великое тебе на том спасибо, хотя, видит бог, ничего такого я не ждал и в мыслях даже никогда не имел. А теперь, дружок,— продолжал он, и меня бросило в жар и в холод, как будто фамильярное это обращение относилось к мисс Хэвишем,— а теперь, дружок, за работу, и будем исполнять свой долг друг перед другом, и еще перед теми, которые... твой щедрый подарок... передали... для спокойствия... некоторых... которые никогда...— тут Джо явно почувствовал, что завяз обеими ногами в болоте, однако сумел выкарабкаться и победоносно закончил: — А меня сохрани боже! — Фраза эта показалась ему такой гладкой и убедительной, что он повторил ее еще раз.

— Прощай, Пип! — сказала мисс Хэвишем.— Эстелла, проводи их.

— Мне больше не приходить, мисс Хэвишем? — спросил я.

— Нет. Теперь твой хозяин — Гарджери. Гарджери, на одно слово!

Джо задержался, и я, уже выходя за дверь, слышал, как она сказала ему отчетливо и веско:

— Мальчик вел себя здесь очень хорошо, и это ему награда. Я уверена, что вы, как честный человек, ни на что большее не рассчитываете.

Как Джо выбрался из ее комнаты, это навсегда осталось для меня загадкой; но я твердо помню, что, выйдя в конце концов на лестницу, он, вместо того чтобы спускаться, стал упорно стремиться вверх и не внимал никаким уговорам, так что мне пришлось за руку свести его вниз. Еще через минуту калитка захлопнулась, ключ

щелкнул в замке, и Эстелла исчезла. Когда мы остались одни на светлой улице, Джо попятился к стене и, прислонившись, чтобы не упасть, сказал: — Поди ж ты! — Он стоял в этом положении очень долго, снова и снова повторяя свое «поди ж ты», и я уже начал опасаться, что он так и не придет в себя. Наконец он выразился уже более пространно: — Поди ж ты, Пип, чудеса, да и только! — после чего постепенно разговорился и сдвинулся с места.

Я имею основания предполагать, что под влиянием пережитой встряски мозги у Джо прояснились и что по дороге к дому Памблчука он успел разработать некий хитроумный план. Догадку мою подтверждает то, что произошло в гостиной у мистера Памблчука, где моя сестра в ожидании нашего возвращения беседовала с ненавистным лабазником.

— Ага! — вскричала сестра, относя это приветствие к нам обоим.— Откуда явились, что видели-слышали? Как это еще вы нас удостоили своим обществом, я уж думала, вы теперь и знаться с нами, бедными, не захотите.

— Мисс Хэвишем....— сказал Джо, пристально глядя на меня, словно силясь что-то вспомнить,— велела — да не просто велела, а несколько раз напомнила, чтобы, значит, передать от нее... как это она говорила-то, Пип, поклон или почтение?

— Поклон,— сказал я.

— Вот и мне так помнилось,— подхватил Джо,— чтобы передать, значит, от нее поклон миссис Дж. Гарджери...

— А что мне с него! — фыркнула сестра, впрочем весьма польщенная.

— И очень сожалеет,— продолжал Джо, все так же пристально глядя на меня,— что как она, значит, слаба здоровьем, то не может... правильно я говорю, Пип?

— Доставить себе удовольствие,— подсказал я.

— Приглашать в гости дам,— закончил Джо. И перевел дух.

— Ишь ты! — воскликнула сестра и взглянула на мистера Памблчука уже гораздо более мягко.— Не отсох бы у нее язык сказать об этом пораньше, ну, да лучше поздно, чем никогда. А что она дала этому сорванцу?

— Ему,— сказал Джо,— ничего не дала.

Миссис Джо уже готова была вспылить, но Джо предупредил ее.

— А что дала,— сказал Джо,— то дала его друзьям. «А друзьям,— так она объяснила,— это значит, в руки его сестре миссис Дж. Гарджери». Так и сказала: «Миссис Дж. Гарджери». Может, она и не знала, как это понимать,— добавил он задумчиво,— то ли Джо, то ли Джейн.

Сестра поглядела на Памблчука, а тот потер подлокотники своего деревянного кресла и закивал головой, поглядывая то на нее, то на огонь в камине с таким видом, будто давным-давно все это знал.

— Сколько же ты получил? — спросила сестра и засмеялась — так-таки засмеялась!

— Как посмотрит почтеннейшая публика на десять фунтов? — осведомился Джо.

— Не плохо,— сухо ответила сестра.— Не ахти сколько, но не плохо.

— Ну так вот, больше,— сказал Джо.

Бессовестный пройдоха Памблчук опять закивал и поддакнул, потирая ручки своего кресла:

— Больше, сударыня.

— Вы что же, хотите сказать...— начала сестра.

— Да, сударыня, хочу,— сказал Памблчук,— но погодите минутку. Продолжай, Джозеф. Ты молодец. Продолжай!

— Как посмотрит почтеннейшая публика,— снова заговорил Джо,— на двадцать фунтов?

— Ну, это прямо-таки щедро,— отвечала сестра.

— Так вот, не двадцать фунтов,— сказал Джо,— а больше.

Гнусный лицемер Памблчук опять кивнул и подтвердил, снисходительно посмеиваясь:

— Больше, сударыня. Ай да Джозеф! Говори, говори, голубчик!

— Чтобы зря не тянуть да не томить,— сказал Джо и сияя подал мешочек сестре,— вот. Тут двадцать пять фунтов.

— Двадцать пять фунтов, сударыня,— как эхо отозвался подлый мошенник Памблчук и встал, чтобы пожать ей руку.— Кто же их и заслужил, как не вы (вспомните,

я всегда это говорил), а посему желаю вам всяческого благополучия!

Остановись он на этом, и то его злодейство вопияло бы к небу; но он еще усугубил свою вину тем, что тут же взял меня под надзор, и его покровительственно-властный вид оставил далеко позади все другие его преступления.

— Вот что, Джозеф и жена Джозефа,— сказал он, ухватив меня за руку повыше локтя.— Я если что начал, то люблю доводить до конца, такой уж я человек. Мальчика нужно записать в ученье незамедлительно. Я так считаю. Незамедлительно.

— Ах, дядя Памблчук,— сказала сестра (зажав в руке мешочек с деньгами),— мы вам по гроб жизни обязаны.

— Полноте, сударыня,— возразил окаянный торговец.— Кому же не приятно доставлять другим удовольствие. А что до мальчика — надо его записать. Ведь я всегда говорил, что позабочусь об этом.

До судебного присутствия было рукой подать, и мы тут же направились в ратушу, чтобы по всем правилам определить меня в подмастерья к Джо. Я сказал «мы направились», на самом же деле Памблчук силком подгонял меня вперед, точь-в-точь как если бы я только что залез к кому-то в карман или поджег стог сена. В суде у всех и создалось впечатление, будто я пойман с поличным; когда Памблчук, толкая меня в спину, протискивался сквозь толпу, одни спрашивали: «Что он натворил?», другие говорили: «Молод-то молод, да сразу видно — отпетый». А один тихий, благожелательный на вид старичок даже сунул мне тоненькую книжку, на обложке которой красовался явно злонамеренный молодой человек, весь обвешанный кандалами, наподобие продавца сосисок, и стояло заглавие: «Чтение заключенного».

В ратуше я увидел много интересного: здесь были ложи с высоким барьером — выше, чем в церкви,— и из них выглядывали чьи-то лица; всемогущие судьи (один — в пудреном парике) сидели в креслах, развалившись и скрестив руки, или нюхали табак, или читали газеты, или писали, или подремывали; а на стенах висели блестящие черные портреты, которые моему непросвещенному глазу показались сделанными из карамели и липкого пластыря. Здесь-то, в одном из углов большой залы, мой до-

говор и был подписан, заверен и скреплен печатью, причем все это время Памблчук крепко держал меня за локоть, словно мы зашли сюда по пути на виселицу, чтобы сперва покончить со всеми мелкими формальностями.

Выйдя затем на улицу и кое-как избавившись от мальчишек, которые с восторгом ожидали, что я буду подвергнут публичному наказанию здесь же, на площади, и очень огорчились, убедившись, что я окружен друзьями,— мы возвратились к Памблчуку. И тут сестра, вспомнив про двадцать пять гиней, пришла в такой азарт, что заявила — вынь да положь ей по этому случаю обед в «Синем Кабане», и пусть мистер Памблчук съездит на своей тележке за Хаблами и мистером Уопслом.

На том и порешили, и очень печально прошел для меня остаток этого дня. Ибо все они почему-то считали, что я только порчу им праздник. Мало того, все они от нечего делать спрашивали меня, почему я не веселюсь? И что мне оставалось, как не отвечать, что я очень веселюсь, хотя какое уж там было веселье!

Да, они были взрослые и пользовались тем, что могли поступать как им угодно. Отъявленный плут Памблчук даже уселся во главе стола, представляясь, будто это он всех облагодетельствовал; а пустившись в разглагольствования по поводу того, что я отдан в ученье, он злорадно поздравил всю компанию с тем обстоятельством, что отныне я подлежу аресту, если буду играть в карты, пьянствовать, поздно возвращаться домой, водить дружбу с кем не следует или же предаваться другим порокам,— в договоре все это предусматривалось как нечто неизбежное,— и, для вящей наглядности, велел мне стать рядом с ним на стул.

Что еще запомнилось мне из этого торжества? Что они не давали мне уснуть, а чуть только у меня начинали слипаться глаза, будили и приказывали веселиться. Что поздно вечером мистер Уопсл декламировал оду Коллинза и бросал он оземь меч кровавый свой с таким грохотом, что трактирный слуга прибежал сказать: «Приезжие из нижней залы велели кланяться и напомнить, что здесь, мол, не «Привал циркачей». Что по дороге домой все были в наилучшем настроении, все распевали «Моя краса», и мистер Уопсл уверял раскатистым басом (в ответ на на-

зойливое приставанье запевалы, которому в этой песне обязательно нужно выведать у каждого всю его подноготную), что да, это у него кудри вьются волной и что если говорить начистоту,— то именно он и есть пилигрим молодой.

И еще я помню, как дома, в своей спаленке, я чувствовал себя глубоко несчастным и был убежден, что никогда не полюблю ремесло кузнеца. Когда-то оно мне нравилось, но теперь — другое дело.

ГЛАВА XIV

Бесконечно тяжело стыдиться родного дома. Возможно, что это — заслуженное наказание за черную неблагодарность, лежащую в основе такого чувства; но что это бесконечно тяжело — я знаю по опыту.

Родной дом никогда не был для меня особенно приятным местом,— этому мешал крутой нрав моей сестры. Но дом был освящен присутствием Джо и до сих пор не внушал мне сомнений. Я верил, что наша гостиная не хуже самого изысканного салона; я верил, что парадная дверь — таинственные врата в храм господень и что ритуал их открытия сопровождается жертвоприношением из жареных кур; я верил, что наша кухня — помещение если и не роскошное, то вполне порядочное; я верил, что кузница — сверкающий путь к самостоятельной жизни, к жизни взрослого мужчины. Одного года было достаточно, чтобы все это изменить. Теперь наше жилище казалось мне грубым и обыкновенным, и я бы ни за что на свете не хотел, чтобы его увидели мисс Хэвишем и Эстелла.

В какой мере я сам был в ответе за эти недостойные мысли, а в какой мере мисс Хэвишем или моя сестра — это сейчас не важно ни для меня, ни для кого другого. Перемена во мне совершилась. Хорошо это было или плохо, простительно или не простительно, но это было так.

Прежде мне казалось, что день, когда я, засучив рукава, войду наконец в кузницу в качестве подмастерья Джо, преисполнит меня гордости и счастья. Теперь, когда

моя мечта сбылась, я чувствовал только, что весь пропитан мелкой угольной пылью и что сердце мне давит груз воспоминаний, неизмеримо более тяжелый, чем наковальня. И впоследствии у меня (как, вероятно, почти у всех) бывало ощущение, словно плотный занавес скрыл все, что есть в жизни интересного и прекрасного, оставив мне только тупую, нудную боль. Но никогда этот занавес не был таким густым и тяжелым, как в те дни, когда я только что ступил на свой жизненный путь и он протянулся передо мной, прямой и безотрадный.

Я помню, что в последующие месяцы не раз стоял на кладбище воскресными вечерами, когда на землю спускалась темнота, и, глядя на овеянные ветром болота, расстилавшиеся передо мной, улавливал в них какое-то сходство с моей жизнью: и тут и там все ровно и скучно, а где-то вдали — неведомая дорога, и туман, и море. Таким подавленным я чувствовал себя с самого первого дня моего ученичества; но я с радостью вспоминаю, что Джо за все это время не услышал от меня ни слова жалобы. Пожалуй, только это я и вспоминаю с радостью, когда думаю о себе в те годы.

Ибо хотя то, что я хочу сейчас добавить, непосредственно касается меня, но заслуга тут не моя, а одного только Джо. Не моя преданность, а преданность Джо удержала меня от попытки убежать из дому и пойти в солдаты или наняться на корабль. Не потому, что мне было присуще трудолюбие и чувство долга, а потому, что оно было присуще Джо, я работал пусть неохотно, но достаточно усердно. Невозможно сказать, как далеко распространяется влияние честного, душевного, преданного своему долгу человека; но вполне возможно почувствовать, как оно и тебя согревает на своем пути, и я твердо знаю: все, что было в моем ученичестве хорошего, вложил в него неунывающий работяга Джо, а не его беспокойный, вечно недовольный фантазер-подмастерье.

Кто скажет, чего мне недоставало? Что до меня, то я и сам этого не знал! Я содрогался при мысли, что как-нибудь в недобрый час, подняв голову от грубой и грязной работы, я вдруг увижу, что из-за деревянной створки окна в кузницу заглядывает Эстелла. Меня преследовал страх, что рано или поздно она застанет меня в таком виде —

с черным лицом и черными руками — и будет злобно радоваться и презирать меня. Сколько раз, когда темными вечерами я стоял у мехов и мы пели «Старого Клема», и при воспоминании о том, как мы певали у мисс Хэвишем, мне мерещилось в огне лицо Эстеллы, ее развевающиеся кудри и надменный взгляд,— сколько раз я, бывало, оглядывался на черные прорезы отворенных окон, и мне чудилось — вот только что, на моих глазах, исчезло за косяком ее лицо, и верилось, что она наконец пришла.

А после того, когда мы, наработавшись, являлись на кухню ужинать, и кухня и ужин казались мне особенно убогими, и в глубине своей недостойной души я больше чем когда-либо стыдился родного дома.

ГЛАВА XV

Поскольку я уже с трудом умещался в комнате двоюродной бабушки мистера Уопсла, обучение мое у этой нелепой старушки прекратилось. Однако это произошло не раньше, чем Бидди передала мне все свои познания — от тетрадки-прейскуранта до шуточной песенки, которую она как-то купила за полпенса. Правда, более или менее понятными были в этом литературном произведении только первые строчки:

Я в Лондон поехал на два дня,
Ту-роль лу-роль,
Ту-роль лу-роль,
До нитки там обобрали меня,
Ту-роль лу-роль,
Ту-роль лу-роль...—

но все же я, в своем стремлении к свету науки, добросовестно выучил эти стихи наизусть и, сколько помню, не сомневался в их достоинствах, хотя мне и казалось (да и до сих пор кажется), что всяких «ту-роль лу-роль» там было многовато по сравнению с высокой поэзией. Томимый жаждой знаний, я обратился к мистеру Уопслу с просьбой уделить мне несколько капель этого нектара, на что он милостиво согласился. Оказалось,

однако, что я нужен ему только как статист,— чтобы было кому грозить и противоречить, кого обнимать, душить, обливать слезами, колоть кинжалом и швырять оземь; поэтому я вскоре отказался от такого курса обучения, но мистер Уопсл в своем поэтическом раже успел-таки нанести мне довольно серьезные увечья.

Всем, что я узнавал нового, я старался делиться с Джо. Эти слова звучат так благородно, что я вынужден их разъяснить. Я хотел немножко обтесать и просветить Джо, чтобы он стал более достойным моего общества и меньше заслуживал осуждения Эстеллы.

Классной нам служила старая батарея на болотах, а учебными пособиями — аспидная доска и грифель, да еще неизменная трубка Джо. Не было случая, чтобы Джо хоть что-нибудь запомнил от воскресенья до воскресенья или приобрел с моей помощью хоть какие-нибудь крохи знаний. Но трубку свою он курил на батарее с еще более сосредоточенным видом, чем где бы то ни было — прямо-таки с ученым видом, словно чувствовал, что делает огромные успехи. Милый Джо! От души надеюсь, что он действительно это чувствовал.

Здесь было хорошо, спокойно; за земляным валом скользили белые паруса, и во время отлива мне представлялось порою, что это затонувшие корабли все еще плывут куда-то по дну реки. Глядя, как суда уходят к морю, развернув свои белые крылья, я всегда почему-то думал о мисс Хэвишем и Эстелле; то же бывало, когда луч солнца косо падал на далекое облако, или на парус, или на зеленый склон холма. Казалось, мисс Хэвишем, и Эстелла, и странный дом, в котором они жили своей странной жизнью, присутствуют во всем, что есть в мире прекрасного.

Как-то раз, когда Джо, с наслаждением попыхивая трубкой, так расхвастался своей «тупостью», что пришлось на сегодня оставить его в покое, я долго лежал на валу, уперев подбородок в ладони, улавливая смутные очертания мисс Хэвишем и Эстеллы повсюду вокруг, даже в воде и в небе, а потом отважился наконец сказать вслух то, что уже давно не выходило у меня из головы.

— Джо,— сказал я,— как ты думаешь, не следует ли мне навестить мисс Хэвишем?

— Да как тебе сказать,— задумчиво протянул Джо.— А зачем?

— Зачем? Ну, зачем вообще ходят в гости?

— Бывает, Пип, что и неизвестно, зачем ходят. Но я-то говорю про мисс Хэвишем. Как бы она не подумала, что тебе от нее чего-нибудь нужно, что ты вроде как чего-то ждешь от нее.

— А разве я не могу сказать, что ничего такого нет?

— Можешь, дружок,— сказал Джо.— И она может тебе поверить. Ну, а может и не поверить.

Джо, так же как и я, почувствовал, что попал в точку, и стал усердно раскуривать трубку, чтобы не ослабить свой довод повторением.

— Видишь ли, Пип,— продолжал он, когда эта опасность миновала,— мисс Хэвишем поступила с тобой честно-благородно. А когда она поступила с тобой честно-благородно, то подозвала меня к себе и сказала, что это, мол, все.

— Да, Джо. Я слышал.

— *Все,*— повторил Джо необычайно веско.

— Да, Джо. Я же тебе говорю, я слышал.

— Это я к тому, Пип, что она скорее всего так это понимала: на том, мол, и кончим! — Хватит! — Мне на север, а вам на юг! — Разойдись!

Я и сам об этом думал, и открытие, что Джо думает так же, отнюдь не обрадовало меня,— оно лишь подтвердило мои догадки.

— Но послушай, Джо.

— Слушаю, дружок.

— Ведь я уже почти год как стал подмастерьем, а ни разу еще не поблагодарил мисс Хэвишем, не справился о ее здоровье, не показал, что помню ее.

— Это ты верно говоришь, Пип; но только что ж, ежели, скажем, снести ей полный набор подков, четыре штуки, так не знаю, на что они ей, четыре-то штуки, когда там копыт днем с огнем не сыщешь.

— Я не в этом смысле говорю, Джо. Я и не думал ей ничего дарить.

Но Джо, раз напав на мысль о подарке, не мог так легко с ней расстаться.

— Опять же,— сказал он,— ежели бы, значит, помочь

тебе выковать ей новую цепь на парадную дверь — либо гросс шурупов с гайками — либо какую безделку для хозяйства, ну, там, вилку каминную, булочки доставать, или рашпер, в случае ей рыбки поджарить захочется...

— Я не думал ей ничего дарить, Джо!

— Так вот,— сказал Джо, продолжая развивать свою мысль, словно я горячо за нее ухватился.— На твоем месте, Пип, я бы и не стал ничего дарить. Право, не стал бы. Ну, сам посуди, к чему ей дверная цепь, когда у нее дверь и так всегда на цепи? На шурупы еще неизвестно, как она посмотрит. Каминная вилка — тут нужна медь, с этим тебе не справиться. Ну, а если взять рашпер, так это и самому отличному мастеру не отличиться, потому что рашпер — он и есть рашпер,— говорил Джо терпеливо и внушительно, словно решив во что бы то ни стало рассеять мое прочно укоренившееся заблуждение,— и задумай ты сделать что угодно, а хочешь не хочешь, все равно у тебя рашпер получится, и уж тут хоть тресни, ничего не поделаешь...

— Джо, голубчик! — вскричал я, в отчаянии хватая его за рукав.— Ну, довольно! У меня и в мыслях не было что-нибудь дарить мисс Хэвишем.

— Вот-вот,— подтвердил Джо, словно только этого и добивался.— И поверь моему слову, Пип, ты, дружок, совершенно прав.

— Да, Джо. Только я вот что хотел сказать: ведь работы у нас сейчас не очень много, так, может, ты завтра с полдня отпустишь меня, и я бы сбегал в город навестить мисс Эст... Хэвишем.

— Только звать-то ее не мисс Эстэвишем, Пип,— серьезно заметил Джо,— разве что недавно переименовали.

— Знаю, знаю, Джо. Это я просто обмолвился. Так как же ты считаешь, Джо?

Выяснилось, что Джо считает, что раз я считаю это желательным, он тоже так считает. Однако он особо оговорил, что если меня примут не очень сердечно и не будут настаивать на повторении моего визита, хотя бы и предпринятого без всякой задней мысли, но единственно из благодарности,— пусть тогда моя первая попытка поддержать знакомство будет и последней. Это условие я обещал свято соблюсти.

Я еще не упоминал о том, что у Джо был наемный работник, парень по фамилии Орлик. Он утверждал, что при крещении ему дали имя Долдж,— явная фантазия; судя по его упрямому, скверному характеру, я полагаю, что и сам он отнюдь не обольщался на этот счет, а скорее выдумал себе такое имя, чтобы насмеяться над деревенскими легковерами и невеждами. Это был смуглый, широкоплечий, нескладный детина, человек огромной силы, неуклюжий и разболтанный в движениях и походке. Даже на работу он являлся с таким видом, будто случайно забрел в кузницу. Когда же он уходил обедать к «Трем Веселым Матросам» или вечером отправлялся восвояси, он убредал прочь, что твой Каин или Вечный жид, словно понятия не имел, куда идет, и не намерен был возвращаться обратно. Жил он на болоте, у сторожа при шлюзе, и в будние дни не спеша прибредал по утрам из этого своего логова,— руки в карманах, узелок с завтраком, подвешенный на шее, болтается за спиной. А по воскресеньям он с утра до вечера валялся на плотине у шлюза или стоял, прислонившись к какому-нибудь сараю или стогу сена. По улице он брел, глядя себе под ноги; когда же его окликали или какая-нибудь другая причина заставляла его поднять голову, он глядел на мир таким недовольным и озадаченным взглядом, словно единственное, над чем он когда-либо задумывался, было то, как странно и обидно, что он никогда ни о чем не думает.

Угрюмый этот парень шибко меня недолюбливал. Когда я был еще совсем маленьким и всего боялся, он уверял меня, что в темном углу кузницы живет дьявол, с которым он на короткой ноге, а также, что каждые семь лет огонь в горне полагается разжигать живым мальчиком, так что я свободно могу считать себя растопкой. Когда я поступил к Джо в подмастерья, Орлик, возможно, утвердился в давнишнем своем подозрении, что со временем я займу его место; как бы то ни было, он еще больше невзлюбил меня. Правда, неприязнь его никогда не выражалась открыто в каких-нибудь словах или поступках; но я замечал, что он всегда норовит бить молотом так, чтобы искры летели в мою сторону, а стоило мне запеть «Старого Клема», как он начинал подтягивать, и обязательно не в лад.

Когда я на следующий день напомнил Джо про его обещание дать мне полдня свободных, Долдж Орлик это слышал. В ту минуту он ничего не сказал, потому что был занят: они с Джо только что начали обрабатывать полосу раскаленного железа, а я стоял у мехов; но немного погодя он оперся на свой молот и заговорил:

— Это что же, хозяин, выходит — вы только одному из нас поблажку даете? Раз отпускаете Пипа, надо и старого Орлика отпустить.

Ему было лет двадцать пять, не больше, но он всегда говорил о себе как о дряхлом старике.

— А на что тебе полдня свободных? — спросил Джо.

— Мне на что? А ему на что? Чем я хуже его?

— Пип сегодня идет в город,— сказал Джо.

— Ну, значит, и старый Орлик идет в город,— заявил тот, ничуть не смущаясь.— Что он, один только может идти в город? Чай не он один может идти в город?

— Не кипятись,— сказал Джо.

— Захочу и буду,— проворчал Орлик.— Скажи пожалуйста, в город идет. Ну, так как же, хозяин? Не хорошо любимчикам-то поблажки давать. Это понимать надо.

Поскольку хозяин отказался обсуждать этот вопрос, пока у работника не улучшится настроение, Орлик ринулся к горну, выхватил докрасна раскаленный железный брус, нацелился, точно хотел проткнуть меня им насквозь, покрутил его над моей головой, положил на наковальню, расплющил в блин (словно это я, подумалось мне, а искры — брызги моей крови) и наконец доработавшись до того, что сам раскалился докрасна, а железо остыло, снова оперся на свой молот и сказал:

— Так как же, хозяин?

— Успокоился? — спросил Джо.

— Успокоился,— буркнул старый Орлик.

— Ладно,— решил Джо.— Работник ты, можно сказать, усердный, не хуже других, ну, а сегодня уж будем все с полдня отдыхать.

Моя сестра, все это время стоявшая под окном,— она была мастерица шпионить и подслушивать,— немедленно просунула голову в кузницу.

— Ну, не дурак ли! — налетела она на Джо.— На целых полдня отпускаешь такого бездельника. Видно, лиш-

них денег много завелось — ни за что жалованье платишь. Эх, мне бы быть над ним хозяином.

— Вам только дай, вы бы над кем угодно стали хозяином,— отозвался Орлик с недоброй усмешкой.

(— Не трогай ее,— пригрозил Джо.)

— Уж я бы справилась со всеми олухами и мерзавцами,— крикнула сестра, распаляя в себе ярость.— А уж если бы справилась с олухами, значит и с твоим хозяином бы справилась, потому он всем олухам олух. А если бы справилась с мерзавцами, значит справилась бы и с тобой, потому второго такого урода и мерзавца ни у нас, ни за морем не сыщешь. Вот!

— Ох и ведьма же вы, тетка Гарджери,— проворчал работник.— Не диво, что в мерзавцах толк понимаете.

(— Не трогай ее, говорю,— пригрозил Джо.)

— Ты что сказал? — взвизгнула сестра.— Нет, ты что сказал? Что он мне сказал, Пип, а? Как этот Орлик обозвал меня при живом-то муже? Ах! Ах! Ах! — С каждым разом она взвизгивала все громче; и здесь я должен заметить, что поведение моей сестры, как, впрочем, и всех сварливых женщин, каких мне приходилось встречать, нельзя оправдывать неукротимой страстностью натуры: я положительно утверждаю, что сестра не впадала в неистовство, а сознательно и ценою немалых усилий доводила себя до этого состояния, проходя при этом через определенные стадии.— Каким он словом меня обозвал при гнусном человеке, который дал обет беречь и лелеять свою жену? Ох! Держите меня! Ох!

— У-у,— сквозь зубы проворчал работник.— Я бы тебя подержал, будь ты моей женой. Подержал бы головой под краном, живо бы вся дурь соскочила.

(— Я кому говорю, не трогай ее,— пригрозил Джо.)

— Ох! Вы только послушайте, люди добрые! — завопила сестра, всплескивая руками,— это была у нее следующая стадия.— Вы только послушайте, как он меня честит, этот Орлик! Да в моем же доме! Да замужнюю женщину! Да при живом-то муже! Ох! Ох!

И тут, испустив еще несколько воплей и еще несколько раз всплеснув руками, она стала бить себя в грудь и хлопать по коленям, сорвала с головы чепец и начала рвать на себе волосы, а это уже была у нее последняя стадия

на пути к полному исступлению. Преуспев в своем намерении и окончательно уподобившись фурии, она метнулась к двери, которую я, однако, по счастью успел запереть.

Что мог сделать бедняга Джо, видя, что его замечания в скобках не оказывают никакого действия? Подступив к своему работнику, Джо пожелал узнать, как тот смеет становиться между ним и миссис Джо, после чего предложил немедленно «выходить» и показать, что он не трус. Старый Орлик почувствовал, что ничего другого ему не остается, и занял оборонительную позицию; и, не потрудившись даже снять грязные, прожженные фартуки, они схватились, как два великана. Но если и был во всей округе человек, способный долго выдержать натиск Джо, я этого человека не видел. Очень скоро Орлик, словно у него было не больше сил, чем у бледного молодого джентльмена, уже валялся в куче золы, не проявляя ни малейшего желания подняться. Тогда Джо отпер дверь, подхватил на руки мою сестру, замертво упавшую под окном (думаю, впрочем, что сперва она досмотрела, чем кончится драка), отнес ее в дом и уложил в постель, умоляя прийти в себя, в то время как она, отчаянно отбиваясь, все норовила вцепиться ему в волосы. Затем наступила та особенная тишина, какая обычно сменяет всякую бурю; и тогда я пошел к себе наверх переодеваться, испытывая смутное чувство, всегда связанное у меня с такими минутами затишья,— чувство, будто сегодня воскресенье и кто-то умер.

Когда я опять сошел вниз, Джо и Орлик подметали в кузнице, и ничто не напоминало о недавнем побоище, только у Орлика была рассечена ноздря, отчего лицо его не стало ни выразительнее, ни красивее. Из погреба «Веселых Матросов» прибыл кувшин пива, и хозяин с работником по очереди прикладывались к нему, как добрые друзья. Джо, которого всеобщее успокоение настроило на философский лад, вышел проводить меня на дорогу и напутствовал душеспасительным замечанием:

— Полютует и перестанет, Пип, полютует и перестанет,— так-то и все в жизни!

Едва ли стоит рассказывать о том, какие нелепые чувства волновали меня, когда я вновь приближался к дому



мисс Хэвишем (ибо чувства, вполне серьезные у взрослого мужчины, в мальчике кажутся нам смешными). И о том, как долго я ходил взад и вперед мимо калитки, не решаясь позвонить. И как раздумывал, не лучше ли уйти, не позвонив; и как, несомненно, ушел бы, располагай я своим временем, чтобы прийти в другой раз.

На звонок вышла мисс Сара Покет. Эстеллы не было.

— Как, вы опять здесь? — сказала мисс Покет.— Что вам нужно?

Когда я ответил, что пришел только справиться о здоровье мисс Хэвишем, Сара, видимо, засомневалась, не предложить ли мне убираться подобру-поздорову; однако, не рискнув взять это на себя, она впустила меня во двор, исчезла в дверях и скоро вышла с лаконическим разрешением пройти «наверх».

В доме ничего не изменилось, мисс Хэвишем была одна.

— Ну? — сказала она, впиваясь в меня глазами.— Надеюсь, тебе ничего не нужно? Ты ничего не получишь.

— Нет, что вы, мисс Хэвишем! Я только хотел рассказать вам, что работаю исправно и помню, как много я вам обязан.

— Ну хорошо, хорошо.— Беспокойные пальцы зашевелились, как бывало.— Можешь иногда заходить. Приходи на свое рожденье... Ага! — внезапно воскликнула она, поворачиваясь ко мне вместе со стулом.— Ты что смотришь по сторонам? Ищешь Эстеллу?

Я действительно искал глазами Эстеллу и, уличенный в этом, выразил заплетающимся языком надежду, что она в добром здоровье.

— За границей,— сказала мисс Хэвишем.— Далеко, не достанешь; получает воспитание, подобающее молодой леди; еще похорошела; все ею восхищаются. Ты чувствуешь, что потерял ее?

Последние слова она произнесла злорадно, сопроводив их таким неприятным смехом, что я совсем растерялся и не знал, как отвечать. Впрочем, никакого ответа и не понадобилось, потому что она тут же отпустила меня. Когда ореховолицая Сара захлопнула за мной калитку, я почувствовал, что меня пуще прежнего тяготит и мой

дом, и ремесло, и все на свете; и больше ничего из моей затеи не получилось.

Огорченный и подавленный, я плелся по Торговой улице, заглядывая в витрины и придумывая, что̀ я купил бы, если бы был джентльменом, как вдруг из дверей книжной лавки появился — кто бы вы думали? — мистер Уопсл! Мистер Уопсл держал в руке раздирающую трагедию «Джордж Барнуэл» *, на покупку коей только что истратил шесть пенсов с намерением влить ее, всю до последнего слова, в уши Памблчуку, к которому он направлялся на чашку чаю. Чуть завидев меня, он, верно, решил, что само провидение послало ему нового слушателя в лице несчастного подмастерья, и стал настойчиво звать меня с собой. Я знал, как тоскливо будет вечером дома, к тому же темнело рано, дорога была унылая и почти любой спутник предпочтительнее одиночества; поэтому я противился недолго, и, когда на улице и в лавках стали зажигаться первые огни, мы уже входили в Памблчукову гостиную.

Так как мне не довелось присутствовать ни на каком другом представлении «Джорджа Барнуэла», я не могу сказать, сколько времени оно обычно длится; но я твердо помню, что в тот вечер оно длилось до половины десятого и что, когда мистер Уопсл угодил в Ньюгетскую тюрьму, я почти потерял надежду увидеть его на виселице: с этого места ход его бесславной жизни окончательно замедлился. Я также уловил некоторую неосновательность в его жалобах, будто он гибнет во цвете лет, поскольку он с самого начала только и делал, что сох на корню, лист за листом. Однако всю эту скучную канитель еще можно было бы стерпеть. Что меня уязвило, так это упорное стремление Памблчука и Уопсла отождествить героя трагедии с моей ни в чем не повинной особой. Когда Барнуэл начал сбиваться со стези добродетели, Памблчук устремил на меня такой негодующий взгляд, что мне положительно стало стыдно. А Уопсл, казалось, всячески старался выставить меня в самом невыгодном свете. По его воле я, не переставая плаксиво причитать, зверски убил родного дядюшку, для чего у меня не имелось никаких смягчающих вину обстоятельств. Коварной Милвуд ничего не стоило меня переспорить; нежные чувства, какие питала ко мне

хозяйская дочь, можно было объяснить единственно ее слабоумием; а что касается того, как я трусил и мямлил в роковое утро, могу только сказать, что от такого рохли ничего другого и ожидать было невозможно. Даже после того как меня благополучно повесили и Уопсл закрыл книгу, Памблчук еще долго не сводил с меня глаз и все качал головой и приговаривал: «Вот видишь, мальчик, вот видишь!» Словно все давно догадывались, что я замыслил убить какого-то близкого родственника, если только он, по слабости характера, вздумает осыпать меня благодеяниями.

Когда эта пытка кончилась и мы с мистером Уопслом собрались домой, на дворе была темная ночь. При выходе из города нас окутал мокрый, густой туман. Фонарь у шлагбаума расплылся в мутное пятно и как будто сдвинулся со своего обычного места, а лучи его были словно полосы, намалеванные краской по туману. Рассуждая об этом и вспоминая, что туман всегда рассеивается, когда ветер, переменившись, начинает дуть с известного места на болотах, мы чуть не наткнулись на человека, который стоял, привалившись к будке сторожа.

— Э, да это Орлик? — сказали мы и остановились.

— Я самый,— ответил он, не спеша отделяясь от стены.— Задержался здесь, думал — может, дождусь каких попутчиков.

— А ты поздно возвращаешься,— заметил я.

На это Орлик, натурально, ответил:

— Ну что ж, и ты поздно возвращаешься.

— Мы, мистер Орлик,— сказал мистер Уопсл, еще не остывший после своей декламации,— мы сегодня наслаждались поистине высокими материями.

Орлик что-то пробурчал себе под нос, словно считая, что на такие слова отвечать нечего, и мы пошли дальше втроем. Я спросил его, все ли это время он провел в городе.

— Да,— отвечал он.— Я пошел сразу после тебя. Я тебя не видел, но, наверно, шел почти следом. А сегодня опять из пушек палят.

— С баржи? — спросил я.

— Да. Опять какая-нибудь пташка из клетки упорхнула. Как стемнело, так и начали палить. Скоро услышишь.

И в самом деле, не прошли мы и нескольких шагов, как памятный мне гул, приглушенный туманом, донесся до нашего слуха и тяжело раскатился по приречной низине, словно преследуя и пугая беглецов.

— Подходящая ночка для побега,— сказал Орлик.— Сегодня такую пташку на лету не подстрелишь.

Эти слова много чего пробудили в моей памяти, и я задумался. Мистер Уопсл, в роли неотмщенного трагедийного дядюшки, размышлял вслух в своем саду в Кемберуэле. Орлик тяжелой походкой брел рядом со мной, засунув руки в карманы. Мы шлепали наугад по очень темной, очень мокрой, очень грязной дороге. Время от времени гром сигнальной пушки снова нарушал тишину, глухо и грозно раскатываясь над рекой. Я молчал, погруженный в свои мысли. Мистер Уопсл покорно испустил дух в Кемберуэле, пал в бою на Босвортском поле и скончался в страшных мучениях в Гластонбери. Орлик несколько раз затягивал вполголоса: «Звонче звон, громче стук — Старый Клем! Не жалей крепких рук — Старый Клем!» Мне было показалось, что он выпил, но он не был пьян.

Так мы дошли до деревни. Путь наш лежал мимо «Трех Веселых Матросов», и нас удивило, что в такое неурочное время — было уже одиннадцать часов — там царит суматоха: двери отворены настежь, на дороге валяются схваченные впопыхах и снова брошенные фонари. Мистер Уопсл зашел узнать в чем дело (он предполагал, что поймали беглого каторжника), но тут же выбежал обратно на улицу.

— У вас дома какое-то несчастье, Пип,— сказал он, не останавливаясь.— Бежим скорей.

— Что случилось? — спросил я, бросаясь за ним вдогонку. Орлик не отставал от меня.

— Я не совсем разобрал. Как будто кто-то вломился в дом, когда Джо Гарджери не было. Говорят, беглые. На кого-то напали, ранили.

Мы мчались так быстро, что разговаривать больше не пришлось, и остановились, только вбежав в нашу кухню. Она была полна народу; вся деревня толпилась в доме и на дворе; посреди кухни стояли, склонившись, наш лекарь и Джо, и несколько женщин. При моем появлении празд-

ные зрители расступились, и я увидел сестру: неподвижная, бездыханная, она лежала на голых досках пола, сбитая с ног страшным ударом по затылку, который неведомая рука нанесла ей, пока она стояла, повернувшись к очагу; никогда уже больше ей не суждено было лютовать в этой жизни.

ГЛАВА XVI

Голова у меня еще гудела от Джорджа Барнуэла, и в первую минуту я готов был поверить, что сам причастен к нападению на мою сестру или, в лучшем случае, что подозрение должно в первую очередь пасть на меня как на ее близкого родственника, к тому же многим ей обязанного. Но уже на следующее утро, более трезво обдумав все происшедшее и послушав, что говорят люди, я стал смотреть на дело несколько разумнее.

В тот вечер Джо просидел со своей трубкой у «Трех Веселых Матросов» с четверти девятого до без четверти десять. В его отсутствие кто-то видел, как моя сестра, стоя в дверях кухни, поздоровалась с батраком, возвращавшимся с работы. Батрак этот не мог в точности сказать, в котором часу он проходил мимо нашего дома (когда его стали расспрашивать, он совсем запутался), но полагал, что это было еще до девяти. Воротившись домой без пяти десять, Джо застал жену распростертой на полу и сейчас же бросился звать на помощь. К этому времени огонь в очаге горел еще довольно ярко и нагара на свече было немного; впрочем, свечу кто-то задул еще до его прихода.

Никаких пропаж в доме не обнаружили. И в кухне все было в порядке, если не считать погашенной свечи (она стояла на столе недалеко от наружной двери и в минуту нападения, когда сестра хлопотала у очага, приходилась у нее за спиной); только сама сестра, падая, сдвинула и обрызгала кровью табуретку. И все же одна примечательная улика осталась на месте преступления: удары были нанесены в затылок и в спину чем-то тупым и тяжелым; затем, когда сестра уже упала ничком, в нее с

силой швырнули каким-то тяжелым предметом. А поднимая ее, Джо увидел рядом с ней на полу арестантские кандалы с распиленным кольцом.

Осмотрев их наметанным глазом кузнеца, Джо определил, что распилены они уже давно. Поскольку все следы вели к плавучей тюрьме, оттуда прибыли люди, которые, осмотрев кандалы, подтвердили мнение Джо. Они не брались сказать, когда именно эти кандалы исчезли из тюрьмы, которой в свое время, несомненно, принадлежали; однако решительно отвергли предположение, будто они были на ногах у одного из каторжников, сбежавших накануне. К тому же, один из них был уже пойман, и нога у него оказалась не раскованной.

Только я, зная то, чего не знали другие, пришел к самостоятельному выводу. Я решил, что это были кандалы моего каторжника, те самые, которые он тогда перепиливал на болоте,— однако даже мысленно не заподозрил его во вчерашнем преступлении. Ибо я решил, что два других человека могли найти их и воспользоваться ими для этого жестокого дела: либо Орлик, либо тот незнакомец, что украдкой показал мне подпилок.

Но ведь Орлик рано ушел в город,— он не врал, говоря нам об этом, когда мы нагнали его у шлагбаума; весь вечер его видели в городе в разных трактирах и с разными собутыльниками; а вернулся он в деревню вместе со мной и мистером Уопслом. Ничто не бросало на него тени, кроме утренней ссоры; но сестра ссорилась с ним чуть ли не каждый день, как и со всеми на свете. А что касается незнакомца, так если бы он вернулся за своими банкнотами, недоразумения и возникнуть бы не могло, потому что сестра была готова немедленно вернуть их владельцу. Да никаких пререканий и не было: злодей вошел в кухню так неожиданно и бесшумно, что свалил ее с ног, не дав ей даже времени оглянуться.

Мысль, что это я, хоть и ненамеренно, дал ему в руки такое оружие, приводила меня в содрогание, но ничего иного думать я не мог. Снова и снова я спрашивал себя, не следует ли наконец разрушить чары, с детства тяготевшие надо мной, и все рассказать Джо. В течение нескольких месяцев я каждый день решал этот вопрос в отрицательном смысле, а наутро он опять возникал, и мой спор

с самим собой начинался сызнова. Сводился он вот к чему: я хранил свою тайну так давно, я так сроднился и сжился с ней, что просто не в состоянии был вырвать ее из своего сердца. Я боялся не только того, что, уже натворив таких бед, своим признанием оттолкну от себя Джо, если он мне поверит; едва ли не больше я боялся, что он мне не поверит, а сопричислит мой рассказ к прочим небылицам, вроде тех пресловутых собак и телячьих котлет. Кончилось, разумеется, тем, что я пошел на сделку с совестью — ибо разве я, как всегда бывает в таких случаях, не колебался между добром и злом? Я решил во всем открыться, если дело повернется так, что это поможет установить личность преступника.

На неделю-другую нашу деревню заполонили местные констебли и лондонские сыщики с Боу-стрит (то были дни ныне исчезнувшей полиции в красных жилетах *). Делали они примерно то же, что, судя по рассказам и книгам, всегда делают эти представители закона в подобных случаях: они задержали нескольких человек, явно невинных; с усердием, заслуживающим лучшего применения, развивали теории, явно фантастические; и упорно пригоняли факты к своим теориям, вместо того чтобы строить теории, исходя из фактов. Они также часами простаивали возле «Веселых Матросов» с таинственным и осведомленным видом, чем повергали в восхищение всю округу; а вино умели тянуть так глубокомысленно, что казалось — им ничего не стоит потянуть к ответу и преступника. Впрочем, это было обманчивое впечатление, потому что виновного они так и не нашли.

Еще долго после того как эти представители власти отбыли восвояси, сестра моя оставалась прикованной к постели. У нее расстроилось зрение, двоилось в глазах, так что она то и дело хваталась за воображаемые чашки и рюмки; и слух и память у нее сильно пострадали; а говорила она так плохо, что никто ее не понимал. Даже когда мы наконец свели ее вниз, пришлось класть возле нее мою грифельную доску, чтобы она писала то, чего не могла сказать. Поскольку она (не говоря уже о прескверном почерке) вообще писала как бог на душу положит, а Джо точно так же читал, у них возникали неимоверные затруднения, разрешать которые приходилось мне.

Но и я однажды подал ей карты вместо капель, прочел Чай, когда она имела в виду Джо, и принял курицу за улицу, причем это были еще самые безобидные из моих промахов.

Нрав ее, однако, изменился к лучшему, и она проявляла большое терпение. Руки у нее постоянно дрожали, что придавало ее движениям какую-то робкую неуверенность, и каждые два-три месяца она вдруг начинала прикладывать руки ко лбу, после чего на целую неделю наступало полное помрачение рассудка. Мы просто голову теряли, не зная, кого бы пригласить для ухода за ней, когда нас выручило одно счастливое обстоятельство: двоюродная бабушка мистера Уопсла наконец победила в себе прочно укоренившуюся привычку жить, и Бидди сделалась членом нашей семьи.

Приблизительно через месяц после того как сестру стали приводить в кухню, Бидди явилась к нам с маленьким рябеньким сундучком, вмещавшим все ее земные богатства, и стала отрадой нашего унылого дома. Особенной же отрадой она стала для Джо,— добрейший этот человек был страшно подавлен постоянным созерцанием жалкого зрелища, какое являла теперь его жена, и по вечерам, прислуживая ей, то и дело поворачивался ко мне и говорил, глядя на меня полными слез голубыми глазами: — А ведь какая была видная женщина, Пип! — Бидди сразу же принялась ухаживать за сестрой, да так умно и ловко, словно знала ее с младенчества, и Джо только теперь получил возможность оценить вошедшую в его жизнь тишину, а также свободу, позволявшую ему изредка наведываться к «Веселым Матросам», что̀ несколько разнообразило и скрашивало его существование. Констебли и сыщики, к слову сказать, все как один готовы были взять бедного Джо на подозрение (к счастью, он этого не знал) и считали его одним из самых скрытных и лукавых субъектов, каких им приходилось встречать.

Первым триумфом Бидди на ее новом поприще было разрешение одной загадки, перед которой я оказался бессилен, как ни бился над ней. Дело было вот в чем:

Раз за разом, раз за разом сестра чертила на грифельной доске какой-то странный знак, немного смахивающий на букву Т, и затем с лихорадочным нетерпением указы-

вала на него пальцем как на что-то особенно ей нужное. Тщетно я предлагал ей все, что мог придумать на букву Т — от тюфяка до творога и таза. Наконец мне пришло в голову, что рисунок похож на молоток, и когда я прокричал это слово сестре на ухо, она как будто обрадовалась и стала колотить рукой по столу. После этого я перетаскал ей по очереди все наши молотки, но напрасно. Тогда я подумал, не нужен ли ей костыль — ведь он тоже такой формы — и, выпросив костыль у кого-то в деревне, принес его сестре, почти не сомневаясь в том, что на этот раз отгадал правильно. Однако она так энергично замотала головой, что мы испугались, как бы она, будучи сильно ослаблена болезнью, совсем не свернула ее на сторону.

Когда сестра заметила, что Бидди необыкновенно легко ее понимает, на грифельной доске снова появился таинственный знак. Бидди внимательно вгляделась в него, выслушала мои объяснения, так же внимательно посмотрела на сестру, потом на Джо (которого больная всегда обозначала первой буквой его имени) и побежала в кузницу, а мы с Джо за нею.

— Ну конечно! — сияя, воскликнула Бидди.— Как вы не поняли? Это же *он*!

Орлик, вот оно что! Сестра забыла его имя и рисовала молот, чтобы напомнить о нем. Мы объяснили Орлику, зачем зовем его в кухню, и он не спеша поставил молот на землю, вытер лоб сначала рукавом, а потом еще раз фартуком, и побрел в дом, лениво переваливаясь на согнутых коленях, как то было у него в привычке.

Признаюсь, я ожидал, что сестра тут же уличит его, и был разочарован, увидя нечто совсем иное. Она проявила сильнейшее желание помириться с ним, была, по-видимому, очень довольна, что его наконец привели, и знаками показала, чтобы ему дали выпить. Она всматривалась в его лицо, словно желая убедиться, что он доволен оказанным ему приемом; всячески старалась умилостивить его, словом — во всем, что она делала, сквозила смиренная угодливость, как в поведении ребенка, робеющего перед строгим учителем. После этого она чуть ли не всякий день рисовала на доске молот, и Орлик прибредал на кухню и стоял перед ней истуканом, точно не лучше нашего понимал, зачем это нужно.

ГЛАВА XVII

И снова в узком мирке, ограниченном нашей деревней и болотами, потянулись дни работы и ученья, однообразие которых нарушило лишь одно знаменательное событие: наступление дня моего рожденья, а с ним — еще один визит к мисс Хэвишем. Снова на звонок вышла мисс Сара Покет, снова я застал мисс Хэвишем на ее обычном месте, и она говорила об Эстелле в том же духе и чуть ли не в тех же выражениях, что и в прошлый раз. Разговор наш занял всего несколько минут, а на прощанье она подарила мне гинею и велела опять прийти через год. Здесь уместно будет упомянуть, что с тех пор я стал бывать у нее в этот день ежегодно. В первый раз я пробовал отказаться от денег, но не добился ничего, кроме сердитого вопроса, не считаю ли я, что одной гинеи мало. Тогда, и только тогда я ее принял.

Все оставалось как было: мрачный старый дом, желтый свет в затемненной комнате, поблекший призрак в кресле перед зеркалом; казалось, вместе с часами само Время остановилось в этом таинственном жилище, и пока вне его и я и все вокруг росло и старилось, само оно пребывало неизменным. Дневной свет, никогда не проникавший в это убежище, не проникал и в мысли мои о нем и в воспоминания. И под влиянием их я продолжал втайне ненавидеть свое ремесло и стыдиться родного дома.

Зато с некоторых пор я невольно стал замечать кое-какие перемены в Бидди. Башмаки у нее уже не сваливались с ног, волосы покорно слушались гребня, руки всегда были чистые. Она не блистала красотой — где было ей, обыкновенной деревенской девочке, сравниться с Эстеллой! — но она была миловидная, здоровая, приветливая. Прошло не более года с ее переселения к нам (помню — она только что перестала носить черное платье), когда я однажды вечером заметил, что у нее на редкость внимательные, серьезные глаза; очень красивые глаза, и очень добрые.

А заметил я это, когда сам поднял глаза от работы, над которой корпел, — я списывал интересные места из книги, таким хитрым способом совершенствуясь одно-

временно и в чтении и в письме,— и увидел, что Бидди за мной наблюдает. Я отложил перо, а Бидди перестала шить, но шитье не отложила.

— Бидди,— сказал я,— как это тебе удается? Либо я очень глуп, либо ты уж очень умна.

— А что мне удается? Я не знаю,— ответила Бидди с улыбкой.

Ей удавалось одной вести все наше хозяйство, и притом превосходно; но я не это имел в виду, хотя то, что я имел в виду, было тем более достойно удивления.

— Как это тебе удается, Бидди,— продолжал я,— выучивать все то, что я выучиваю, и ни в чем не отставать от меня?

К этому времени я уже порядком гордился своими знаниями, ибо тратил на приобретение их и те гинеи, что получал от мисс Хэвишем, и большую часть моих карманных денег; теперь-то я, впрочем, ясно вижу, что за скудные свои успехи платил несообразно высокую цену.

— Я тоже могу тебя спросить,— сказала Бидди,— как это *тебе* удается?

— Нет; потому что когда я вечером прихожу из кузницы, всякому видно, как я берусь за ученье. А ты, Бидди, никогда за него не берешься.

— Наверно, оно само ко мне пристает — как кашель,— спокойно сказала Бидди и снова склонилась над шитьем.

Откинувшись на деревянную спинку стула и глядя, как Бидди проворно шьет, нагнув голову набок, я задумался и пришел к заключению, что она — незаурядная девушка. Мне вспомнилось, что она и в нашем ремесле отлично разбирается, знает наперечет все кузнечные работы, названия всех инструментов. Словом, все, что я знал, Бидди тоже знала. В теории она уже была кузнецом не хуже меня, а может быть и лучше.

— Ты, видно, из тех людей, Бидди,— сказал я,— которые пользуются всякой возможностью чему-нибудь научиться. Когда ты не жила у нас, у тебя не было таких возможностей, а теперь смотри, какая ты стала!

Бидди мельком взглянула на меня и продолжала шить.

— А ведь я была твоей первой учительницей, разве не так? — сказала она, не отрываясь от работы.

— Бидди! — воскликнул я в изумлении.— Ты что это, плачешь?

— Да нет же,— сказала Бидди, со смехом поднимая голову.— С чего ты это взял?

С чего бы мне было это взять, как не с того, что на ее шитье, блеснув, упала слезинка! Я молчал, вспоминая, как она маялась до тех пор, пока двоюродная бабушка мистера Уопсла не поборола в себе досадную привычку жить, от которой многим следовало бы отделываться пораньше. Я вспомнил, какая беспросветная темнота ее окружала в убогой лавчонке, в убогой, безалаберно шумной вечерней школе, при убогой никчемной старушенции, которая шагу не могла без нее ступить. Я подумал, что уже в те трудные времена в Бидди, очевидно, дремали силы, которые теперь проявились так ярко,— иначе разве я, ни минуты не колеблясь, обратился бы к ней за помощью, когда впервые ощутил тревожную неудовлетворенность жизнью? Бидди тихо сидела, склонившись над шитьем, и больше не плакала; а я глядел на нее, размышляя обо всем этом, и мне пришло в голову, что я, пожалуй, виноват перед Бидди. Я, возможно, был чересчур скрытным, мне бы следовало осчастливить ее (правда, мысль моя тогда не облеклась в это слово) своим доверием.

— Да, Бидди,— заметил я, хорошенько поразмыслив над этим,— ты была моей первой учительницей, и кто бы мог в то время подумать, что когда-нибудь мы будем вот так вместе сидеть в нашей кухне?

— Ох, бедняжка! — вздохнула Бидди. Все ее самоотречение проявилось в том, как она не замедлила отнести это замечание к моей сестре и, быстро подойдя к ней, устроить ее поудобнее.— Вот уже правда — не думали!

— Знаешь что,— сказал я,— нам нужно побольше с тобой разговаривать, как бывало раньше. И мне нужно побольше с тобой советоваться, как раньше. Вот хоть в будущее воскресенье, Бидди, давай погуляем на болотах и поговорим по душам.

Мы теперь никогда не оставляли сестру без присмотра; но в воскресенье после обеда Джо с охотой взялся подежурить возле нее, и мы с Бидди пустились в путь. Дело было летом, погода стояла прекрасная. Когда мы миновали деревню, церковь и кладбище и, выйдя на болота, увидели

паруса бегущих по реке кораблей, передо мной, как всегда, стали возникать повсюду призраки мисс Хэвишем и Эстеллы. Мы дошли до реки, сели на берегу, и тут, в тишине, которую еще больше подчеркивало мирное журчание воды у наших ног, я решил, что трудно было бы выбрать более подходящее время и место, чтобы посвятить Бидди в тайны моего сердца.

— Бидди,— сказал я, предварительно взяв с нее обет молчания,— мне очень хочется стать джентльменом.

— Ой, зачем это тебе? — удивилась она.— Я бы на твоем месте и не думала об этом.

— Бидди,— сказал я уже несколько строже,— у меня есть особые причины, почему я хочу стать джентльменом.

— Тебе виднее, Пип; но не кажется ли тебе, что так, как сейчас, для тебя лучше?

— Бидди! — воскликнул я с досадой.— Так, как сейчас, для меня совсем не хорошо. Мне противно и мое ремесло и вся моя жизнь. Я ненавижу их с первого дня, как стал подмастерьем. Не говори глупостей.

— Разве я говорю глупости? — спокойно отозвалась Бидди, чуть вздернув брови.— Ну, прости, это я нечаянно. Мне ведь только хочется, чтобы тебе было хорошо и на душе спокойно.

— Так пойми раз навсегда, что мне не может быть хорошо, а будет очень плохо, просто ужасно — теперь поняла, Бидди? — если мне не удастся изменить свою жизнь.

— Это очень печально,— сказала Бидди, сокрушенно покачивая головой.

Я и сам часто думал о том, как это печально, и, утомленный нескончаемым спором, который вел с самим собой, чуть не расплакался от обиды и горя, когда Бидди выразила словами мою тайную мысль. Я сказал, что она совершенно права и, конечно, это никуда не годится, но поделать тут ничего нельзя.

— Если бы я мог втянуться в эту жизнь,— сказал я, пучками выдирая из земли короткую траву, подобно тому как некогда вырывал вместе с собственными волосами свои оскорбленные чувства и вколачивал их ногой в стену пивоварни,— если бы я мог втянуться в эту жизнь и любить кузницу хоть наполовину так, как любил ее в дет-

стве, конечно, мне было бы гораздо легче. Тогда нам с тобой и с Джо нечего было бы и желать, а как кончился бы мой срок, Джо принял бы меня в товарищи, а там — кто знает? — я мог бы даже посвататься к тебе, и в одно прекрасное воскресенье мы сидели бы с тобой вот здесь, на берегу, совсем не так, как сейчас. Для тебя я ведь был бы достаточно хорош, а, Бидди?

Бидди вздохнула, глядя на скользящие по реке паруса, и ответила:

— Да; я не особенно разборчивая.

Это прозвучало не очень лестно, но я знал, что она не хотела меня обидеть.

— А вместо этого,— продолжал я, покусывая сорванные травинки,— смотри, какой я стал — беспокойный, недовольный. И ведь меня нисколько не огорчало бы, что я такой грубый и обыкновенный, если бы мне этого не сказали!

Бидди быстро повернулась ко мне и посмотрела на меня гораздо внимательнее, чем только что смотрела на проходящие корабли.

— Это неправда, и к тому же очень невежливо,— заметила она, снова устремляя взгляд на корабли.— Кто это тебе сказал?

Я смутился, потому что сгоряча не сообразил, куда может привести этот разговор. Однако отступать было поздно, и я ответил:

— Та красавица девочка, что жила у мисс Хэвишем, а она красивее всех на свете, и я не могу ее забыть, и из-за нее я и хочу стать джентльменом.— Покончив с этим несуразным признанием, я принялся швырять выдранные пучки травы в реку, словно был не прочь и сам последовать за ними.

— Ты хочешь стать джентльменом, чтобы досадить ей или чтобы добиться ее? — помолчав, спокойно спросила Бидди.

— Не знаю,— ответил я хмуро.

— Потому что если ты хочешь ей досадить,— продолжала Бидди,— так, по-моему (хотя тебе, конечно, виднее), лучше и достойнее было бы не обращать на ее слова никакого внимания. А если ты хочешь добиться ее, так, по-моему (хотя тебе, конечно, виднее), она того не стоит.

Не это ли самое я твердил себе десятки раз? Не это ли было мне и сейчас яснее ясного? Но как мог я, жалкий, одураченный деревенский парнишка, избежать той удивительной непоследовательности, от которой не свободны и лучшие и умнейшие из мужчин?

— Все это может быть и так,— сказал я Бидди,— но я не могу ее забыть.

С этими словами я растянулся ничком на траве, вцепился обеими руками себе в волосы и хорошенько рванул их, отлично понимая, как безумна и нелепа бессмысленная мечта, владевшая моим сердцем, и готовый признать, что поделом было бы моей голове, если бы я приподнял ее за волосы и шмякнул о прибрежную гальку,— вот, мол, тебе за то, что досталась такому идиоту!

Бидди была очень неглупая девушка,— она больше не старалась меня образумить. Своей рукою — а у нее была нежная рука, хоть и загрубевшая от работы,— она одну за другой вытащила мои руки из несчастной моей шевелюры. Потом ласково похлопала меня по плечу, и я поплакал немножко, уткнувшись лицом в рукав — точь-в-точь как тогда, во дворе пивоварни,— смутно чувствуя, что я жестоко обижен кем-то или, может быть, всеми.

— Чему я рада,— сказала Бидди,— так это тому, что ты мне доверился, Пип. И еще я рада, что ты знаешь, как смело можешь на меня положиться,— я твою тайну сохраню, не обману твоего доверия. Если бы твоя первая учительница (такая беспомощная, Пип, ей бы в ту пору только самой учиться!) могла и сейчас тебя учить, она, кажется, знает, какой урок задала бы тебе. Но это был бы трудный урок, а ты и так уже обогнал ее, значит не стоит и говорить.— И, подарив меня тихим вздохом, Бидди поднялась и сказала совсем другим голосом, свежим и звонким: — Ну как, пройдемся еще немного, или пора домой?

— Бидди! — воскликнул я и, вскочив на ноги, обнял ее и поцеловал.— Я всегда буду тебе все говорить.

— Пока не станешь джентльменом,— сказала Бидди.

— Ты же знаешь, что этого не будет, а значит — всегда. Положим, мне и не надо тебе ничего говорить, ты знаешь столько же, сколько я,— я уже сказал это тебе тогда вечером, помнишь?

— Да! — промолвила Бидди тихо, почти шепотом, следя глазами за белым парусом. А потом повторила тем же свежим, звонким голоском: — Пройдемся еще немного, или пора домой?

Я решил, что мы пройдемся еще немного, и мы пошли, между тем как на смену летнему дню спустился летний вечер, и кругом было чудно-красиво. Мне уже начало казаться, что, может быть, гораздо правильнее и здоровее жить так, как я теперь живу, чем при свете свечей играть в дурачки в комнате с остановившимися часами и сносить презрение Эстеллы. Я подумал, как хорошо было бы выкинуть ее из головы заодно со всеми прочими моими воспоминаниями и бреднями и вложить всю душу в работу, успокоившись на том, что от добра добра не ищут. Я спрашивал себя, не очевидно ли, что, будь сейчас рядом со мной не Бидди, а Эстелла, она уж постаралась бы растравить и разобидеть меня. Я не мог не признать, что так оно, безусловно, и было бы, и я сказал себе: «Пип, какой же ты после этого дурак!»

Мы всласть наговорились во время этой прогулки, и ни на одно слово, сказанное Бидди, я не мог бы возразить. Бидди никогда не язвила, не капризничала, не менялась со дня на день; терзать меня ей было бы только тяжело, а отнюдь не приятно; она охотнее причинила бы боль себе, нежели мне. Так почему же, почему я не мог решительно предпочесть ее Эстелле?

— Ах, Бидди,— сказал я, когда мы уже возвращались домой,— хорошо бы ты могла меня излечить!

— Хорошо бы! — сказала Бидди.

— Вот если бы мне удалось в тебя влюбиться... ничего, что я говорю так откровенно? Ведь мы с тобой старые друзья.

— Ну конечно ничего,— сказала Бидди.— Ты обо мне не беспокойся.

— Если бы только мне это удалось, все было бы хорошо.

— Но как раз это тебе не удастся,— сказала Бидди.

В тот вечер это представлялось мне не столь невероятным, как могло бы показаться, скажем, накануне. Я пробормотал, что не вполне уверен. Но Бидди сказала, что она-то уверена, и тон ее не допускал возражений.

В глубине души я и сам так считал, но ее убежденность все же резнула меня.

Не доходя до кладбища, мы спустились с дамбы и задержались у шлюза, где нужно было перелезать через изгородь. И вдруг не то из-за шлюза, не то из камышей, не то из тины (что вполне соответствовало бы его болотной натуре) перед нами появился старый Орлик.

— Здорово! — буркнул он.— Куда это вы так дружно направляетесь?

— Куда бы нам еще направляться, как не домой?

— Ну так я провожу вас, шут меня покорябай,— сказал он.

Призывать на себя эту кару вошло у него в привычку. Сколько я понимаю, он не вкладывал в слово «покорябать» никакого значения, а видел в нем, так же как в своем выдуманном имени, лишь какое-то оскорбление, какую-то туманную, но свирепую угрозу. В детстве мне представлялось, что, вздумай он покорябать меня, он бы сделал это острым, ржавым крючком.

Бидди, которая вовсе не жаждала его общества, шепнула мне: «Не надо, чтобы он с нами шел, я его не люблю». Так как я и сам его не любил, я взял на себя смелость сказать, что мы очень ему благодарны, но в провожатых не нуждаемся. В ответ на это он разразился хохотом и отстал от нас, но потом побрел следом за нами, на некотором расстоянии.

Мне стало любопытно, не подозревает ли его Бидди в причастности к бесчеловечному нападению на мою сестру, о котором та была бессильна что-либо рассказать, и я спросил, почему она его не любит.

— Почему? — Она оглянулась через плечо на медленно бредущую за нами фигуру.— Потому что мне кажется... мне кажется, я ему нравлюсь.

— Он тебе это когда-нибудь говорил? — спросил я возмущенно.

— Нет,— сказала Бидди, снова оглядываясь через плечо,— он никогда этого не говорил; но он так и егозит передо мной, чуть только попадется мне на глаза.

Несмотря на всю новизну и своеобразие такого проявления нежных чувств, я не усомнился, что истолковано оно правильно. И очень разгневался,— как смеет старый

Орлик восхищаться Бидди? — так разгневался, словно он мне самому нанес оскорбление.

— Но тебе-то ведь это безразлично,— спокойно сказала Бидди.

— Да, Бидди, мне это безразлично; просто мне это не нравится; я этого не одобряю.

— Я тоже,— сказала Бидди.— Впрочем, тебе и это безразлично.

— Совершенно верно,— подтвердил я,— но позволь сказать тебе, Бидди, что я был бы о тебе очень невысокого мнения, если бы он перед тобой егозил с твоего согласия.

После этого дня я стал следить за Орликом, и всякий раз, как ему представлялась возможность поегозить перед Бидди, вставал между ними, чтобы заслонить от нее это зрелище. Непонятное пристрастие, которое возымела к Орлику моя сестра, упрочило его положение в кузнице, иначе я бы, вероятно, уговорил Джо рассчитать его. Он как нельзя лучше догадывался о моих добрых намерениях и платил мне той же монетой, в чем я впоследствии имел случай убедиться.

И вот, как будто мне мало было путаницы, царившей у меня в голове до сих пор, теперь я запутался еще в десять тысяч раз больше, потому что минутами мне становилось ясно, что Бидди неизмеримо лучше Эстеллы и что скромная, честная трудовая жизнь, для которой я рожден, не заключает в себе ничего постыдного, а напротив — дает и чувство собственного достоинства и счастье. В такие минуты я твердо решал, что охлаждение мое к милому, доброму Джо и к кузнице бесследно прошло, что работа мне по душе и в свое время я войду в долю с Джо и женюсь на Бидди; но внезапно какое-нибудь непрошеное воспоминание о днях, прожитых под тенью мисс Хэвишем, поражало меня, подобно смертоносному снаряду, и все мои благие помыслы оказывались развеянными по ветру. Собрать развеянные по ветру помыслы не так-то легко, и часто я не успевал это сделать до того, как они опять разлетались во все стороны от одного шального предположения, что, может быть, мисс Хэвишем все же решила облагодетельствовать меня, когда кончится срок моего ученичества.

Думаю, что, если бы срок этот кончился, недоумения мои все равно остались бы неразрешенными. Но случилось так, что мое учение было неожиданно прервано раньше положенного срока, о чем и будет рассказано в следующей главе.

ГЛАВА XVIII

Уже четвертый год я работал подмастерьем у Джо. Однажды в субботу вечером перед камином «Трех Веселых Матросов» собралось несколько человек, которым мистер Уопсл читал вслух газету. Среди них был и я.

В газете писали о нашумевшем убийстве, и мистер Уопсл был с головы до пят обагрен кровью. Он упивался каждым эффектным прилагательным в описании дела и отождествлял себя по очереди со всеми свидетелями, выступавшими на дознании. Он едва слышно стонал: «Я погиб», изображая жертву, и грозно ревел: «Я с тобой расквитаюсь», изображая убийцу. Он давал медицинское заключение, явно передразнивая манеру нашего сельского лекаря; а в роли престарелого сторожа при шлагбауме, который слышал глухие удары, он так хныкал и трясся, что казалось сомнительным, как можно доверять показаниям этого слабоумного паралитика. Следователь в передаче мистера Уопсла становился Тимоном Афинским; судебный пристав — Кориоланом *. Мистер Уопсл наслаждался от души, и мы все тоже наслаждались и чувствовали себя как нельзя лучше. Пребывая в таком отдохновительном расположении духа, мы и признали наконец подсудимого виновным в предумышленном убийстве.

Тогда-то, и только тогда, я заметил незнакомого джентльмена, который стоял напротив меня, облокотившись о спинку скамьи. Лицо его выражало презрение, и он покусывал толстый указательный палец, внимательно наблюдая за нами.

— Итак,— обратился незнакомец к мистеру Уопслу, когда тот закончил чтение,— вы, по-видимому, все рассудили к полному своему удовольствию?

Все вздрогнули и подняли головы, как будто сам убийца появился в комнате. Джентльмен оглядел нас холодно и насмешливо.

— Значит, виновен? — сказал он.— Ну? Говорите.

— Сэр,— отвечал мистер Уопсл,— не имея чести быть с вами знакомым, я все же полагаю: да, виновен.— И все мы, расхрабрившись, пробормотали что-то в подтверждение его слов.

— Я знаю, что вы так полагаете,— проговорил незнакомец.— Я это знал заранее. Я так и сказал. Но теперь я задам вам один вопрос. Известно ли вам, что по английскому закону человек считается невиновным до тех пор, пока его виновность не доказана, понимаете — не доказана?

— Сэр,— начал мистер Уопсл,— будучи сам англичанином, я...

— Э, нет! — сказал незнакомец, кусая палец и не сводя глаз с мистера Уопсла.— Не уклоняйтесь в сторону. Либо это вам известно, либо неизвестно. Решайте: то или другое?

Нагнув голову набок и сам изогнувшись в грозно-вопросительной позе, он ткнул пальцем в мистера Уопсла, точно хотел пригвоздить его к скамье, а затем снова впился в палец зубами.

— Ну? — сказал он.— Известно это вам или неизвестно?

— Разумеется, известно,— отвечал мистер Уопсл.

— Разумеется, известно. Так почему же вы сразу не сказали? А теперь я задам вам другой вопрос.— Он завладел мистером Уопслом, словно имел на него особые права.— Известно ли вам, что ни один из свидетелей еще не был допрошен защитой?

Мистер Уопсл начал было: — Я могу только сказать...— но незнакомец перебил его:

— Что? Вы отказываетесь ответить на вопрос? Да или нет? Я вас еще раз спрашиваю.— Он опять ткнул в него пальцем.— Слушайте меня внимательно. Знаете вы или не знаете, что ни один из свидетелей еще не был допрошен защитой? Мне нужно от вас всего одно слово. Да или нет?

Мистер Уопсл колебался, и от этого наше восхищение им пошло на убыль.

— Ну что ж! — сказал незнакомец.— Я вам помогу. Вы не заслуживаете помощи, но я вам помогу. Посмотрите на лист бумаги, который вы держите в руке. Что это такое?

— Что это такое? — переспросил мистер Уопсл, растерянно поглядывая на газету.

— Может быть, это,— продолжал незнакомец весьма язвительным и недоверчивым тоном,— тот самый печатный отчет, который вы только что читали?

— Безусловно.

— Безусловно. Теперь загляните в него и скажите мне, написано ли там черным по белому, что обвиняемый, следуя указаниям своих адвокатов, предпочел воздержаться от защиты до заседания суда? *

— Да я только что это прочел,— взмолился мистер Уопсл.

— Неважно, что именно вы только что прочли, сэр. По мне, читайте хоть «Отче наш» задом наперед,— возможно, с вами это и раньше бывало. Обратитесь к газете. Нет, нет, нет, друг мой; не на верху страницы; как же вам не стыдно; смотрите ниже, ниже. (У всех нас мелькнула мысль, что мистер Уопсл лукав и изворотлив.) Ну? Нашли?

— Вот оно,— сказал мистер Уопсл.

— Теперь посмотрите это место и скажите мне, написано ли там, черным по белому, что обвиняемый особо подчеркнул указание своих адвокатов — всецело воздержаться от защиты до заседания суда? Ну же!

— В точности таких слов здесь нет.

— В точности таких слов! — презрительно повторил незнакомый джентльмен.— А в точности такой смысл здесь есть?

— Да,— сказал мистер Уопсл.

— Да,— повторил незнакомец, окидывая взглядом всех собравшихся и протянув правую руку в сторону свидетеля — Уопсла.— А теперь я вас спрашиваю, что сказать о совести человека, который, имея перед глазами эту страницу, может спать спокойно после того, как он признал своего ближнего виновным, даже не выслушав его?

Все мы укрепились в подозрении, что мистер Уопсл — не тот, за кого мы его принимали, и что час его разоблачения близок.

— И не забудьте, что такого человека,— продолжал джентльмен, внушительно указывая пальцем на мистера Уопсла,— что такого человека могут назначить в состав присяжных по этому самому делу и он, столь сильно опорочив себя, может возвратиться в лоно своей семьи и спокойно уснуть после того, как дал присягу, что будет разбирать спор между нашим августейшим монархом-королем и подсудимым по совести и справедливости и вынесет беспристрастное решение на основании показаний и да поможет ему господь!

Все мы уже были глубоко убеждены, что злополучный Уопсл зашел слишком далеко и что лучше ему одуматься, пока не поздно.

Незнакомый джентльмен, с непререкаемо-властным видом и с таким выражением лица, словно о каждом из нас ему известна какая-то тайна и он в два счета сгубил бы того, чью тайну вздумал бы открыть, отошел от скамьи, на спинку которой опирался, и, обогнув ее, очутился перед огнем, между обеими скамьями, где и остался стоять, опустив левую руку в карман и покусывая палец на правой.

— По имеющимся у меня сведениям,— сказал он, обводя глазами наши испуганные лица,— среди вас должен быть кузнец, по имени Джозеф — или Джо — Гарджери. Кто из вас кузнец?

— Я кузнец,— сказал Джо.

Джентльмен знаком подозвал его к себе, и Джо встал с места.

— У вас есть подмастерье, которого называют Пип,— продолжал незнакомец.— Он сейчас здесь?

— Я здесь! — крикнул я.

Незнакомец не узнал меня, зато я узнал в нем того джентльмена, которого встретил на лестнице у мисс Хэвишем, когда во второй раз был у нее в доме. Я узнал его, как только увидел, и теперь, когда он стоял передо мной, положив руку мне на плечо, я отчетливо вспомнил его, вспомнил большую голову, смуглый цвет кожи, глубоко посаженные глаза, мохнатые черные брови, массивную цепочку от часов, черные точки на месте усов и бороды и даже запах душистого мыла, исходивший от его большой руки.

— Мне нужно побеседовать с вами обоими без свидетелей,— сказал он, неторопливо смерив меня глазами.— На это потребуется время. Пожалуй, нам лучше пройти к вам домой. Здесь я ничего не скажу; позже вы можете сообщить о нашем разговоре своим друзьям ровно столько, сколько найдете нужным; это уже до меня не касается.

Среди изумленного молчания мы втроем вышли из «Веселых Матросов» и в изумленном молчании проследовали домой. По дороге незнакомец время от времени взглядывал на меня и покусывал палец. Когда мы были уже близко от дома, Джо, смутно сообразив, что случай выдался необычайный и торжественный, побежал вперед, чтобы отворить парадную дверь. Беседа наша состоялась в гостиной, слабо освещенной одной свечой.

Началось с того, что незнакомый джентльмен сел к столу, пододвинул к себе свечу и просмотрел какие-то заметки в своей записной книжке. Затем он убрал книжку и отставил свечу немного в сторону, предварительно заглянув в темноту комнаты, чтобы удостовериться, где Джо, а где я.

— Моя фамилия Джеггерс,— сказал он,— я стряпчий и живу в Лондоне. Я довольно-таки известный человек. Дело, которое привело меня к вам, не совсем обычного свойства, и я прежде всего хочу вас предупредить, что не я его затеял. Если бы спросили моего совета, меня бы сейчас здесь не было. Моего совета не спросили, и, как видите, я здесь. Я выполняю то, что должен выполнить, как поверенный другого лица. Ни больше, ни меньше.

Убедившись, что со своего места ему недостаточно хорошо нас видно, он встал, перекинул ногу через спинку стула и наклонился вперед; так он и разговаривал с нами, стоя одной ногой на стуле, а другой на полу.

— Так вот, Джозеф Гарджери, мне поручено освободить вас от этого молодого человека, вашего подмастерья. Вы не будете возражать против того, чтобы расторгнуть с ним договор по его просьбе и для его блага? Вы бы ничего за это не потребовали?

— Боже меня упаси чего-нибудь потребовать за то, чтобы не становиться Пипу поперек дороги,— сказал Джо, удивленно раскрыв глаза.

— Боже упаси — это благочестиво, но не по существу,— возразил мистер Джеггерс.— Я спрашиваю: вы бы ничего не потребовали? Вы ничего не требуете?

— А я отвечаю — нет,— отрубил Джо.

По взгляду, который мистер Джеггерс бросил на Джо, мне показалось, что он считает его бескорыстие пределом глупости. Но удивление и любопытство так владели мной, что я не могу утверждать этого с уверенностью.

— Очень хорошо,— сказал мистер Джеггерс.— Помните ваши слова и не пытайтесь от них отступиться.

— Кто это хочет отступаться? — вспылил Джо.

— Я не говорил, что кто-нибудь хочет отступаться. Вы собаку держите?

— Ну, держу.

— Так имейте в виду, что Брехун — хороший пес, а Хватай — еще лучше. Пожалуйста, имейте это в виду,— повторил мистер Джеггерс, закрывая глаза и кивая Джо головой, словно прощал ему какую-то вину.— Но вернемся к молодому человеку. Сообщение, которое я должен сделать, состоит в том, что перед ним открывается блестящее будущее.

Мы с Джо ахнули и посмотрели друг на друга.

— Мне поручено сообщить ему,— сказал мистер Джеггерс, указывая на меня пальцем,— что он унаследует изрядное состояние. Далее, что теперешний обладатель этого состояния желает, чтобы он немедленно оставил свои прежние занятия, уехал из этих мест и получил воспитание джентльмена, иначе говоря — воспитание молодого человека с Большими Надеждами.

Моя мечта сбылась; трезвая действительность превзошла мои самые необузданные фантазии; мисс Хэвишем решила сделать меня богачом!

— А теперь, мистер Пип,— продолжал стряпчий,— с остальной частью моего поручения я обращаюсь к вам. Во-первых, вам следует знать, что лицо, по указанию которого я действую, желает, чтобы вы навсегда сохранили фамилию Пип. Вы, надо полагать, не возражаете против того, что ваши большие надежды будут обременены этим легко выполнимым условием. Но если у вас имеются возражения, сейчас самое время заявить об этом.

Сердце у меня колотилось, в ушах звенело, и я едва мог пролепетать, что возражений у меня не имеется.

— Я так и думал! Ну-с, а во-вторых, вам следует знать, что имя вашего великодушного благодетеля останется в глубочайшей тайне до тех пор, пока он не пожелает назвать себя. Я уполномочен сказать, что он намерен сам открыться вам при личном свидании. Когда и где это намерение будет выполнено — не знаю; и никто не знает. До тех пор может пройти много лет. Но вам следует твердо запомнить, что в разговорах со мной вам строго запрещается расспрашивать меня об этом, а также указывать или намекать, хотя бы отдаленно, на какое-либо лицо как на *данное* лицо. Если в душе у вас зародится догадка, пусть эта догадка останется у вас в душе. Причины такого запрета не должны вас интересовать; может быть, это чрезвычайно веские и серьезные причины, а может быть — пустая прихоть. Расспрашивать об этом вам не следует. Итак, эти условия вы слышали. Принятие и строжайшее соблюдение их с вашей стороны — вот последнее условие, поставленное тем лицом, чьи указания я выполняю, но за которое в остальном не несу никакой ответственности. Это и есть то лицо, с которым связаны ваши надежды, и тайна его известна только этому лицу и мне. Это условие тоже не очень трудное, оно едва ли обременит вашу столь блестяще начинающуюся новую жизнь; но если у вас имеются возражения, сейчас самое время заявить об этом. Прошу вас.

Я снова пролепетал, запинаясь, что никаких возражений у меня не имеется.

— Я так и думал! Ну вот, мистер Пип, с оговорками мы покончили.— Хотя он называл меня «мистер Пип» и вообще начал обращаться со мной уважительнее, в его тоне по-прежнему сквозила строгость и недоверие; и он все еще, не переставая говорить, изредка закрывал глаза и указывал на меня пальцем, словно давая понять, что знает меня с самой невыгодной стороны, но предпочитает молчать об этом.— Теперь остается уточнить подробности дела. Должен сказать, что хотя до сих пор я употреблял слово «надежды», вы и сейчас уже располагаете кое-чем помимо надежд. В моем ведении находится денежная сумма, которой более чем достанет на ваше содержание

и образование. Предлагаю вам считать меня вашим опекуном. О нет! — он заметил, что я собрался его благодарить.— Прошу вас помнить, что за свои услуги я получаю плату, иначе я не стал бы их оказывать. По мнению моего доверителя, вы, в связи с переменой в вашей жизни, должны стать образованным человеком и, вероятно, поймете, как важно для вас немедленно воспользоваться такой возможностью.

Я сказал, что всегда к этому стремился.

— Не важно, к чему вы всегда стремились, мистер Пип,— возразил он,— не отклоняйтесь в сторону. Вполне достаточно, если вы стремитесь к этому сейчас. Могу ли я считать, что вы готовы приступить к учению, под соответствующим руководством? Правильно я вас понял?

Я пролепетал, что да, он понял меня правильно.

— Очень хорошо. Теперь мне надлежит осведомиться о ваших склонностях. Сам я, имейте в виду, не считаю это разумным, но мне поручено так поступить. Слышали вы о каком-нибудь наставнике, который бы особенно вам нравился?

Так как я за всю жизнь не слыхал ни о каких наставниках, кроме Бидди и двоюродной бабушки мистера Уопсла, то ответил отрицательно.

— Я кое-что знаю об одном наставнике, который, мне думается, мог бы вам подойти. Заметьте, я не рекомендую его, потому что я никогда никого не рекомендую. Джентльмен, о котором я говорю,— это некий мистер Мэтью Покет.

Вот оно что! Я сейчас же вспомнил это имя. Родственник мисс Хэвишем. Тот самый Мэтью, о котором говорили мистер и миссис Камилла. Тот самый Мэтью, которому уготовано место в изголовье у мисс Хэвишем, когда она будет лежать мертвая, в своем подвенечном наряде, на свадебном столе.

— Это имя вам знакомо? — спросил мистер Джеггерс и бросил на меня испытующий взгляд, после чего закрыл глаза в ожидании ответа.

Я ответил, что слышал это имя.

— Вот как! — сказал он.— Вы слышали это имя! Однако вопрос в том, что вы на этот счет думаете?

Я сказал, вернее попытался сказать, что очень благодарен ему за рекомендацию...

— Нет, мой юный друг! — перебил он меня, медленно покачивая своей большой головой.— Ну-ка, припомните!

Ничего не припомнив, я опять начал, что очень благодарен ему за рекомендацию...

— Нет, мой юный друг,— перебил он меня, качая головой и одновременно хмурясь и улыбаясь,— нет, нет, нет; это очень хорошо сказано, но это не годится; вы слишком молоды, чтобы поймать меня. Рекомендация — не то слово, мистер Пип. Поищите другое.

Исправив свою ошибку, я сказал, что очень благодарен ему за упоминание о мистере Мэтью Покете...

— Вот так-то лучше! — воскликнул мистер Джеггерс.

— ...и с удовольствием буду учиться у этого джентльмена.

— Очень хорошо. Учиться вам всего лучше у него на дому. Он будет предупрежден, но сначала вы повидаете его сына, который живет в Лондоне. Когда вы приедете в Лондон?

Я ответил (взглянув на Джо, который стоял неподвижно и только смотрел на нас), что готов ехать сейчас же.

— Скажем, ровно через неделю,— возразил мистер Джеггерс.— Вам следует сперва обзавестись новой одеждой, и притом не рабочей одеждой. На это понадобятся деньги. Я, пожалуй, оставлю вам двадцать гиней?

С невозмутимым видом он достал из кармана длинный кошелек, отсчитал на стол двадцать гиней и пододвинул их ко мне. Только теперь он снял ногу со стула. Пододвинув ко мне деньги, он уселся на стул верхом и стал раскачивать кошелек в воздухе, не сводя глаз с Джо.

— Ну что, Джозеф Гарджери? Вы как будто удивлены?

— И очень даже,— решительно заявил Джо.

— Вы помните, ведь был уговор, что для себя вы ничего не требуете?

— Был уговор,— сказал Джо.— И есть уговор. И будет, и останется.

— А что, если,— сказал мистер Джеггерс, раскачивая кошелек,— что, если в мои указания входило сделать вам подарок в виде возмещения?

— Это за что же возмещение? — спросил Джо.

— За то, что вы лишаетесь работника.

Джо положил руку мне на плечо нежно, как женщина. Часто впоследствии, думая о том, как в нем сочетались сила и мягкость, я мысленно сравнивал его с паровым молотом, который может раздавить человека или чуть коснуться скорлупки яйца.

— Уж как я рад,— сказал Джо,— что Пип может больше не работать, а жить в почете и богатстве,— этого я и выразить ему не могу. Но ежели вы думаете, что деньги возместят мне потерю мальчонки... когда он вот такой пришел в кузницу... и... всегда были друзьями!..

Милый, добрый Джо, которого я, неблагодарный, так легко готовился покинуть, я будто сейчас тебя вижу, как ты стоишь, заслонив глаза мускулистой рукой кузнеца, и широкая грудь твоя вздымается, и голос тебе изменяет. О милый, добрый, верный, любящий Джо, я до сих пор чувствую, как дрожит твоя рука у меня на плече, словно трепещет крыло ангела!

Но в то время я принялся утешать Джо. Я заплутался в дебрях моего грядущего благополучия и сбился с тропинок, по которым мы ходили рука об руку. Я напомнил Джо, что (как он сказал) мы всегда были друзьями и (как я сказал) всегда ими останемся. Джо так крепко провел по глазам свободной рукой, словно твердо решил их выдавить, но не добавил больше ни слова.

Мистер Джеггерс наблюдал за этой сценой так, точно видел в Джо деревенского дурачка, а во мне — его сторожа. Когда мы успокоились, он проговорил, уже не раскачивая кошелек, а взвешивая его на ладони:

— Предупреждаю вас, Джозеф Гарджери: теперь или никогда. Полумер я не признаю. Если вы хотите принять подарок, который мне поручено вам передать,— скажите слово, и вы его получите. Если же, напротив, вы считаете...

Но тут ему к величайшему его изумлению пришлось замолчать, потому что Джо вдруг двинулся на него с воинственным видом, не допускавшим сомнений относительно его намерений.

— Я то̀ считаю,— закричал Джо,— что коли ты приходишь ко мне в дом поддевать да дразнить меня, так изволь отвечать за это! Я то̀ считаю, что коли ты такой

храбрый, так выходи, покажи свою прыть. Я то̀ считаю, что раз я что сказал, значит, я так считаю, и с этого меня не собьешь, хоть ты в лепешку расшибись.

Я оттащил Джо, и он тут же угомонился; он только сообщил мне очень любезно, в виде вежливого предостережения всякому, кого это могло заинтересовать, что он никому не позволит поддевать и дразнить себя в собственном доме. При первом же угрожающем движении Джо мистер Джеггерс встал и попятился к двери. Не выказывая ни малейшего желания вернуться к столу, он произнес свою прощальную речь с порога. Сводилась она к следующему:

— Ну-с, мистер Пип, по-моему, раз вам предстоит стать джентльменом, чем скорее вы уедете отсюда, тем лучше. Пусть будет, как мы решили — через неделю; за это время вы получите мой адрес. На почтовом дворе в Лондоне можете нанять экипаж и приезжайте прямо ко мне. Заметьте, я не высказываю своего мнения ни за, ни против той опеки, которую я на себя беру. Мне за это платят, и я за это взялся. Заметьте себе это как следует. Заметьте!

Говоря это, он все время тыкал в нас пальцем и, вероятно, не скоро бы кончил, но, видимо, решив, что с Джо лучше не иметь дела, все же предпочел удалиться.

Мне пришла в голову одна мысль, и я побежал за ним следом по дороге к «Веселым Матросам», где его ждала наемная карета.

— Виноват, мистер Джеггерс, минуточку!

— Эге! — сказал он, оборачиваясь.— Что случилось?

— Я хочу все сделать правильно, мистер Джеггерс, и точно по вашим указаниям; вот я и решил вас спросить,— можно, я до отъезда прощусь с моими здешними знакомыми?

— Можно,— сказал он, словно не вполне понимая меня.

— И не только здесь, в деревне, но и в городе?

— Можно,— сказал он.— Возражений не имеется.

Я поблагодарил его и побежал домой, где обнаружил, что Джо уже запер парадную дверь, ушел из гостиной и сидит в кухне у огня, положив руки на колени и устремив

взгляд на горящие угли. Я тоже подсел к огню и стал смотреть на угли, и долгое время все молчали.

Моя сестра лежала в своем углу, обложенная подушками, Бидди с шитьем сидела у огня, Джо сидел рядом с Бидди, а я сидел рядом с Джо, напротив сестры. И чем дольше я глядел на тлеющие угли, тем яснее чувствовал, что не могу взглянуть на Джо; чем дольше длилось молчание, тем труднее мне было заговорить.

Наконец я выдавил из себя:

— Джо, ты сказал Бидди?

— Нет, Пип,— ответил Джо, по-прежнему глядя на огонь, и так крепко обхватив колени, точно у него были секретные сведения, что они собираются от него сбежать,— я думал, ты сам ей скажешь, Пип.

— Нет, уж лучше ты, Джо.

— Ну, раз так,— сказал Джо,— Пип у нас джентльмен и богач, и да благословит его бог!

Бидди уронила шитье и смотрела на меня. Джо крепко держал свои колени и смотрел на меня. Я смотрел на них обоих. Потом они оба сердечно меня поздравили; но был в их поздравлениях оттенок грусти, и это меня задело.

Я счел своим долгом внушить Бидди (а через нее и Джо), как важно, чтобы они, мои друзья, ничего не знали и никогда не упоминали о моем благодетеле. Все выяснится в свое время, заметил я, а пока нельзя ничего рассказывать, кроме того, что по милости таинственного покровителя у меня появились надежды на блестящее будущее. Бидди задумчиво кивнула головой и снова взялась за шитье, сказав, что постарается не проболтаться; и Джо, все не выпуская из-под надзора свои колени, сказал: «Вот-вот, Пип, я тоже постараюсь»; после чего они снова принялись поздравлять меня и так дивились моему превращению в джентльмена, что мне стало не по себе.

Бидди приложила немало усилий к тому, чтобы довести все случившееся до сознания моей сестры. Насколько я мог судить, усилия эти были тщетны. Сестра смеялась, раз за разом кивала головой и даже повторила вслед за Бидди слова «Пип» и «богатство». Но боюсь, что она придавала им не больше значения, чем обычно придают предвыборным выкрикам,— лучше описать плачевное состояние ее рассудка я не в силах.

Раньше я счел бы это невероятным, однако я хорошо помню, что, по мере того как Джо и Бидди вновь обретали свое обычное спокойствие и веселость, у меня становилось все тяжелее на душе. Переменой в своей судьбе я, разумеется, не мог быть недоволен; но возможно, что, не догадываясь об этом, я был недоволен самим собой.

Как бы то ни было, я сидел, уперев локоть в колено и уткнувшись подбородком в ладонь, и смотрел на угли, а Джо и Бидди говорили о моем отъезде, о том, что будут делать без меня, и о разных других вещах. И всякий раз, ловя на себе их приветливые взгляды (а они, особенно Бидди, часто поглядывали на меня), я ощущал какую-то обиду, словно читал в их глазах недоверие, хотя, видит бог, они не выражали его ни словом, ни знаком.

Тогда я вставал и подходил к двери; дверь нашей кухни открывалась прямо на улицу и летними вечерами оставалась отворенной, чтобы было прохладнее. Стыдно сказать, но даже звезды, к которым я поднимал глаза, вызывали во мне снисходительную жалость, потому что мерцали над бедной деревушкой, в которой я провел свою жизнь.

— Сегодня суббота,— сказал я, когда мы уселись за ужин, состоявший из хлеба с сыром и пива.— Еще пять дней, а потом уже будет день перед *тем* днем. Время пройдет быстро.

— Да, Пип,— подтвердил Джо, и голос его прозвучал глухо, потому что шел из кружки с пивом.— Время пройдет быстро.

— Быстро, очень быстро,— сказала Бидди.

— Я вот о чем думал, Джо: когда я пойду в город, в понедельник, заказывать новое платье, я скажу портному, что надену его прямо у него в мастерской, или велю послать к мистеру Памблчуку. Неприятно, если все здесь будут на меня глазеть.

— Мистер и миссис Хабл, наверно, захотят полюбоваться на тебя, Пип, каким ты будешь франтом,— сказал Джо, искусно разрезая на левой ладони ломоть хлеба вместе с сыром и поглядывая на мой нетронутый ужин так, словно вспоминал время, когда мы любили сравнивать, кто ест быстрее.— И мистер Уопсл тоже. И «Веселым Матросам» было бы удовольствие.

— Этого-то я и не хочу, Джо. Они устроят из этого такое представление — такое грубое, неприличное представление, что я не буду знать куда деваться.

— Вот оно что, Пип! — сказал Джо. — Ну, если ты не будешь знать куда деваться...

Тут Бидди, кормившая с ложки мою сестру, обратилась ко мне с вопросом:

— А ты подумал о том, как ты покажешься мистеру Гарджери, и твоей сестре, и мне? Ведь нам-то ты захочешь показаться?

— Бидди, — отвечал я с некоторым раздражением, — ты такая быстрая, что за тобой не поспеть...

(— А она и всегда была быстрая, — заметил Джо.)

— Если бы ты подождала еще минутку, Бидди, ты бы услышала, что я как-нибудь вечером принесу сюда свое платье в узелке — скорее всего накануне моего отъезда.

Бидди больше ничего не сказала. Я великодушно простил ее и вскоре затем сердечно пожелал ей и Джо спокойной ночи и пошел спать. Поднявшись в свою комнатушку, я сел и долго осматривал ее — жалкую, недостойную меня комнатушку, с которой я скоро навсегда расстанусь. Ее населяли чистые, юные воспоминания, и я мысленно разрывался между нею и роскошной квартирой, в которой мне предстояло жить, так же, как столько раз разрывался между кузницей и домом мисс Хэвишем, между Бидди и Эстеллой.

Весь день на крышу светило солнце, и комната сильно нагрелась. Я отворил окно и, высунувшись наружу, увидел, как Джо медленно вышел из темного дома и раза два прошелся взад-вперед; потом вышла Бидди, принесла ему трубку и дала огня. Он никогда не курил так поздно, из чего я мог заключить, что по каким-то причинам он нуждается в утешении.

Теперь он стоял у двери, прямо подо мной, и курил свою трубку. Бидди стояла подле, тихо разговаривая с ним, и я знал, что они говорят обо мне, потому что оба они несколько раз ласково произнесли мое имя. Я не стал бы слушать дальше, даже если бы мог что-нибудь услышать; отойдя от окна, я сел на единственный стул у кровати, думая о том, как печально и странно, что этот

вечер, когда передо мной только что открылось такое блестящее будущее,— самый тоскливый вечер в моей жизни.

Оглянувшись на открытое окно, я увидел плывущий в воздухе дымок от трубки Джо, и мне подумалось, что это его благословение — не навязчивое, не показное, но разлитое в самом воздухе, которым мы оба дышали. Я задул свечу и улегся в постель; и постель показалась мне неудобной, и никогда уже я не спал в ней так сладко и крепко, как бывало.

ГЛАВА XIX

Утро озарило весь мир новым блеском, и будущее предстало передо мной, просветленное до неузнаваемости. Больше всего меня теперь заботило, что до отъезда моего оставалось еще целых шесть дней: я не мог отделаться от тревожного чувства, что за эти шесть дней что-нибудь может стрястись с Лондоном и что к тому времени, как я туда попаду, он станет меньше или хуже, а то и вовсе исчезнет с лица земли.

Джо и Бидди очень тепло и сердечно отзывались на мои упоминания о нашей скорой разлуке, однако сами о ней не заговаривали. После завтрака Джо достал из комода в парадной гостиной мой договор, мы сожгли его, и я почувствовал себя свободным. Полный до краев этим новым ощущением свободы, я пошел с Джо в церковь и, сидя там, думал, что, если бы священник все знал, он, пожалуй, не стал бы толковать нам про богатого и про царствие божие *.

Отобедали мы, как всегда, рано, и после обеда я ушел из дому один, решив теперь же проститься с болотами и больше уже туда не возвращаться. Проходя мимо церкви, я (как и утром во время службы) преисполнился благородного сострадания к несчастным людям, которым суждено ходить сюда каждое воскресенье, до конца своих дней, а потом успокоиться в полной безвестности под низкими зелеными холмиками. Я пообещал себе, что в скором времени что-нибудь для них сделаю, и мысленно набросал план действий, согласно которому каждый житель нашей деревни должен был получить от меня обед из рост-

бифа и плумпудинга, пинту эля и целый галлон благосклонности.

Если я и раньше часто испытывал нечто похожее на стыд, вспоминая о своем знакомстве с беглым каторжником, некогда ковылявшим среди этих могил, каковы же были мои мысли в это воскресенье, когда я, очутившись на кладбище, снова вспомнил его, оборванного, дрожащего, с толстым железным кольцом на ноге! Одно меня утешало — что это случилось очень давно, что его, несомненно, увезли за тридевять земель и что для меня он умер, а к тому же, возможно, его и в самом деле нет в живых.

Конец нашим болотистым низинам, конец дамбам, и шлюзам, и жующим коровам,— впрочем, они, казалось, глядели теперь более почтительно, насколько это совместимо было с их коровьей тупостью, и поворачивали голову, чтобы как можно дольше таращиться на обладателя столь больших надежд,— прощайте, скучные друзья моего детства, отныне я не ваш — я создан для Лондона и славы, а не для работы кузнеца! В таком ликующем состоянии духа я дошел до старой батареи, прилег на траву, чтобы обдумать, прочит ли меня мисс Хэвишем в мужья Эстелле, и крепко уснул.

Проснувшись, я с удивлением увидел, что рядом со мной сидит Джо и курит свою трубку. Когда я открыл глаза, он ласково мне улыбнулся.

— А я решил, Пип,— ведь в последний раз, так пойду-ка и я за тобой.

— Я очень рад, что ты так решил, Джо.

— Спасибо на добром слове, Пип.

— Знай, милый Джо,— продолжал я после того, как мы крепко потрясли друг другу руки,— что я тебя никогда не забуду.

— Конечно, Пип, конечно,— сказал Джо, словно успокаивая меня.— Я-то это знаю. Право, знаю, дружок. Да чего там, стоит немножко мозгами пораскинуть, это всякому станет ясно. Только вот мозгами-то пораскинуть я сначала никак не мог, очень уж все враз переменилось, верно я говорю?

Почему-то мне было не особенно приятно, что Джо так крепко на меня надеется. Мне бы понравилось, если бы он расчувствовался или сказал: «Это делает тебе честь, Пип»,

или что-нибудь в том же духе. Поэтому я никак не отозвался на первую часть его речи, на вторую же ответил, что известие это действительно явилось для нас неожиданностью, но что мне всегда хотелось стать джентльменом и я много, много раз думал о том, что бы я в таком случае стал делать.

— Да неужели думал? — удивился Джо.— Поди ж ты!

— Сейчас мне очень жаль, Джо,— сказал я,— что ты извлек так мало пользы из наших уроков; ты со мной не согласен?

— Вот уж не знаю,— отвечал Джо.— Я к ученью туповатый. Я только в своем деле мастак. Оно и всегда было жаль, что я туповатый, и сейчас жаль, но только не больше, чем... ну, хоть год назад!

Я-то имел в виду, что куда приятнее было бы, если бы Джо оказался более достоин моих милостей к тому времени, как я получу свое состояние и смогу для него что-то сделать. Однако он был так далек от правильного понимания моей мысли, что я решил лучше растолковать ее Бидди.

И вот, когда мы пришли домой и напились чаю, я вызвал Бидди в наш садик у проулка и, подбодрив ее для начала заверением, что никогда ее не забуду, сказал, что у меня есть до нее просьба.

— А состоит она в том, Бидди,— сказал я,— чтобы ты не упускала случая немножко пообтесать Джо.

— Как это пообтесать? — спросила Бидди, бросив на меня внимательный взгляд.

— Ну, ты понимаешь, Джо — хороший, милый человек, лучшего я просто и не знаю, но в некоторых отношениях он немного отстал, Бидди. Скажем, в части учения и манер.

Хотя я, пока говорил, смотрел на Бидди и хотя, когда я кончил, она широко раскрыла глаза, но на меня она не смотрела.

— Ах, манер! Значит, у него манеры недостаточно хороши? — спросила она, сорвав лист черной смородины.

— *Здесь,* милая Бидди, они достаточно хороши, но...

— Ах, здесь они, значит, достаточно хороши? — перебила меня Бидди, разглядывая сорванный лист.

— Ты не дала мне договорить: но если мне удастся ввести его в более высокие круги, а я надеюсь, что это мне

удастся, когда я войду во владение своей собственностью,— такие манеры едва ли сделают ему честь.

— И ты думаешь, он этого не знает? — спросила Бидди.

Вопрос показался мне до того обидным (самому-то мне ничего подобного и в голову не приходило), что я огрызнулся:

— Что ты хочешь этим сказать, Бидди?

Прежде чем ответить, Бидди растерла лист между ладонями,— и с тех пор запах черносмородинового куста всегда напоминает мне этот вечер в нашем садике у проулка.

— А что он, может быть, гордый, об этом ты не подумал?

— Гордый? — переспросил я с подчеркнутым пренебрежением.

— Гордость разная бывает,— сказала Бидди, смотря мне прямо в лицо и качая головой.— Гордость не у всех одинаковая...

— Ну? Что же ты замолчала?

— Не у всех одинаковая,— повторила Бидди.— Ему, возможно, гордость не позволит, чтобы кто-то снял его с места, где у него есть свое дело, где он делает это дело хорошо и пользуется уважением. Сказать по правде, я думаю, что именно так и будет; впрочем, это, вероятно, очень смело с моей стороны: ведь ты должен бы знать его куда лучше, чем я.

— Бидди,— сказал я,— ты меня огорчаешь. Я от тебя этого не ожидал. Ты завидуешь, Бидди, и дуешься. Тебе обидно мое возвышение в жизни, и ты не умеешь это скрыть.

— Если у тебя хватает совести так думать,— отвечала Бидди,— ты так и скажи. Повтори, повтори еще раз, если у тебя хватает совести так думать.

— Скажи лучше,— если у *тебя* хватает совести так принимать это,— возразил я надменным и наставительным тоном.— Нечего сваливать вину на меня. Ты меня очень огорчаешь, Бидди, это... это дурная черта характера. Я хотел попросить тебя, чтобы ты после моего отъезда по мере сил помогала нашему милому Джо. Но теперь я тебя ни о чем не прошу. Ты меня очень огорчила, Бидди,— повторил я.— Это... это дурная черта характера.



— Ругай ты меня или хвали,— сказала бедная Бидди,— все равно можешь быть спокоен, я здесь всегда буду делать все, что в моих силах. И какого бы мнения ты обо мне ни держался, я не изменюсь к тебе. А несправедливым джентльмену все-таки не пристало быть,— добавила она и отвернулась.

Я еще раз с горячностью повторил, что это дурная черта характера (и с тех пор убедился, что был прав, только применил свои слова не по адресу), и пошел по дорожке прочь от Бидди, а Бидди вернулась в дом; я вышел на дорогу и уныло бродил по полям до самого ужина, по-прежнему думая о том, как печально и странно, что в этот, второй вечер моей новой жизни мне так же одиноко и тоскливо, как и в первый.

Впрочем, с наступлением утра я опять приободрился и, великодушно простив Бидди, решил не возобновлять вчерашнего разговора. Я надел свое лучшее платье и, едва дождавшись часа, когда могли открыться лавки, отправился в город. Когда я явился к мистеру Трэббу, портному, он еще завтракал в своей комнате за лавкой; рассудив, что выходить ко мне не стоит, он вместо этого позвал меня к себе.

— Ну-с,— начал мистер Трэбб снисходительно-приятельским тоном,— как поживаете, чем могу служить?

Мистер Трэбб только что разрезал горячую булочку на три перинки и занимался тем, что прокладывал между ними масло и тепло его укутывал. Это был старый холостяк, человек с достатком, и окно его комнаты смотрело в предостаточный огородик и фруктовый сад, а в стену возле камина вделан был более чем достаточный кованый сундук, где хранились — я был в том убежден — полные мешки его достатка.

— Мистер Трэбб,— сказал я,— мне не хочется упоминать об этом, потому что может показаться, будто я хвастаюсь, но я получил порядочное состояние.

Мистер Трэбб преобразился. Позабыв о масле, нежащемся в теплой постели, он поднялся и вытер пальцы о скатерть с возгласом: «Господи помилуй!»

— Я еду в Лондон к моему опекуну,— сказал я, небрежно доставая из кармана несколько гиней и погляды-

вая на них,— мне нужен в дорогу костюм по последней моде, и я готов заплатить за него вперед,— добавил я, опасаясь, что иначе он, чего доброго, только пообещает выполнить мой заказ.

— Дорогой сэр, вы меня обижаете! — И мистер Трэбб, почтительно изогнувшись, раскинул руки и даже осмелился секунду подержать меня за локотки.— Позвольте мне принести вам мои поздравления. Будьте столь любезны, пройдите, пожалуйста, в лавку.

Мальчишка мистера Трэбба был самым дерзким мальчишкой во всей округе. Когда я пришел, он подметал лавку и, чтобы доставить себе развлечение среди тяжких трудов, намел мне на ноги целую кучу сора. Когда я снова вышел в лавку с мистером Трэббом, он все еще подметал пол, и тут же стал нарочно задевать щеткой о все углы и прочие препятствия, чтобы показать этим (так по крайней мере я его понял), что он не хуже любого кузнеца, живого или мертвого.

— Прекрати возню! — закричал на него мистер Трэбб с чрезвычайной суровостью,— не то я тебе голову оторву. Присядьте, сэр, прошу вас. Вот, сэр,— говоря это, мистер Трэбб достал с полки кусок сукна и плавным движением развернул его на прилавке, с тем чтобы подсунуть под него руку и показать, как оно отливает на свет,— очень приятный товар! Особенно рекомендую его вам, сэр, это самый что ни на есть высший сорт. Впрочем, я покажу вам и другие образцы. Эй ты, подай мне номер четыре! (Эти слова были обращены к мальчишке и сопровождались устращающе грозным взглядом, поскольку существовала опасность, что сей зловредный юнец мазнет меня сукном по голове или позволит себе еще какую-нибудь вольность.)

Мистер Трэбб не сводил строгого взора с мальчишки, пока тот не положил на прилавок номер четыре и не отошел на безопасное расстояние. Тогда он велел ему подать номер пять и номер восемь.— И смотри у меня, негодяй, никаких фокусов,— прикрикнул мистер Трэбб,— не то будешь жалеть до последнего вздоха!

Затем мистер Трэбб склонился над номером четыре и смиренно-доверительным тоном отрекомендовал его мне как легкий летний материал, который весьма в ходу у дво-

рянства и аристократии и в который он почтет для себя за великую честь одеть своего знатного земляка (если только позволительно ему считать себя моим земляком). А затем снова обратился к мальчишке:

— Подашь ты мне когда-нибудь номер пять и номер восемь, шалопай несчастный, или прикажешь вышвырнуть тебя из лавки и идти за ними самому?

С помощью мистера Трэбба я выбрал сукно на костюм и снова прошел в заднюю комнату — снять мерку. Ибо хотя у мистера Трэбба уже имелась моя мерка и до сих пор она вполне его удовлетворяла, однако, как он с поклоном заявил, «при существующих обстоятельствах она не годится, сэр, совершенно не годится». Итак, мистер Трэбб обмерил и размежевал меня в своей комнате, словно я был земельным участком, а он — опытным землемером, и приложил к этому делу столько стараний, что я почувствовал — никакая плата не может вознаградить его за такие труды. Когда же наконец он с этим покончил и мы договорились, что он пришлет мой костюм мистеру Памблчуку в четверг вечером, мистер Трэбб сказал, уже взявшись за ручку двери:

— Я знаю, сэр, лондонские джентльмены, как правило, не шьют у провинциальных портных; но если бы вам, живя в столице, вздумалось когда-нибудь удостоить меня чести, я был бы весьма польщен. До свиданья, сэр, чрезвычайно вам признателен... Дверь!

Последнее слово было брошено мальчишке, который понятия не имел, что оно означает. Но я видел, как он был ошеломлен, когда его хозяин, льстиво потирая руки, сам проводил меня до порога, и я могу считать, что мое знакомство с сокрушительной силой денег началось в ту минуту, когда они, фигурально выражаясь, положили на обе лопатки мальчишку Трэбба.

После этого памятного события я побывал у шляпника, сапожника и торговца бельем, чувствуя, что сильно смахиваю на собаку матушки Хаббард *, которую общими силами наряжали столько мастеров. Побывал я и в конторе дилижансов и заказал себе место на семь часов утра в субботу. Необязательно было повсюду рассказывать, что я получил порядочное состояние; однако всякий раз, как я упоминал об этом, мой собеседник отвлекался от созер-

цания того, что происходило за окном на улице, и сосредоточивал все свое внимание на мне. Покончив с необходимыми заказами, я направился к лавке Памблчука и, подходя к ней, увидел, что этот джентльмен собственной персоной стоит на пороге.

Он поджидал меня с большим нетерпением. Еще утром он заезжал на своей тележке к нам в кузницу и ему рассказали великую новость. Он приготовил для меня угощение в гостиной, где происходило памятное чтение «Джорджа Барнуэла», и, пропуская в дверь мою священную особу, тоже велел своему приказчику «не путаться под ногами».

— Друг мой,— сказал мистер Памблчук, пожимая мне руки, когда остался наедине со мной и с угощением.— Поздравляю вас по случаю такой редкостной удачи. Вы ее заслужили, заслужили!

Это было сказано к месту и показалось мне весьма дельным замечанием.

— Мысль о том,— сказал мистер Памблчук, предварительно выразив свои чувства ко мне восхищенным пыхтением,— что я некоторым образом способствовал этому, составляет для меня высшую награду.

Я напомнил мистеру Памблчуку, что этого предмета нельзя касаться ни словом, ни намеком.

— Друг мой,— сказал мистер Памблчук,— если вы разрешите называть вас так...

Я промямлил: «Разумеется», и мистер Памблчук снова взял меня за обе руки и сообщил своему жилету колыхательное движение, которое говорило о чувствах, хотя и совершалось намного ниже сердца.

— Друг мой, положитесь на меня, в ваше отсутствие я не пожалею своих слабых сил, чтобы обо всем этом не забыл Джозеф. Джозеф! — сказал мистер Памблчук, как бы моля и сострадая.— Джозеф!! Джозеф!!! — после чего он покачал головой и постукал себя по лбу, тем выражая свое отношение к главному недостатку Джозефа.

— Но что же это я, друг мой,— сказал мистер Памблчук.— Вы, должно быть, проголодались, вы падаете от усталости. Садитесь, прошу вас. Вот курятина — это из «Кабана», вот язык, тоже из «Кабана», вот еще кое-какие лакомые штучки из «Кабана», которыми вы, надеюсь, не

побрезгуете. Но неужели,— сказал мистер Памблчук, едва успев сесть и снова вставая,— неужели я вижу перед собой того, с кем я делил игры и забавы его счастливого детства? Дозвольте же... дозвольте мне...

Это «дозвольте» означало, что ему хочется пожать мне руку. Я согласился, он с жаром стиснул ее и снова сел.

— Вот вино,— сказал мистер Памблчук.— Выпьем. Возблагодарим судьбу, и пусть она всегда выбирает своих баловней так же разумно. Нет,— сказал мистер Памблчук, снова вставая,— я не могу видеть перед собой Того, кто... а также пить за Того, кто... не выразив еще раз... Дозвольте... дозвольте мне...

Я дозволил, и он снова пожал мне руку и, осушив стакан, опрокинул его вверх дном. Я последовал его примеру; и доведись мне перед этим самого себя опрокинуть вверх дном, вино и тогда не ударило бы мне в голову с такой силой.

Мистер Памблчук положил мне на тарелку сочное куриное крылышко и лучший ломтик языка (прошли те времена, когда мне доставались одни глухие закоулки окорока!), о себе же, сравнительно говоря, не заботился вовсе.— О птица, птица! — воззвал мистер Памблчук к жареной курице.— Думала ли ты, будучи неразумным цыпленком, какая честь тебе предназначена! Думала ли ты, что под этим смиренным кровом ты станешь угощением Того, кто... Пусть вы сочтете это слабостью с моей стороны, сэр,— сказал мистер Памблчук, вставая,— но дозвольте, дозвольте мне...

Особого дозволения от меня теперь, видимо, уже не требовалось, и он тут же выполнил свое намерение. Как ему удавалось проделывать это так часто, не порезавшись о мой нож, право, не знаю.

— А ваша сестра, что имела честь воспитать вас своими руками,— продолжал он, основательно подкрепившись,— не печально ли, что ей не дано понять, какую великую честь... Дозвольте...

Я увидел, что он готов опять двинуться на меня, и остановил его.

— Выпьем за ее здоровье,— предложил я.

— О! — вскричал мистер Памблчук и откинулся на

спинку стула, совсем размякнув от восхищения.— Вот по таким словам они и познаются, сэр! (Не знаю, кого он величал сэром, во всяком случае не меня, а больше в комнате никого не было.) Вот по таким словам, сэр, и познаются благородные сердца! Всегда готовы простить, приветить! Человеку непонимающему,— продолжал угодливый Памблчук, поспешно отставив нетронутый стакан и снова вставая,— могло бы показаться, что я назойлив, но дозвольте мне...

Проделав, что следовало, он возвратился на свое место и выпил за здоровье моей сестры.— Не надо закрывать глаза на ее несчастный характер,— сказал мистер Памблчук,— но будем надеяться, что намерения у нее были добрые.

Примерно в это время я заметил, что лицо его стало сильно краснеть; сам же я словно обратился в сплошное лицо, насквозь пропитанное вином, и лицо это немилосердно горело.

Я сказал мистеру Памблчуку, что распорядился доставить мое новое платье к нему на дом, и он едва не задохнулся от восторга, что я так отличил его. Я разъяснил ему, почему мне не хочется, чтобы на меня глазели в деревне, и он стал превозносить меня до небес. Он дал мне понять, что лишь он один достоин моего доверия, и, короче говоря, он просит дозволения... Потом он нежно осведомился, помню ли я нашу игру в арифметические задачи, и как мы вместе ходили записывать меня в подмастерья, и как он всегда был моим наперсником и самым закадычным другом? Выпей я в десять раз больше вина, я и то бы знал, что ничего подобного никогда не было, и в глубине души с негодованием отверг бы такое предположение. А между тем помню как сейчас, в ту минуту я был убежден, что сильно в нем ошибался и что он умнейший, добрейший, прекраснейший человек.

Мало-помалу он проникся ко мне таким доверием, что стал спрашивать моего совета по поводу своих собственных дел. Он упомянул, что на основе его предприятия, если таковое расширить, можно создать объединение и монополию по торговле зерном и семенами, равной которой не видывали ни в нашей, ни в какой другой округе. Единственное, что, по его мнению, еще требовалось, чтобы

сколотить миллионное состояние, это — Округлить Капитал. Вот именно эти два словечка — округлить капитал. И ему, Памблчуку, думается, что если бы недостающую сумму вложил в дело новый компаньон,— а этому компаньону не было бы иной заботы, кроме как в любое время по своему усмотрению, лично или поручив это комунибудь, проверять книги, да два раза в год заходить в контору и уносить в кармане прибыли, пятьдесят процентов или около того,— ему думается, что это было бы весьма выгодной возможностью, над которой молодому человеку с умом и с деньгами стоило бы поразмыслить. А я что думаю на этот счет? Он целиком полагается на мое мнение, так что же я думаю на этот счет? Я сказал, что согласен с ним: «Но не будем забегать вперед!» Широта и ясность моего суждения потрясли его совершенно, и он, уже не спрашивая дозволения, заявил, что не может не пожать мне руку — и пожал-таки ее еще раз.

Мы выпили все вино, и мистер Памблчук снова и снова клялся мне держать Джозефа в пределах (неизвестно каких) и прилежно и неизменно оказывать мне услуги (неизвестно какие). Он также впервые поведал мне тайну, которую, нужно признать, свято хранил до той поры, а именно, что всегда говорил обо мне: «Этот мальчик необыкновенный, и, помяните мое слово,— судьба у него будет необыкновенная». Со скорбной улыбкой он сказал, что сейчас это просто уму непостижимо, и я подтвердил его слова. Наконец я вышел на улицу, смутно почувствовал, что солнце ведет себя как-то необычно, и, так и не заметив дороги, в каком-то полусне добрался до шлагбаума.

Здесь я очнулся, услышав, что меня окликает мистер Памблчук. Он был еще далеко, на залитой солнцем улице, и выразительными жестами приглашал меня остановиться. Я остановился, и он подошел ко мне, пыхтя и отдуваясь.

— Нет, дорогой мой друг, я этого не допущу,— заговорил он, едва успев перевести дух.— Такой день не может закончиться без этой последней любезности с вашей стороны. Дозвольте же мне, как старому другу и доброжелателю, *дозвольте* мне...

Мы по меньшей мере в сотый раз обменялись рукопожатием, и он негодующим тоном приказал какому-то

молодому возчику дать мне дорогу. Затем он благословил меня и стоял, махая мне рукой, пока я не скрылся за поворотом; и тут я свернул в поле и, прежде чем идти дальше домой, как следует проспался в тени изгороди.

Мне предстояло взять с собой в Лондон весьма скудный багаж,— лишь немногое из того немногого, что у меня было, годилось для моего нового положения. Но, внушив себе, что нельзя терять ни минуты, я в тот же день начал укладываться, причем впопыхах уложил вещи, которые, как я знал, понадобятся мне уже на следующее утро.

Миновали вторник, среда и четверг; а в пятницу утром я отправился к мистеру Памблчуку, с тем чтобы, облачившись у него в новое платье, пойти попрощаться с мисс Хэвишем. Для переодевания мне отведена была собственная спальня мистера Памблчука, нарочно ради этого случая увешанная чистыми полотенцами. Новое платье, как водится, несколько разочаровало меня. Вероятно, с тех самых пор, что люди стали одеваться, ни один новый, с нетерпением ожидавшийся туалет не оправдывал в полной мере надежд, которые на него возлагались. Впрочем, после того как я пробыл в новом платье с полчаса и вконец извертелся, тщетно стараясь с помощью ручного зеркала мистера Памблчука увидеть свои ляжки, мне стало казаться, что сидит оно совсем недурно. Мистера Памблчука не было дома,— он уехал на ярмарку в соседний городок, миль за десять. Я не предупредил его, когда уезжаю в Лондон, и, следовательно, мне не грозила опасность новых рукопожатий. Все складывалось к лучшему, и я без помехи вышел в моем новом наряде на улицу, до слез стыдясь встречи с приказчиком и втайне подозревая, что выгляжу не очень авантажно, вроде как Джо в воскресном костюме.

К дому мисс Хэвишем я пробрался задворками, дав большого крюку, и позвонил неловко, с трудом,— мешали жесткие, слишком длинные пальцы перчаток. На звонок вышла Сара Покет и чуть не упала в обморок, увидев меня в новом обличье, а лицо ее, так похожее на грецкий орех, из коричневого стало желто-зеленым.

— Вы? — сказала она.— Вы? Боже милосердный! Что вам нужно?

— Я уезжаю в Лондон, мисс Покет,— сказал я,— и зашел проститься с мисс Хэвишем.

Заперев калитку, мисс Покет пошла справиться, как ей поступить,— значит, меня не ждали. Впрочем, она очень скоро вернулась и повела меня наверх, не сводя с моей особы изумленного взгляда.

Мисс Хэвишем, опираясь на свою клюку, прохаживалась по комнате с длинным накрытым столом, по-прежнему тускло освещенной свечами. Услышав, что отворяется дверь, она остановилась — как раз подле сгнившего свадебного пирога — и повернула голову.

— Не уходите, Сара,— приказала она.— Ну, что скажешь, Пип?

— Я еду в Лондон, мисс Хэвишем, завтра еду,— я следил за каждым своим словом,— и подумал, что вы, может быть, не сочтете за дерзость, если я зайду проститься с вами.

— Ты стал настоящим франтом, Пип,— сказала она, помахивая передо мною своей клюкой, словно добрая фея-крестная, совершив чудесное превращение, наделяла меня прощальным подарком.

— На меня свалилось такое счастье, после того как мы с вами виделись, мисс Хэвишем,— тихо проговорил я.— И я так благодарен, мисс Хэвишем!

— Да, да,— сказала она, с нескрываемой радостью глядя на расстроенную, изнывающую от зависти Сару.— Я видела мистера Джеггерса. Я уже слышала эту новость, Пип. Так ты едешь завтра?

— Да, мисс Хэвишем.

— И тебя усыновил какой-то богатый человек?

— Да, мисс Хэвишем.

— Пожелавший остаться неизвестным?

— Да, мисс Хэвишем.

— И назначил мистера Джеггерса твоим опекуном?

— Да, мисс Хэвишем.

Она просто упивалась этими вопросами и ответами,— такое наслаждение доставляли ей смятение и зависть Сары Покет.

— Ну что же,— продолжала она,— перед тобой открывается прекрасное будущее. Будь умником, веди себя достойно, слушайся указаний мистера Джеггерса.— Она пристально поглядела на меня, потом на Сару, убитое

лицо которой исторгнуло у нее жестокую улыбку.— Прощай, Пип!.. Ты ведь навсегда сохранишь это имя?

— Да, мисс Хэвишем.

— Прощай, Пип.

Она протянула мне руку, и я, опустившись на колено, поднес ее руку к губам. Я не загадывал вперед, как буду с нею прощаться; это получилось у меня само собой. Торжество сверкнуло в ее тяжелом взгляде, обращенном на Сару Покет, и такой я покинул мою фею-крестную: она стояла посреди тускло освещенной комнаты, сложив руки на крючке своей палки, у сгнившего свадебного пирога, затканного паутиной.

Сара Покет свела меня вниз, словно я был призраком, который нужно выпроводить из дома. Она никак не могла свыкнуться с моим преображением и вконец растерялась. Я сказал: «Прощайте, мисс Покет», но она только смотрела на меня во все глаза, словно до ее сознания и не дошло, что я к ней обращался. Выйдя из дома, я поскорей добежал до лавки Памблчука, снял новый костюм, связал его в узел и отправился домой в старом своем платье, в котором, по совести говоря, чувствовал себя много свободнее, хоть и нес увесистый сверток.

И вот шесть дней, которым я и конца не предвидел, пронеслись и миновали, и уже завтрашний день глядел мне в лицо, а я не решался встретиться с ним глазами. По мере того как от шести вечеров оставалось пять, потом четыре, три, два, я все больше дорожил обществом Джо и Бидди. Накануне отъезда я, чтобы доставить им удовольствие, нарядился в новое платье и так и просидел весь вечер франтом. Ради торжественного случая мы устроили горячий ужин с неизменной жареной курицей и пивным пуншем. Всем нам было очень грустно и не становилось веселее от того, что мы притворялись оживленными и довольными.

Мне предстояло выйти из дому с моим чемоданчиком в пять часов утра, и я заранее предупредил Джо, что хочу идти в город один. Боюсь — ох, боюсь, не крылась ли за этим решением мысль, что очень уж велико будет несоответствие между нами, когда мы с Джо появимся на стоянке дилижансов. Я старался убедить себя, что и не помышляю об этом, но в последний вечер, поднявшись в

свою комнатушку, вынужден был признать всю вероятность таких побуждений и готов был спуститься обратно и умолять Джо проводить меня. Но я этого не сделал.

Всю ночь в моих тревожных снах мчались дилижансы, по ошибке заезжавшие куда угодно, кроме Лондона, а везли их то собаки, то кошки, то свиньи, то люди, но только не лошади. Самые фантастические дорожные приключения не давали мне покоя, пока не забрезжил день и не запели птицы. Тогда я встал, начал одеваться и, присев у окна, чтобы еще раз посмотреть на знакомую улицу, крепко уснул.

Бидди так рано поднялась готовить мне завтрак, что из кухни уже слышался запах дыма, когда я, не проспав у окна и часа, в ужасе вскочил, вообразив, что время далеко за полдень. Но еще долго спустя, когда внизу уже звенела чайная посуда и сам я был совершенно готов, у меня все недоставало духу спуститься в кухню. И я развязывал и отпирал свой чемоданчик, а потом снова запирал и завязывал его, пока Бидди наконец не крикнула мне снизу, что я опоздаю.

Я позавтракал наспех, не разбирая, что ем. Встав изза стола, я сказал развязно, словно только что вспомнив: «Ну, мне, пожалуй, пора!», поцеловал сестру, которая, по обыкновению, смеялась и трясла головой в своем углу у огня, поцеловал Бидди и крепко обнял Джо. Потом взял свой чемоданчик и вышел. Немного отойдя от дома, я услыхал позади какую-то возню и, оглянувшись, увидал, что Джо бросает мне вслед старый башмак, а второй башмак бросает Бидди. Тогда я остановился и помахал им шляпой, и милый старый Джо, махая над головой своей огромной ручищей, хрипло прокричал: «Урра!», а Бидди закрыла лицо передником.

Я быстро зашагал прочь, размышляя о том, что уйти оказалось гораздо легче, нежели я предполагал, и что куда бы это годилось, если бы старый башмак полетел вслед дилижансу на виду у всей Торговой улицы. Как ни в чем не бывало, я стал насвистывать веселую песенку. Но деревня мирно спала, легкий туман торжественно уплывал вверх, словно открывая мне мир,— и сам я когда-то был здесь таким маленьким и невинным, а то, что ждало меня впереди, представлялось таким неведомым и

огромным, что внезапно рыдания сдавили мне горло и я расплакался. Случилось это при выходе из деревни, у дорожного столба; я потрогал его рукой и сказал:

— Прощай, мой милый, мой добрый друг!

Видит бог, мы напрасно стыдимся своих слез,— они как дождь смывают душную пыль, иссушающую наши сердца. Слезы принесли мне облегчение — я смягчился, о многом пожалел, глубже почувствовал свою неблагодарность. Если бы я заплакал раньше, Джо был бы со мной в эту минуту.

Я так растрогался от собственных слез, которые снова и снова навертывались мне на глаза, пока я шел по пустынной дороге, что, уже сев в дилижанс и выехав из города, с тоскою думал, как хорошо было бы соскочить на землю, когда мы будем менять лошадей, добежать домой и, проведя еще один вечер под родным кровом, получше проститься со своими. Лошадей переменили, а я так ни на что и не решился и только утешал себя мыслью, что вполне можно будет вернуться и со следующей станции. Занятый этими мыслями, я несколько раз обманывался, принимая за Джо какого-нибудь путника, показавшегося вдали на дороге, и сердце у меня замирало... Как будто Джо мог здесь оказаться!

Мы переменили лошадей еще и еще раз, теперь возвращаться было уже слишком поздно и слишком далеко, и я не вернулся. А туман весь без остатка торжественно уплыл вверх, и мир лежал передо мной как на ладони.

На этом кончается первая пора надежд Пипа.

ГЛАВА XX

Езды от нашего города до столицы было часов пять. Уже перевалило за полдень, когда запряженный четверкой дилижанс, в котором я ехал, влился в сутолоку уличного движения и подкатил к гостинице «Скрещенные ключи» на углу Вуд-стрит и Чипсайда, в Лондоне.

Как раз в то время мы, британцы, окончательно установили, что и мы сами и все в нашей стране — венец творения, а тот, кто в этом сомневается, повинен в государственной измене; если бы не такое положение вещей, вполне возможно, что улицы Лондона, испугавшего меня своей необъятностью, показались бы мне очень некрасивыми, кривыми, узкими и грязными.

Мистер Джеггерс, как и было условлено, своевременно сообщил мне свой адрес. Улица называлась Литл-Бритен, а от руки на его карточке было приписано: «Не доезжая Смитфилда, у самой конторы дилижансов». Однако извозчик, чью засаленную шинель украшало, казалось, столько же пелерин, сколько ему было лет, так старательно упаковал меня в свою карету и загородил дребезжащей откидной подножкой, словно готовился везти меня за пятьдесят миль. Он бесконечно долго взбирался на козлы, покрытые старым, вылинявшим гороховым чехлом с бахромой, который моль превратила в сплошные лохмотья. Колымага у него была диковинная: с шестью большими коронами по бокам, с ободранными петлями сзади, за которые могли бы

держаться хоть десять лакеев, и с целым частоколом из гвоздей над задними колесами, чтобы любителям бесплатного катанья на запятках не вздумалось поддаться такому соблазну.

Не успел я удобно усесться и решить, что карета сильно напоминает овин, но еще больше — лавку старьевщика, и подивиться, неужели торбы обязательно нужно хранить тут же, как заметил, что возница готовится слезать с козел, словно мы уже подъезжаем. И действительно, очень скоро карета остановилась на мрачной улице, перед конторой, на открытой двери которой было выведено: *«М-р Джеггерс».*

— Сколько с меня? — спросил я.

— Шиллинг,— ответил извозчик,— если не пожелаете прибавить.

Я, разумеется, сказал, что не пожелаю.

— Тогда, значит, шиллинг,— вздохнул извозчик.— Не то с ним хлопот не оберешься. Уж я его знаю! — И, подмигнув на дверь конторы, сокрушенно покачал головой.

Когда он, получив свой шиллинг, совершил в конце концов обратное восхождение на козлы и покатил прочь (от чего, казалось, сильно воспрянул духом), я вошел со своим чемоданчиком в контору и спросил, у себя ли мистер Джеггерс.

— Нет,— отвечал клерк,— он сейчас в суде. Мистер Пип, если не ошибаюсь?

Я заверил его, что он не ошибается.

— Мистер Джеггерс просил вам передать, чтобы вы обождали у него в кабинете. Он сегодня занят в суде и не мог сказать, долго ли там пробудет. Но, поскольку время ему дорого, он, очевидно, не пробудет там ни минуты лишней.

С этими словами клерк отворил дверь и провел меня в соседнюю комнату. Здесь, углубившись в чтение газеты, сидел какой-то одноглазый субъект в плисовой куртке и штанах до колен, который при нашем появлении поднял голову и вытер нос рукавом.

— Ступайте, подождите в конторе, Майк,— сказал клерк.

Я хотел было извиниться, что помешал, но клерк без дальнейших церемоний выпроводил посетителя из каби-

нета и, швырнув ему вслед его меховую шапку, оставил меня одного.

Кабинет мистера Джеггерса, куда свет проникал только сквозь стеклянный люк в потолке, оказался необычайно мрачным убежищем. Стекло, причудливо заклеенное в нескольких местах, точно разбитая голова, искривляло линии соседних домов, которые как будто вытягивали шею и изгибались, чтобы получше разглядеть меня сверху. В комнате было меньше бумаг, чем я ожидал в ней увидеть; зато были всякие странные предметы, которых я никак не ожидал в ней увидеть: старый заржавленный пистолет, сабля в ножнах, какие-то странные ящики и свертки, а на полке — два страшных гипсовых слепка, сделанных с лиц, безобразно раздувшихся и застывших в судорожной усмешке. Кресло мистера Джеггерса было обито жесткой черной материей, с рядами медных гвоздиков по краям, точно гроб; я живо представил себе, как он откидывается на высокую спинку и покусывает указательный палец, сверля глазами клиента. Комната была небольшая, и клиенты, видимо, имели обыкновение пятиться к самой стене: вся она, особенно против кресла мистера Джеггерса, была засалена от соприкосновения с плечами и спинами. Я вспомнил, что и одноглазый субъект пробирался к двери по стенке, когда я, сам того не желая, изгнал его отсюда.

Я сел на стул для посетителей, лицом к креслу мистера Джеггерса, и почувствовал, как меня охватила гнетущая атмосфера этой комнаты. Мне вспомнилось, что у клерка, как и у его патрона, было такое выражение, словно за каждым человеком он знал какую-то вину. Я стал гадать, сколько еще клерков работает наверху и все ли они притязают на такую тлетворную власть над своими ближними. Я гадал, кому принадлежали раньше собранные здесь странные предметы и как они сюда попали. Я гадал, не родных ли мистера Джеггерса изображают те два слепка, и если уж бог послал ему в наказание двух таких безобразных родичей, то почему он поставил их пылиться на эту закопченную, засиженную мухами полку, а не приютил у себя дома. Конечно, Лондон в летний день был для меня внове, и возможно, что в моем угнетенном состоянии повинна была духота, а также пыль и копоть, густым слоем покрывавшие все вокруг. Но так или иначе я еще посидел

и подождал немного в душном кабинете, а потом, чувствуя, что гипсовые рожи, глядящие с полки над креслом мистера Джеггерса, сведут меня с ума, встал и вышел в контору.

Когда я сказал клерку, что хочу пока немного пройтись, он посоветовал мне завернуть за угол, на Смитфилд. Я вышел на Смитфилд, и мерзостная эта площадь словно облепила меня своей грязью, жиром, кровью и пеной *. Обратившись в бегство, я свернул в боковую улицу, откуда увидел огромный черный купол собора св. Павла, выступающий из-за мрачного каменного здания; какой-то прохожий сказал мне, что это — Ньюгетская тюрьма. Мостовая вдоль тюремной стены была устлана соломой, чтобы заглушить стук колес; из этого обстоятельства, а также из того, что у ворот толпилось множество людей, от которых сильно пахло водкой и пивом, я сделал вывод, что там идет заседание суда.

Пока я стоял, оглядываясь по сторонам, какой-то неимоверно грязный и изрядно подвыпивший служитель правосудия спросил меня, не желаю ли я войти и послушать одно-два дела,— за полкроны он берется посадить меня в первый ряд, откуда мне будет прекрасно виден лорд верховный судья в парике и мантии; можно было подумать, что речь идет не о грозном вершителе закона, а о восковой фигуре в паноптикуме,— к тому же мой собеседник немедленно сбавил цену до полутора шиллингов. Когда я отказался, сославшись на неотложные дела, он любезно пригласил меня во двор и показал, куда убирают виселицу и где происходят публичные наказания плетьми, после чего провел к «двери должников», через которую осужденных выводят на казнь, и, чтобы повысить мой интерес к этому страшному месту, сообщил, что послезавтра, ровно в восемь часов утра, отсюда выведут четверых преступников и повесят друг возле дружки. Это было ужасно и преисполнило меня отвращением к Лондону; тем более что вся одежда на владельце лорда верховного судьи (начиная со шляпы, кончая башмаками и включая носовой платок) отдавала плесенью и явно досталась ему из вторых рук, а значит, как подсказало мне воображение, была куплена им по дешевке у палача. Я решил, что дешево отделался, дав ему шиллинг.

Зайдя в контору спросить, не вернулся ли мистер Джег-

герс, и узнав, что его еще нет, я снова отправился гулять. На этот раз я прошелся по Литл-Бритен и свернул в ограду церкви св. Варфоломея; и здесь мне стало ясно, что не я один дожидаюсь мистера Джеггерса. Внутри ограды прохаживались с видом заговорщиков двое мужчин, аккуратно ступавших вдоль щелей между плитами; проходя мимо меня, один из них сказал другому, что, «если это вообще возможно сделать, Джеггерс это сделает». В углу двора стояли кучкой трое мужчин и две женщины, и одна из женщин плакала, утираясь грязной шалью, а другая, поправляя на плечах платок, утешала ее словами: «Ведь Джеггерс обещал его выручить, Эмилия, чего же тебе еще нужно?» Уже после меня в ограду вошел щупленький еврей с красными глазами в сопровождении другого щупленького еврея, которого он тут же услал с каким-то поручением; и, оставшись один, этот еврей, личность весьма нервическая, от волнения пустился плясать вокруг фонаря под сумасшедший припев: «О Джеггерс, Джеггерс, Джеггерс! Нужнейший человеггерс!» Эти свидетельства популярности моего опекуна произвели на меня глубокое впечатление, и он стал казаться мне еще более интересной и таинственной личностью.

Наконец, заглянув через прутья ворот на Литл-Бритен, я увидел мистера Джеггерса,— он переходил улицу, направляясь ко мне. В ту же минуту его увидели все остальные и бросились ему навстречу. Мистер Джеггерс молча положил руку мне на плечо и, увлекая меня за собой, стал тут же на ходу беседовать со своими просителями.

Сперва он занялся двумя заговорщиками.

— Ну-с, с вами мне говорить не о чем,— заявил мистер Джеггерс, тыча в них пальцем.— С меня достаточно того, что я знаю. Что же касается исхода дела, то я ни за что не ручаюсь. Я вас об этом предупреждал с самого начала. Вы Уэммику заплатили?

— Мы собрали деньги сегодня утром, сэр,— смиренно сказал один из мужчин, в то время как другой старался прочесть что-нибудь на лице мистера Джеггерса.

— Я вас не спрашиваю, ни когда вы их собрали, ни где, ни вообще собрали ли вы их. Уэммик их получил?

— Да, сэр,— сказали они в один голос.

— Ну и отлично; и можете идти. Не желаю слушать,—

закричал мистер Джеггерс, отмахиваясь от них рукой.— Ни слова больше, не то я откажусь вести ваше дело.

— Мы думали, мистер Джеггерс...— начал один из мужчин, снимая шляпу.

— Вот этого именно я вам и не велел,— сказал мистер Джеггерс.— *Вы* думали! Я сам за вас думаю; больше вам ничего не нужно. Если вы мне понадобитесь, я знаю, где вас найти; а вам за мной бегать нечего. Не желаю слушать. Ни слова больше!

Мистер Джеггерс снова замахал на них рукой, и они, переглянувшись, покорно умолкли и отстали от него.

— Ну, а вы? — сказал мистер Джеггерс, внезапно останавливаясь и обращаясь к двум женщинам в платках, отделившимся от своих спутников, которые ждали поодаль.— Ах, это Эмилия, так ведь?

— Да, мистер Джеггерс.

— А помните ли вы,— продолжал мистер Джеггерс,— что, если бы не я, вас бы сейчас здесь не было и быть не могло?

— Ну еще бы, сэр! — воскликнули в один голос обе женщины.— Да благословит вас бог, сэр! Как не помнить!

— Так зачем же вы сюда ходите? — спросил мистер Джеггерс.

— А мой Билл, сэр! — взмолилась плачущая женщина.

— Вот что,— сказал мистер Джеггерс.— Запомните раз и навсегда: если вы не знаете, что ваш Билл в надежных руках, так я это знаю. А если вы будете докучать мне с вашим Биллом, так и вам и Биллу не поздоровится: брошу с ним возиться, вот и все. Вы Уэммику заплатили?

— Да, сэр! До последнего фартинга.

— Ну и отлично. Значит, вы сделали все, что от вас требовалось. Но скажите еще хоть слово — хоть одно-единственное слово,— и Уэммик вернет вам ваши деньги.

Страшная угроза подействовала — женщины тотчас отошли. Теперь около нас оставался только нервический еврей, который уже несколько раз успел схватить мистера Джеггерса за полы сюртука и поднести их к губам.

— Я не знаю этого человека,— произнес мистер Джеггерс убийственным тоном.— Что ему нужно?

— Дорогой мистер Джеггерс! Вы не знаете родного брата Абраама Лазаруса?

— Кто он такой? — сказал мистер Джеггерс.— Оставьте в покое мой сюртук.

Проситель еще раз поцеловал край одежды мистера Джеггерса и лишь после этого выпустил ее из рук и ответил:

— Абраам Лазарус. По подозрению в краже серебра.

— Вы опоздали,— сказал мистер Джеггерс.— Я представляю другую сторону.

— Ой, боже мой, мистер Джеггерс! — бледнея, вскричал мой нервический знакомец.— Это же значит, что вы против Абраама Лазаруса?

— Совершенно верно,— сказал мистер Джеггерс.— И больше нам говорить не о чем. Дайте пройти.

— Мистер Джеггерс! Минуточку! Вот сейчас, только сейчас мой родственник пошел к мистеру Уэммику, чтобы предложить ему любые условия. Мистер Джеггерс! Полминуточки! Если бы вы изволили согласиться, чтобы мы вас перекупили у другой стороны... за любую цену!.. Никаких денег не пожалеем!.. Мистер Джеггерс!.. Мистер...

Мой опекун с полным равнодушием прошел мимо незадачливого челобитчика и оставил его плясать на тротуаре, как на горящих угольях. После этого мы без дальнейших помех дошли до конторы, где застали клерка и одноглазого субъекта в меховой шапке.

— Пришел Майк,— сказал клерк, слезая со своего табурета и с доверительным видом подходя к мистеру Джеггерсу.

— Вот как? — сказал мистер Джеггерс, поворачиваясь к Майку, который стоял и дергал себя за вихор на лбу, как бык в песенке про реполова — за веревку колокола.— До вашего приятеля очередь дойдет сегодня, часов в пять. Ну?

— Да что ж, мистер Джеггерс,— отвечал Майк голосом человека, страдающего хроническим насморком,— с ног сбился, но одного все-таки разыскал, как будто подходящий.

— Что он может показать под присягой?

— Да как бы это выразиться, мистер Джеггерс,— отвечал Майк, утирая нос теперь уже меховой шапкой,— вообще-то говоря, что угодно.

Мистер Джеггерс вдруг рассвирепел.

— Я же вас предупреждал,— сказал он, тыча пальцем в перепуганного клиента,— что, если вы когда-нибудь

позволите себе здесь такие речи, вам не поздоровится. Негодяй вы этакий, да как вы смели сказать это *мне?*

Клиент совсем оробел и растерялся; казалось, ему было невдомек, чем он вызвал такой гнев.

— Болван! — тихо сказал клерк, толкая его локтем в бок.— Бестолочь! Кто же говорит вслух такие вещи!

— Слушайте вы, тупица несчастный,— загремел мой опекун.— Я вас опять спрашиваю, и притом в последний раз: что может показать под присягой человек, которого вы сюда привели?

Майк внимательно посмотрел на моего опекуна, словно стараясь прочесть на его лице подсказку, и медленно ответил:

— Либо то, что за ним отродясь ничего такого не водилось, либо, что он всю ту ночь ни на шаг от него не отходил.

— Так. Ну, теперь думайте, что говорите. Какого звания этот человек?

Майк посмотрел на свою шапку, потом на пол, потом на потолок, потом на клерка, потом на меня и только после этого начал было, заикаясь:

— Мы его нарядили...— но мой опекун грозно прервал его:

— Что? Вы опять свое?

(— Болван! — добавил клерк, снова толкая его локтем.)

Майк беспомощно умолк, но через некоторое время лицо его прояснилось, и он начал по-другому:

— Одет он прилично, как пирожник. Вроде даже кондитера.

— Он здесь? — спросил мой опекун.

— Я его тут поблизости оставил,— сказал Майк.— Сидит на крылечке, дожидается.

— Пройдите с ним мимо этого окна, я посмотрю.

Мы втроем подошли к окну конторы, забранному проволочной сеткой, и вскоре мимо нас с независимым видом проследовал Майк, а с ним — зверского вида верзила в белой полотняной куртке и бумажном колпаке. Безобидный этот кондитер был сильно навеселе, а под глазом у него темнел замазанный краской синяк, уже позеленевший от времени.

— Пусть сейчас же уберет прочь этого свидетеля,— с брезгливой гримасой сказал мой опекун, обращаясь к клерку.— Да спросите его, о чем он думал, что притащил сюда такую личность.

Затем мой опекун пригласил меня к себе в кабинет и, не садясь, принялся завтракать сандвичами, которые он запивал хересом из фляжки (он, кажется, и на сандвич умудрялся нагнать страху, прежде чем съесть его), попутно сообщая мне о том, какие шаги им предприняты в отношении меня. Сейчас я отправлюсь в Подворье Барнарда, к младшему мистеру Покету, куда уже послана для меня кровать; я пробуду у младшего мистера Покета до понедельника; в понедельник мы с ним съездим к его отцу и посмотрим, как мне там понравится. Узнал я еще, сколько денег мне разрешается тратить ежемесячно (оказалось, довольно много), а также получил припрятанные в столе моего опекуна карточки с адресами портных и других торговцев, чьи услуги могли мне понадобиться.

— Вы увидите, мистер Пип, что кредит вам будет оказан самый широкий,— сказал мой опекун, торопливо глотая херес из фляжки, от которой пахло, как от целой бочки с вином,— а я таким образом буду следить за вашими расходами и одергивать вас, если окажется, что вы рискуете наделать долгов. Не сомневаюсь, что вы все равно свихнетесь, но это уж будет не моя вина.

Поразмыслив немного над этим утешительным предсказанием, я попросил у мистера Джеггерса разрешения послать за каретой. Он сказал, что не стоит,— идти совсем недалеко. Если угодно, Уэммик меня проводит.

Выяснилось, что Уэммик и есть тот клерк, которого я видел в конторе. Сверху вызвали другого клерка, чтобы временно заменить его, и я вышел следом за ним на улицу, предварительно распростившись с моим опекуном. У дверей уже опять толпились просители, но Уэммик заставил их расступиться, сказав хоть и не громко, но решительно:

— Не ждите, все равно без толку; он сегодня ни с кем больше не будет разговаривать.

И очень скоро мы отделались от них и спокойно пошли рядом.

ГЛАВА XXI

Искоса поглядывая на мистера Уэммика, чтобы получше рассмотреть его при ярком свете дня, я увидел, что он худощав и невысок ростом, а черты его квадратного деревянного лица точно выдолблены тупым долотом. Кое-где на этом лице выделялись метины, которые, будь материал помягче, а инструмент поострее, могли бы сойти за ямочки, а так остались просто щербинками. В частности, их имелось две или три у него на носу, но долото, задумавшее было так его приукрасить, бросило эту затею на полдороге и даже не потрудилось сгладить следы своей работы. Судя по обтрепанному воротничку и манжетам мистера Уэммика, я решил, что он холост; он, видимо, понес в жизни немало утрат,— у него было по меньшей мере четыре траурных перстня, да еще брошь с изображением девицы и плакучей ивы, склоненных над погребальной урной. Я заметил также, что на его цепочке от часов болталось несколько колец и печаток, словом,— весь он был обвешан напоминаниями об отошедших в вечность друзьях. У него были маленькие черные глазки, блестящие и зоркие, и большой рот с тонкими губами. Насколько я мог понять, все это досталось ему в собственность тому назад лет сорок, а то и пятьдесят.

— Так вы здесь впервые? — спросил меня мистер Уэммик.

— Да.

— Когда-то и я был здесь новичком,— сказал мистер Уэммик.— Сейчас даже смешно кажется.

— А теперь вы хорошо знаете Лондон?

— Да, неплохо,— сказал мистер Уэммик.— Все ходы и выходы знаю.

— Вероятно, это очень страшный город? — спросил я больше для того, чтобы поддержать разговор.

— В Лондоне вас могут надуть, обобрать и убить. Впрочем, на такие дела охотники повсюду найдутся.

— Если это люди, которые питают к вам злобу,— добавил я, чтобы немного смягчить его слова.

— Ну, это не всегда по злобе делается,— возразил мистер Уэммик.— Злобы в людях не так уж много. Вот если

на этом можно что-нибудь выгадать, тогда пойдут на что угодно.

— Это еще хуже.

— Вы так полагаете? — сказал мистер Уэммик.— А по-моему, одно другого стоит.

Шляпу он сдвинул на затылок и шагал, глядя прямо перед собой, с таким независимым видом, словно вокруг не было ничего достойного его внимания. Рот его напоминал щель почтового ящика, и казалось, что он все время улыбается. Мы уже поднялись на Холборн-Хилл, когда я наконец разобрал, что это оптический обман и что на лице его нет и тени улыбки.

— Вы знаете, где живет мистер Мэтью Покет? — спросил я мистера Уэммика.

— Да,— сказал он, мотнув головой куда-то влево.— В Хэммерсмите, к западу от Лондона.

— Это далеко отсюда?

— Миль пять будет.

— Вы его знаете?

— Э, да вы по всем правилам допрос ведете! — сказал мистер Уэммик, одобрительно поглядывая на меня.— Да, я его знаю. Я-то его знаю!

Произнес он эти слова не то снисходительно, не то с пренебрежением, что сильно меня обескуражило; я все поглядывал искоса на его деревянное лицо, надеясь прочесть на нем какое-нибудь успокоительное пояснение к этому тексту, но вместо того он вдруг сказал, что вот мы и дошли до Подворья Барнарда. Сообщение это нисколько меня не утешило, ибо в мечтах мне рисовалась большая гостиница, которую содержит мистер Барнард и перед которой наш «Синий Кабан» не более как заезжий двор. Оказалось же, что Барнард — это бесплотный дух, фикция, а его подворье — куча донельзя грязных, облупленных домов, втиснутых в зловонный закоулок, который облюбовали для своих сборищ окрестные кошки.

Мы проникли в это поэтическое убежище через калитку, и узкий полутемный проход вывел нас на скучный квадратный дворик, очень похожий на кладбище без могил. Мне подумалось, что никогда еще я не видел таких унылых воробьев, таких унылых кошек, таких унылых деревьев и таких унылых домов (числом семь или восемь). Окна квар-

тир, на которые были разделены эти дома, являли все возможные разновидности драных занавесок, щербатых цветочных горшков, треснувших стекол, пыльной ветоши и прочего хлама; а пустые комнаты возвещали о себе множеством билетиков — «Сдается» — «Сдается» — «Сдается»,— словно новые жертвы зареклись сюда въезжать и душа неприкаянного Барнарда постепенно обретала покой, по мере того как нынешние постояльцы один за другим кончали жизнь самоубийством и их без молитв и церковного пения зарывали под булыжником двора. Обрядившись в траурные лохмотья из дыма и копоти, это злосчастное детище Барнарда посыпало главу свою пеплом и, сведенное на положение помойки, безропотно несло покаяние и позор. Так я воспринял его глазами, в то время как запахи гнили, прели, плесени, всего, что безмолвно гниет в недрах заброшенных чердаков и подвалов, да в придачу запахи крыс, мышей, клопов и расположенных поблизости конюшен щекотали мне нос и жалобно взывали: «Нюхайте смесь Барнарда!» *

Столь безжалостно обманутой оказалась первая из моих больших надежд, что я в тревоге оглянулся на мистера Уэммика.

— Да, да,— сказал он, по-своему истолковав мой взгляд.— Здесь так уединенно, вам, наверно, вспомнилась провинция. Мне тоже.

Он провел меня в угол двора, и по лестнице,— которая медленно, но верно обращалась в труху, так что в один из ближайших дней верхним жильцам предстояло, выглянув за дверь, обнаружить, что сойти вниз у них нет никакой возможности,— мы поднялись на самый последний этаж. Здесь на двери значилось: *«М-р Покет-младший»*, а к ящику для писем была пришпилена записка: «Скоро вернусь».

— Он, вероятно, не ждал вас так рано,— пояснил мистер Уэммик.— Теперь я вам больше не нужен?

— Нет, благодарю вас.

— Поскольку кассой ведаю я,— заметил мистер Уэммик,— мы, вероятно, будем с вами частенько видеться. Мое почтенье.

— Мое почтенье.

Я протянул руку, и мистер Уэммик сперва посмотрел

на нее так, словно думал, что я чего-то прошу. Но, взглянув на меня, он, видимо, понял свою ошибку.

— Ну, разумеется! Да. Вы привыкли прощаться за руку?

Я смутился, решив, что в Лондоне это вышло из моды, но ответил утвердительно.

— А я что-то отвык от этого,— сказал мистер Уэммик.— Разве что когда расстаешься навсегда. Ну-с, очень рад был с вами познакомиться. Мое почтенье.

Когда мы обменялись рукопожатием и он ушел, я открыл лестничное окно и чуть себя не обезглавил, потому что веревки перетерлись и рама упала со стуком, как нож гильотины. По счастью, я еще не успел высунуть голову наружу. После этого чудесного избавления я удовольствовался тем, что стал любоваться видом Подворья в тумане, каким оно представлялось сквозь толстый слой грязи, накопившейся на стекле, и размышлять о том, что Лондон сильно перехвалили.

Мистер Покет-младший, видимо, расходился со мной в понимании слова «скоро», потому что я с полчаса смотрел в окно, по нескольку раз вывел пальцем свое имя на каждом из четырех грязных стекол и уже окончательно извелся, ожидая его, когда на лестнице послышались наконец шаги. Постепенно в поле моего зрения возникла шляпа, голова, шейный платок, жилет, брюки и башмаки молодого гражданина примерно одного со мной общественного положения. Он держал в объятиях два больших бумажных пакета, да еще в руке — корзинку с клубникой, и совсем запыхался.

— Мистер Пип? — сказал он.

— Мистер Покет? — сказал я.

— Ах, боже мой! — воскликнул он.— Мне ужасно совестно, но я помнил, что какой-то дилижанс отходит из вашего города около полудня, и думал, вы с ним и прибудете. Ведь я и отлучился-то ради вас — хотя это, конечно, не оправдание; я решил, что вам, как деревенскому жителю, захочется после обеда поесть ягод, и сбегал на Ковент-Гарденский рынок,— там можно достать хороших.

Я чувствовал, что голова у меня идет кругом,— и было с чего. Я бессвязно поблагодарил за внимание и тут же решил, что все это мне снится.

— Вот несчастье! — сказал мистер Покет-младший.— Дверь заело.

Крепко прижав к себе локтями пакеты, он вступил в единоборство с дверью, и так как ягоды на моих глазах превращались в кисель, я предложил подержать их. Он с милой улыбкой протянул мне пакеты и схватился с дверью, словно это был дикий зверь. Она подалась так неожиданно, что он отлетел на меня, а я отлетел к двери напротив, и мы оба рассмеялись. Но я по-прежнему чувствовал, что голова у меня идет кругом и что все это мне снится.

— Пожалуйста, входите,— сказал мистер Покет-младший.— Вот сюда. Помещение у меня не роскошное, но я надеюсь, что до понедельника вы здесь как-нибудь просуществуете. Мой отец рассудил, что завтрашний день вам приятнее будет провести со мной, чем с ним, и что вам, вероятно, захочется походить по городу. Я с большим удовольствием покажу вам Лондон. Что касается стола, то вы, надеюсь, останетесь довольны, еду нам будут присылать из ближайшего трактира, причем считаю долгом добавить — за ваш счет; так распорядился мистер Джеггерс. Квартира у нас, как видите, более чем скромная, ведь я сам зарабатываю себе на жизнь, отец не в состоянии мне помогать, да я и не хочу сидеть у него на шее. Вот это наша столовая; столы, стулья, ковер и прочее мне дали из дома. За скатерти, ложки, судки я не отвечаю, это принесли из трактира по случаю вашего приезда. Здесь моя спаленка: сыровато немножко, но у Барнарда вообще сыровато. Здесь ваша комната; мебель взята напрокат, но я думаю, что она вам подойдет. Если вам еще что-нибудь потребуется, вы скажите, я мигом достану. Квартирка тихая, мы с вами будем одни и, надо полагать, не подеремся. Но, боже мой, я совсем забыл, вы все еще держите мои покупки. Давайте их сюда, и простите, ради бога. Мне, право же, очень совестно.

Стоя перед мистером Покетом-младшим и передавая ему сначала один пакет, потом другой, я увидел, как в глазах его забрезжило то же изумление, с каким я смотрел на него, и он сказал, медленно пятясь от меня к стене:

— Господи! Да вы тот мальчик, который забрался в сад!

— А вы,—сказал я,—тот бледный молодой джентльмен.

ГЛАВА XXII

Бледный молодой джентльмен и я долго стояли в Подворье Барнарда, оглядывая друг друга, а потом оба разом расхохотались.

— Подумать только, что это были вы! — сказал он.

— Подумать только, что это были *вы!* — сказал я.

И тут мы снова оглядели друг друга и снова расхохотались.

— Ну, это дело прошлое,— сказал бледный молодой джентльмен, сердечно протягивая мне руку.— Надеюсь, вы великодушно простите меня за то, что я вас так оттузил.

Из этих слов я понял, что мистер Герберт Покет (бледного молодого джентльмена звали Герберт) так и не заметил разницы между своим намерением и осуществлением оного. Но я не стал его разубеждать, и мы горячо пожали друг другу руки.

— В то время ваша судьба еще не была устроена? — спросил Герберт Покет.

— Нет.

— Нет,— повторил он.— Я слышал, это случилось совсем недавно. В те времена скорее могла устроиться моя судьба.

— В самом деле?

— Да. Мисс Хэвишем тогда вызвала меня к себе, посмотреть, не приглянусь ли я ей. Но нет, не приглянулся.

Я счел своим долгом заметить, что это меня удивляет.

— Недостаток вкуса! — засмеялся Герберт.— Но тем не менее факт. Да, она вызвала меня к себе погостить, на испытание. Если бы я выдержал его успешно, мое будущее, вероятно, было бы обеспечено. Возможно, меня бы даже... как это называется... с Эстеллой.

— Что такое? — спросил я, сразу насторожившись.

Разговаривая, он выкладывал ягоды на тарелки, и это отвлекало его, вот почему он забыл нужное слово.

— Обручили,— пояснил он, вытряхивая из пакетов остатки.— Помолвили. Сговорили. Ну, словом, что-то в этом роде.

— Как же вы перенесли такое разочарование? — спросил я.

— Фью! Невелика потеря. Это же сущий тиран.

— Кто, мисс Хэмишем?

— Пожалуй, и она тоже. Но я-то имел в виду Эстеллу. Злая девчонка, надменная, капризная, мисс Хэвишем так и воспитала ее, чтобы отомстить всей мужской половине рода человеческого.

— Кем она приходится мисс Хэвишем?

— Никем. Приемыш.

— А почему она должна отомстить всей мужской половине рода человеческого? За что отомстить?

— Бог с вами, мистер Пип! Неужто вы не знаете?

— Нет,— сказал я.

— Вот не ожидал! Ну, это длинная история, мы ее отложим до обеда. Пока же разрешите мне задать вам один вопрос. А вы как туда попали в тот день?

Я рассказал, и он внимательно выслушал меня, а потом опять залился смехом и спросил, долго ли я помнил его кулаки. Я не стал задавать ему такого же вопроса, потому что у меня уже давно сложилось на этот счет определенное мнение.

— Значит, теперь мистер Джеггерс ваш опекун? — спросил он.

— Да.

— Вы знаете, ведь он — поверенный мисс Хэвишем и посвящен в ее дела больше, чем кто-либо другой.

Это была опасная тема. Я ответил подчеркнуто-сдержанно, что видел мистера Джеггерса в доме мисс Хэвишем всего один раз, по странной случайности — в самый день нашего поединка, но что он едва ли это помнит.

— Он был так любезен, что предложил вам учиться у моего отца, и сам приезжал к отцу поговорить об этом. Про отца он, конечно, мог слышать от мисс Хэвишем. Они довольно близкая родня; правда, родственных отношений они не поддерживают,— отец у меня не умеет лукавить и не желает к ней подлизываться.

Герберт Покет держал себя с подкупающей искренностью. Ни до, ни после него я не встречал человека, каждый взгляд, каждое слово которого так красноречиво свидетельствовали бы о том, что он по природе своей не способен на обман или подлость. Вид у него был самый неунывающий и вместе с тем вселявший уверенность, что он никогда не

достигнет выдающегося успеха и богатства. Не знаю, как это получалось. Такое впечатление сложилось у меня в первый же день, еще до того как мы сели обедать, но объяснить его я не умею.

Это и сейчас был очень бледный молодой джентльмен, и за живостью его манер угадывалась физическая слабость,— как видно, он не отличался крепким здоровьем. Лицо у него было некрасивое, но на редкость открытое и приветливое, что лучше всякой красоты. Фигура, немного нескладная, как и в те дни, когда мои кулаки столь безжалостно с ней расправлялись, обещала всегда остаться легкой и молодой. Возможно, что провинциальное изделие мистера Трэбба и на нем сидело бы не особенно ловко, но верно одно: свой старенький костюм он умел носить куда лучше, чем я — свое новое платье.

Я подумал, что, раз он такой общительный, таиться от него было бы нечестно, тем более что оба мы так молоды. Поэтому я рассказал ему свою историю, особенно подчеркнув, что не должен разузнавать о моем благодетеле. И добавил, что, поскольку я вырос в деревенской кузнице и совсем не обучен манерам, мне были бы чрезвычайно ценны его указания во всех случаях, когда я не буду знать, что делать, или сделаю что-нибудь не так.

— С удовольствием,— сказал он,— хотя указаний вам потребуется очень мало, вот увидите. Вероятно, мы будем проводить вместе много времени, и мне бы хотелось сразу отбросить с вами все лишние церемонии. Вот, например, для начала, я вас очень прошу — называйте меня просто по имени, Герберт.

Я с благодарностью согласился и со своей стороны сообщил, что меня зовут Филип.

— Нет, Филип мне не нравится,— сказал он, улыбаясь.— Очень уж напоминает того мальчика из нравоучительной книжки, который был так ленив, что свалился в пруд, или так прожорлив, что даже глаза у него заплыли жиром, или так скуп, что хранил свой пирог, пока его не съели мыши, или так злостно разорял птичьи гнезда, что был съеден медведями, которые на счастье жили тут поблизости. А я вот что придумал. Мы прекрасно гармонируем друг с другом, а вы к тому же были кузнецом... ну как, согласны?

— Я согласен на все, что вы предложите,— отвечал я,— но мне что-то непонятно.

— Можно, я буду называть вас Гендель? У Генделя есть прелестная музыкальная пьеса, которая называется «Гармонический кузнец».

— Я буду очень рад.

— В таком случае, мой милый Гендель,— сказал он, оборачиваясь на скрип отворяющейся двери,— можно садиться за стол, и, пожалуйста, будь хозяином, потому что обедом угощаешь ты.

Но об этом я и слышать не хотел, и тогда он уселся на хозяйское место, а я — напротив. Обед был превосходный,— по моим тогдашним понятиям, самому лорд-мэру впору было задать такой пир,— и особую прелесть сообщало ему то, что кутили мы одни, без старших, и в самом сердце Лондона. Выигрывал наш банкет и от полного отсутствия чинности и порядка; ибо если при взгляде на убранство стола мистер Памблчук и сказал бы, что мы «купаемся в роскоши»,— здесь все до последней солонки было доставлено из трактира,— то прилегающая к столу местность носила несколько пустынный и бесплодный характер, так что трактирному слуге пришлось сложить крышки на пол (с тем, чтобы тотчас о них споткнуться), растопленное масло пристроить в кресле, хлеб — на книжной полке, сыр — в совке для угля, а вареную курицу — в соседней комнате, на моей постели, где я, ложась вечером спать, обнаружил изрядное количество петрушки и застывшего жира. Да, пир наш удался на славу, и с той минуты, когда я перестал чувствовать на себе взгляды слуги, ничто уже не омрачало моей радости.

Когда с первыми блюдами было покончено, я напомнил Герберту его обещание рассказать мне про мисс Хэвишем.

— И верно,— ответил он.— Сейчас расскажу. В виде вступления, Гендель, я только упомяну, что в Лондоне не принято есть с ножа — недолго и порезаться; в рот предпочтительно совать вилку, но и то не глубже, чем диктуется необходимостью. Это, конечно, мелочь, глупый предрассудок, но что поделаешь! Опять же ложку лучше захватывать пальцами не сверху, а снизу. Это имеет два преимущества: во-первых, легче попасть в рот (а ведь к

этому мы и стремимся), во-вторых, правый локоть не выдается вперед, как будто ты открываешь устрицы.

Эти дружеские советы были преподаны так живо и весело, что оба мы рассмеялись, и я даже не покраснел.

— А теперь перейдем к мисс Хэвишем,— продолжал Герберт.— Надо тебе сказать, что мисс Хэвишем с детства была избалована. Мать ее умерла, когда она была совсем маленькая, и отец ни в чем ей не отказывал. У ее отца были в ваших краях земли и пивоварня. Я лично не усматриваю в профессии пивовара ничего особенно благородного; но всякий знает, что печь хлеб — занятие недостойное благородного человека, а варить пиво — пожалуйста, сколько угодно.

— Но содержать кабак джентльмен не может, ведь правда? — сказал я.

— Ни под каким видом,— ответил Герберт.— Зато кабак вполне может содержать джентльмена. Так вот. Мистер Хэвишем был очень богат и очень горд. И дочка его тоже.

— Мисс Хэвишем была единственным ребенком? — перебил я.

— Не спеши, я к этому и веду. Нет, она была не единственным ребенком; у нее был сводный брат. Ее отец тайно женился во второй раз — кажется, на своей кухарке.

— Ведь ты говоришь, что он был гордый,— сказал я.

— Совершенно верно, мой милый Гендель. Потому он и женился на ней тайно. Со временем она тоже умерла. Насколько я понимаю, он только после ее смерти рассказал дочери о своем втором браке и взял сына к себе в дом, в тот самый дом, который ты так хорошо знаешь. Из сына получился мот, кутила, наглец, в общем — никуда не годный человек. В конце концов отец лишил его наследства. Но перед смертью смягчился и кое-что ему завещал, хотя гораздо меньше, чем дочери... Выпей еще вина, и, кстати, позволь тебе заметить, что добросовестность твоя чрезмерна: в обществе, как правило, верят, что твоя рюмка пуста, даже если ты не опрокидываешь ее себе на нос.

Я сделал это машинально, заслушавшись его рассказа, и теперь поблагодарил и извинился. Он сказал: — Ничего, пожалуйста,— и продолжал:

— Мисс Хэвишем оказалась богатой невестой, и, само собой, многие стали добиваться ее руки. Дела ее братца

тоже поправились, но у него были долги, и он снова натворил глупостей, так что денег хватило ненадолго. Он ссорился с сестрой больше, чем прежде ссорился с отцом; подозревают, что он затаил на нее смертельную злобу, считая, что она в свое время настраивала отца против него. А теперь я подхожу к самой печальной части моего повествования, только сначала, дорогой мой Гендель, хочу заметить мимоходом, что обыкновенная столовая салфетка в стакане не умещается.

Почему я старался запихнуть мою салфетку в стакан — право, не знаю. Но я действительно прилагал все усилия к тому, чтобы втиснуть ее в эти узкие пределы. Я опять поблагодарил и извинился, и Герберт опять сказал самым добродушным тоном: — Ничего, ничего, пожалуйста! — и продолжал:

— Тут на сцене появился один человек,— они встретились не то на скачках, не то на каком-то балу, не знаю,— который стал ухаживать за мисс Хэвишем. Я его никогда не видел (это все случилось двадцать пять лет назад, когда нас с тобой еще на свете не было), но отец говорит, что он был очень видный, красавец мужчина, все как полагается. Только вот джентльменом его бы никто не назвал, разве что по наивности или из пристрастия,— это отец всегда подчеркивает; потому что он считает так: если человек не джентльмен по своим душевным качествам, то это сказывается и во внешности и в манерах. Отец говорит, что волокно дерева никакой лакировкой не скроешь; чем больше накладываешь лаку, тем яснее проступает волокно. Ну, так вот. Этот человек неотступно преследовал мисс Хэвишем и уверял, что предан ей до гроба. До тех пор ее чувства как будто молчали, но тут они пробудились, и она полюбила страстно. Да, да, она просто боготворила его. А он, пользуясь ее любовью, выманивал у нее большие суммы денег и, кроме того, уговорил ее откупить за огромную цену у брата его долю в пивоварне (которую отец по слабости характера завещал ему) под тем предлогом, что, когда он станет ее мужем, ему нужно будет держать в руках все дело. Твой опекун в то время еще не был поверенным мисс Хэвишем, к тому же она была так надменна и так влюблена, что не послушалась бы ничьих советов. Родственники ее были сплошь бедные и притом ужасные ин-

триганы, все, кроме моего отца; он тоже был беден, но никогда не подлизывался и не завидовал. Только у него и хватило мужества предостеречь ее, сказать, что она слишком потворствует этому человеку, дает ему слишком большую власть над собой. Тогда она, разгневавшись, в присутствии своего жениха отказала отцу от дома, и с тех пор он ее ни разу не видел.

Я вспомнил, как она говорила: «Мэтью придет ко мне тогда, когда я буду лежать мертвая на этом столе», и спросил Герберта, неужели его отец так озлоблен против нее.

— Он не озлоблен,— сказал Герберт,— но она в присутствии своего нареченного бросила ему обвинение, будто он рассчитывал на что-то для себя и недоволен, что его планы расстроились, так что если бы он явился к ней теперь, то даже ему самому — и даже ей — могло бы показаться, что так оно и было. Но вернемся к тому человеку, чтобы покончить с ним. Был назначен день свадьбы, сшито подвенечное платье, обдумано свадебное путешествие, приглашены гости. Долгожданный день настал, но жених не явился. Он прислал ей письмо...

— ...которое она получила, когда одевалась к венцу? — перебил я.— Без двадцати девять?

Герберт кивнул:

— И на этом самом времени, минута в минуту, она потом остановила все часы в доме. О письме я знаю только одно,— в нем содержалось жестокое извещение, что никакой свадьбы не будет. Мисс Хэвишем тяжело заболела, а когда поправилась, привела дом в такой вид, в каком он тебе известен, и навсегда скрылась от дневного света.

— Это все? — спросил я после некоторого молчания.

— Все, что я знаю; да и это я сам составил из разных обрывков. Отец не любит об этом вспоминать, он, даже когда мисс Хэвишем пригласила меня к себе, рассказал мне только самое необходимое. Но об одном я забыл упомянуть: есть предположение, что этот человек, которому она так опрометчиво доверилась, с самого начала был в сговоре с ее сводным братом, что они действовали заодно и делили между собой барыши.

— Странно, что он не женился на ней,— сказал я,— тогда он получил бы все ее состояние.

— Как знать, может, он уже был женат, а брат ее,

может, нарочно придумал для нее такое жестокое оскорбление,— сказал Герберт.— Но это, конечно, только мои догадки.

— А что сталось с теми двумя? — спросил я, опять помолчав и подумав.

— Они докатились до еще горшего позора и преступлений — если только это возможно — и пошли ко дну.

— Но они живы?

— Не знаю.

— Ты сказал, что Эстелла не родня мисс Хэвишем, а приемыш. С каких пор?

Герберт пожал плечами.

— Сколько я помню, при мисс Хэвишем всегда была Эстелла. А больше я ничего не знаю. И теперь, Гендель,— сказал он, словно ставя точку,— между нами не осталось никаких недомолвок. Ты знаешь о мисс Хэвишем все, что я знаю.

— А ты знаешь все, что знаю я.

— Верю. И это избавит нас от всякого соперничества и недоразумений. А относительно того условия, которое тебе было поставлено — чтобы не расспрашивать и не обсуждать, кому ты обязан своей удачей,— то можешь быть спокоен, ни я, ни мои близкие не коснемся этого ни единым намеком.

Столько деликатности было вложено в эти слова, что я понял: доведись мне прожить под крышей его отца хоть двадцать лет, я ничего больше на этот счет не услышу. Но вместе с тем они прозвучали так многозначительно, что я понял и другое: Герберт, так же, как и я, не сомневается, что своим счастьем я обязан мисс Хэвишем.

До сих пор мне и в голову не приходило, что он нарочно подвел разговор к этому предмету, чтобы раз и навсегда с ним покончить; я сообразил это лишь после того, как почувствовал, насколько нам обоим стало легче. Мы весело болтали и смеялись, и я спросил его, между прочим, чем он занимается. Он ответил: — О, я капиталист. Страховщик кораблей.— По-видимому, заметив, что я окинул взглядом комнату в поисках каких-либо признаков кораблей или капитала, он добавил: — В Сити.

Страховщики кораблей, да еще в Сити, представлялись мне людьми богатыми и влиятельными, и я не без трепета

вспомнил, что в свое время поверг юного страховщика наземь, подбил его дальновидный глаз и рассек предприимчивый лоб. Но меня успокоило все то же необъяснимое ощущение, что Герберт Покет никогда не достигнет выдающегося успеха и богатства.

— Мой капитал пойдет не только на страховку кораблей, этого мне мало. Я приобрету акции какого-нибудь надежного общества страхования жизни и пройду в правление. Кое-что я вложу в горнорудное дело. И все это не помешает мне зафрахтовать несколько тысяч тонн от себя. Я думаю,— сказал он, развалившись на стуле,— что скорей всего буду торговать с Ост-Индией. Шелк, шали, пряности, индиго, опиум, розовое дерево — интересные товары.

— А прибыли большие? — спросил я.

— Громадные!

Меня опять взяли сомнения, и я уже решил было, что здесь надежды — не чета моим.

— Кроме того,— сказал он, засунув большие пальцы в карманы жилета,— я думаю торговать и с Вест-Индией — покупать там сахар, табак и ром. И еще с Цейлоном, там слоновая кость.

— Тебе понадобится много кораблей,— заметил я.

— Целый флот,— подтвердил он.

Подавленный грандиозным размахом этих торговых операций, я спросил, в какие страны по преимуществу ходят корабли, которые он сейчас страхует?

— Я еще не начал их страховать,— отвечал он.— Я пока присматриваюсь.

Почему-то мне показалось, что такое занятие больше под стать Подворью Барнарда, и я с удовлетворением произнес:

— А-а!

— Да. Я работаю в конторе и присматриваюсь.

— А контора, это выгодно? — спросил я.

Он ответил вопросом:

— Для кого? Для новичка, который в ней работает?

— Да; для тебя.

— Н-нет, для меня — нет (прежде чем ответить, он, видимо, тщательно взвесил все доводы за и против). Прямой выгоды я не получаю. То есть я хочу сказать, что мне ничего не платят, и я должен жить на свои средства.

Усмотреть здесь выгоду было действительно нелегко, и я покачал головой в знак того, что при таких доходах сколачивать капитал придется довольно долго.

— Но ты не забудь,— сказал Герберт Покет,— я присматриваюсь. Это очень важно. Человек, понимаешь ли, сидит в конторе и присматривается.

Послушать его, так выходило, что если человек, понимаешь ли, не сидит в конторе, то он уже не может присматриваться; однако я положился на его опыт и промолчал.

— А потом, в один прекрасный день,— продолжал Герберт,— тебе вдруг представляется блестящая возможность. Ты за нее хватаешься, наживаешь капитал, и дело в шляпе. Раз капитал нажит, остается только пустить его в оборот.

Это было очень похоже на то, как он вел себя во время нашей давнишней драки, очень похоже. И бедность свою он принимал в точности так же, как принял тогда свое поражение. Очевидно, все пинки и удары в жизни он сносил столь же храбро, как те, которыми наградил его я. Было ясно, что у него нет ничего, кроме самого необходимого,— на что бы я ни обратил внимание, все оказывалось присланным сюда либо из трактира, либо еще откуда-нибудь — в честь моего приезда.

Однако, хотя мысленно Герберт уже нажил большое состояние, он вовсе им не кичился, и я даже почувствовал, что благодарен ему за такую скромность. Она была приятным дополнением к другим его приятным чертам, и мы с ним сразу отлично поладили. Вечером мы прошлись по улицам и побывали за полцены в театре; на следующее утро сходили в Вестминстерское аббатство, а после обеда гуляли в парках, где я, глядя на множество лошадей, спросил себя, кто их всех кует, и пожалел, что не Джо.

По самым скромным подсчетам прошло уже полгода, как я расстался с Бидди и Джо. Такому странному впечатлению содействовало огромное расстояние, которое легло между нами,— болота наши отодвинулись куда-то за тридевять земель. То обстоятельство, что еще в прошлое воскресенье я был в нашей старой церкви и на мне было мое старое воскресное платье, казалось сплошной нелепостью с любой точки зрения — географической, общественной и просто человеческой. А между тем на людных лондонских улицах, ярко освещенных в летние сумерки, мне слыша-

лись грустные упреки в том, что я оставил так далеко позади нашу бедную старую кухню; и глубокой ночью шаги бездельника сторожа, который слонялся по Подворью Барнарда, делая вид, что караулит его, глухо отдавались у меня в сердце.

В понедельник к девяти часам утра Герберт отправился в свою контору показаться,— а заодно, вероятно, и присмотреться,— и я пошел его проводить. Мы сговорились, что я подожду его, и часа через два мы вместе поедем в Хэммерсмит. Судя по тем душным тупичкам, куда направлялись в понедельник утром молодые страховщики, я решил, что яйца, из которых вылупливаются эти будущие исполины, надо зарывать в горячую пыль, как яйца страусов. И самая контора, где сидел Герберт, являла собою весьма несовершенный наблюдательный пункт: она помещалась во дворе, на третьем этаже, была неимоверно грязна, а окнами выходила не столько даже во второй двор, сколько в окна другого такого же помещения на третьем этаже другого дома.

Я ждал до полудня и за это время прогулялся на биржу, где под объявлениями пароходных компаний сидели какие-то небритые люди, которых я принял за крупных купцов, и только подивился, почему у них такой удрученный вид. Когда пришел Герберт, мы позавтракали в знаменитой ресторации, которая в тот день преисполнила меня благоговения, а теперь вспоминается как самое гнусное надувательство во всей Европе, и где, как я уже тогда заметил, подливка не столько подавалась к жаркому, сколько оседала на скатертях, ножах и фартуках половых. Насытившись здесь за вполне сходную цену (если учесть, что за сальные пятна и грязь отдельной платы не взималось), мы зашли в Подворье Барнарда за моим чемоданчиком и поехали в Хэммерсмит, куда и прибыли часа в три пополудни. От остановки дилижансов до дома мистера Покета было рукой подать. Открыв калитку, мы очутились в небольшом саду, выходившем на реку. Здесь резвились дети мистера Покета, и вскоре я пришел к выводу — и, надеюсь, правильному, поскольку отнюдь не являюсь в этом вопросе заинтересованной стороной,— что дети мистера и миссис Покет не то чтобы росли, и нельзя сказать, чтобы воспитывались, а только и делали, что летели кувырком.

Миссис Покет с книгой в руках сидела в садовом кресле под деревом, положив ноги на другое садовое кресло. Две няньки миссис Покет слонялись по саду, изредка поглядывая на играющих детей.

— Вот, мама, познакомьтесь,— сказал Герберт,— это мистер Пип.— После чего миссис Покет приветствовала меня учтиво и с большим достоинством.

— Мистер Алик и мисс Джейн! — закричала одна из нянек.— Бросьте вы лазить в те кусты, не то свалитесь в реку и утопнете, что тогда ваш папенька скажет?

Затем та же нянька подняла с земли носовой платок миссис Покет и сказала:

— Не иначе как шестой раз роняете, мэм!

На что миссис Покет рассмеялась и, сказав: «Спасибо, Флопсон», уселась поудобнее, теперь уже только в одном кресле, и снова погрузилась в чтение. Лицо ее тотчас приняло выражение внимательное и сосредоточенное, будто она целую неделю не отрывалась от книги, но, не прочтя и десяти строк, она вдруг посмотрела на меня и спросила:

— Матушка ваша, надеюсь, здорова?

Этот неожиданный вопрос привел меня в страшное замешательство, и я уже начал плести какую-то чушь вроде того, что, если бы у меня была матушка, она, конечно, была бы совершенно здорова и очень признательна за внимание и просила бы передать привет, но тут на выручку мне пришла все та же нянька.

— Ну вот! — вскричала она, поднимая носовой платок.— Это уже седьмой раз. И что это с вами сегодня, мэм!

Миссис Покет взяла платок, поглядела на него в неизъяснимом изумлении, словно никогда раньше не видела, потом признала и рассмеялась, сказала: «Спасибо, Флопсон», и, забыв обо мне, углубилась в книгу.

Удосужившись наконец пересчитать маленьких Покетов, я обнаружил их не менее шести, и все они либо летели, либо готовились лететь кувырком. Не успел я закончить подсчет, как откуда-то с облаков раздался жалобный плач седьмого.

— Не иначе как маленький проснулся! — сказала Флопсон, почему-то очень этим удивленная.— Скорей бегите наверх, Миллерс!

Миллерс, вторая нянька, ушла в дом, и жалобный плач понемногу затих, — видно, и на юного чревовещателя нашлась управа. Все это время мисс Покет не переставала читать, и меня очень интересовало, что это у нее за книга.

По-видимому, мы ждали мистера Покета; во всяком случае, мы чего-то ждали, и я имел время подметить своеобразное явление в этой семье: всякий раз, как дети, заигравшись, подбегали близко к миссис Покет, они спотыкались и падали, что неизменно вызывало с ее стороны минутное изумление, а с их — несколько более продолжительный рев. Я невольно задумался над причинами такого удивительного обстоятельства, но тут появилась Миллерс с младенцем, каковой младенец передан был Флопсон, каковая Флопсон стала передавать его на руки миссис Покет, но вдруг тоже споткнулась и непременно полетела бы наземь вместе с младенцем, если бы мы с Гербертом не подхватили ее.

— Ах, боже мой, Флопсон! — сказала миссис Покет, поднимая глаза от книги.— Почему это все спотыкаются?

— Это вас нужно спросить, мэм,— отвечала Флопсон, вся красная как рак,— что это у вас здесь?

— У меня, Флопсон? — спросила миссис Покет.

— Да это ваша скамеечка для ног! — вскричала Флопсон.— Как же тут не спотыкаться, когда вы заслонили ее своими юбками! Берите-ка маленького, мэм, а книжку отдайте мне.

Миссис Покет послушалась и стала неумело подбрасывать младенца на коленях, в то время как остальные дети играли вокруг них. Длилось это очень недолго, а затем миссис Покет распорядилась, чтобы всех детей забрали в дом и уложили спать. Так я сделал свое второе открытие за этот день: очевидно, воспитание маленьких Покетов состояло в том, чтобы попеременно лететь кувырком и укладываться в постель.

И когда Флопсон и Миллерс загнали детей в дом, словно маленькое стадо ягнят, а мистер Покет вышел из дома, чтобы познакомиться со мной, я, после всего вышеописанного, не очень поразился, увидев, что выражение лица у этого джентльмена озабоченное, а седые волосы растрепаны, словно он давно потерял надежду хоть что-нибудь привести в порядок.

ГЛАВА XXIII

Мистер Покет сказал, что рад меня видеть, и выразил надежду, что и я не пожалею о нашем знакомстве.— Ведь я вполне безобидная личность,— добавил он, улыбаясь совсем так же, как Герберт. Он был моложав, несмотря на седые волосы и озабоченное выражение лица, и держался очень просто, в том смысле, что в нем не было ни малейшей рисовки. Растерянный его вид производил несколько смешное впечатление и мог бы даже показаться нелепым, если бы он сам не сознавал, каким представляется со стороны. Поговорив со мной немного, он обратился к миссис Покет, беспокойно сдвинув свои красивые черные брови: — Белинда, надеюсь, ты познакомилась с мистером Пипом? — А она подняла глаза от книги и ответила: — Да.— После чего подарила меня отсутствующей улыбкой и спросила, нравится ли мне вкус апельсинной воды. Поскольку вопрос этот не имел отношения, прямого или косвенного, ни к предыдущему, ни к последующему разговору, я решил, что она снисходительно обронила его, как и первые свои замечания, лишь для того, чтобы поддержать светскую беседу.

Уже через несколько часов я узнал,— а рассказать могу теперь же,— что миссис Покет была единственной дочерью некоего покойного джентльмена, случайно пожалованного в дворяне и вбившего себе в голову, что его покойный папаша непременно получил бы титул баронета, если бы не чьи-то злостные происки, не помню, чьи именно,— не то короля, не то премьер-министра, не то лорд-канцлера, не то архиепископа Кентерберийского. На основании этого чисто предположительного факта он причислял себя к самой родовитой знати. Сам же он, насколько я понял, удостоился титула за то, что взял штурмом английскую грамматику при написании на веленевой бумаге верноподданнического адреса по случаю закладки какого-то здания, когда он подал в руки какому-то члену королевской фамилии не то лопаточку, не то ведерко с известью. Как бы там ни было, он распорядился, чтобы будущую миссис Покет с колыбели воспитывали как девицу,

которой сама судьба уготовила титулованного мужа и которую следует зорко оберегать от приобретения плебейских практических знаний.

Надзор, учрежденный разумным этим родителем над юной девицей, принес такие богатые плоды, что она выросла созданием хотя и весьма живописным, но совершенно беспомощным и бесполезным. Воспитанная столь отменно, она, едва переступив порог жизни, встретила мистера Покета, который тоже едва переступил порог жизни и еще не решил окончательно, занять ли ему место председателя палаты лордов, или увенчать свою главу епископской митрой. Поскольку достижение любой из этих целей было лишь вопросом времени, они с миссис Покет решили времени не терять и поженились без ведома разумного родителя. Разумный родитель, который не мог ни дать им ничего, ни лишить их чего-либо, кроме своего благословения, после недолгой борьбы расщедрился на это приданое и сообщил мистеру Покету, что его жена — «сокровище, достойное короля». Мистер Покет пустил королевское сокровище в оборот практической жизни, но получал с него, как говорили, более чем скромный процент. Тем не менее для многих миссис Покет была предметом своеобразного почтительного соболезнования, потому что вышла замуж за человека без титула; а мистер Покет был предметом своеобразного снисходительного осуждения, потому что не сумел оного приобрести.

Мистер Покет повел меня в дом и показал, где я буду жить; комната была веселая и удобная, обставленная так, что могла служить и спальней и гостиной. Затем он постучал в двери двух других таких же комнат и познакомил меня с их обитателями. Одного из них звали Драмл, другого — Стартоп. Когда мы вошли, первый — старообразный молодой человек, сколоченный крепко, но нескладно,— ходил по комнате и свистел. Второй — моложе его и годами и внешностью — читал, крепко сжав голову руками, словно боялся, как бы она не разлетелась на куски от слишком сильного заряда премудрости.

И мистер и миссис Покет были так явно несамостоятельны, что я долго думал, кто же на самом деле правит домом и разрешает им здесь жить, покуда не понял, что эта невидимая власть сосредоточена в руках прислуги.

Такая система была, возможно, и не плоха, поскольку она избавляла их от лишних забот, но обходилась она, должно быть, недешево, ибо слуги, дорожа собственным достоинством, почитали своим долгом есть и пить не хуже господ и принимать в своих подвальных апартаментах множество гостей. Мистера и миссис Покет они кормили досыта, однако же мне всегда казалось, что столоваться в кухне было бы куда интереснее,— для всякого, кто при случае сумел бы за себя постоять, ибо в первую же неделю моего пребывания в доме какая-то соседка, с которой Покеты даже не были знакомы, написала им, что видела, как Миллерс шлепала маленького. Получив это письмо, миссис Покет очень расстроилась, залилась слезами и сказала, что это просто ужасно — почему соседям обязательно нужно вмешиваться в чужие дела?

Постепенно, главным образом от Герберта, я узнал, что мистер Покет учился в Хэрроу и Кембридже, и учился блестяще, но, сподобившись в очень молодых летах жениться на миссис Покет, он тем испортил себе карьеру и не пошел дальше скромной профессии репетитора. Он отрепетировал несколько десятков бездарных номеров,— чьи влиятельные папаши все, точно сговорившись, обещали ему свою протекцию, но забывали об этом, чуть только номера выпускались на сцену,— а потом это жалкое занятие ему надоело, и он перебрался в Лондон. Здесь, после того как рушились один за другим его более честолюбивые замыслы, он стал обучать молодых людей, ранее не имевших возможности учиться или упустивших эту возможность, другим помогал освежать свои знания для каких-нибудь особых случаев, не гнушался литературными компиляциями и исправлением чужих рукописей и на заработанные таким образом деньги, служившие дополнением к его крошечному годовому доходу, ухитрялся содержать дом, в котором я застал его.

У мистера и миссис Покет была подлиза-соседка, вдова с таким запасом нерастраченного сочувствия, что она со всеми соглашалась, на всех призывала благословение божие и для всех держала наготове либо улыбку, либо слезы, смотря по обстоятельствам. Звали эту даму миссис Койлер, и в первый же день моего приезда мне выпала честь вести ее к обеду. Еще по дороге в столовую она дала мне

понять, как угнетает дорогую миссис Покет, что дорогой мистер Покет вынужден держать у себя учеников. Ко мне это, конечно, не относится, добавила она в порыве откровенности и любви (я был ей представлен минут за пять до этого, не больше); будь все ученики похожи на меня, это было бы совсем иное дело.

— Но дорогой миссис Покет,— продолжала миссис Койлер,— после разочарования, пережитого ею в молодости (конечно, дорогого мистера Покета нельзя в этом винить), необходим такой комфорт и роскошь...

— Да, мэм,— сказал я, чтобы остановить ее, потому что испугался, как бы она не расплакалась.

— ...а тем более при ее аристократических склонностях...

— Да, мэм,— сказал я опять, и с той же целью.

— ...очень, очень тяжело,— продолжала миссис Койлер,— что дорогой мистер Покет не может безраздельно уделять свое внимание и время дорогой миссис Покет.

У меня невольно мелькнула мысль, что было бы еще тяжелее, если бы дорогой миссис Покет не уделял ни внимания, ни времени, скажем, мясник; но я промолчал, тем более что очень робел и только о том и думал, как бы не погрешить против светских приличий.

Сосредоточив все свое внимание на ноже и вилке, ложке, стаканах и прочих орудиях самоубийства, я в то же время прислушивался к разговору Драмла с миссис Покет и обнаружил, что Бентли Драмл рассчитывает унаследовать титул баронета, который должен перейти к нему в случае смерти ближайшего наследника. Далее я обнаружил, что книга, которую миссис Покет читала в саду,— сплошь о титулах, и что ей достоверно известно, когда именно в эту книгу попал бы ее дедушка, доведись ему вообще в нее попасть. Драмл говорил мало (он, видимо, отличался угрюмым нравом), но и в немногих словах давал понять, что причисляет себя к избранным, а в миссис Покет признает особу, достойную его круга. Никто, кроме них, да еще подлизы-соседки миссис Койлер, не проявлял ни малейшего интереса к их разговору, а Герберту он, как мне показалось, был даже неприятен; но конца ему не предвиделось, как вдруг в столовую явился мальчик-слуга

и доложил о несчастье: кухарка затеряла куда-то говядину. И здесь я, к несказанному моему изумлению, впервые увидел, как мистер Покет облегчает себе душу с помощью процедуры, которая меня поразила чрезвычайно, но на других не произвела никакого впечатления и к которой я вскоре привык так же, как все остальные. Он отложил нож и вилку,— словно забыв, что собирался нарезать жаркое,— запустил обе руки в свою растрепанную шевелюру и попробовал нечеловеческим усилием приподнять себя за волосы. Проделав это и не приподняв себя ни на единый дюйм, он спокойно вернулся к прерванному занятию.

Тут миссис Койлер переменила предмет разговора и принялась мне льстить. Сперва это мне понравилось, но лесть ее была так груба, что удовольствия хватило ненадолго. В ее манере подлипать ко мне под предлогом, что ее живо интересуют места и люди, с которыми я расстался, было что-то до того змеиное, что я так и видел блеск чешуи и раздвоенное жало; а когда она время от времени наскакивала на Стартопа (который разговаривал с ней очень мало) или на Драмла (который вовсе с ней не разговаривал), я завидовал им, что они сидят по другую сторону стола.

После обеда в столовую привели детей, и миссис Койлер стала восхищаться и ахать по поводу их глаз, носов и ног,— как известно, умнейший метод воспитания. Девочек было четыре, мальчиков два, а кроме того — младенец, который мог быть тем или другим, и следующий кандидат на его место, который пока не был ни тем, ни другим. Они явились под конвоем Флопсон и Миллерс, словно эти два сержанта были посланы куда-то на вербовку детей и доставили партию новобранцев; а миссис Покет глядела на несостоявшихся юных аристократов так, словно уже имела когда-то удовольствие производить им смотр, но не знает, как, собственно, ей следует к ним отнестись.

— Давайте мне вашу вилку, мэм, и возьмите маленького,— сказала Флопсон.— Да не так берите, а то у него головка попадет под стол.

Следуя этому совету, миссис Покет взяла младенца иначе, и головка его попала *на* стол, о чем все присутствующие узнали по громкому стуку.

— Ах ты батюшки! Давайте его мне обратно, мэм,— сказала Флопсон,— а вы, мисс Джейн, подите сюда и попляшите,— вот умница!

Одна из девочек, совсем еще крошка, которая, видимо, раньше времени взяла на себя заботу о других детях, тотчас встала со своего места и до тех пор прыгала и приплясывала перед малышом, покуда он не утих и не засмеялся. Тут засмеялись и остальные дети, и мистер Покет (который за это время дважды пытался приподнять себя за волосы), и мы все засмеялись и повеселели.

Затем Флопсон, сложив младенца пополам, как куклу, благополучно усадила его на колени к миссис Покет и дала ему поиграть щелкушку для орехов, предупредив свою хозяйку, что маленькому недолго и глазок себе повредить, и строго наказав мисс Джейн следить, чтобы этого не случилось. Засим обе няньки ушли из комнаты, и на лестнице с ними затеял потасовку мальчишка-лакей, который прислуживал за обедом,— беспутный мальчишка, растерявший половину своих пуговиц за игорным столом.

Я не на шутку встревожился, заметив, что миссис Покет, в увлечении компотом из апельсинов и в самозабвенном споре с Драмлом о каких-то титулах, совсем забыла про малютку, который, сидя у нее на коленях, проделывал устрашающие эволюции с щелкушкой. Наконец маленькая Джейн, сообразив, что его младенческому черепу угрожает опасность, тихонько встала, подошла к нему и ласково выманила у него это смертоносное оружие. Миссис Покет, которая только что успела доесть апельсинный компот, это очень не понравилось, и она сказала:

— Ах ты нехорошая девочка, да как ты смеешь? Сейчас же сядь на место!

— Простите, маменька,— пролепетала Джейн,— я боялась, что он себе глазки выколет.

— Как ты смеешь так со мной разговаривать? — возразила миссис Покет.— Сядь на свое место сию же минуту!

Благородное негодование миссис Покет смутило меня так, словно я сам чем-то вызвал ее неудовольствие.

— Белинда,— упрекнул ее мистер Покет с другого конца стола,— ну можно ли быть такой неразумной? Ведь Джейн вмешалась для пользы маленького.

— Я никому не позволю вмешиваться,— заявила миссис Покет.— Меня удивляет, Мэтью, что ты подвергаешь меня таким оскорблениям.

— О боже мой! — воскликнул мистер Покет в порыве горестного отчаяния.— Неужели же нельзя вступиться за младенца, которому грозит смерть от щелкушки!

— Я не потерплю, чтобы мне делала замечания Джейн,— сказала миссис Покет, обратив величественный взор на ни в чем не повинную маленькую преступницу.— Надеюсь, я помню, кем был мой бедный дедушка. Джейн, еще не хватало!

Мистер Покет снова запустил руки в волосы и на этот раз даже приподнял себя немного над стулом.

— Нет, вы послушайте! — беспомощно воззвал он в пространство.— Младенцев убивают щелкушками ради чьих-то бедных дедушек! — После чего снова шлепнулся на стул и умолк.

Пока все это происходило, мы сидели, неловко потупившись. Затем последовала пауза, во время которой честный и неустрашимый малютка с ласковым воркованьем тянулся на руки к Джейн, словно из всех домочадцев (не считая прислуги) только в ней и видел родную душу.

— Мистер Драмл,— сказала миссис Покет,— будьте любезны, позвоните, чтобы пришла Флопсон. Джейн, непослушная девочка, ступай спать. А ты, моя прелесть, иди к мамочке!

Младенец — благородная душа! — оказал отчаянное сопротивление. Он чуть не вывалился из рук у миссис Покет, так что вместо его нежного личика в поле нашего зрения вдруг оказались только вязаные башмачки и пухлые ножки, и был унесен из комнаты в состоянии бурного протеста. В конце концов он добился-таки своего: через несколько минут я увидел его в окно на руках у маленькой Джейн.

Флопсон, видимо, занялась какими-то неотложными личными делами, а больше никто детьми не интересовался, поэтому пятеро из них так и остались в столовой, что позволило мне составить кое-какое понятие об их отношениях с мистером Покетом. Отношения эти выглядели примерно так: несколько минут мистер Покет, взъерошив

волосы и еще более озабоченно сдвинув брови, смотрел на детей, словно стараясь понять, как случилось, что они живут и столуются в этом доме, и почему Природа не определила их на постой к кому-нибудь другому. Затем он совершенно отвлеченным, чисто-наставническим тоном задал им несколько вопросов, как, например: почему у маленького Джо разорвана манжетка? — на что услышал в ответ, что Флопсон ее зашьет, па, когда у нее будет время,— и кажется, у маленькой Фанни нарывает пальчик? — на что услышал в ответ, что Миллерс хотела поставить на него компресс, па, но все забывает. Затем, под влиянием внезапно нахлынувшей на него родительской нежности, он дал им по шиллингу и сказал, чтобы они бежали играть; а затем, проводив их взглядом и предприняв еще одну энергичную попытку приподнять себя за волосы, он вовсе бросил думать об этом безнадежном предмете.

Вечер мы провели на реке. У Драмла и Стартопа были собственные лодки, и я решил тоже завести себе лодку и обогнать их в гребле. В простых физических упражнениях я не уступал любому деревенскому юноше, но, чувствуя, что для Темзы стиль у меня недостаточно изысканный, я тут же договорился об уроках с некиим гребцом-чемпионом, который оказался со своим яликом возле нашей пристани, где меня познакомили с ним мои новые товарищи. Этот признанный авторитет сильно меня смутил, заявив, что руки у меня как у заправского кузнеца. Знай он, что такой комплимент чуть не стоил ему ученика, он, вероятно, воздержался бы от него.

Когда мы поздно вечером вернулись домой, нас ждал холодный ужин, и все было бы очень хорошо, если бы не одно неприятное домашнее происшествие. Мистер Покет пребывал в наилучшем расположении духа, но вдруг вошла горничная и сказала:

— Прошу прощенья, сэр, мне бы нужно с вами поговорить.

— Поговорить с вашим хозяином? — переспросила миссис Покет, снова закипая благородным негодованием.— Что это вам пришло в голову? Поговорите с Флопсон. Или со мной... только не сейчас.

— Прошу прощенья, мэм,— возразила горничная,— но мне бы надо сейчас, и обязательно с хозяином.

Тогда мистер Покет вышел из комнаты, а мы постарались как-нибудь занять себя в его отсутствие. Вскоре он вернулся; горе и отчаяние было написано на его лице.

— Ну не безобразие ли, Белинда! — сказал мистер Покет.— Кухарка напилась до бесчувствия и лежит в кухне на полу, а в буфете приготовлен на продажу большой сверток масла!

Миссис Покет очень взволновалась и сказала:

— И во всем виновата эта противная София!

— То есть как это, Белинда? — вопросил мистер Покет.

— Это София тебе рассказала. Разве я не видела, как она вошла сюда, и не слышала, как она заявила, что хочет говорить с тобой?

— Но ведь она водила меня вниз, Белинда,— возразил мистер Покет,— и показала мне и кухарку и сверток.

— Это чистейшей воды интриганка,— сказала миссис Покет,— а ты, Мэтью, кажется, ее защищаешь?

Мистер Покет издал жалобный стон.

— Выходит, что я, внучка моего дедушки, ничто в этом доме! — воскликнула миссис Покет.— А кухарка, между прочим, очень славная и порядочная женщина, она, еще когда приходила наниматься, сказала: «Сразу видно, что вам на роду было написано стать герцогиней».

Возле мистера Покета стояла кушетка, и он повалился на нее в позе умирающего гладиатора. Так, не меняя этой позы, он и произнес глухим голосом: «Спокойной ночи, мистер Пип», когда я решил, что пора дать ему покой и отправляться спать.

ГЛАВА XXIV

Дня через три, после того как я устроился в своей комнате, несколько раз побывал в Лондоне и заказал своим поставщикам все необходимое, мы подробно побеседовали с мистером Покетом о наших делах. Он был осведомлен о моей будущности лучше меня самого, потому что мистер Джеггерс, по его словам, сообщил ему, что меня не нужно

готовить к какой-нибудь определенной профессии, а будет вполне достаточно, если я «не ударю лицом в грязь» в обществе других обеспеченных молодых людей. Я, разумеется, согласился, поскольку ничего иного не мог предложить.

Мистер Покет назвал несколько школ в Лондоне, где я мог приобрести основы необходимых мне знаний, на себя же собирался взять общее руководство моими занятиями. Он выразил надежду, что при умелой помощи я не встречу особенных затруднений и вскоре мне уже не потребуется ничего, кроме его указаний. Все это, и многое другое в том же духе, он сумел сказать так, что сразу завоевал неограниченное мое доверие; и мне хочется здесь отметить, что он с начала до конца выполнял свои обязанности по отношению ко мне так ревностно и честно, что и меня заставил ревностно и честно выполнять свои обязанности по отношению к нему. Будь он равнодушным учителем, я платил бы ему той же монетой как ученик; но он не дал мне для этого повода и тем обеспечил взаимное уважение между нами. И никогда он, в своей роли наставника, не казался мне хоть сколько-нибудь смешным, а только вдумчивым, благородным и добрым.

Когда мы обо всем договорились и я всерьез приступил к занятиям, мне пришло в голову, что, если бы я мог сохранить за собой мою комнату в Подворье Барнарда, это внесло бы приятное разнообразие в мою жизнь, а общение с Гербертом благотворно влияло бы на мои манеры. Мистер Покет ничего не имел против такого плана, но решительно заявил, что, прежде чем что-либо предпринимать, следует посоветоваться с моим опекуном. Я почувствовал, что его слова продиктованы деликатностью, поскольку такое устройство немножко сокращало расходы Герберта; поэтому я, не откладывая, отправился на Литл-Бритен и сообщил о своем желании мистеру Джеггерсу.

— Если бы я мог купить ту мебель, которая сейчас взята напрокат,— сказал я,— и еще кое-какие мелочи, я чувствовал бы себя там совсем как дома.

— Что ж, действуйте! — сказал мистер Джеггерс с коротким смешком.— Я ведь говорил, что вы быстро развернетесь. Ну? Сколько же вам нужно?

Я сказал, что не знаю.

— Полно! — возразил мистер Джеггерс.— Сколько? Пятьдесят фунтов?

— Нет, что вы, куда так много?

— Пять фунтов?

Это был такой неожиданный скачок, что я совсем смешался и сказал:

— Ох, нет, больше.

— Больше, говорите? — сказал мистер Джеггерс; он засунул руки в карманы, нагнул голову набок, глаза устремил в стену, словно подстерегая меня, как охотник — дичь.— На сколько же больше?

— Очень трудно назначить сумму,— сказал я нерешительно.

— Полно! — сказал мистер Джеггерс.— Давайте смелее. Дважды пять — хватит? Трижды пять — хватит? Четырежды пять — хватит?

Я сказал, что хватит за глаза.

— Четырежды пять хватит за глаза, так? — сказал мистер Джеггерс, сдвинув брови.— Ну, а сколько, по-вашему, будет четырежды пять?

— По-моему?

— Вот-вот,— сказал мистер Джеггерс.— Сколько?

— Нужно полагать, что, по-вашему, это будет двадцать фунтов,— сказал я, улыбаясь.

— Забудем о том, сколько это будет по-моему, друг мой,— заявил мистер Джеггерс, тряхнув головой с упрямым и хитрым видом.— Я хочу знать, сколько это будет по-вашему.

— Двадцать фунтов, разумеется.

— Уэммик! — сказал мистер Джеггерс, отворяя дверь в контору.— Примите от мистера Пипа письменный приказ и выдайте ему двадцать фунтов.

Такой определенный способ вести дела произвел на меня не менее определенное впечатление, не скажу чтобы приятное. Мистер Джеггерс никогда не смеялся; но он носил большущие, до блеска начищенные сапоги со скрипом, и когда он, бывало, стоял в ожидании ответа, нагнув свою массивную голову, сдвинув брови и покачиваясь с носка на пятку, сапоги эти начинали скрипеть, словно они-то посмеивались, сухо и подозрительно. Воспользовавшись тем, что мистер Джеггерс куда-то ушел, а Уэммик пока-

зался мне более обычного оживленным и разговорчивым, я признался ему, что мистер Джеггерс просто ставит меня в тупик своим обращением.

— Ему было бы лестно это слышать,— сказал Уэммик.— Он только того и добивается... Да вы не думайте,— ответил он на мой удивленный взгляд,— здесь нет ничего личного; это у него профессиональное, чисто профессиональное.

Сидя за своей конторкой, Уэммик завтракал — с хрустом разламывал жесткую галету и кусками отправлял в щель, служившую ему ртом, словно опускал в почтовый ящик.

— Мне всегда представляется,— сказал Уэммик,— будто он наставил капкан и следит. А потом вдруг — хлоп! — и ты попался!

Оставив при себе замечание, что капканы на людей отнюдь не украшают жизнь, я спросил,— верно, мистер Джеггерс большой мастер в своем деле?

— Еще бы,— подтвердил Уэммик.— Другим до него далеко, как до Австралии.— Он указал пером на пол конторы, тем поясняя свою мысль, что Австралия — самая отдаленная от нас точка земного шара.— Или как до неба,— добавил Уэммик, водворяя перо на конторку,— потому что это еще дальше, чем Австралия.

— В таком случае,— сказал я,— дела у него, наверно, идут хорошо? — И Уэммик ответил: — Пре-вос-ходно!

Я спросил, много ли в конторе клерков.

— Много клерков нам держать нет смысла, потому что Джеггерс-то один, а посредники никому не нужны. Нас всего четверо. Хотите взглянуть на остальных? Вы ведь, можно сказать, свой человек.

Я принял его предложение. Мистер Уэммик опустил в почтовый ящик остатки галеты, выплатил мне деньги из стальной шкатулки, хранившейся в кассе, ключ от которой он держал где-то у себя на спине и вытаскивал из-за ворота как железную косичку, и мы отправились наверх. Помещение конторы было темное, обшарпанное; засаленные плечи, оставившие свои следы и в кабинете мистера Джеггерса, видимо, годами терлись о стены, спускаясь и поднимаясь по лестнице. На втором этаже, в комнате окнами на улицу, сидел огромный, бледный и опухший

клерк — некая помесь трактирщика с крысоловом,— принимавший трех обшарпанных посетителей, с которыми он обращался так же бесцеремонно, как, по-видимому, обращались здесь со всеми, кто нес свою лепту в сундуки мистера Джеггерса.— Собирает показания для Бейли *,— сказал мистер Уэммик, выйдя на площадку. Этажом выше щупленький, похожий на терьера, сильно обросший клерк (его, видимо, стригли в последний раз еще щенком) тоже был занят с посетителем — подслеповатым человеком, о котором мистер Уэммик сказал, что это плавильщик, и котел у него всегда кипит, так что он расплавит вам все на свете, и который обливался пóтом, точно совсем недавно пробовал свое искусство на самом себе. В комнате окнами во двор сутулый человек с распухшей щекой, которую он завязал грязной фланелевой тряпкой, и в старом черном костюме, блестевшем так, словно его долго терли воском, сидел, согнувшись над конторкой, и переписывал набело записи двух других клерков для последующего представления их самому мистеру Джеггерсу.

Это и был весь штат конторы. Спустившись обратно в нижний этаж, Уэммик заглянул в кабинет моего опекуна и сказал:

— Здесь вы уже бывали.

— Объясните мне,— попросил я, ибо взгляд мой опять упал на те два отвратительных усмехающихся слепка,— кто это такой?

— Это? — сказал Уэммик. Он влез на стул и снял с полки страшные головы, предварительно сдунув с них пыль.— Это в своем роде знаменитости. Наши клиенты, прославленные личности, и нас прославили. Вот этот молодчик (ты что это, негодяй, не иначе как ночью с полки слезал и в чернильницу заглядывал — бровь-то вся в чернилах!) убил своего хозяина, да так ловко обделал это дельце, что труп даже найти не удалось.

— Он тут похож? — спросил я, невольно отодвигаясь подальше, в то время как Уэммик плюнул злодею на бровь и энергично вытер ее рукавом.

— Похож ли? Да он тут как живой. Слепок сделали в Ньюгете, как только его вынули из петли. А я тебе крепко полюбился, верно, мошенник ты этакий, а? — и в виде комментария к этому нежному обращению Уэммик потрогал

брошь с изображением девицы и плакучей ивы, склоненных над погребальной урной, и сказал: — Специально для меня была заказана!

— А кто эта леди, известно? — спросил я.

— Нет,— отвечал Уэммик.— Просто его фантазия (а ты любил пофантазировать, верно?). Нет; в этом деле, мистер Пип, дамы не были замешаны, кроме только одной, а та была не красавица и не знатного рода, и она не стала бы интересоваться этой урной, разве что в ней было бы налито спиртное.— Временно сосредоточив свое внимание на брошке, Уэммик отложил слепок и протер ее носовым платком.

— А этот, второй, умер такой же смертью? — спросил я.— Выражение у него точно такое же.

— Совершенно верно,— сказал Уэммик.— Выражение самое натуральное. Как будто одну ноздрю зацепили рыболовным крючком и дернули за леску. Да, он умер такой же смертью; в нашей практике это вполне естественная смерть, можете мне поверить. Этот красавец, видите ли, подделывал завещания, а к тому же, по всей вероятности, сокращал жизнь мнимым завещателям. А ведь у тебя были джентльменские замашки, приятель! (Мистер Уэммик снова обращался не ко мне.) Ты уверял, что умеешь писать по-гречески. Эх ты, хвастунишка несчастный! Ну и врал же ты! Никогда еще не встречал такого враля!

Прежде чем водворить своего покойного друга обратно на полку, Уэммик потрогал самый широкий из своих траурных перстней и сказал:

— Он всего за день до смерти посылал за этим к ювелиру.

Пока Уэммик убирал второй слепок и слезал со стула, у меня возникла догадка, уж не все ли его драгоценности приобретены подобным образом. И поскольку он не проявлял на этот счет ни малейшей скрытности, я отважился спросить его об этом, когда он снова очутился на полу и стал обтирать пыльные руки.

— Да, разумеется,— отвечал он,— это все подарки такого же рода. Один тянет за собою другой, так оно и идет. Я от них никогда не отказываюсь. Это интересные сувениры. А кроме того, это имущество. Пусть цена им невелика, но это имущество, к тому же движимое. Вам, при

ваших блестящих перспективах, это может показаться мелочью, а я так всегда руководствуюсь правилом: «Чем больше движимого имущества, тем лучше».

Когда я выразил полное свое одобрение такой политике, он продолжал весьма дружелюбно:

— Если бы вам вздумалось как-нибудь навестить меня в Уолворте, я сочту это за честь и в любое время буду рад предоставить вам ночлег. Удивить мне вас нечем, но, возможно, вам интересно будет взглянуть на мою маленькую коллекцию; и в саду и в беседке сейчас приятно посидеть.

Я сказал, что с радостью воспользуюсь его гостеприимством.

— Очень вам обязан,— сказал он.— Так, значит, как только вам будет удобно — милости просим. У мистера Джеггерса вы еще никогда не обедали?

— Нет.

— Он вас угостит вином,— сказал Уэммик,— отменным вином. А я вас угощу пуншем, и не плохим. И еще я вам вот что скажу: когда будете у мистера Джеггерса, обратите внимание на его экономку.

— Что-нибудь исключительное?

— Да, пожалуй,— отвечал Уэммик.— Это — укрощенная тигрица. Вы скажете — не такое уж исключение, но это смотря по тому, насколько дикой была тигрица и долго ли ее пришлось укрощать. Ваше восхищение талантами мистера Джеггерса еще возрастет. Так что не забудьте обратить внимание.

Я сказал, что не забуду, тем более что его слова разожгли мое любопытство. Мы стали прощаться, но тут он спросил, не хочу ли я потратить пять минут на то, чтобы посмотреть, как орудует мистер Джеггерс?

По некоторым причинам, и прежде всего потому, что мне было не совсем ясно, над чем это мистер Джеггерс «орудует», я согласился. Мы нырнули в Сити и вынырнули в битком набитой зале полицейского суда, где единокровный (в смертоубийственном смысле) брат покойника, любившего замысловатые брошки, хмуро что-то жевал, ожидая решения своей участи, в то время как мой опекун допрашивал какую-то женщину, повергая в трепет и ее, и судей, и всех присутствующих. Всякое слово, пришедшееся ему не по вкусу — кем бы оно ни было произне-

сено,— он тут же приказывал «записать». Всякий раз, как кто-нибудь от чего-нибудь отпирался, он говорил: «Я из вас это вытяну!», а на всякое признание отвечал: «Вот вы и попались!» Стоило ему куснуть свой палец, как судей бросало в дрожь. Воры и сыщики, точно завороженные, ловили каждое его слово и ежились, когда он поводил на них бровью. От какой стороны он выступал, я так и не понял, потому что на мой взгляд он всех одинаково стирал в порошок; знаю только, что в ту минуту, когда я на цыпочках пробирался к выходу, он был не на стороне суда, потому что даже ноги старого джентльмена, сидевшего на председательском месте, судорожно дергались под столом,— так беспощадно мистер Джеггерс доказывал, что поведение его недостойно представителя английского закона и правосудия.

ГЛАВА XXV

Бентли Драмл, молодой человек до того угрюмый, что он даже ко всякой книге относился так, словно автор нанес ему кровную обиду, не более дружелюбно относился и к новым знакомым. Тяжеловес и тяжелодум, с тяжелым складом лица и тяжелым, заплетающимся языком, который, казалось, ворочался у него во рту так же неуклюже, как сам он ворочался на диване,— Драмл был ленив, заносчив, скуп, замкнут и подозрителен. Родители его, состоятельные люди, жившие в Сомерсетшире, растили сей букет добродетелей до тех пор, пока не обнаружили, что он совершеннолетний и притом совершеннейший балбес. Таким образом, когда Бентли Драмл попал к мистеру Покету, он был на голову выше ростом, чем этот джентльмен, и на несколько голов тупее, чем большинство джентльменов.

Стартопа вконец избаловала слабовольная мать, которая держала его дома, когда ему следовало находиться в школе, но он горячо любил ее и безмерно ею восхищался. Тонкими чертами лица он напоминал женщину, и — как сказал однажды Герберт — было «сразу видно, что он — вылитая мать, хотя бы ты ее никогда и не видел».

Не удивительно, что он понравился мне куда больше, чем Драмл, и что с первых же наших вечеров на реке мы с ним стали возвращаться вместе, переговариваясь по пути, в то время как Бентли Драмл следовал за нами в одиночестве, вдоль самого берега, среди камышей. Даже когда прилив мог бы подогнать его лодку, он не пользовался этим, а жался поближе к берегу, точно какая-то противная земноводная тварь; и таким я его всегда вспоминаю,— пробирается вслед за нами в темноте, по заводям, а наши две лодки несутся посреди реки, рассекая отражение заката или лунную дорожку.

Герберт был моим закадычным другом. Я предоставил ему половину моей лодки, поэтому он часто являлся в Хэммерсмит; а я, владея половиной его квартиры, часто бывал в Лондоне. Мы шагали по дороге, соединявшей наши обиталища, во всякое время дня и ночи. К этой дороге (хотя теперь она уже не так приятна) я до сего дня сохранил нежное чувство, возникшее в пору наивной юности и розовых надежд.

Я прожил в доме мистера Покета месяца два, когда там появились мистер и миссис Камилла. Камилла оказалась сестрой мистера Покета. Появилась и Джорджиана, которую я видел тогда же у мисс Хэвишем. Это была дальняя родственница — старая дева, страдавшая несварением желудка, которая выдавала свою чопорность за благочестие, а свою больную печень — за любовь к ближнему. Все они меня ненавидели, как ненавидят люди жадные и обманутые в своих ожиданиях. И разумеется, зная о моей удаче, раболепно передо мной пресмыкались. На мистера Покета они смотрели как на ребенка, понятия не имеющего о своей выгоде, и третировали его с уже знакомой мне высокомерной снисходительностью. Миссис Покет они ни во что не ставили; но, впрочем, допускали, что бедняжку постигло жестокое разочарование, потому что эта теория отбрасывала слабый отраженный свет на них самих.

Вот в какой обстановке мне предстояло жить и учиться. Я скоро привык сорить деньгами и с легкостью шел на расходы, которые за каких-нибудь три-четыре месяца до того показались бы мне баснословными; но никогда и ни при каких обстоятельствах я не бросал ученья. В этом не было большой заслуги,— просто у меня хватало ума понимать,

как мало я знаю. С помощью мистера Покета и Герберта я быстро шел вперед; а поскольку либо тот, либо другой всегда готов был дать мне указания и устранить с моего пути все трудности, поистине нужно было быть таким болваном, как Драмл, чтобы не сделать успехов.

Уже несколько недель я не виделся с мистером Уэммиком и однажды решил написать ему и назначить вечер, когда я хотел бы у него побывать. Он ответил, что очень рад и будет ждать меня в конторе в шесть часов. Туда я и направился точно к назначенному времени и застал его в ту минуту, когда он опускал ключ от кассы себе за шиворот.

— Хотите пройтись в Уолворт пешком? — предложил он.

— С удовольствием,— сказал я,— а вы как?

— Я тем более,— отвечал Уэммик.— Когда весь день просидишь за конторкой, не мешает размяться. Давайте я расскажу вам, мистер Пип, что у меня будет на ужин. Будет у меня на ужин бифштекс — домашнего приготовления, и холодная жареная курица — из кухмистерской. Думаю, что курочка не жилистая, потому что хозяин кухмистерской на днях был у нас присяжным заседателем, и мы его недолго мучили. Я ему это напомнил, когда покупал курицу. «Выберите, говорю, какая получше, древний бритт, потому что в нашей власти было таскать вас в суд еще и два и три дня». А он на это ответил: «Разрешите презентовать вам наилучшую птицу во всем заведении». Я, конечно, разрешил. Как-никак, это имущество и притом движимое. Против престарелых родителей вы, надеюсь, ничего не имеете?

Мне казалось, что он все еще говорит о курице, но он добавил: — Дело в том, что у меня дома имеется престарелый родитель.

Я ответил, как того требовала вежливость.

— Значит, вы еще не обедали у мистера Джеггерса? — продолжал Уэммик, бодро шагая рядом со мной.

— Нет еще.

— Он мне так и сказал сегодня, когда узнал, что я вас жду. Скорее всего завтра получите приглашение. Он и товарищей ваших хочет пригласить. Троих — ведь их, кажется, трое?

Обычно я не причислял Драмла к своим близким друзьям, но тут ответил: — Да.

— Так вот, он и решил пригласить всю ораву,— нельзя сказать, чтобы это слово мне польстило,— и чем бы он вас ни накормил, накормлены вы будете знатно. Разнообразия не ждите, но высокое качество обеспечено. И еще одно у него в доме странно,— продолжал Уэммик после минутного молчания, словно само собой разумелось, что за это время он подумал об экономке,— он не разрешает запирать на ночь ни окна, ни двери.

— И к нему ни разу не забирались грабители?

— В том-то и дело! — ответил Уэммик.— Он всем на свете заявляет: «Хотел бы я посмотреть на того человека, который ограбит *меня*». Боже ты мой, да я сам сколько раз слышал у нас в конторе, как он говорил отъявленным громилам: «Где я живу — вам известно; у меня в доме нет ни болтов, ни задвижек; что же вы не попытаете счастья? А ну? Может быть, соблазнитесь?» Но поверьте, сэр, никто на это не пойдет, ни за какие деньги.

— Его так боятся? — спросил я.

— Боятся? — сказал Уэммик.— Еще бы! Но он, хоть и подзадоривает их, а все же и тут хитрит. Серебра не держит, сэр. Все мельхиоровое, до последней ложки.

— Значит,— заметил я,— им бы не много досталось, даже если бы...

— Зато ему досталось бы много,— перебил меня Уэммик,— и они это знают. Ему достались бы их головы, и не один десяток. Ему досталось бы все, что он сумел бы забрать. А чего только он не сумеет забрать, если захочет,— это и сказать невозможно.

Я было погрузился в размышления о всемогуществе моего опекуна, но Уэммик опять заговорил:

— Что касается отсутствия серебра, тут, понимаете ли, все темно, как в омуте. У реки свои омуты, у него свои. А возьмите его цепочку от часов. Она-то настоящего золота.

— И очень массивная,— заметил я.

— Массивная? — повторил Уэммик.— Еще бы. И часы золотые, с репетицией, сто фунтов стоят, ни пенни меньше. В Лондоне примерно семьсот воров знает про эти часы, мистер Пип; и все они, мужчины, женщины и дети, при-

знали бы каждое звено этой цепочки и отскочили бы от нее, как от раскаленного железа, доведись им к ней прикоснуться.

Начав с этого, а потом беседуя о разных других предметах, мы с мистером Уэммиком коротали дорогу и время, пока он не сообщил мне, что мы добрались до Уолворта.

Уолворт представлял собою множество переулков, канав и садиков,— место, по-видимому, тихое и скучноватое. Дом Уэммика, маленький, деревянный, стоял в саду, фасад его вверху был выпилен и раскрашен наподобие артиллерийской батареи.

— Моя работа,— сказал Уэммик,— не правда ли, красиво?

Я рассыпался в похвалах. Я, кажется, никогда не видел такого маленького домика, таких забавных стрельчатых окошек (по преимуществу ложных) и стрельчатой двери, такой крошечной, что в нее едва можно было пройти.

— Вон там, видите, настоящий флагшток,— сказал Уэммик,— по воскресеньям на нем развевается настоящий флаг. А теперь смотрите сюда. Я перешел по мосту, сейчас подниму его, и кончено, сообщение прервано.

Мост представлял собой доску, перекинутую через ров в четыре фута шириной и два глубиной. Но приятно было видеть, с какой гордостью Уэммик его поднял и закрепил, улыбаясь на этот раз не одними губами, а всем сердцем.

— Каждый вечер в девять часов по гринвичскому времени стреляет пушка,— сказал Уэммик.— Вон она там. Когда вы ее услышите, так, наверно, признаете, что это сущий громобой.

Орудие, о котором он говорил, было установлено на крыше крепостцы, построенной из фанерной решетки. От дождя его защищало замысловатое брезентовое сооружение вроде зонтика.

— А позади дома,— сказал Уэммик,— не на виду, чтобы не нарушать картины укреплений,— я ведь так считаю, что раз у тебя есть идея, проводи ее в жизнь последовательно и все ей подчиняй; не знаю, согласны ли вы со мной...

Я сказал, что совершенно согласен.

— ...позади дома я держу свинью, и кой-какую птицу,

и кроликов; еще я соорудил парничок и сажаю огурцы; за ужином вы сами убедитесь, какой у меня вырос салат. Так что видите, сэр,— сказал Уэммик и снова улыбнулся, но тут же серьезно покачал головой,— если мои скромные владения подвергнутся осаде, здесь черт знает как долго можно продержаться — припасов хватит.

Затем он повел меня к беседке, до которой было по прямой шагов пятнадцать, но дорожка так прихотливо извивалась, что путь туда занял довольно много времени. В этом уединенном местечке для нас уже были приготовлены стаканы; пунш был погружен для охлаждения в декоративное озерцо, на берегу которого стояла беседка. Посреди этого круглого озерца (с островом, который я чуть было не принял за предназначенный к ужину салат) Уэммик устроил фонтан, и стоило только пустить в ход небольшую мельничку и вынуть пробку из трубы, как кверху взлетала струя такой силы, что вся ладонь у вас сразу становилась мокрая.

— Я сам себе и механик, и плотник, и садовник, и водопроводчик, и мастер на все руки,— сказал Уэммик в ответ на мои похвалы.— И это, знаете ли, неплохо. Смахиваешь с себя всю ньюгетскую паутину, и Престарелому интересно. Можно, я вас сейчас познакомлю с Престарелым? Это вас не затруднит?

Я искренне заверил его в обратном, и мы пошли в замок. У камина сидел глубокий старик в байковой куртке: чистенький, веселый, довольный, ухоженный, но совершенно глухой.

— Ну-с, как дела, Престарелый Родитель? — шутливо приветствовал его Уэммик, с чувством пожимая ему руку.

— Превосходно, Джон, превосходно! — отвечал старик.

— Вот, Престарелый Родитель, представляю тебе мистера Пипа,— продолжал Уэммик,— жаль только, что ты не расслышишь его фамилию. Покивайте ему, мистер Пип, он это любит. Прошу вас, покивайте ему, да почаще!

— У моего сына замечательный дом, сэр,— прокричал старик, в то время как я изо всех сил кивал ему головой.— И красивейший сад, сэр. После смерти моего сына государство должно приобрести этот участок земли и прекрасные сооружения, кои на нем находятся, и предоставить его для народных гуляний.

— А ты и рад, Престарелый, ты и горд! — сказал Уэммик, любуясь отцом, и его жесткое лицо совсем смягчилось.— Ну, давай я тебе кивну,— и он яростно тряхнул головой,— ну, давай еще разок,— и он тряхнул головой еще яростнее,— ты ведь это любишь, верно? Если вы не устали, мистер Пип,— хотя я знаю, с непривычки оно утомительно,— ублажите его напоследок! Вы и не представляете себе, как это его радует.

Я добросовестно ублажил его напоследок, и старик совсем развеселился. Он стал собираться на птичник, кормить кур, а мы вернулись в беседку и занялись пуншем; и здесь, покуривая трубку, Уэммик сказал мне, что ему потребовалось немало лет, чтобы довести свой участок до теперешней степени совершенства.

— Все это ваша собственность, мистер Уэммик?

— О да,— сказал Уэммик,— я приобрел ее постепенно, понемножку. Теперь я, можно сказать, землевладелец.

— Вот как? Надеюсь, мистеру Джеггерсу нравится ваш дом?

— Он и не видел его,— отвечал Уэммик.— И не слышал о нем. И Престарелого никогда не видел. И не слышал о нем. Нет; контора — это одно, а личная жизнь — другое. Когда я ухожу в контору, я прощаюсь с за́мком, а когда прихожу в замок, прощаюсь с конторой. Если это не составит для вас труда, прошу вас, поступайте так же, вы меня очень обяжете. Мне бы не хотелось, чтобы там говорили о моем доме.

Я, разумеется, обещал исполнить его желание. Пунш был отличный, и мы просидели за ним, беседуя, почти до девяти часов.

— Приближается время салюта,— сказал наконец Уэммик и положил трубку на стол,— для Престарелого это самое главное удовольствие.

Мы опять прошествовали в замок, где Престарелый, оживленно поблескивая глазками, уже накаливал кочергу, что служило прологом к торжественному ежевечернему действу. Уэммик с часами в руках стоял подле, пока не настало время взять докрасна раскаленную кочергу из рук родителя и отправиться на батарею. Затем он исчез, и вскоре Громобой выпалил, да так сильно, что домишко сотрясся до основания, словно готовый развалиться на

куски, а все стаканы и чашки в нем зазвенели на разные голоса. Престарелый родитель, который, как мне показалось, вылетел бы из своего кресла, если бы не держался за подлокотники, прокричал в упоении: «Выстрелила! Я слышал!», и я стал кивать ему так усердно, что, скажу без преувеличения, все поплыло у меня перед глазами.

Перед ужином Уэммик показал мне свое собрание редкостей. То были по большей части уголовные реликвии: перо, послужившее знаменитому преступнику для написания подложного письма; две-три прославленных бритвы; пряди волос; и несколько подлинных признаний, написанных осужденными на виселицу,— эти документы мистер Уэммик ценил особенно высоко, поскольку в них, как он выразился, «что ни слово, то ложь, сэр». Все эти безделушки были со вкусом разложены среди фарфоровых и стеклянных фигурок, разнообразных изделий, искусно выполненных самим владельцем музея, и палочек для набивания трубок, работы Престарелого. Выставка разместилась в том покое замка, который первым представился моим взорам и который, судя по кастрюле в камине и по изящному бронзовому крюку над огнем, явно предназначенному для вертела, служил не только гостиной, но и кухней.

В комнате появилась очень опрятная служаночка, в обязанности которой входило присматривать за Престарелым в течение дня. Когда она накрыла стол для ужина, подъемный мост был опущен, и девочка ушла ночевать к себе домой. Ужин удался на славу; и хотя стены замка были немного трухлявые, так что еда отдавала гнилым орехом, и хотя было бы не худо, если бы свинья помещалась подальше, все же я остался очень доволен проведенным вечером. Не оставляла желать лучшего и моя спаленка на верхушке башни, если не считать того, что потолок, отделявший меня от флагштока, был чрезвычайно тонок и я растянулся на кровати с таким ощущением, словно этот шест мне всю ночь предстояло удерживать в равновесии на лбу.

Уэммик поднялся чуть свет, и, к стыду своему, я, кажется, слышал, что он чистит мои башмаки. Потом он пошел в сад работать, а я, стоя у стрельчатого окошка, смотрел, как он для виду пользуется помощью Престарелого и

выражает свои сыновние чувства бесконечными кивками. После завтрака, не уступавшего по качеству ужину, мы ровно в половине девятого пустились в путь. По мере приближения к Литл-Бритен, Уэммик становился все суше и жестче, и рот его все больше уподоблялся щели почтового ящика. И когда мы наконец вошли в контору и он вытащил из-за ворота ключ, ничто в его облике уже не напоминало об Уолворте, словно и замок, и подъемный мост, и беседка, и озеро, и фонтан, и Престарелый — все развеялось в прах от последнего выстрела Громобоя.

ГЛАВА XXVI

Уэммик оказался прав,— мне скоро представился случай сравнить домашнюю обстановку моего опекуна с жилищем его кассира и клерка. Когда я, возвратившись из Уолворта, зашел в контору, мистер Джеггерс был у себя в кабинете, где мыл руки своим любимым душистым мылом. Он позвал меня к себе и действительно пригласил в гости вместе с моими товарищами.

— Только, пожалуйста, без церемоний,— оговорил он,— никаких переодеваний к обеду, и условимся, скажем, на завтра.

Я спросил, куда нам приходить (так как понятия не имел, где он живет), и он ответил — потому, вероятно, что терпеть не мог о чем-либо высказываться определенно: — Приходите сюда, отсюда отправимся вместе.— Замечу кстати, что мистер Джеггерс, точно дантист или врач, мыл руки после каждого клиента. При кабинете у него имелся для этого особый чуланчик, где пахло душистым мылом, как в парфюмерной лавке. На двери висело большущее полотенце, которым он, вымыв руки, долго и тщательно вытирал их всякий раз, как возвращался из полицейского суда или как очередной клиент выходил из его кабинета. Когда мы явились к нему на следующий день в шесть часов, он, видимо, только что покончил с каким-то особенно грязным делом, ибо, просунув голову в этот свой чуланчик, мыл не только руки, но и лицо, и вдобавок полоскал горло. Выпол-

нив же все это и утеревшись полотенцем так усердно, что оно совершило полный оборот вокруг валика, на котором висело, он достал перочинный ножик, вычистил им остатки грязного дела из-под ногтей и только тогда облачился в сюртук.

У дверей конторы как всегда околачивались какие-то личности, явно жаждавшие с ним поговорить; но они даже не попытались подойти к нему,— аромат душистого мыла, исходивший от него, как сияние, яснее слов говорил о том, что на сегодня с делами покончено. На улицах, по которым мы шли, в потоке прохожих то и дело встречались люди, узнававшие мистера Джеггерса, и каждый раз, как это случалось, он начинал громче говорить со мной; только по этому я и мог понять, что он сам узнал кого-то или заметил, что его узнали.

Он привел нас на Джеррард-стрит, в Сохо, к особняку на южной стороне улицы, хотя и довольно внушительному, но с грязными окнами и сильно облупившимся фасадом. Достав из кармана ключ, он отпер дверь, и мы вошли в каменные сени, мрачные и голые, как в нежилом доме, а оттуда по темной дубовой лестнице поднялись в анфиладу из трех темных, обшитых дубом комнат на втором этаже. На деревянных панелях по стенам вырезаны были гирлянды, и я мог бы сказать, какие петли они мне напомнили, когда мистер Джеггерс, стоя на фоне их, приветствовал нас как любезный хозяин.

Обед был сервирован в лучшей из этих трех комнат; во второй помещался гардероб и умывальник мистера Джеггерса; третья была его спальней. Он рассказал нам, что занимает весь дом, но остальными комнатами почти не пользуется. Стол был накрыт богато,— хотя серебра я на нем действительно не заметил; к стулу хозяина придвинута была большая вращающаяся этажерка, на которой красовался целый набор бутылок и графинов и четыре вазы с фруктами на десерт. Я заметил, что мой опекун любит все держать под рукой и самолично оделять гостей едой и напитками.

У стены стоял шкаф с книгами; по заглавиям на корешках я увидел, что это жизнеописания преступников, труды по уголовному праву, парламентские акты, трактаты о свидетельских показаниях, уликах и тому подобных материях.

Вся мебель у мистера Джеггерса была добротная и массивная, под стать его цепочке для часов. Однако вид у нее был сугубо деловой, и ни один предмет в комнате не служил просто для украшения. В углу помещалось небольшое, заваленное бумагами бюро и на нем — лампа под абажуром; так что и в этом смысле мистер Джеггерс, придя домой, видимо, не забывал о своей конторе, и по вечерам, выкатив бюро из угла, усаживался за работу.

Он еще не успел рассмотреть моих спутников — всю дорогу мы с ним шли впереди остальных,— и теперь, позвонив в колокольчик, стал на коврик перед камином и не спеша оглядел их одного за другим. К моему удивлению, самого пристального, если не исключительного внимания с его стороны удостоился Драмл.

— Пип,— сказал он, положив свою большую руку мне на плечо и отводя меня к окну,— я не знаю их по именам. Кто этот Паук?

— Паук? — переспросил я.

— Такой прыщавый, нескладный, надутый.

— Это Бентли Драмл,— отвечал я.— А другой, красивый — Стартоп.

Не обратив ни малейшего внимания на «другого, красивого», он сказал:

— Так вы говорите — Бентли Драмл? Интересный юноша.

Он сейчас же вступил в разговор с Драмлом, и то, что последний отвечал ему медлительно и неохотно, ничуть не смущало его, а напротив, словно еще больше подзадоривало. Я загляделся было на эту пару, но тут между ними и мной появилась экономка — она принесла первое блюдо.

На вид я дал ей лет сорок,— возможно, впрочем, что она показалась мне моложе своих лет. Это была высокого роста женщина, стройная, быстрая в движениях, с очень бледным лицом, большими потухшими глазами и тяжелым узлом волос. Губы ее были полуоткрыты, словно ей не хватало воздуха, и все лицо выражало испуг и тревогу; возможно, что причиной тому было больное сердце, но верно одно: за несколько дней до того я видел в театре «Макбета», и теперь мне показалось, что лицо этой женщины озаряют языки дымного пламени, как озаряли они те лица

на сцене, что появлялись из котла, над которым колдовали ведьмы.

Она поставила блюдо на стол, тихонько дотронулась до локтя моего опекуна, тем давая ему понять, что обед подан, и исчезла. Мы расселись за круглым столом, причем мой опекун по одну руку от себя посадил Драмла, а по другую — Стартопа. Первым блюдом, которое экономка подала на стол, оказалась прекрасная рыба, за ней последовало столь же превосходное жаркое из баранины, а потом — не менее превосходная дичь. Соус, вина, все необходимые приправы, и притом самого лучшего качества, наш хозяин брал со своей этажерки, пускал по кругу, а затем водворял обратно. Таким же образом он раздавал нам для каждого блюда чистые тарелки, вилки и ножи, а использованные складывал в две корзины, стоявшие возле него на полу. Кроме экономки, никто за столом не прислуживал. Она вносила одно блюдо за другим, и всякий раз ее лицо напоминало мне таинственные лица, возникавшие из ведьмовского котла. Много лет спустя я воссоздал жуткое ее подобие, когда в темной комнате зажег чашу с пуншем перед самым лицом другой женщины, совсем на нее непохожей, если не считать густых волнистых волос.

Пораженный необычной внешностью экономки и помня, как отрекомендовал ее Уэммик, я приглядывался к ней с особым интересом и заметил, что, находясь в комнате, она не сводит внимательного взгляда с моего опекуна и не сразу выпускает из рук миску или блюдо, которое ставит перед ним, словно трепещет, как бы он не кликнул ее снова, и хочет, чтобы он, если ему есть что сказать, говорил, пока она тут, рядом. Он же, как мне показалось, прекрасно это сознавал и намеренно держал ее в неослабном напряжении.

Обед прошел весело, и хотя могло показаться, будто мой опекун не направляет, а только поддерживает разговор, я чувствовал, что его цель — заставить нас показать себя в самом дурном свете. Я, например, едва открыв рот, обнаружил, что толкую о своем пристрастии к мотовству, покровительственно отзываюсь о Герберте и хвастаюсь своими блестящими видами на будущее. И так мы вели себя все, особенно же Драмл, чья склонность исподтишка

и как будто нехотя, но очень зло издеваться над людьми проявилась еще до того, как нам в первый раз переменили тарелки.

В самом конце обеда, когда подали сыр, разговор зашел о наших успехах в гребле, и мы стали поддразнивать Драмла, вспоминая, как он всегда отстает от нас и жмется к берегу этакой земноводной тварью. Драмл не замедлил в ответ сообщить хозяину дома, что ему и смотреть-то на нас противно, что ловкостью он любого заткнет за пояс, а силы у него вполне достанет на то, чтобы раскидать нас, как щепки. Воспользовавшись этой пустячной перепалкой, мой опекун как-то незаметно умудрился взвинтить его чуть ли не до бешенства; скинув сюртук и засучив рукава, Драмл стал напруживать мышцы, чтобы показать свою силу, и мы все, как дураки, тоже стали засучивать рукава и напруживать мышцы.

Экономка в это время собирала со стола; мой опекун не обращал на нее ни малейшего внимания; откинувшись на спинку стула, он покусывал указательный палец и наблюдал Драмла с интересом, совершенно мне непонятным. И вдруг, когда экономка протянула руку через стол, он прихлопнул эту руку ладонью, точно поймал в капкан. Он сделал это так неожиданно и ловко, что мы сразу позабыли о своем дурацком состязании.

— Если уж говорить о силе,— сказал мистер Джеггерс,— так сейчас вы кое-что увидите. Молли, покажите-ка вашу руку.

Он по-прежнему крепко держал ее руку на столе, но другую она успела спрятать за спину.

— Не надо, хозяин,— проговорила она тихо, устремив на него внимательный, умоляющий взгляд.

— Сейчас вы кое-что увидите,— повторил мистер Джеггерс, нимало не поколебленный в своем намерении.— Молли, покажите им вашу руку.

— Хозяин! — взмолилась она все так же тихо.— Ну, пожалуйста!

— Молли,— сказал мистер Джеггерс, не поворачивая головы и упрямо уставившись в противоположную стену,— покажите им обе руки. Ну, поживее!

Он выпустил ее руку, лежавшую на столе. Вторая ее рука появилась из-за спины и тоже легла на стол. Она

была сильно обезображена,— глубокие шрамы исчертили все запястье. Вытянув вперед руки, женщина оторвала взгляд от мистера Джеггерса и настороженно обвела нас глазами одного за другим.

— Вот где сила,— продолжал мистер Джеггерс, хладнокровно водя пальцем по синеватой сетке жил.— Мало найдется мужчин с такими сильными руками, как у этой женщины. До чего эти руки цепкие, просто удивительно. Мне довелось видеть много разных рук, но таких я ни у кого не видел.

Пока он неторопливо и рассудительно произносил эти слова, экономка снова и снова обводила нас взглядом. Как только он замолчал, она опять посмотрела на него.

— Вот и все, Молли,— сказал мистер Джеггерс, слегка кивнув ей головой.— На вас полюбовались, теперь можете идти.

Она сняла руки со стола и вышла из комнаты, а мистер Джеггерс, взяв с этажерки графин, налил себе вина и пустил его вкруговую.

— Джентльмены,— объявил он,— в половине десятого нам придется разойтись. Прошу вас, не теряйте драгоценного времени. Я был очень рад с вами познакомиться. Мистер Драмл, ваше здоровье!

Если, отличая таким образом Драмла, мистер Джеггерс хотел, чтобы тот показал себя во всей красе, то он достиг своей цели. Хмуро торжествуя победу, Драмл держался с нами все более и более нагло и под конец стал совершенно невыносим. А мистер Джеггерс как и прежде проявлял к нему необъяснимый интерес. Казалось, Драмл необходим мистеру Джеггерсу, как изюминка в вине.

По мальчишеской нашей невоздержности мы, вероятно, выпили лишнего и, уж конечно, много лишнего наболтали. Особенно нас распалила какая-то грубая шутка Драмла по поводу того, что мы не знаем счета деньгам. В ответ я очень горячо, если и не очень тактично, заметил, что не ему бы это говорить — всего неделю назад он при мне взял у Стартопа взаймы денег.

— Ну что ж,— огрызнулся Драмл,— взял и отдам.

— Никто и не говорит, что не отдадите,— возразил я,— но мне кажется, что в таком случае вы могли бы помолчать относительно нас и наших денег.

— *Вам* кажется! — фыркнул Драмл.— О господи!

— И я подозреваю,— продолжал я, стараясь говорить очень строго,— что сами вы не дали бы нам взаймы, как бы мы ни нуждались в деньгах.

— Что верно, то верно,— сказал Драмл.— Я бы не дал вам и шести пенсов. И никому бы не дал.

— Я считаю, что раз так, то и просить взаймы не очень-то красиво.

— *Вы* считаете! — фыркнул Драмл.— О господи!

Этот ответ взорвал меня, тем более что мне никак не удавалось прошибить его злобную тупость,— и, отмахнувшись от Герберта, который пытался меня удержать, я выпалил:

— Ну хорошо, мистер Драмл, раз уж на то пошло, я вам сейчас скажу, что мы с Гербертом подумали, когда вы получили взаймы эти деньги.

— А мне плевать, что вы с вашим Гербертом подумали,— прорычал Драмл и, кажется, добавил себе под нос, что мы оба можем отправляться к черту — туда и дорога.

— А я вам все-таки скажу,— не унимался я.— Мы тогда говорили, что вы, видно, рады-радешеньки этим деньгам, а сами точно издеваетесь над Стартопом: вот, мол, нашел дурака.

Драмл расхохотался; он сидел, засунув руки в карманы, ссутулив круглые плечи, и смеялся нам в лицо, не скрывая, что я угадал и что в его глазах все мы — презренные идиоты.

Тут в дело вмешался Стартоп. Проявив куда больше обходительности, чем я, он стал уговаривать Драмла вести себя поприличнее. Но поскольку Стартоп был веселый и приветливый юноша — полная противоположность Драмлу,— тот всегда готов был усмотреть в его словах личное оскорбление. И теперь он только нагрубил ему в ответ, а Стартоп, чтобы замять разговор, отпустил какую-то невинную шутку, на которую все мы дружно рассмеялись. Эта удача его врага взбесила Драмла; он вдруг распрямил свои круглые плечи, вынул руки из карманов, ругнулся, схватил бокал и зашвырнул бы его в голову Стартопу, если бы мистер Джеггерс с непостижимым проворством не удержал его руку в ту самую секунду, когда он размахнулся для удара.

— Джентльмены,— сказал мистер Джеггерс, невозмутимо ставя бокал на стол и вытаскивая за массивную цепочку свои золотые часы,— с великим прискорбием должен вам сообщить, что сейчас половина десятого.

Мы поднялись и стали прощаться. Еще не спустившись с лестницы, Стартоп, как ни в чем не бывало, уже называл Драмла «дружище». Но дружище не отзывался и даже не пожелал идти в Хэммерсмит с ним вместе, так что мы с Гербертом, решив остаться ночевать в городе, видели, как они пустились в путь по разным тротуарам,— Стартоп чуть впереди, а Драмл за ним, в тени домов на другой стороне улицы, точь-в-точь как обычно в своей лодке на реке.

Так как дверь за нами еще не заперли, я попросил Герберта минутку подождать и побежал наверх, надумав сказать два слова моему опекуну. Я нашел его во второй комнате, где он, стоя среди множества пар всевозможной обуви, уже вовсю мылил руки, смывая наш визит.

Я объяснил свое возвращение желанием высказать ему, как мне жаль, что вышла такая неприятность, и попросить не очень на меня сердиться.

— Пфу! — с силой выдохнул он, набрав воды в ладони и зарывшись в них лицом.— Это пустяки, Пип. А Паук мне понравился.

Он обернулся ко мне и стал вытираться, мотая головой и громко отфыркиваясь.

— Я рад, что он вам понравился, сэр,— сказал я,— но мне... мне он не нравится.

— Да, да,— подтвердил мой опекун.— Вам с ним лучше не иметь дела. Держитесь от него подальше. Но мне он понравился, Пип. Это в своем роде цельная фигура. Если бы я занимался ворожбой...

Выглянув из-за полотенца, он поймал на себе мой взгляд.

— Но я не занимаюсь ворожбой,— сказал он, снова прячась в полотенце и насухо вытирая уши.— Вы ведь знаете, чем я занимаюсь, так? Спокойной ночи, Пип.

— Спокойной ночи, сэр.

Через месяц с небольшим после этого срок пребывания Паука у мистера Покета кончился, и к великому облегчению всего дома, кроме миссис Покет, он уполз в свою фамильную щель.

ГЛАВА XXVII

«Дорогой мистер Пип!

Пишу я эти строки по просьбе мистера Гарджери, чтобы сообщить Вам, что он едет в Лондон с мистером Уопслом и хотел бы Вас повидать, если Вам это будет желательно. Он зайдет в гостиницу Барнарда во вторник в девять часов утра, а если это нежелательно, будьте столь добры известить. Ваша сестра бедняжка все в том же положении. Мы каждый вечер, когда сидим в кухне, вспоминаем Вас и все гадаем, что-то Вы сейчас делаете и говорите. Если это Вам теперь покажется вольностью, то простите ради старой дружбы. Засим, мистер Пип, остаюсь вечно преданная и благодарная Вам

Бидди.

P. S. Он просит, чтобы я обязательно написала *то-то будет расчудесно*. Говорит, Вы поймете. Я надеюсь и даже уверена, что Вам желательно будет с ним повидаться, хоть Вы теперь и джентльмен, потому что сердце у Вас всегда было доброе, а он такой хороший, такой хороший человек. Я прочла ему все письмо, кроме только последних строчек, и он просит, чтобы я обязательно написала еще раз *то-то будет расчудесно*».

Письмо это я получил по почте в понедельник утром, то есть за день до появления Джо. Я хочу откровенно рассказать, с какими чувствами я ожидал его приезда.

Не с радостью, хотя нас и связывало столько крепких уз, нет,— с сильным беспокойством, некоторой досадой и с острым сознанием неуместности нашего свидания. Если бы я мог откупиться от него деньгами, я бы, несомненно, это сделал. Утешался я только мыслью, что Джо приедет в Подворье Барнарда, а не в Хэммерсмит, и следовательно не попадется на глаза Бентли Драмлу. Меня не смущало, что его увидит Герберт или его отец — люди, которых я уважал; но меня бросало в дрожь при мысли, что его может увидеть Драмл, к которому я питал лишь презрение. Так всю жизнь мы совершаем самые трусливые и недостойные поступки с оглядкой на тех, кого ни в грош не ставим.

Последнее время я все старался украсить наше жилище всякими ненужными и несуразными предметами, причем такое единоборство с Барнардом стоило мне немалых денег. Сейчас это была уже совсем не та квартира, какую я застал по приезде, и я имел честь занимать не одну страницу в счетной книге соседнего драпировщика. Я так разошелся, что даже завел мальчика-слугу, и жизнь моя, можно сказать, превратилась в сплошное рабство. Ибо с тех пор как я создал это чудовище (из отбросов семейства моей прачки) и нарядил его в синий фрак, канареечного цвета жилет, белый шейный платок, кремовые панталоны и высокие сапоги, мне приходилось постоянно изыскивать для него хотя бы видимость работы и изрядное количество самой настоящей еды, и он, неустанно требуя то одного, то другого, преследовал меня, как некий беспокойный дух.

Этому призраку-мстителю приказано было во вторник с восьми часов утра находиться неотлучно в прихожей (площадью в четыре квадратных фута, как выяснилось при покупке половика), а Герберт вызвался заказать завтрак, который, как он считал, должен был прийтись по вкусу Джо. Я был искренне ему благодарен за такое внимание и участие, но в то же время какой-то голос нашептывал мне, что, будь Джо *его* гостем, Герберт не проявил бы столько усердия.

Так или иначе, я с вечера приехал в город, а во вторник встал пораньше и позаботился о том, чтобы к приходу Джо наша гостиная и стол, накрытый для завтрака, приняли самый праздничный вид. На беду, утро выдалось дождливое, и даже ангел не мог бы скрыть того обстоятельства, что Барнард, словно плаксивый великан-трубочист, проливал за окном черные от сажи слезы.

Чем ближе время подходило к девяти часам, тем сильнее меня подмывало сбежать, но в прихожей, послушный моему приказу, дежурил Мститель, и скоро я услышал на лестнице шаги Джо. Я знал, что это Джо, по тому, как он шаркал ногами — парадные башмаки всегда бывали ему велики,— и по тому, как долго он простаивал на каждом этаже, читая фамилии жильцов. Когда же он остановился на нашей площадке, я услышал, как он обвел пальцем буквы моего имени, написанного краской на двери, а потом стал громко дышать в замочную скважину. Наконец

он тихонько стукнул в дверь, и Пеппер — так непоэтично звучала фамилия Мстителя — доложил: «Мистер Гарджерп!» Я уж думал, что Джо никогда не кончит вытирать ноги и что мне придется самому стащить его с половика, но наконец он вошел в комнату.

— Здравствуй, Джо, как поживаешь, Джо?

— Здравствуй, Пип, ты-то как поживаешь, Пип?

Доброе, открытое его лицо так и сияло от радости, когда он, положив шляпу на пол между нами, схватил меня за обе руки и стал без конца поднимать и опускать их, словно я был новейшей системы насосом.

— Я рад тебя видеть, Джо. Давай сюда свою шляпу.

Но Джо, подобравший ее с пола обеими руками осторожно, как гнездо с яйцами, и слышать не хотел о том, чтобы с нею расстаться, а продолжал говорить, неловко держа ее перед собой.

— Ох, и вырос же ты,— сказал Джо,— и какой стал гладкий да фасонистый (он немного подумал, прежде чем нашел это слово) — ну прямо достойный слуга королю и отечеству.

— Ты тоже выглядишь прекрасно, Джо.

— Благодарение богу,— сказал Джо,— жаловаться не на что. И сестра твоя все в таком же положении, не хуже. А Бидди, та всегда молодцом. Все знакомые тоже как жили, так и живут. Только вот Уопсл — тот дал маху.

Все это время Джо (по-прежнему заботливо оберегая птичье гнездо) то обводил глазами комнату, то устремлял изумленный взор на мой цветастый халат.

— Дал маху, Джо?

— Ну да,— ответил Джо, понизив голос.— Ушел из церкви и подался в актеры. Он и в Лондон со мной приехал все из-за этого актерства. И он просил,— сказал Джо, придерживая гнездо левым локтем, а правой рукой шаря в нем в поисках яичка,— чтобы, значит, ежели не сочтете за дерзость, передать вам вот это.

Я взял из рук Джо листок бумаги, оказавшийся смятой афишей маленького лондонского театра, в которой объявлялось, что на этой самой неделе на сцене его впервые выступит «провинциальный актер-любитель, новый Росций *, чье бесподобное исполнение главной роли в величайшей

трагедии нашего Национального Барда произвело фурор в местных театральных кругах».

— Ты уже побывал на представлении, Джо? — спросил я.

— Побывал, Пип,— отвечал Джо торжественно и веско.

— Ну и что же, правда был фурор?

— Да как тебе сказать,— отвечал Джо,— апельсинных корок много было, это да. Особенно когда он духа увидел. Ну, да вы сами посудите, сэр, каково должно быть человеку, когда он с духом разговаривает, а ему слова не дают вымолвить, кричат: «Аминь!». Это правильно, он служил в церкви, мало ли каких несчастий с человеком не бывает,— Джо говорил тихо, прочувствованным тоном,— но ведь не расстраивать же его по этому случаю в такое-то время. Я так считаю, уж ежели человеку нельзя спокойно поговорить с духом родного отца, что же ему тогда можно? И еще я скажу: если ему траурная шляпа так мала, что черные перья все время ее набок перетягивают,— попробуй-ка удержи ее на голове.

В глазах у Джо появилось такое выражение, словно он сам увидел духа, и я понял, что в комнату вошел Герберт. Я познакомил их, и Герберт протянул Джо руку, но тот попятился от нее, крепко вцепившись в свое гнездо.

— Ваш покорный слуга, сэр,— сказал Джо,— надеюсь, вы с Пипом...— тут взгляд его упал на Мстителя, который ставил на стол поджаренный хлеб, и я так ясно прочел в нем намерение включить этого юношу в семейный круг, что строго сдвинул брови, чем окончательно смутил Джо...— я про то говорю, что вы, джентльмены, надеюсь, в добром здоровье, хоть и живете в такой тесноте да духоте. Может, по лондонским понятиям, это очень даже хорошая гостиница,— добавил Джо простодушно,— и слава у нее, как я слышал, такая, что лучше не бывает; но сам я, прямо скажу, и свинью не стал бы здесь держать, ежели бы, конечно, хотел ее как следует откормить и чтобы вкус у нее потом был приятный.

Высказав столь лестное мнение о нашем жилище и заодно проявив неудержимую склонность величать меня «сэром», Джо в ответ на приглашение к столу стал оглядывать комнату, выискивая, куда бы пристроить свою шляпу,— словно во всей вселенной было считанное число

предметов, достойных служить ей местом отдохновения,— и в конце концов поставил ее на самый край каминной полки, откуда она и падала время от времени до самого его ухода.

— Вам чаю или кофе, мистер Гарджери? — спросил Герберт, который по утрам всегда сидел на хозяйском месте.

— Премного благодарен, сэр,— отвечал Джо, застыв на стуле в полной неподвижности.— Чего вам желательно, того и мне позвольте.

— Так я вам налью кофе?

— Премного благодарен, сэр,— ответил Джо, явно огорченный этим предложением,— ежели вы порешили на кофе, я вам перечить не стану. Но вы не находите ли, что он иногда действует горячительно?

— Тогда лучше чаю,— сказал Герберт и налил ему чашку.

Тут шляпа Джо свалилась с камина, и он вскочил, поднял ее и снова пристроил в точности на то же место, как будто считая, что проявил бы крайнюю невоспитанность, если бы не дал ей возможности вскоре свалиться снова.

— Вы когда приехали в город, мистер Гарджери?

Джо прикрыл рот рукой и закашлялся, точно успел уже схватить в Лондоне коклюш.

— Да словно бы вчера днем,— произнес он.— Нет, не так. Нет, так. Да. Выходит, что вчера днем (в тоне его слышалось облегчение, глубокая мудрость и строгая приверженность истине).

— Успели посмотреть что-нибудь в Лондоне?

— Как же, сэр! — сказал Джо.— Мы с мистером Уопслом чуть приехали, сразу пошли смотреть фабрику ваксы. Только она оказалась совсем не такая, как на тех красных афишках, что расклеивают на дверях магазинов; я то́ хочу сказать,— добавил Джо в виде пояснения,— что там она нарисована чересчур архитектуритуритурно.

Это слово (ко̀торое, как мне кажется, прекрасно определяет известный тип зданий) Джо, вероятно, растянул бы в своего рода припев, если бы, по счастью, внимание его не отвлекла шляпа, снова грозившая свалиться с камина. Шляпа, надо сказать, требовала его неослабного внимания и не меньшей ловкости рук и меткости глаза, чем крикет.

В этой игре со шляпой Джо показал себя подлинным виртуозом: он то кидался к ней и ловко подхватывал ее у самого пола; то ловил на полпути, подбрасывал вверх и так, поддавая ее ладонью, долго бегал по комнате и тыкался в стены, не решаясь схватиться с ней вплотную; наконец он с громким плеском уронил ее в полоскательницу, откуда я взял на себя смелость ее выудить.

Что же касается воротничков Джо, то они вызывали целый ряд недоуменных вопросов: почему человеку, чтобы считать себя одетым, нужно так жестоко исцарапать себе шею? Почему он полагает, что, надев парадный костюм, непременно должен очиститься страданием? А тут еще Джо стал так глубоко задумываться, не донеся вилки до рта; он приковывался взглядом к таким неподходящим предметам; его мучили такие приступы кашля; он так далеко отодвигался от стола и ронял на пол столько еды, делая вид, будто ничего не уронил,— что я был искренне рад, когда Герберт ушел в свою контору в Сити.

У меня не хватило ни ума, ни сердечного такта понять, что виноват во всем этом я сам и что если бы я проще держал себя с Джо, он бы держал себя проще со мной. Я досадовал на него и злился, а он доконал меня, оказав мне неожиданную услугу.

— Как мы теперь остались одни, сэр...— начал Джо.

— Джо! — недовольно перебил я его.— Как тебе не стыдно говорить мне «сэр»?

На одно мгновение в обращенном ко мне взгляде Джо промелькнуло что-то похожее на упрек. Несмотря на его нелепые воротнички и пышный галстук, в этом взгляде читалось своеобразное достоинство.

— Как мы теперь остались одни,— повторил Джо,— и как нет у меня намерения, да и возможности нет, чтобы еще погостить, я сейчас закончу — или лучше сказать, начну свое сообщение, как оно вышло, что я удостоился такой чести. Потому оно вот как получается,— сказал Джо, словно собираясь по старой своей привычке основательно все разъяснить,— ежели бы не было у меня одного желания — сослужить тебе службу,— я бы не удостоился чести откушать господского завтрака в господской квартире.

Мне так не хотелось снова почувствовать на себе этот укоризненный взгляд, что я не стал пенять ему за его тон.

— Ну вот, сэр,— продолжал Джо,— дело, значит, было так. Сидел я тут на днях у «Матросов», Пип (всякий раз, как в нем брала верх любовь ко мне, он называл меня Пипом, а всякий раз, как пересиливала вежливость, он величал меня сэром),— и вдруг подъезжает на своей тележке Памблчук. Ох, уж этот Памблчук! — сказал Джо, внезапно увлекшись новой темой.— До чего же мне иногда тошно становится, просто сказать невозможно, когда он начинает трубить по всему городу, что это с ним ты еще с пеленок дружбу водил и его считаешь товарищем своих детских игр.

— Что за вздор. Не его, а тебя, Джо.

— И я тоже так думал, Пип,— сказал Джо, тряхнув головой,— хоть теперь оно, пожалуй, и не важно, сэр. Ну так вот, Пип, этот самый Памблчук, уж такой он пустозвон, не приведи господи, подходит ко мне (почему рабочему человеку и не посидеть у «Матросов», пинту пива выпить, да трубку покурить, никакого греха в этом нет) и говорит: «Джозеф, тебя хочет видеть мисс Хэвишем».

— Мисс Хэвишем, Джо?

— «Хочет», так мне Памблчук сказал, «видеть тебя».— Джо замолчал и стал разглядывать потолок.

— Ну, Джо? И что же дальше?

— На следующий день, сэр,— сказал Джо, глядя на меня словно очень издалека,— я, как следует быть, почистился и пошел к мисс Хэ.

— Мисс Хэ, Джо? К мисс Хэвишем?

— Вот и я говорю, сэр,— ответил Джо торжественно и официально, словно диктовал свое завещание,— мисс Хэ, иначе говоря Хэвишем. А она мне высказалась вот в каком смысле. «Мистер Гарджери, говорит, вы с мистером Пипом переписку поддерживаете?» Как я один раз получил от вас письмо, то, значит, и ответил: «Поддерживаю». (Когда я венчался с вашей сестрой, сэр, я отвечал: «Обещаю»; а когда говорил с твоей благодетельницей, Пип, то ответил: «Поддерживаю».) «Так, пожалуйста, говорит, передайте ему, что мисс Эстелла возвратилась домой и хотела бы его повидать».

Я почувствовал, что весь заливаюсь краской. Хорошо, если мое смущение хотя бы отчасти вызвано было мыслью, что, знай я, с чем приехал ко мне Джо, я принял бы его более радушно!

— Когда я пришел домой,— продолжал Джо,— то попросил Бидди, чтобы она тебе про это отписала, но она что-то стала отнекиваться. Потом Бидди говорит: «Я, говорит, знаю, ему приятно будет услышать об этом лично. Сейчас, говорит, праздники, и вам хочется его повидать, вы бы и съездили!» Вот, сэр, теперь я кончил,— сказал Джо, вставая с места,— и желаю тебе, Пип, доброго здоровья и всяческого благополучия.

— Ты разве уже уходишь, Джо?

— Да, ухожу,— сказал Джо.

— Но ты придешь обедать, Джо?

— Нет, не приду,— сказал Джо.

Мы посмотрели друг другу в глаза, и, когда Джо протянул мне руку, ничего связанного с «сэром» уже не было в его благородном сердце.

— Пип, милый ты мой дружок, в жизни, можно сказать, люди только и делают, что расстаются. Кто кузнец, кто жнец, а кто и повыше. Вот и нужно расходиться в разные стороны, и тут уж ничего не попишешь. Если сегодня что вышло не так, в этом только я один виноват. В Лондоне нам с тобой вместе нечего делать, не то что дома,— там все свои люди, все друзья, и все понятно. Ты не думай, что я гордый, просто я хочу быть сам собой, и ты меня больше не увидишь в этом наряде. Я в этом наряде не могу быть сам собой. Я только и бываю сам собой что в кузнице, и в своей кухне, да еще на болотах. И тебе я больше придусь по душе, если ты будешь вспоминать меня таким — в кузнице, с молотом, либо, на худой конец, с трубкой. Я больше придусь тебе по душе, если ты, положим, захочешь меня повидать, приедешь и заглянешь в окошко в кузницу и увидишь — стоит там кузнец Джо у старой наковальни, в старом прожженном фартуке, и работает как работал. Я хоть и очень туп, а все-таки, кажется, сумел сказать, что хотел. И храни тебя бог, Пип, милый ты мой дружок, храни тебя бог!

Я не ошибся — в его простоте было много спокойного достоинства. Нелепый его наряд так же мало помешал мне почувствовать это, как если бы мы встретились в раю. Он легко притронулся к моему виску и ушел. Немного придя в себя, я выбежал на улицу, посмотрел в одну сторону, в другую,— но он исчез.

ГЛАВА XXVIII

Было ясно, что на следующий день мне нужно ехать в наш город; и в первом порыве раскаяния мне было столь же ясно, что я должен остановиться у Джо. Но после того как я заказал себе место на козлах на завтрашний дилижанс и съездил предупредить мистера Покета, второе из этих положений казалось мне уже не таким бесспорным, и я стал измышлять всяческие предлоги, чтобы переночевать в «Синем Кабане». У Джо я только всех стесню; меня не ждут и не успеют приготовить мне постель; я буду слишком далеко от мисс Хэвишем, а она такая привередливая, ей это может не понравиться. Нет на свете обмана хуже, чем самообман, а я, конечно, плутовал сам с собой, выдумывая эти отговорки. Любопытное дело! Не диво, если бы я, по незнанию, принял от кого-нибудь фальшивые полкроны; но как я мог посчитать за полноценные деньги монету, которую сам же чеканил? Услужливый незнакомец, предложив мне, безопасности ради, покрепче свернуть мои кредитные билеты, опускает билеты в карман и подсовывает мне завернутую в бумагу ореховую скорлупу; но чего стоит этот фокус по сравнению с моим? Я сам завертываю в бумагу ореховую скорлупу и подсовываю ее себе под видом кредитных билетов!

Окончательно решив, что остановлюсь в «Синем Кабане», я стал терзаться сомнениями — взять или не взять с собой Мстителя. Меня очень соблазняло посмотреть, как этот дорогостоящий наемник будет чваниться своими высокими сапогами в воротах «Синего Кабана»; и просто дух захватывало при мысли, что можно как бы невзначай зайти с ним в лавку к мистеру Трэббу и пронзить непочтительную душу портновского мальчишки. С другой же стороны, была опасность, что портновский мальчишка сумеет втереться к нему в дружбу и нарасскажет ему чего не надо; или еще вздумает освистать его на потеху всей Торговой улице,— с этого отчаянного озорника все станет, а кроме того, моя покровительница могла прослышать о нем и рассердиться. В конце концов я решил оставить Мстителя в Лондоне.

Так как я уезжал дневным дилижансом, а время было зимнее, я знал, что последнюю часть дороги придется ехать в полной темноте. Дилижанс отходил от «Скрещенных ключей» в два часа пополудни. За четверть часа до его отхода я прибыл туда в сопровождении своего слуги,—если можно так назвать человека, который прилагал все усилия к тому, чтобы служить мне из рук вон плохо.

В те времена было обычным делом пользоваться почтовыми каретами для перевозки арестантов на корабли. Поскольку я знал это и сам не раз видел, как они проезжают по большой дороге, свесив закованные ноги с крыши дилижанса, я не удивился, когда Герберт, прибежавший меня проводить, сказал, что со мной вместе поедут два каторжника. Но были причины — хотя уже и очень давние,— почему от одного слова «каторжник» у меня падало сердце.

— Тебе не будет неприятно с ними ехать, Гендель? — спросил Герберт.

— Нисколько.

— А мне что-то показалось, что ты их не любишь.

— Я их действительно не люблю, и ты, вероятно, тоже. Но ничего, пускай едут.

— Смотри-ка, вот они, выходят из распивочной. Ух, какая жалкая, неприятная картина!

Должно быть, они только что угощали своего конвоира, потому что все трое вытирали губы рукавом. Каторжники были скованы вместе ручными кандалами, на ногах у них были железные кольца с цепью — я хорошо запомнил эти кольца! И одежда их была мне хорошо знакома. Конвойный, вооруженный двумя пистолетами, держал к тому же под мышкой толстую дубинку; но он был в наилучших отношениях с арестантами и, стоя подле них, пока закладывали лошадей, глядел так, словно они были интересной выставкой, еще не открытой для публики, а сам он — ее содержателем. Один из арестантов был выше другого ростом и шире в плечах, и ему по каким-то неисповедимым законам, действующим как на воле, так и в тюрьме, досталось платье меньшего размера. Руки и ноги его, точно подушки, выпирали из рукавов и штанин, арестантская одежда изменила его почти до неузнаваемости; но его полузакрытый глаз я узнал мгновенно. Это был тот самый человек, кото-

рый в памятный мне субботний вечер сидел с ногами на скамье в «Трех Веселых Матросах» и целился в меня из невидимого ружья!

В том, что он меня пока не узнал, я мог не сомневаться. Он оценил опытным взглядом мою цепочку от часов, потом сплюнул и сказал что-то второму каторжнику; оба засмеялись, повернулись, звякнув общими кандалами, и стали смотреть в другую сторону. Номера, крупно написанные у них на спинах, как на дверях домов; отвратительные струпья, как у бездомных собак; закованные ноги, стыдливо обмотанные носовыми платками; любопытство и гадливость, какую они вызывали в окружающих,— все это, как и сказал Герберт, являло поистине жалкое, гнусное зрелище.

Но это было еще не самое худшее. Оказалось, что все задние места на империале заняты семейством, перебирающимся куда-то из Лондона, и что арестантов некуда посадить, кроме как на переднюю скамью, позади кучера. Узнав об этом, какой-то раздражительный господин, которому продали четвертое место на этой скамье, пришел в страшную ярость и стал вопить, что сажать его рядом с такими негодяями противно всем правилам, что это — стыд, и позор, и вред, и зараза, и не знаю что еще. А лошадей между тем запрягли, кучер торопился с отъездом, и мы уже готовились занять свои места, и арестанты со своим конвойным вышли со двора на улицу, обдав нас сложным, неотделимым от тюрьмы запахом горячего хлеба, грубого сукна, пеньки и известки.

— Да вы не расстраивайтесь, сэр,— уговаривал конвойный разъяренного пассажира.— Я сам сяду рядом с вами. А их посажу с краю. Они вам ничуть не помешают, сэр, будете ехать, как будто их тут и нет.

— Меня-то ругать нечего,— проворчал тот арестант, которого я узнал.— Я не по своей охоте еду. Я бы с моим удовольствием остался здесь. По мне — кто хочет, тот и занимай мое место.

— И мое тоже,— просипел второй.— Кабы меня спросили, я бы вас никого не стеснил.

И тут они оба захохотали и стали щелкать орехи и плеваться скорлупой,— как и я, вероятно, поступил бы, будь я на их месте и окружен таким презрением.

В конце концов выяснилось, что помочь разъяренному господину ничем невозможно и что ему остается либо ехать с кем бог послал, либо не ехать вовсе. Тогда он, не переставая жаловаться, залез на свое место, рядом с ним сел конвоир, арестанты тоже кое-как вскарабкались на крышу, и тот, которого я узнал, оказался прямо позади меня, так что я чувствовал на затылке его дыхание.

— Счастливого пути, Гендель! — крикнул Герберт, чуть только карета тронулась, и я поблагодарил судьбу за то, что он выдумал для меня это новое имя.

Невозможно передать, как болезненно я ощущал дыхание каторжника не только у себя на затылке, но и по всей спине. Словно в жилы мне проникала какая-то едкая, жгучая кислота, от которой даже скулы сводило. Казалось, он дышит глубже и чаще, чем нужно, и при этом производит куда больше шума; и я чувствовал, что весь скривился набок от робких усилий как-нибудь отгородиться от него.

Было очень холодно, дул ветер, и оба каторжника на чем свет стоит кляли погоду. Скоро мы совсем окоченели, а к тому времени, когда карета миновала харчевню, отмечавшую половину пути, все пассажиры уже давно умолкли и только ежились и дрожали в каком-то полусне. Я тоже задремал, не успев додумать, следует ли вернуть этому несчастному два фунта стерлингов, прежде чем я потеряю его из виду, и как лучше всего это сделать. Пробудился я в страшном испуге — оттого что нырнул вперед так далеко, словно решил поплавать между крупами лошадей,— и мысли мои вернулись все к тому же вопросу.

По-видимому, я проспал дольше, чем думал: было темно, и в мигающем свете наших фонарей я не мог разобрать, где мы находимся, но в холодном влажном ветре, дувшем навстречу, уже можно было различить знакомый запах болот. Каторжники, совсем ссутулившись и низко пригнув головы, чтобы укрыться от ветра за моею спиной, сидели теперь вплотную ко мне. Первые их слова, которые я услышал, когда проснулся, были словно повторением моих мыслей: «Два билета по фунту стерлингов».

— Где он их достал? — спросил тот, которого я видел впервые.

— А я откуда знаю? — ответил другой.— Где-то они были у него припасены. Небось приятели дали.

— Мне бы их сейчас,— сказал его сосед, отпустив ругательство по адресу погоды.

— Кого? Приятелей или два фунта?

— Два фунта. Приятелей, сколько у меня их было, я бы и за фунт продал — не жалко. Ну? Так он, значит, говорит...

— Он и говорит,— продолжал каторжник, которого я узнал,— а мы это все мигом обладили, на пристани, за штабелем леса. «Ты, говорит, завтра на волю выходишь».— «Правильно, говорю, выхожу». Ну, он и попросил, чтобы, значит, разыскать мальчишку, который его накормил и не выдал, и передать ему эти два билета. Я обещал и так и сделал.

— Ну и дурак,— просипел второй.— Я бы лучше сам их проел да пропил. Он скорей всего был новичок. Ты говоришь, он тебя в первый раз видел?

— Ну да. Разные партии, разные корабли... Его-то судили вторично, за побег, приговорили к пожизненной.

— И ты... ух, и холодище, чтоб его... ты только тогда и промышлял в этих краях?

— Только тогда.

— Ну и как здесь места, ничего?

— Места хуже некуда. Туман, канавы, топь, работа. Работа, топь, канавы, туман.

Оба снова разразились проклятьями и, вдоволь начертыхавшись, постепенно затихли.

Услышав этот разговор, я готов был тут же соскочить на дорогу и остаться один в кромешном мраке, но меня удержала уверенность, что человек этот и не подозревает, кто я. Я и сам изменился с годами, а главное — моя одежда и вид горожанина исключали для него всякую возможность узнать меня без случайной подсказки. Но разве не удивительно было, что мы очутились рядом на крыше кареты? И я трепетал, как бы кто-нибудь, по столь же удивительной случайности, не произнес при нем моего имени. Чтобы оградить себя от этой опасности, я решил слезть у самого въезда в город. Это мне удалось. Маленький мой саквояж лежал в багажном ящике у меня под ногами; я без труда достал его, выбросил на дорогу и сам спрыгнул следом — у первого фонаря, на первых булыжниках городской улицы. А каторжники покатили дальше. Я знал,

в каком месте их ссадят и поведут прочь от большой дороги — к реке. В воображении я видел лодку с гребцами-арестантами, поджидающую их у затянутых илом ступеней пристани — слышал грубое, точно собакам брошенное: «Давай греби!» — видел про́клятый богом Ноев ковчег, застывший на черной воде.

Я не мог бы сказать, чего я боялся, ибо страх мой был безотчетным и смутным, но мне было очень страшно. Всю дорогу до гостиницы я дрожал от ужаса, который нельзя было объяснить одной только мыслью — пусть и очень неприятной,— что меня могут узнать. Я твердо убежден, что в этом неясном чувстве воскресли на несколько минут мучительные страхи моего детства.

В столовой «Синего Кабана» было пусто, и я не только заказал обед, но и принялся уже за первое блюдо, прежде чем слуга узнал меня. Попросив прощенья за такую оплошность, он тотчас предложил, не послать ли мальчика за мистером Памблчуком.

— Нет,— сказал я,— ни в коем случае.

Слуга (тот самый, что передал нам жалобу приезжих из нижней залы в день, когда меня записали в подмастерья), казалось, удивился и при первом удобном случае положил старый, замасленный номер местной газеты так близко от меня, что я взял его и прочел следующую заметку:

«В связи с имевшим недавно место поразительным возвышением на жизненном поприще некоего железных дел мастера, юного обитателя здешних мест (кстати сказать — какая благодарная тема для волшебного пера нашего пока еще не всеми признанного согражданина Туби, чьи поэтические творения не раз украшали эти страницы!), нашим читателям небезынтересно будет узнать, что первым благодетелем, наперсником и другом упомянутого юноши было одно высокоуважаемое лицо, в некотором роде причастное к торговле зерном и семенами, чье весьма удобное и поместительное коммерческое заведение расположено не так уж далеко от Торговой улицы. С чувством личного удовлетворения мы приветствуем в его лице Ментора нашего Телемака, ибо отрадно знать, что именно жителю нашего города обязан юный герой своим счастьем. На

задумчивом челе местного Мудреца, в прекрасных очах местной Красавицы мы читаем вопрос: кто же этот герой? Насколько нам известно, живописец Квентин Массейс* был антверпенским *кузнецом*. Verb. Sap.[1]».

Я утверждаю на основании богатейшего опыта, что, если бы мне в пору моего процветания довелось попасть на Северный полюс, я и там встретил бы кого-нибудь — дикого эскимоса или цивилизованного джентльмена,— кто сказал бы мне, что первым моим благодетелем был Памблчук и что только ему я обязан своим счастьем.

ГЛАВА XXIX

Поднялся я спозаранку. Идти к мисс Хэвишем было еще не время, и я отправился погулять за город, в ту сторону, что была ближе к ее дому — и дальше от кузницы Джо (к Джо можно сходить завтра!). Я шел и думал о моей благодетельнице и о лучезарном будущем, которое она мне готовит.

Она усыновила Эстеллу, она, в сущности, усыновила и меня, и, конечно же, в ее планы входит соединить нас. Никому другому, как мне, предстоит оживить уснувший дом, распахнуть окна темных комнат навстречу солнцу, пустить все часы, разжечь веселый огонь в каминах, смахнуть паутину, выгнать ползучих тварей — словом, свершить все славные подвиги сказочного рыцаря и жениться на принцессе. По дороге я остановился взглянуть на дом; и потемневший кирпич стен, замурованные окна, зеленый плющ, крепкие ветви которого, словно жилистые стариковские руки, обвили даже трубы на крыше,— все это слилось в заманчивую тайну, разгадать которую суждено было мне. А сердцем этой тайны была, разумеется, Эстелла. Но хотя она безраздельно властвовала надо мною, хотя к ней летели мои мечты, хотя она уже в детстве оказала огромное

[1] Verbum sat sapienti *(лат.)* — умный поймет без дальнейших объяснений.

влияние на мою жизнь и характер, я даже в то безоблачное утро не наделял ее достоинствами, которыми она не обладала. Я нарочно упоминаю об этом сейчас, потому что лишь с помощью этой нити можно проследить за моими блужданиями по лабиринту, в который я попал. Умудренный жизнью, я знаю, что обычное представление о влюбленных не всегда справедливо. О себе скажу одно: я полюбил Эстеллу любовью мужчины просто потому, что иначе не мог. Да, часто, часто, а может быть и постоянно, я с грустью говорил себе, что люблю без поощрения, без надежды, наперекор разуму, собственному счастью и душевному покою. Да, я любил ее не меньше от того, что понимал это, не меньше, чем если бы она казалась мне безгрешным ангелом, сошедшим на землю.

Я рассчитал свою прогулку так, чтобы оказаться у ворот в тот же час, как бывало раньше. Дернув колокольчик неверной рукой, я отвернулся от калитки, чтобы перевести дух и справиться с неистово бьющимся сердцем. Я услышал, как отворилась дверь, услышал шаги во дворе; но сделал вид, что ничего не слышу, даже когда калитка заскрипела на ржавых петлях.

Наконец, почувствовав, что меня тронули за плечо, я вздрогнул и обернулся. И тут вздрогнул еще раз, уже гораздо натуральнее, увидев, что передо мной стоит человек в опрятной серой одежде,— человек, которого я меньше всего мог себе представить на месте привратника у мисс Хэвишем.

— Орлик?

— Да, да, молодой хозяин, не у вас одного перемены в жизни. Да вы входите, входите. Калитку не велено держать отворенной.

Я вошел, он захлопнул калитку, запер ее и, вынув ключ, зашагал впереди меня.

— Да! — сказал он, оглянувшись через плечо.— Вот он я, тут как тут.

— Как ты сюда попал?

— Пешком пришел,— дерзко ответил он.— А сундук мне привезли на тачке.

— Ты, кажется, прочно здесь обосновался?

— А что ж. Ничего худого тут нет, молодой хозяин.

Я был в этом далеко не уверен. Пока я обдумывал его

слова, он оторвал свой тяжелый взгляд от земли и медленно оглядел меня всего, с ног до макушки.

— А из кузницы ты, значит, ушел? — спросил я.

— Разве же это похоже на кузницу? — сказал Орлик, оглядываясь по сторонам с обиженным видом.— Похоже, а?

Я спросил, давно ли он ушел от Гарджери.

— Здесь все дни на один образец,— отвечал он,— сразу и не подсчитаешь. Уж после того ушел, как вы уехали.

— Это я и сам знаю, Орлик.

— А как же,— сказал он сухо.— Вы же ученые.

Тем временем мы вошли в дом, и оказалось, что Орлик занимает возле самой двери комнату с небольшим окошком во двор. Это была узкая каморка вроде тех, в каких живут парижские консьержи. На стене висело несколько ключей, к которым Орлик теперь присоединил и ключ от калитки; в нише стояла его кровать, накрытая лоскутным одеялом. Комната производила впечатление неряшливое, тесное, сонное,— ни дать ни взять клетка, где живет сурок в образе человека; а сам Орлик, чья тяжелая черная фигура маячила в тени у окна, и был тем сурком, для которого она предназначалась.

— Я никогда не видел этой комнаты,— заметил я.— Да и привратника здесь раньше не было.

— Не было,— сказал он,— пока не пошли разговоры, что дом без охраны, а это, мол, опасно,— тут и беглые и мало ли какой еще сброд шатается. Вот тогда меня и рекомендовали сюда, потому что я всякому могу сдачи дать; я и поступил. Работа здесь легкая,— легче, чем мехи раздувать да по железу бить... Оно заряженное.

Он заметил, что мой взгляд остановился на стене, где висело ружье с обитой медью ложей.

— Ну что ж,— сказал я, наскучив этим разговором,— пройти мне наверх к мисс Хэвишем?

— А провалиться мне, коли я знаю,— ответил он и потянулся всем телом, а потом встряхнулся, как собака.— Я только то знаю, что мне приказано. Я вот этим молотком ударю по этому вот звонку, а вы идите по коридору, пока не встретите кого-нибудь.

— Меня, вероятно, ждут?

— Провал меня возьми, коли мне это известно! — сказал он.

Тогда я свернул в длинный коридор, которым ходил когда-то в своих грубых башмаках, а он ударил по звонку. Звук еще не успел замереть, когда в конце коридора появилась мисс Сара Покет, на лице которой, по моей милости, остались теперь только желтые и зеленые краски.

— Ах, это вы, мистер Пип? — сказала она.

— Я, мисс Покет. Рад вам сообщить, что мистер Покет и его семья в добром здоровье.

— Но все так же неблагоразумны? — вздохнула Сара, скорбно покачав головой.— Благоразумие им нужнее, чем здоровье. Ах, Мэтью, Мэтью! Дорогу вы знаете, сэр?

Как не знать — я столько раз ходил вверх и вниз по этой темной лестнице. Теперь я поднялся по ней в легких городских штиблетах и, как бывало, постучал в дверь к мисс Хэвишем. Тотчас послышался ее голос:

— Это Пип. Войди, Пип!

Она сидела на своем прежнем месте у туалетного стола, все в том же платье, сложив руки на крюке своей палки, опираясь на них подбородком и устремив взгляд на огонь. А возле нее, держа в руке ненадеванную белую туфельку и внимательно ее разглядывая, сидела нарядная дама, которую я никогда раньше не видел.

— Входи, Пип,— бормотала мисс Хэвишем, не оглядываясь на меня.— Входи, входи. Как поживаешь, Пип! Целуешь мне руку, словно я королева, а?.. Ну?

Она вдруг взглянула на меня, не поднимая головы, и повторила мрачно-шутливым тоном:

— Ну?

— Мне передали, мисс Хэвишем,— начал я, смутившись,— что вы были так добры, что изъявили желание повидаться со мной, и я тотчас же приехал.

— Ну?

Нарядная дама, которую я никогда раньше не видел, подняла голову и лукаво взглянула на меня, и тут я понял, что на меня смотрят глаза Эстеллы. Но она так изменилась, так похорошела, стала такой женственной, так далеко ушла по пути всяческого совершенства, что сам я словно не подвинулся вперед ни на шаг. Я смотрел на нее и с ужасом

чувствовал, что опять превращаюсь в неотесанного деревенского мальчика. О, как остро я в эту минуту ощущал ее недоступность и ту пропасть, что разделяла нас!

Эстелла протянула мне руку. Я, запинаясь, промямлил что-то насчет того, как я рад опять с ней встретиться и как давно ждал этого дня.

— Что скажешь, Пип, очень она изменилась? — спросила мисс Хэвишем, хищно поглядывая на меня и стуча клюкой по стоявшему между нами стулу в знак того, что мне следует на него сесть.

— Когда я вошел, мисс Хэвишем, я не увидел ничего знакомого ни в лице, ни во всем облике; но теперь просто удивительно, как я все больше узнаю прежнюю...

— Как? Прежнюю Эстеллу? — перебила мисс Хэвишем.— Но ведь она была гордая и злая, и ты хотел уйти от нее. Разве не помнишь?

Я пролепетал, что ведь это было давно, что я тогда был глуп, и прочее в том же роде. Эстелла спокойно улыбнулась и сказала, что, по всей вероятности, я был совершенно прав,— в то время она действительно могла хоть кого вывести из терпения.

— А он изменился? — спросила ее мисс Хэвишем.

— Очень,— ответила Эстелла, поглядев на меня.

— Не такой простой и грубый, каким был? — сказала мисс Хэвишем, перебирая ее кудри.

Эстелла засмеялась, взглянула на туфлю, которую держала в руке, снова засмеялась, взглянула на меня и отставила туфлю. Она и теперь обращалась со мной как с мальчишкой, но она меня завлекала.

Мы сидели в дремотном сумраке этой комнаты, дурманящее влияние которой я испытал на себе с такой силой, и я узнал, что Эстелла только что возвратилась из Франции и будет жить в Лондоне. Она была по-старому горда и своевольна, но свойства эти так сливались с ее красотой, что отделить их от ее красоты было бы невозможно, даже грешно,— или мне так казалось. Но поистине невозможно было, видя ее, забыть недостойную жажду богатства и высокого положения, отравившую мне отроческие годы; и вздорные желания, которые заставили меня стыдиться родного дома и Джо; и несчетные грезы, когда лицо ее то мерещилось мне в языках огня, то вместе с искрами взлетало

над наковальней, то, возникнув из ночной тьмы, заглядывало в окошко кузницы, чтобы тут же исчезнуть. Словом, не в моих силах было оторвать ее, будь то в настоящем или в прошедшем, от всего самого сокровенного в моей жизни.

Было решено, что я пробуду у них весь день, переночую в гостинице, а завтра уеду в Лондон. После недолгой беседы мисс Хэвишем отправила нас вдвоем погулять в саду, а потом, когда мы вернемся, сказала она, я, как в былые времена, покатаю ее в кресле.

И вот мы с Эстеллой вошли в старый сад через ту самую калитку, в которую я когда-то решился войти, не ведая, что меня ждет битва с бледным молодым джентльменом, ныне Гербертом; я — трепещущий, влюбленный даже в оборки ее платья; она — спокойная, как богиня, и отнюдь не влюбленная в фалды моего сюртука. Когда мы подошли к месту поединка, она остановилась и сказала:

— Чудачка я была, что спряталась тогда и подглядела вашу драку; но это мне доставило великое удовольствие.

— Вы удостоили меня великой награды.

— Разве? — сказала она небрежно, точно ничего не помнила.— Я знаю только, что терпеть не могла вашего противника за то, что он явился сюда навязывать мне свое общество.

— Сейчас мы с ним друзья,— сказал я.

— Вот как? Впрочем, я вспоминаю, вы, кажется, учитесь у его отца?

— Да.

Мне было неприятно в этом признаваться: выходило, будто я школьник, а она и без того обращалась со мной как с маленьким.

— С тех пор как изменилось ваше положение и ваши виды на будущее, вы изменили и круг знакомых,— сказала Эстелла.

— Это естественно,— сказал я.

— И необходимо,— добавила она надменно.— Теперь вам не пристало знаться с теми, с кем вы были знакомы раньше.

Честно говоря, я сомневаюсь, чтобы в мои намерения еще входило навестить Джо; но если и было у меня такое намерение, то после этих слов оно развеялось как дым.

— В то время,— сказала Эстелла, слегка взмахнув рукой, чтобы пояснить, что она имеет в виду время нашей драки,— вы еще не знали, какая удача вас ждет впереди?

— Понятия не имел.

Какое уверенное превосходство чувствовалось в ней и какая робкая покорность — во мне, когда мы шли рядом по дорожке сада! Но я терзался бы этим обстоятельством куда больше, если бы не видел причины его в том, что именно я, а не кто другой, предназначен ей судьбою.

Сад совсем одичал и заглох, так что бродить по нему было затруднительно, и мы, пройдя раза три взад и вперед, вышли обратно во двор пивоварни. Я показал Эстелле то место, где в самый первый день увидел, как она ходит по старым бочкам, и она, бросив в ту сторону холодный, мимолетный взгляд, сказала: — Да? — Я напомнил ей, как она вышла из дома и дала мне мяса и пива, и она сказала: — Не помню.

— Не помните, как довели меня до слез? — спросил я.

— Нет,— ответила она и, покачав головой, отвернулась.

Она не помнила, ей было все равно, и от этого я снова заплакал, но только в душе,— а это самые горькие слезы.

— Должна вам сказать,— заметила Эстелла, снисходя до меня, как блестящая светская красавица,— что у меня нет сердца; может быть, это имеет отношение и к памяти.

Я выдавил из себя какие-то слова, долженствовавшие означать, что я в этом сомневаюсь. Что она ошибается. Что без сердца невозможна такая красота.

— О,— возразила Эстелла,— у меня, разумеется, есть сердце в том смысле, что его можно пронзить ножом или прострелить. И, конечно, если бы оно перестало биться, я бы умерла. Но вы понимаете, что я хочу сказать. У меня нет никакой мягкости — никаких чувств... сентиментов... глупостей.

Что это мелькнуло в моем сознании, пока она стояла, внимательно глядя на меня? Было ли то что-нибудь подмеченное мною в мисс Хэвишем? Нет. В манере ее, в движениях было то отдаленное сходство с мисс Хэвишем, какое нередко приобретают дети, когда долго живут в уединении с взрослым человеком, и которое впоследствии проявляется в одинаковом выражении двух лиц, как будто бы совсем

между собою несхожих. Но здесь было другое. Я еще раз взглянул на Эстеллу, но, хотя она по-прежнему смотрела на меня, неуловимое исчезло.

Что же это было?

— Я не шучу,— продолжала Эстелла и не то чтобы нахмурилась (на лбу ее не было ни морщинки), но как-то потемнела лицом.— Если нам предстоит часто видеться, лучше вам запомнить это теперь же. Нет! — Она властно пресекла мою попытку заговорить.— Я никого не подарила своей благосклонностью. У меня ее никогда ни к кому не было.

Мы заглянули в давным-давно заброшенную пивоварню, и Эстелла, указав на галерею под крышей, где я увидел ее все в тот же первый день, сказала, что помнит, как забралась туда и видела сверху мою перепуганную физиономию. Следя глазами за движением ее белой руки, я опять испытал то же смутное, неуловимое ощущение и невольно вздрогнул. Заметив это, Эстелла дотронулась до моей руки, и видение тотчас рассеялось и исчезло.

Что же это было?

— Что с вами? — спросила Эстелла.— Вы опять испугались?

— Испугался бы, если бы поверил тому, что вы только что сказали,— ответил я, чтобы перевести разговор на другое.

— Значит, вы мне не поверили? Ну что ж, мое дело было сказать. Скоро вам нужно будет пойти к мисс Хэвишем, она уже, вероятно, ждет вас, хотя, по-моему, это катанье можно было бы теперь бросить заодно с другими старыми привычками. Пройдемся еще раз по саду — и домой. Да, да. Сегодня вы не будете проливать слезы из-за моей жестокости. Вы будете моим пажем и поведете меня.

Ее нарядное платье волочилось по земле. Одной рукой она придержала его, а другой легко оперлась на мое плечо. Мы еще два или три раза обошли запущенный сад, и для меня он наполнился цветеньем. Если бы побуревшие сорняки, что росли из старой стены, были прекраснейшими в мире цветами, я и тогда не сохранил бы о них более лучезарного воспоминания.

Не разница в возрасте отделяла ее от меня,— мы были почти одних лет, хотя она, разумеется, казалась взрослее;

нет, неприступность, сквозившая в ее красоте и во всем ее обращении,— вот что мучило меня в разгар моих восторгов и несмотря на уверенность, что наша покровительница предназначила нас друг для друга. Бедный мальчик!

Наконец мы вернулись в дом, и здесь я с удивлением узнал, что к мисс Хэвишем приезжал по делам мой опекун и будет к обеду. Ко времени нашего возвращения в комнате с полусгнившим накрытым столом зажгли свечи все в тех же сучковатых подсвечниках, и мисс Хэвишем уже сидела в своем кресле, поджидая меня.

Казалось, кресло так и покатилось в прошлое, чуть только мы, как бывало, медленно пустились в путь вокруг остатков свадебного пира. Но в этой траурной комнате, под пристальным взглядом живой покойницы, сидевшей в кресле, Эстелла казалась еще ослепительнее и краше, и я еще более был ею очарован.

Время шло, близился час нашего раннего обеда, и Эстелла должна была покинуть нас, чтобы привести себя в порядок. Я остановил кресло у середины длинного стола, и мисс Хэвишем, протянув из кресла сморщенную руку, сжала ее в кулак и опустила на пожелтевшую скатерть. Когда Эстелла оглянулась с порога, мисс Хэвишем послала ей воздушный поцелуй, вложив в этот жест такую страстность, что мне стало жутко.

Когда же Эстелла ушла и мы остались одни, она повернулась ко мне и зашептала:

— Вот она какая — красивая, нежная, статная. Ты восхищаешься ею?

— Ею нельзя не восхищаться, мисс Хэвишем.

Она обняла меня за шею и низко пригнула к себе мою голову.

— Люби ее, люби ее, люби! Как она с тобой обходится?

Не дав мне ответить (если я вообще мог ответить на такой трудный вопрос), она повторила:

— Люби ее, люби ее, люби! Если она к тебе благоволит — люби ее. Если мучит тебя — все равно люби. Если разорвет твое сердце в клочки — а чем старше человек, тем это больнее,— люби ее, люби ее, люби!

Страшная сила, с какой были произнесены эти слова, потрясла меня. Такое возбуждение ею владело, что я

чувствовал, как напряглись мышцы на исхудалой руке, обвивавшей мою шею.

— Слушай меня, Пип! Я взяла ее к себе, чтобы ее любили. Я растила и воспитывала ее, чтобы ее любили. Я сделала ее такой, какая она есть, чтобы ее любили. Люби ее!

Она без конца повторяла это слово, усомниться в его значении было невозможно, но если бы вместо слова «любить» она твердила: «ненавидеть — мстить — терзать — предать страшной смерти» — в ее устах это едва ли звучало бы бо́льшим проклятьем.

— Я тебе скажу, что такое настоящая любовь,— продолжала она торопливым, неистовым шепотом.— Это слепая преданность, безответная покорность, самоунижение, это когда веришь, не задавая вопросов, наперекор себе и всему свету, когда всю душу отдаешь мучителю... как я!

Слова эти закончились страшным воплем, и я едва успел подхватить ее: она вдруг поднялась с кресла в своем платье-саване и ударила рукой по воздуху, точно готова была с такой же силой удариться головой о стену и упасть замертво.

Все это произошло в несколько секунд. Усаживая ее в кресло, я почувствовал запах душистого мыла и, подняв голову, увидел своего опекуна.

Я, кажется, еще не упоминал о том, что он всегда имел при себе прекрасный шелковый носовой платок внушительных размеров, который бывал ему весьма полезен при исполнении его профессиональных обязанностей. Допрашивая клиента или свидетеля, мистер Джеггерс торжественно разворачивал этот платок, словно собираясь высморкаться, но не сморкался, словно зная, что все равно не успеет это сделать, прежде чем клиент или свидетель себя выдаст; и со страху человеку уже ничего не оставалось, как тут же выдать себя с головой. Сейчас он держал этот красноречивый носовой платок в обеих руках и смотрел на нас. Встретившись со мной глазами, он на мгновение замер в этой позе, словно явственно, хотя и без слов, произнес: «Вот как? Очень странно!», после чего с необычайным эффектом употребил платок по назначению.

Мисс Хэвишем увидела моего опекуна в ту же минуту, что и я. Она, как и все, боялась его; усилием воли она за-

ставила себя успокоиться и заметила ему, что он точен, как всегда.

— Как всегда,— повторил он, подходя к нам.— Здравствуйте, Пип! Покатать вас, мисс Хэвишем? Один круг, да? Так вы, оказывается, здесь, Пип?

Я сказал ему, когда приехал, и объяснил, что мисс Хэвишем вызвала меня повидаться с Эстеллой, на что он ответил: «Ха! Прелестная девица!» — и повез мисс Хэвишем по комнате, одной рукой толкая кресло, а другую опустив в карман панталон, точно в кармане этом было полно всяких секретов.

— Ну-ка, Пип, скажите, как часто вы видели мисс Эстеллу? — спросил он, останавливаясь.

— Как часто?

— Да. Сколько раз? Десять тысяч раз?

— Нет, конечно, меньше.

— Два раза?

— Джеггерс,— вмешалась мисс Хэвишем к великому моему облегчению,— оставьте моего Пипа в покое и ступайте оба обедать.

Он повиновался, и мы ощупью спустились по темной лестнице. В длинном коридоре по дороге к флигелю, отделенному от дома мощеным двориком, он успел меня спросить, часто ли я видел, чтобы мисс Хэвишем пила или ела, причем по своему обыкновению предоставил мне выбирать из двух крайностей — сто раз или один?

Я подумал и ответил: — Никогда.

— И никогда не увидите, Пип,— сказал он, хмуро улыбнувшись.— Она, с тех пор как живет теперешней своей жизнью, никому не разрешает при этом присутствовать. А ночами бродит по дому и ест что придется.

— Простите, сэр,— сказал я,— могу я задать вам один вопрос?

— Можете,— сказал он,— а я могу на него не ответить. Спрашивайте.

— Что фамилия Эстеллы Хэвишем, или...? — Но добавить мне было нечего.

— Или как? — спросил он.

— Ее фамилия Хэвишем?

— Хэвишем.

Тут мы подошли к обеденному столу, где нас ждали

сама Эстелла и Сара Покет. Мистер Джеггерс сел на хозяйское место, Эстелла — против него, а я против моей желто-зеленой приятельницы. Мы отлично пообедали, причем подавала нам горничная, которой я никогда здесь не видел, хотя вполне допускаю, что она находилась в этом таинственном доме еще до того, как я впервые сюда попал. После обеда перед моим опекуном поставили бутылку превосходного старого портвейна (видимо, он хорошо был знаком с этой маркой), и наши дамы нас покинули.

В тот день мистер Джеггерс держался так таинственно, что превзошел по части скрытности даже самого себя. Он и глаза свои от нас скрывал и за весь обед едва ли хоть раз посмотрел в лицо Эстелле. Когда она заговаривала с ним, он слушал и, выслушав, отвечал; но, насколько я мог заметить, не бросил на нее ни единого взгляда. Она же, напротив, часто поглядывала на него с интересом, с любопытством — или, возможно, с недоверием,— но мистер Джеггерс словно и не замечал ничего. В продолжение всего обеда он находил удовольствие в том, что изводил Сару Покет постоянными упоминаниями о моих надеждах на будущее, от чего она все больше желтела и зеленела; впрочем, и здесь он хитрил, притворяясь, будто выпытывает все это у меня, и каким-то образом действительно вынуждая меня говорить в простоте душевной много лишнего.

А когда мы остались вдвоем, я почувствовал, что просто не выдержу — так ясно мой опекун показывал всем своим видом, что располагает секретными сведениями, которых до поры до времени не хочет разглашать. За неимением других жертв, он и вино свое подвергал допросу. Он то поднимал стакан на свет, то подносил ко рту, примеривался, отхлебывал, снова смотрел на свет, нюхал, пробовал, выпивал, наливал снова и снова разглядывал,— и этим привел меня наконец в такое нервное состояние, как будто я был убежден, что вино поверяет ему какие-то порочащие меня тайны. Раза три-четыре я делал слабые попытки вступить с ним в беседу, но тщетно: он так взглядывал на меня, держа в руке стакан и пробуя вино на языке, словно просил меня принять к сведению, что это ни к чему, потому что ответить на мой вопрос он все равно не может.

Мисс Покет, вероятно, пришла к выводу, что в моем присутствии ей грозит опасность сойти с ума и, возможно



даже, сорвать с головы чепец — очень безобразный чепец, нечто вроде муслиновой швабры — и усыпать пол своими волосами (которые явно выросли не у нее на голове). Поэтому она предпочла не появляться в комнате мисс Хэвишем, куда мы направились через некоторое время; и мы сели вчетвером играть в вист. Пока нас не было, мисс Хэвишем придумала убрать волосы, шею и руки Эстеллы самыми драгоценными украшениями со своего туалетного стола; и я заметил, что даже мой опекун посмотрел на Эстеллу из-под мохнатых своих бровей и слегка поднял их при виде ее несравненной красоты в сверкающем многоцветном уборе.

Я не стану распространяться о том, как уверенно он прибирал к рукам все наши козыри и потом ходил с каких-то дрянных троек, против которых ничего не стоили наши короли и дамы; и о том, как ясно я чувствовал, что он видит в нас три простых и неинтересных загадки, давно им разгаданные. Я страдал от другого — от несоответствия между тем холодом, каким веяло от него, и моими чувствами к Эстелле. И дело даже не в том, что я не мог бы без содрогания заговорить с ним о ней; или услышать, как он скрипит сапогами, угрожая ей; или увидеть, как он моет руки, расставшись с ней; нет, не это меня мучило. Восхищаться ею в двух шагах от него, любить ее, когда он был в той же комнате,— вот что было невыносимо!

Мы играли до девяти часов, а кончив, условились, что, когда Эстелла соберется в Лондон, я буду предупрежден о ее приезде и встречу ее на почтовом дворе; а потом я простился с ней, коснулся ее руки и ушел.

Мой опекун остался ночевать в «Кабане», в соседней со мною комнате. Далеко за полночь в ушах у меня звучало заклинание мисс Хэвишем: «Люби ее, люби ее, люби!» Изменив его на свой лад, я без конца твердил в подушку: «Я люблю ее, люблю ее, люблю!» Потом во мне волной поднялась благодарность за то, что Эстелла предназначена мне, бывшему подмастерью кузнеца. Потом я стал думать: если она, как я опасался, отнюдь не испытывает горячей благодарности судьбе за такую милость, то когда же у нее появится ко мне интерес? Когда мне удастся разбудить ее сердце, которое до времени молчит и дремлет?

Увы! Я мнил, что то были высокие, благородные чувства. Но я и не задумался над тем, как мелочно и низко с моей стороны было не пойти к Джо,— я знал, что она отнеслась бы к нему с презрением. Всего один день миновал с тех пор, как Джо исторг у меня слезы; они быстро высохли, да простит меня бог, слишком быстро!

ГЛАВА XXX

Наутро, одеваясь у себя в комнате, я как следует поразмыслил и решил сказать моему опекуну, что Орлик, как мне кажется, не совсем подходит для положения доверенного человека в доме мисс Хэвишем.

— Ну, разумеется, не подходит, Пип,— сказал мой опекун, видимо и на этот счет имевший вполне сложившееся мнение.— Для положения доверенного человека ни один человек не подходит.

То обстоятельство, что и данный случай не явился исключением из общего правила, привело его, казалось, в отличнейшее расположение духа, и он с довольным видом выслушал все, что я мог сообщить ему про Орлика.

— Отлично, Пип,— сказал он, когда я кончил.— Я наведаюсь туда и дам нашему приятелю расчет.

Несколько встревоженный такой решительностью, я предложил повременить и даже намекнул, что, возможно, с нашим приятелем будет не так-то легко поладить.

— О нет,— уверенно возразил мой опекун, для вящей убедительности доставая из кармана свой носовой платок.— Посмотрел бы я, как он вступит в пререкания со *мной*.

Поскольку мы решили вместе возвращаться в Лондон дневным дилижансом и поскольку за завтраком я давился каждым куском от страха, что меня застигнет здесь Памблчук, я поспешил воспользоваться случаем и сказал, что хочу прогуляться и, пока мистер Джеггерс будет занят делом, пойду вперед по лондонской дороге, а его прошу предупредить кучера, чтобы тот остановил карету, когда нагонит меня. Это дало мне возможность сейчас же после завтрака сбежать из «Синего Кабана». Я выбрался переулками

за город, дал хорошего крюку в обход Памблчуковых владений, а затем вышел обратно на Торговую улицу, уже миновав эту западню и чувствуя себя в относительной безопасности.

Занятно было снова пройтись по тихому старому городку, и не было ничего неприятного в том, что время от времени кто-нибудь вдруг узнавал меня и глядел мне вслед. В двух случаях лавочники даже выскакивали на улицу и, забежав вперед, поворачивали обратно, точно забыли что-то дома,— нарочно для того, чтобы встретиться со мною; не знаю, кто в этих случаях притворялся более неудачно, они ли — будто и не думали обо мне, или я — будто ничего не заметил. Однако положение мое было достаточно завидное и вполне меня удовлетворяло, пока волею судьбы я не столкнулся нос к носу с этим отъявленным негодяем — мальчишкой Трэбба.

Оглядывая улицу, я вдруг увидел, что мальчишка Трэбба направляется мне навстречу, подстегивая себя порожним синим мешком. Полагая, что мне более всего приличествует окинуть его невозмутимо-равнодушным взором, рассчитанным к тому же на обуздание его не в меру озорного нрава, я придал своему лицу вышеописанное выражение и уже готов был поздравить себя с успехом, как вдруг колени у мальчишки Трэбба подогнулись, волосы встали дыбом, шапка слетела с головы, и он, шатаясь и дрожа, сбежал на мостовую, где с криком: «Держите меня! Я боюсь!» — забился в притворном припадке, словно сраженный и уничтоженный моим великолепием. Когда же я поравнялся с ним, он громко застучал зубами и униженно распростерся в пыли.

Это было трудно перенести, но это еще были только цветочки. Не прошел я и двухсот шагов, как, к невыразимому своему удивлению, негодованию и ужасу, опять увидел впереди мальчишку Трэбба. Он вышел мне навстречу из-за угла. Синий мешок он нес на плече, глаза выражали честность и трудолюбие, энергическая походка свидетельствовала о неукоснительном намерении проследовать прямо на работу в хозяйскую лавку. Завидев меня, он словно прирос к месту, а потом на него опять накатило; но теперь он совершал вращательное движение — шатаясь, описывал вокруг меня круги, и его согнутые колени и воз-

детые руки словно молили о пощаде. Кучка прохожих приветствовала его мучения радостными возгласами, а я не знал, куда деваться от конфуза.

Не успел я после этого дойти до почты, как мальчишка Трэбба снова выскочил на меня из какой-то засады. Теперь он был неузнаваем: синий мешок небрежно свисал с его плеча, наподобие моей шинели, и он, гордо выступая, двигался мне навстречу по другому тротуару в сопровождении целой оравы восхищенных приятелей, которым время от времени заявлял, величественно помахивая рукой: «Я вас не знаю!» Невозможно передать, какое огорчение и досаду я испытал, когда мальчишка Трэбба, подойдя ближе, подтянул кверху воротничок сорочки, подкрутил вихор, упер руку в бок и жеманно прошествовал мимо меня, вихляя локтями и задом и сквозь зубы цедя по адресу своей свиты: «Я вас не знаю, не знаю; честное слово, первый раз вижу». В следующую минуту он закричал петухом, и это оскорбительное кукареканье разобиженной птицы, знавшей меня еще кузнецом, неслось мне вслед и тогда, когда я уже перешел через мост, и довершило позор, которым ознаменовался мой уход из города, или, лучше сказать — изгнание меня в открытое поле.

Но даже сейчас я не знаю, какие меры я мог бы в то время принять против мальчишки Трэбба,— разве что убить его на месте. Сцепиться с ним посреди улицы или потребовать от него в наказанье чего-либо меньшего, чем кровь его сердца, было бы равно бесполезно и унизительно. К тому же этого мальчишку вообще невозможно было обидеть: неуязвимый, верткий, как ящерица, он, в какой угол его ни загони, умел выскользнуть на волю между ногами преследователя да еще осыпать его визгливыми насмешками. Все же на следующий день я написал мистеру Трэббу, что мистер Пип не может в дальнейшем пользоваться услугами человека, который способен до такой степени забыть свой долг перед обществом, что держит на работе мальчишку, своим поведением вызывающего у каждого порядочного джентльмена чувство *отвращения*.

Дилижанс, в котором сидел мистер Джеггерс, своевременно нагнал меня, и я снова залез на козлы и прибыл в Лондон живой, но отнюдь не невредимый, потому что сердце мое было ранено. Немедленно по приезде я послал

Джо искупительную треску и бочонок устриц (в утешение за то, что не побывал у него сам), а затем отправился в Подворье Барнарда.

Герберт, которого я застал за обедом, состоящим из холодного мяса, радостно приветствовал меня. Я отрядил Мстителя в трактир за подкреплением и почувствовал, что должен сегодня же открыться моему лучшему другу. Но вести задушевные разговоры, пока Мститель находился в прихожей (являвшейся по существу не чем иным, как преддверием к замочной скважине), было немыслимо, и я послал его в театр. Едва ли нужно лучшее доказательство моего рабского подчинения этому тирану, чем жалкие уловки, к которым я прибегал, чтобы как-нибудь занять его время. С горя я иногда доходил до такой низости, что посылал его к воротам Гайд-парка посмотреть, который час.

После обеда мы уселись у камина, положив ноги на решетку, и я сказал:

— Дорогой мой Герберт, я должен открыть тебе одну тайну.

— Дорогой мой Гендель,— отвечал он,— поверь, что я отнесусь к ней с должным уважением.

— Это касается меня, Герберт,— сказал я,— и еще одной особы.

Герберт скрестил ноги, нагнул голову набок и устремил взгляд на огонь, но через некоторое время, не слыша продолжения, перевел взгляд на меня.

— Герберт,— сказал я, положив руку ему на колено,— я люблю... я обожаю... Эстеллу.

Вместо того чтобы ахнуть от изумления, Герберт отозвался спокойно:

— Да. Ну и что?

— Как, Герберт? Это и весь твой ответ? «Ну и что?»

— Я говорю, ну и что дальше? — пояснил Герберт.— Это-то я давно знаю.

— Откуда ты узнал?

— Откуда? Да от тебя, Гендель.

— Я ничего тебе не говорил.

— Не говорил! Ты мне не говоришь, когда ходишь к парикмахеру, но я-то замечаю, что ты подстригся. Ты обожаешь ее с тех пор, как я тебя помню. Ты привез сюда свое обожание вместе со своим чемоданом. Не говорил!

Да ты все равно что целыми днями об этом говоришь. Когда ты мне рассказывал свою историю, было ясно, что ты обожаешь ее с первого дня, как увидел, хоть и был тогда чрезвычайно молод!

— Ну хорошо,— сказал я, не без удовольствия принимая эту новую для меня версию,— значит, я и не переставал ее любить. А теперь она вернулась в Англию такой красавицей, что и вообразить невозможно. И я ее вчера видел. И если уж я раньше ее любил, то теперь люблю вдвое больше.

— В таком случае, Гендель, тебе очень повезло, что она предназначена для тебя. Ведь, кажется, можно сказать, не касаясь запрещенной темы, что ни у тебя, ни у меня это не вызывает сомнений. А как смотрит Эстелла на обожание и все такое прочее, тебе известно?

Я мрачно покачал головой.

— О, она бесконечно далека от меня.

— Терпение, дорогой мой Гендель, времени много, торопиться некуда. Но ты хотел сказать мне еще что-то?

— Мне совестно в этом признаться,— отвечал я,— хотя думать-то я все равно это думаю. Ты говоришь — мне повезло. Ну, конечно, повезло. Еще вчера я был подмастерьем кузнеца, а сегодня я... впрочем, что я такое сегодня?

— Скажем, если тебе не хватает слов,— славный юноша,— с улыбкой отвечал Герберт и дружески похлопал меня по руке.— Славный юноша, в котором забавно смешались пылкость и нерешительность, смелость и неверие в свои силы, мечтательность и жажда действий.

Я задумался о том, правда ли являю собой такую смесь, и, хотя не мог вполне согласиться с Гербертом, все же решил, что спорить не стоит.

— Когда я спрашиваю, что я такое сегодня, Герберт,— продолжал я,— то имею в виду свои мысли. Ты говоришь, мне повезло. Я знаю, что сам я ничего не сделал, чтобы возвыситься в жизни, что это все — судьба: конечно, мне удивительно повезло. И все-таки, когда я думаю об Эстелле...

(— А ты о ней думаешь всегда,— вставил Герберт, глядя в огонь, и я подумал, какой он добрый и как понимает меня!)

— ...тогда, дорогой мой Герберт, просто не могу тебе сказать, до чего неуверенным я себя чувствую, до чего подверженным тысяче случайностей. Так же, как и ты, обходя запрещенную тему, я все же могу сказать, что все мое будущее зависит от постоянства одного человека (которого я не буду называть). И даже если представить себе самое лучшее, как смутно и неприятно на душе от того, что надежды мои так неопределенны!

Сказав это, я свалил с души большую тяжесть, которая, в сущности, угнетала меня всегда, а со вчерашнего дня — в особенности.

— Знаешь, Гендель,— возразил Герберт своим бодрым, веселым тоном,— мне кажется, что ты загрустил под влиянием нежной страсти, а потому смотришь в зубы дареному коню, да еще через лупу. И что, сосредоточив на них все свое внимание, ты упустил из виду одну из лучших статей этого животного. Не ты ли мне рассказывал, как твой опекун мистер Джеггерс в самом начале заверил тебя, что ты располагаешь кое-чем помимо надежд? Да если бы даже он не говорил этого,— хотя я признаю, что это сильно меняло бы дело,— неужели ты думаешь, что кто-кто, а мистер Джеггерс принял бы над тобой опеку, не будь он уверен в том, что делает?

Я сказал, что это, несомненно, веский довод; но (как часто поступают люди в подобных случаях) сказал так, точно нехотя соглашался с ним в угоду истине,— тогда как на самом деле меньше всего склонен был это отрицать!

— Еще бы не веский довод,— подхватил Герберт,— лучшего и не придумаешь; ну, а в остальном придется тебе ждать сигнала от твоего опекуна, а ему — от своего доверителя. Не успеешь ты оглянуться, как тебе стукнет двадцать один год, и тогда, возможно, ты узнаешь что-нибудь новенькое. Или, во всяком случае, после этого тебе меньше останется ждать, потому что когда-нибудь все должно же выясниться!

— Какой у тебя бодрый взгляд на жизнь! — воскликнул я с чувством благодарности и восхищения.

— А иначе нельзя,— сказал Герберт,— ведь больше-то у меня ничего нет. Между прочим, должен сознаться, что честь моего разумного замечания принадлежит не

мне, а моему отцу. Единственное, что он сказал по поводу твоей истории, было: «Это дело верное, иначе мистер Джеггерс не взялся бы за него». А теперь, прежде чем добавить еще что-нибудь о моем отце или о сыне моего отца и ответить откровенностью на откровенность, я хочу ненадолго предстать перед тобой в роли очень неприятного, прямо-таки отвратительного собеседника.

— Это тебе не удастся.

— Еще как удастся! Раз, два, три — начинаем. Вот что, милый Гендель.— Несмотря на шутливый тон, он говорил очень серьезно.— С тех пор как мы уселись с тобой здесь так уютно, я все думаю: раз твой опекун ни разу не упоминал об Эстелле, не может быть, чтобы она была условием для получения тобою наследства. Я ведь правильно тебя понял, он никогда не упоминал о ней, ни прямо, ни косвенно? Никогда, например, не намекал, что у твоего покровителя есть хотя бы отдаленные планы относительно твоей женитьбы?

— Никогда.

— Имей в виду, Гендель, зеленого винограда у меня и в мыслях нет, клянусь честью. Но скажи, раз ты с ней не связан, не мог бы ты оторваться от нее?.. я тебя предупредил, что будет неприятно.

Я отвернулся, потому что, словно ветер с моря, бушующий над нашими болотами, на меня внезапным порывом налетело чувство, подобное тому, что смирило мою душу ранним утром, когда я уходил из кузницы, когда так торжественно поднимался туман и я потрогал рукою старый дорожный столб. На несколько минут воцарилось молчание.

— Да, но, милый мой Гендель,— продолжал затем Герберт так, словно мы и не переставали говорить,— это очень серьезно, раз пустило такие глубокие корни в груди мальчика, столь романтического и по природе своей и в силу обстоятельств. Подумай, как она воспитана, подумай о мисс Хэвишем. Подумай о том, что такое она сама (вот теперь я тебе противен и ты меня ненавидишь). Это может окончиться очень плохо.

— Знаю, Герберт,— сказал я, все не поворачивая головы,— но я ничего не могу сделать.

— Не можешь оторваться?

— Нет. И думать нечего.

— Даже попробовать не можешь, Гендель?

— Нет. И думать нечего.

— Ну, что ж поделаешь! — Герберт встал, встряхнулся, словно со сна, и помешал в камине.— Теперь я постараюсь опять стать приятным собеседником.

И он обошел комнату, поправил занавески, расставил по местам стулья, сложил в стопки раскиданные повсюду книги, заглянул в прихожую, обследовал ящик для писем, затворил дверь и, вернувшись к камину, снова сел на свой стул и обнял обеими руками левое колено.

— Я хотел сказать несколько слов про своего отца и про сына своего отца. Боюсь, Гендель, сыну моего отца незачем упоминать, что хозяйство в доме моего отца поставлено далеко не образцово.

— Но ведь на всех хватает,— сказал я, лишь бы сказать что-нибудь ему в утешение.

— Да, да. Так, наверно, говорит и тряпичник, когда бывает доволен сбором, и старьевщик в своей лавчонке. Нет, серьезно, Гендель,— ведь это серьезный вопрос,— ты не хуже меня знаешь, как обстоит дело. Было, вероятно, время, когда отец еще не махнул на все рукой, но если и было, то давно прошло. Разреши тебя спросить, замечал ли ты в своих родных краях такое явление, что дети от неудачных браков всегда особенно торопятся вступить в брак?

Донельзя удивленный этим вопросом, я вместо ответа тоже спросил:

— А разве это так?

— Не знаю,— сказал Герберт,— я именно и хочу выяснить. Потому что в нашей семье это безусловно так. Разительным примером тому была моя сестра Шарлотта, следующая за мной,— она, бедняжка, умерла, не дожив до четырнадцати лет. И с маленькой Джейн та же история. Послушать, как твердо она намерена поскорее выйти замуж, можно подумать, что вся ее короткая жизнь прошла в созерцании семейного счастья. Алик еще в платьицах ходит, а уже присмотрел себе подругу жизни где-то в Кью. В общем, мы, кажется, все помолвлены, кроме разве самого младшего.

— Значит, и ты тоже? — спросил я.

— Да, и я тоже,— сказал Герберт,— но это тайна.

Я заверил его, что буду нем, как могила, и просил посвятить меня в подробности. Он так разумно и с таким чувством высказался о моей слабости, что мне хотелось услышать что-нибудь о его силе.

— Можно узнать, как ее зовут? — спросил я.

— Зовут ее Клара,— сказал Герберт.

— Она живет в Лондоне?

— Да. Пожалуй, следует упомянуть,— продолжал Герберт, на которого, казалось, нашло какое-то кроткое уныние, чуть только мы коснулись этой интересной темы,— что ее родословная не вполне отвечает вздорным требованиям моей матери. Отец ее занимался поставкой провианта на пассажирские корабли. Был чем-то вроде судового эконома.

— А теперь? — спросил я.

— Теперь он инвалид,— ответил Герберт.

— И живет на...?

— На втором этаже,— сказал Герберт, что отнюдь не было ответом на мой вопрос, поскольку я имел в виду его средства к существованию.— Я его никогда не видел, потому что, с тех пор как я знаком с Кларой, он не выходит из своей комнаты. Но слышу я его постоянно. Он поднимает невероятный шум — ревет, как зверь, и стучит об пол каким-то странным орудием.— Герберт взглянул на меня, весело рассмеялся, и к нему на время вернулось его обычное оживление.

— И ты не рассчитываешь его увидеть?

— Как же, все время рассчитываю,— отвечал Герберт.— Я, чуть только его услышу, так и жду, что он провалится к нам через потолок. Вот не знаю, сколько времени балки выдержат.

Он снова весело рассмеялся, а потом опять приуныл и сказал, что намерен жениться на этой молодой особе, как только начнет сколачивать капитал. И тут же привел исчерпывающее объяснение своей меланхолии:

— Ведь не может человек жениться, пока он еще осматривается.

Некоторое время мы молча глядели на огонь, и, задумавшись о том, какой трудной задачей представляется порою сколотить этот самый капитал, я сунул руки в кар-

маны. Нечаянно нащупав в одном из них скомканную бумажку, я развернул ее и обнаружил, что это — полученная мною от Джо афиша, возвещающая о спектакле с участием прославленного провинциального актера-любителя, нового Росция.

— Ах ты черт возьми! — невольно произнес я вслух.— Это же на сегодняшний вечер!

Мгновенно ход наших мыслей изменился, решено было немедля отправиться в театр. И вот, после того как я поклялся всеми возможными и невозможными способами помогать и содействовать Герберту в его сердечных делах, а Герберт сообщил мне, что его нареченная уже знает меня по его рассказам и скоро я буду ей представлен, мы скрепили взаимные излияния горячим рукопожатием, задули свечи, подбавили угля в камин, заперли дверь и пустились в путь, на поиски мистера Уопсла и Дании.

ГЛАВА XXXI

Когда мы прибыли в Данию, король и королева этой державы уже сидели в креслах, водруженных на кухонный стол. Царственную чету окружала вся датская знать, а именно: родовитый юноша в замшевых сапогах какого-то необычайно рослого предка; убеленный сединами лорд с грязным лицом, который, по-видимому, вышел из низов, будучи уже в летах; и датское рыцарство в белых шелковых чулках и с гребнем в прическе, судя по всему — особа женского пола. Мой гениальный земляк стоял несколько в стороне, скрестив руки на груди, и мне показалось, что его кудри и высокое чело могли бы выглядеть много правдоподобнее.

По ходу действия выяснились кое-какие любопытные обстоятельства. Так, покойный король Дании, видимо, сильно кашлял в день своей кончины и не только унес этот недуг с собой в могилу, но и принес обратно в мир живых. Далее, жезл августейшего духа был обернут неким потусторонним манускриптом, к которому он время от времени обращался, выказывая при этом изрядное бес-

покойство и то и дело теряя нужное место, совсем как обыкновенный смертный. Этим, вероятно, и был вызван раздавшийся с галерки совет: «Погляди на обороте!», который его очень обидел. Следует также упомянуть, что при своем появлении властительная тень всякий раз делала вид, будто отсутствовала очень долго и пришла невесть откуда, хотя не трудно было убедиться, что она вылезает из отверстия в стене. Поэтому в публике она вызывала не столько ужас, сколько смех. Королева же Дании, миловидная толстушка, хотя, в согласии с исторической правдой, несомненно, бесстыдная,— по мнению публики, не в меру разукрасила себя медью: широкая полоса этого металла, соединяясь с диадемой, поддерживала ее подбородок (словно ее мучила монаршая зубная боль); такая же полоса обхватывала ее талию, и такие же браслеты сверкали на руках. За это ее во всеуслышание прозвали «литаврой». Родовитый юноша в дедовских сапогах слишком часто менял обличье, изображая чуть ли не одновременно странствующего актера, могильщика, священника, матроса и того незаменимого человека на придворных поединках, которому опытный глаз и глубокое знание дела позволяют безошибочно судить о самых спорных ударах. Все это в конце концов вывело публику из терпения, и когда он, переодевшись духовным лицом, отказался отпевать покойницу, общее возмущение разразилось целым градом орехов. Офелия же теряла рассудок так медленно и под такую тягучую музыку, что, когда она наконец сняла свой белый кисейный шарф, сложила его и закопала в землю, какой-то раздражительный мужчина в первом ряду галерки, уже давно студивший нос о железный столбик, угрюмо проворчал: «Ну, слава богу, ребеночка уложили спать, теперь можно и поужинать!» — замечание по меньшей мере неуместное.

Однако больше всего язвительных насмешек и шуток досталось моему злосчастному земляку. Всякий раз как этот нерешительный принц задавал вопрос или высказывал сомнение, зрители спешили ему на помощь. Так, например, в ответ на вопрос, «достойней ли судьбы терпеть удары», одни кричали во весь голос «да», другие «нет», третьи, не имевшие своего мнения, предлагали погадать на бобах, так что завязался целый диспут. Когда он спро-

сил, «к чему таким тварям, как он, ползать между небом и землею», раздались громкие одобрительные возгласы: «Правильно!» Когда он появился со спущенным чулком (спадавшим, по обычаю, одной аккуратной складкой, каковой эффект, должно быть, достигается при помощи утюга), в публике зашел разговор о том, какие бледные у него икры и не потому ли это, что он так испугался духа. Как только он взял в руки флейту,— очень похожую на ту маленькую, черненькую, на которой только что играли в оркестре, а затем сунули кому-то в боковую дверь,— публика хором потребовала, чтобы он сыграл «Правь, Британия!». Когда же он посоветовал актеру «не пилить воздуха этак вот руками», сердитый мужчина на галерке сказал: «Сам хорош, хуже его размахался!» И я должен с прискорбием добавить, что каждый раз мистера Уопсла встречали громкими взрывами хохота.

Но самые тяжкие испытания ждали его на кладбище, представлявшем собою девственный лес, на одном конце которого помещалось нечто вроде прачечной с крестом на крыше, а на другом калитка. При виде мистера Уопсла, входящего в калитку в широчайшем черном плаще, кто-то громко предостерег могильщика: «Эй, друг, вон гробовщик идет, задаст он тебе, если не будешь работать как следует!» Мне кажется, любому жителю цивилизованного государства следовало бы знать, что мистер Уопсл, пофилософствовав над черепом и положив его наземь, просто не мог не обтереть руки о белую салфетку, извлеченную из-за пазухи; однако даже этот невинный и в некотором роде обоснованный поступок не прошел ему даром, а сопровождался выкриком: «Эй, официант!» Прибытие тела (в пустом черном ящике с плохо пригнанной крышкой) явилось сигналом для всеобщего ликования, которое еще возросло, когда среди факельщиков был обнаружен чей-то знакомый. Ликование сопутствовало мистеру Уопслу и во время его схватки с Лаэртом на краю оркестра и могилы, а затем уже не прекращалось до тех пор, пока он не сбросил мертвого короля с кухонного стола и не умер сам постепенно, начиная с лодыжек.

Вначале мы предприняли было несколько слабых попыток похлопать мистеру Уопслу, но вскоре убедились, что дело это безнадежное. Поэтому, хотя нам было его и

очень жаль, мы махнули рукой и только смеялись до упаду. Я смеялся, буквально не переставая, до того все это было уморительно; а между тем меня не покидало смутное ощущение, что в декламации мистера Уопсла было что-то поистине возвышенное,— ощущение, вызванное, думается мне, не столько детскими воспоминаниями, сколько тем, что декламировал он очень медленно, очень скучно, с очень резкими переходами от воя к шепоту и очень непохоже на то, как выражают свои мысли и чувства нормальные люди в естественных условиях жизни и смерти. Когда трагедия была доиграна до конца и мистера Уопсла вызвали и освистали, я сказал Герберту:

— Скорее бежим домой, не то еще встретим его.

Мы со всей поспешностью спустились вниз, но опоздали: стоявший у входа высокий еврей с неестественно густыми, точно намалеванными бровями еще издали приметил меня и, когда мы подошли к нему, справился:

— Мистер Пип с приятелем?

Пришлось сознаться, что так оно и есть.

— Мистер Вальденгарвер,— сказал человек,— был бы счастлив удостоиться чести.

— Вальденгарвер? — переспросил я, но Герберт шепнул мне на ухо: — Это, наверно, Уопсл.

— Ах, так! — сказал я.— Да, конечно. Вы нас проводите?

— Сюда, пожалуйста.— Когда мы очутились в узком коридоре, он обернулся и спросил: — Как он, по-вашему, выглядел? Это я его одевал.

На мой взгляд, он больше всего напоминал бюро похоронных процессий, к тому же огромный датский орден на голубой ленте — не то звезда, не то солнце — придавал ему такой вид, словно он застрахован в каком-то необыкновенном обществе страхования от огня. Но я сказал, что выглядел он очень эффектно.

— Когда он подошел к могиле,— заметил наш провожатый,— он прекрасно использовал плащ. Но, насколько я мог судить из-за кулис, чулки он показал недостаточно, особенно когда увидел духа в покоях королевы.

Я скромно согласился с ним, и тут мы ввалились через низенькую замызганную дверь в какой-то жарко натоп-

ленный упаковочный ящик, где мистер Уопсл совлекал с себя датские одежды. Только оставив дверь, или крышку ящика, открытой настежь, мы кое-как уместились в нем и могли, выглядывая из-за спины друг друга, любоваться этим интересным зрелищем.

— Джентльмены,— сказал мистер Уопсл,— я счастлив вас видеть. Надеюсь, мистер Пип, вы не посетуете, что я послал за вами. Я имел честь знавать вас в былые времена, а Театр, по общему признанию, во все века пользовался покровительством людей богатых и знатных.

Тем временем мистер Вальденгарвер, обливаясь потом, пытался выбраться из траурного одеяния принца Гамлета.

— Чулки стягивайте сверху, мистер Вальденгарвер,— посоветовал владелец костюма,— не то они лопнут. А лопнут чулки — лопнет тридцать пять шиллингов. Таких чулок Шекспир еще никогда не удостаивался. Посидите-ка спокойно, я сам ими займусь.

С этими словами он опустился на колени и стал так рьяно сдирать кожу со своего безоружного пленника, что, когда первый чулок оказался у него в руках, тот, несомненно, упал бы навзничь вместе со стулом, если бы только было куда падать.

Я не решался заговорить о представлении, но тут мистер Вальденгарвер спросил с самодовольным видом:

— Ну, джентльмены, ничего сошел спектакль? Как вам показалось из зрительного зала?

Герберт ответил, незаметно толкая меня в спину:

— Превосходно.

Тогда и я сказал:

— Превосходно.

— Что вы скажете о моем толковании роли, джентльмены? — спросил мистер Вальденгарвер чуть не покровительственным тоном.

Герберт ответил (снова толкая меня в спину):

— Очень своеобразно и внушительно.

Тогда и я смело повторил, точно высказал совершенно новую мысль и на ней настаивал:

— Очень своеобразно и внушительно.

— Я ценю вашу похвалу, джентльмены,— сказал мистер Вальденгарвер с большим достоинством, несмотря

на то, что был в эту минуту прижат к стене и обеими руками держался за сидение стула.

— Но в вашем толковании Гамлета есть одна ошибка, мистер Вальденгарвер,— сказал костюмер, по-прежнему стоя на коленях.— Имейте в виду, мне все равно, что говорят другие. Это я вам говорю. Вы слишком часто показываете ноги в профиль. Последний Гамлет, которого мне довелось одевать, тоже допускал на репетициях эту ошибку, но потом я ему посоветовал налепить на ноги, пониже колен, по большой красной облатке, а на последней репетиции я пошел в зал, сэр, сел в кресла и, чуть он поворачивался в профиль, кричал ему: «Облаток не видно!» Так, поверьте, на спектакле его толкование было просто безупречно.

Мистер Вальденгарвер улыбнулся мне, словно говоря: «Преданный слуга — что с него взять», а затем сказал вслух:

— Мое исполнение кажется им здесь слишком классическим и отвлеченным; но со временем они поймут, они поймут.

Мы с Гербертом в один голос подтвердили, что они непременно поймут.

— Вы обратили внимание, джентльмены,— сказал мистер Вальденгарвер,— что какой-то человек на галерее пытался осмеять службу, то есть, я хочу сказать — представление?

Мы лицемерно ответили, что действительно припоминаем, будто заметили такого человека. Я добавил:

— Наверно, он был пьян.

— О нет, сэр,— сказал мистер Уопсл.— Он не был пьян. Тот, кто его подослал, не допустил бы этого. Тот, кто его подослал, не позволил бы ему напиться.

— А вы знаете, кто его подослал? — спросил я.

Мистер Уопсл медленно и торжественно закрыл глаза, после чего так же медленно и торжественно открыл их.

— Джентльмены,— сказал он,— вы, вероятно, обратили внимание на пошлого, невежественного осла со скрипучим голосом и не столько злобным, сколько тупым выражением лица, который, нарушая весь ансамбль (вы мне простите французское слово), нельзя даже сказать чтобы «исполнял», но читал роль Клавдия, короля

датского. Он-то и подослал его, джентльмены. Такова наша профессия!

Не знаю, право, больше ли я жалел бы мистера Уопсла, будь он в полном отчаянии, но и сейчас мне было так жалко его, что я воспользовался минутой, когда он, пристегивая подтяжки, повернулся к нам спиной,— тем самым вытеснив нас в коридор,— и спросил Герберта, как он думает, не пригласить ли нам его поужинать? Герберт сказал, что это было бы доброе дело; тогда я пригласил его, и он, закутавшись до самых бровей, отправился с нами к Барнарду, где мы постарались принять его как можно радушнее, и просидел у нас до двух часов ночи, упиваясь своими успехами и развивая свои планы. Я уже не помню точно, в чем они состояли, но в общем было ясно, что он намерен сначала возродить Театр, а затем разом прикончить его, поскольку со смертью мистера Уопсла он понесет страшную и притом невозместимую утрату.

Наконец, совсем разбитый, я лег спать и долго думал об Эстелле, а потом видел во сне, что все мои надежды пошли прахом и я должен не то обвенчаться с Гербертовой Кларой, не то играть Гамлета, причем духа играет мисс Хэвишем и на нас смотрят двадцать тысяч человек, а я не знаю и двадцати слов своей роли.

ГЛАВА XXXII

Однажды во время моих занятий с мистером Покетом мне принесли письмо, при одном взгляде на которое я страшно взволновался: почерк на конверте был мне незнаком, но я тотчас угадал, чья это рука. В начале письма не стояло ни «Дорогой мистер Пип», ни «Дорогой Пип», ни «Дорогой сэр»,— оно начиналось без всякого обращения:

«Я приеду в Лондон послезавтра дневным дилижансом. Кажется, было условлено, что Вы должны меня встретить? У мисс Хэвишем, во всяком случае, создалось такое впечатление, и она распорядилась, чтобы я Вам написала. Она посылает Вам поклон. *Эстелла*».

Будь у меня время, я, вероятно, заказал бы себе по этому случаю несколько новых костюмов; но времени не было, так что пришлось удовольствоваться старыми. Я мгновенно лишился аппетита и не знал ни минуты покоя до наступления назначенного дня. Впрочем, и в этот день волнение мое не улеглось, а напротив, возросло еще больше, и я начал кружить около почтового двора на углу Вуд-стрит и Чипсайда чуть ли не раньше, чем дилижанс отъехал от «Синего Кабана». Я прекрасно это знал, но все же чувствовал, что на всякий случай мне следует наведываться на почтовый двор по крайней мере каждые пять минут; и в таком сумасшедшем состоянии я уже провел полчаса из тех четырех или пяти часов, которые мне предстояло здесь прождать, как вдруг увидел перед собой Уэммика.

— А-а, мистер Пип! — сказал он.— Мое почтенье! Вот не думал, что вы можете выбрать для прогулок эти места.

Я объяснил, что должен встретить почтовую карету, и справился, как дела в замке и как здоровье Престарелого.

— Благодарю вас, все обстоит превосходно,— сказал Уэммик,— а Престарелый так прямо цветет. Скоро ему исполнится восемьдесят два года. Я подумываю о том, чтобы произвести в его честь салют — восемьдесят два выстрела,— если только соседи не будут против и если моя пушка выдержит. Впрочем, это разговор не для Лондона. Как вы думаете, куда я иду?

— В контору,— сказал я, потому что он явно шел в том направлении.

— Вы почти угадали,— сказал Уэммик.— Я иду в Ньюгет. У нас сейчас на очереди дело о хищении в банке; я уже заглянул по дороге на место действия, а теперь должен кое о чем побеседовать с нашим клиентом.

— Ваш клиент и совершил хищение? — спросил я.

— Что вы, господь с вами,— ответил Уэммик необычайно сухо.— Но его в этом обвиняют. Обвинить можно кого угодно. С тем же успехом могли бы обвинить и вас и меня.

— Но ведь не обвинили,— заметил я.

— Ого! — сказал Уэммик, легонько ткнув меня в

грудь указательным пальцем.— С вами, мистер Пип, надо держать ухо востро. Может, хотите зайти в Ньюгет? Время у вас есть?

У меня было так много времени, что его предложение пришлось как нельзя более кстати, несмотря на то что оно вынуждало меня отказаться от намерения не сводить глаз с конторы дилижансов. Смущенно пробормотав, что я только выясню, успею ли проводить его, я зашел на почтовый двор и долго испытывал терпение тамошнего клерка, пока не узнал совершенно точно, начиная с какой минуты можно ожидать прибытия дилижанса,— хотя знал это не хуже его. Потом я вернулся к мистеру Уэммику, посмотрел на часы, притворно удивился, что еще так рано, и принял его приглашение.

Очень скоро мы достигли Ньюгета и через караульную, на голых стенах которой рядом с тюремными правилами висело несколько пар кандалов, прошли во внутренний двор. В то время тюрьмы были в большом небрежении; еще далеко было до того чрезмерного крена в обратную сторону, какой обычно вызывается общественными злоупотреблениями и служит самым тяжким и долгим возмездием за прошлые грехи. Поэтому условия жизни и довольствование уголовных преступников было отнюдь не лучше, чем у солдат (не говоря уже о бедняках), и они лишь изредка поджигали свои тюрьмы с похвальной целью добиться более вкусного супа. Мы попали как раз ко времени свиданий. По тюремному двору ходил разносчик с пивом; заключенные, столпившись за решеткой, покупали пиво и переговаривались с посетителями; и все здесь было до крайности грязно, уродливо, неустроенно и уныло.

Мне пришло в голову, что Уэммик расхаживает среди заключенных точно садовник среди своих растений. Впервые эта мысль мелькнула у меня, когда он, увидев новый росток, взошедший ночью, приветствовал его словами: «Что это, капитан Том, и вы здесь? Ну-ну!» — и тут же добавил: «А это кто там, за цистерной, Черный Билл? Я вас уже месяца два не видел; как поживаете?» Равным образом, когда он останавливался у решетки и, накрепко закрыв свой почтовый ящик, выслушивал — один на один — тревожный шепот своих питомцев, у него был та-

кой вид, словно он отмечает, хорошо ли они подросли с прошлого раза и есть ли надежда, что они распустятся пышным цветом в день суда.

Он пользовался здесь большой популярностью, и я убедился что он представляет собой нечто вроде общедоступного издания мистера Джеггерса; впрочем, отблески величия мистера Джеггерса падали и на него, и это обязывало держаться с ним в известных границах. Узнав того или иного клиента, он считал вполне достаточным кивнуть головой, обеими руками поправить на голове шляпу и, сунув руки в карманы, еще крепче закрыть свой почтовый ящик. Раз или два произошла заминка с получением гонорара; в этих случаях мистер Уэммик отодвигался как можно дальше от недостаточной суммы, которую ему протягивали, и говорил:

— Не просите, милейший. Я лицо подчиненное. Я не могу их принять. Нет смысла спорить с подчиненным лицом. Если вы, милейший, не можете набрать сколько нужно, адресуйтесь лучше к другому стряпчему; вы же знаете, стряпчих в Лондоне более чем достаточно. То, что не подошло одному, вполне возможно подойдет другому. Это я вам советую как подчиненное лицо. Не тратьте слов понапрасну. К чему? Ну-с, кто следующий?

Так мы расхаживали по оранжерее Уэммика, пока он не сказал, обернувшись ко мне:

— Обратите внимание на человека, которому я пожму руку.

Я не нуждался в таком предупреждении,— до этого он не пожал руку ни одному из заключенных.

В ту же минуту за решеткой появился очень прямой, осанистый мужчина (я как сейчас его вижу); на нем был потертый сюртук оливкового цвета, по лицу, от природы румяному, разливалась какая-то неестественная бледность, глаза блуждали по сторонам, как он ни старался смотреть прямо перед собой. Вскинув руку к шляпе, покрытой слоем блестящего жира, точно остывшая похлебка, он полусерьезно, полушутливо отдал нам честь.

— Приветствую вас, полковник! — сказал Уэммик.— Как чувствуете себя, полковник?

— Хорошо, мистер Уэммик.

— Было сделано все, что возможно, полковник, но улики оказались слишком существенными, даже для нас.

— Да, сэр, улики существенные... но мне ничего не страшно.

— Разумеется,— успокаивающе сказал Уэммик,— вам ничего не страшно.— И добавил, обращаясь ко мне: — Служил его величеству королю. Бывал в огне сражений, выкупился с военной службы.

Я сказал: — Вот как? — И взгляд этого человека задержался на мне, потом скользнул куда-то поверх моей головы, потом направо, налево, в сторону от меня, и наконец он провел ладонью по губам и засмеялся.

— Кажется, все это кончится в понедельник, сэр,— сказал он Уэммику.

— Возможно,— отвечал тот,— но сказать наверняка нельзя.

— Я рад, что мне представился случай пожелать вам всего хорошего, мистер Уэммик,— сказал человек, протягивая руку между прутьями решетки.

— Благодарю вас,— сказал Уэммик, пожимая ему руку.— И вам того же, полковник.

— Если бы то, что при мне нашли, было не поддельное, мистер Уэммик,— сказал человек, все не выпуская его руки,— я бы как о большом одолжении просил вас принять еще одно кольцо в знак благодарности за ваше внимание.

— Ну что ж, спасибо и на том,— сказал Уэммик.— Да, кстати, вы ведь, кажется, завзятый голубятник.— Человек поднял глаза к небу.— Я слышал, у вас были замечательные турмана. Может, вы поручили бы какому-нибудь знакомому доставить мне парочку, если вам они больше не нужны?

— Будет исполнено, сэр.

— Вот и отлично,— сказал Уэммик.— Насчет ухода за ними можете не сомневаться. Прощайте, полковник. Всего лучшего.

Они опять пожали друг другу руки, и, когда мы отошли от решетки, Уэммик сказал мне.

— Фальшивомонетчик, очень искусный мастер. Сегодня будет подписан указ о приведении приговора в ис-

полнение, и в понедельник его несомненно казнят. Но понимаете, пара голубей — это, как-никак, движимое имущество.

И, обернувшись, он кивнул своему погибшему цветку, а потом направился к выходу, оглядываясь по сторонам, словно соображая, каким новым растением его лучше всего заменить.

Когда мы проходили через караульную, я убедился, что надзиратели считаются с мнением моего опекуна не меньше, чем те, кто вверен их попечению.

— Послушайте, мистер Уэммик,— сказал надзиратель, задерживаясь между двумя усаженными остриями дверьми караульной и старательно запирая первую, прежде нежели отпереть вторую,— как же мистер Джеггерс намерен поступить с этим убийством на набережной? Повернет так, что оно было непредумышленное, или как?

— А вы его сами спросите,— посоветовал Уэммик.

— Легко сказать! — возразил надзиратель.

— Так-то вот они всегда, мистер Пип,— заметил Уэммик, раздвинув щель своего почтового ящика.— Чего только у меня не спрашивают, пользуются, что я подчиненное лицо. Патрону моему небось не задают никаких вопросов.

— Этот молодой джентльмен, наверно, проходит обучение у вас в конторе? — спросил надзиратель, ухмыляясь шутке мистера Уэммика.

— Вот видите, он опять за свое! — воскликнул Уэммик.— Я же вам говорю. Не успеешь ему ответить на один вопрос, он лезет с другим, и все к подчиненному лицу. Ну, скажем, мистер Пип проходит у нас обучение, что тогда?

Надзиратель опять ухмыльнулся.

— Тогда он знает, что такое мистер Джеггерс.

— Вот я вас! — неожиданно вскричал Уэммик, притворно замахиваясь на него.— Когда мой патрон здесь, из вас слова не выжмешь, все равно что из ваших ключей. Ну, старая лисица, выпускайте нас отсюда, не то я ему скажу, чтобы подал на вас жалобу за незаконное задержание под стражей.

Надзиратель засмеялся, распростился с нами и, смеясь, смотрел нам вслед из-за усаженной остриями двери, пока мы спускались на улицу.

— Заметьте, мистер Пип,— сказал Уэммик очень серьезно, наклонившись к моему уху и даже взяв меня под руку для большей секретности,— величайшее достоинство мистера Джеггерса, пожалуй, состоит в том, что он держится на такой недосягаемой высоте. Он совершенно недосягаем. Недосягаемость его вполне соответствует его огромнейшему таланту. С ним-то этот полковник не посмел бы попрощаться, у него-то надзиратель не посмел бы спросить, как он предполагает вести то или иное дело. А между ними и своей недосягаемостью он ставит подчиненного — понятно? — и вот они, телом и душой, в его власти.

Как это уже не раз случалось, я был поражен хитроумием моего опекуна. И, сказать по правде, я, как это уже не раз случалось, от души пожалел, что мне не достался в опекуны кто-нибудь другой, не наделенный столь огромным талантом.

Мы расстались с мистером Уэммиком у дверей конторы на Литл-Бритен, где кучка просителей, как всегда, ожидала выхода мистера Джеггерса, и я воротился на свое дежурство близ почтового двора, все еще имея в запасе около трех часов. В течение этих часов я не переставал думать о том, как странно, что преступный мир снова и снова протягивает ко мне свои лапы; я впервые столкнулся с ним в детстве, зимним вечером, на наших пустынных болотах; дважды после этого он вновь возникал передо мной, как выцветшее, но не исчезнувшее пятно; и теперь моя жизнь в новом, светлом своем течении тоже омрачена его близостью. А еще я думал о прекрасной юной Эстелле, такой утонченной и гордой, которая с каждой минутой приближалась ко мне, и содрогался от отвращения, представляя себе контраст между тюрьмой и ею. Я жалел, что встретил Уэммика, жалел, что согласился пойти с ним,— нужно же, чтобы именно в этот день я весь пропитался воздухом Ньюгета! Я бродил взад и вперед по улице и выдыхал этот воздух из своих легких, отряхивал прах тюрьмы от своих ног, счищал его со своей одежды. Помня о том, кого я встречаю, я чувствовал

себя до того зачумленным, что в конце концов дилижанс прибыл слишком скоро: я еще не успел очиститься от грязи, приставшей ко мне в теплице мистера Уэммика, как уже увидел в окне кареты лицо Эстеллы и ее руку, подзывающую меня.

Что же это было? Что за неуловимая тень опять промелькнула передо мной в это мгновенье?

ГЛАВА XXXIII

Даже мне Эстелла никогда еще не казалась такой красавицей, как сейчас, в своей дорожной тальме с меховой оторочкой. Она держалась со мной ласковее, чем когда-либо, и я усмотрел в этой перемене влияние мисс Хэвишем.

Стоя со мной во дворе гостиницы, пока разгружали дилижанс, она указывала мне свои вещи, и, когда весь ее багаж был собран, я вспомнил — до этого мои мысли были только о ней,— что даже не знаю, куда она направляется.

— Я еду в Ричмонд,— сказала она.— Как известно, есть два Ричмонда: один в Сэррее, а другой в Йоркшире; мне нужно в тот, который в Сэррее. Отсюда до него десять миль, я должна взять карету, а вы должны меня сопровождать. Вот мой кошелек, вы будете оплачивать мои расходы. Нет, нет, непременно возьмите. У нас с вами нет выбора,— надо слушаться. Мы с вами не вольны поступать по-своему.

Отдавая мне кошелек, она взглянула на меня, и я попытался прочесть в ее словах какой-то скрытый смысл. Она произнесла их небрежно, но без неудовольствия.

— За каретой придется послать, Эстелла. А пока вы, может быть, отдохнете немного?

— Да, я должна немного отдохнуть и выпить чаю, а вы должны обо мне позаботиться.

Она взяла меня под руку так, словно выполняла чье-то указание, и я велел лакею, который стоял тут же и глазел на дилижанс, как будто в жизни своей не видел ничего подобного, провести нас в отдельный номер. Он

вытащил откуда-то салфетку, точно без этого волшебного клубка ему никогда бы не отыскать дорогу на второй этаж, и провел нас в какой-то карцер, обстановку которого составляли: уменьшительное зеркало (предмет совершенно излишний, если принять во внимание размеры карцера), судки с маслом и уксусом и чьи-то деревянные калоши. Когда я забраковал это помещение, он повел нас в другую комнату, где стоял обеденный стол человек на тридцать, а в камине из-под кучи золы выглядывал обгорелый листок школьной тетради. Бросив взгляд на это пожарище и покачав головой, он принял от меня заказ и, поскольку я спросил всего-навсего «чаю для этой леди», пошел прочь в самом унылом расположении духа.

Я убежден, что атмосфера этой залы, в которой мешались крепкие запахи мясного навара и конюшни, могла хоть кого навести на мысль, что дилижансы приносят маловато дохода и предприимчивый хозяин распорядился постепенно переводить лошадей на супы для постояльцев. И все же для меня эта комната была раем благодаря Эстелле. Мне думалось, что с нею я мог бы быть счастлив здесь всю жизнь. (Заметьте, в то время я вовсе не был там счастлив, и хорошо это знал.)

— К кому вы едете в Ричмонд? — спросил я Эстеллу.

— Меня пригласила к себе,— сказала она,— и притом за большие деньги, одна леди, которая по своему положению может — или уверяет, что может,— вывозить меня в свет, знакомить, показывать мне разных людей и меня показывать людям.

— Вас, конечно, прельщает такая перемена, возможность блистать в обществе?

— Да, пожалуй.

Она ответила так равнодушно, что у меня невольно вырвалось:

— Вы говорите о себе, точно о ком-то другом.

— А откуда вам известно, как я говорю о других? Нет, нет,— и Эстелла подарила меня пленительной улыбкой,— вы уж меня не учите, я говорю как умею. Хорошо ли вам живется у мистера Покета?

— Мне у них очень приятно; во всяком случае...— я испугался, что чуть не упустил драгоценную возможность.

— Во всяком случае?..— повторила Эстелла.

— Настолько приятно, насколько может быть там, где нет вас.

— Глупый вы мальчик,— сказала Эстелла невозмутимо.— Можно ли говорить такую чепуху? Сколько я понимаю, ваш друг мистер Мэтью выгодно отличается от своих родственников?

— Еще бы. Он никому не желает зла...

— Пожалуйста, не добавляйте: «разве лишь себе самому»,— таких я терпеть не могу. Но, кажется, он действительно бескорыстный человек и стоит выше мелкой зависти и злобы?

— У меня есть все основания это утверждать.

— Зато у вас нет оснований утверждать то же о его родственниках,— сказала Эстелла, кивая мне с выражением одновременно серьезным и шутливым,— они просто осаждают мисс Хэвишем всякими доносами и измышлениями по вашему адресу. Они следят за вами, клевещут на вас, пишут о вас письма (иногда анонимные), и вообще, вы — главное зло и единственное содержание их жизни. Вы и представить себе не можете, как эти люди вас ненавидят.

— Надеюсь, они не могут причинить мне вреда?

Вместо ответа Эстелла расхохоталась. Это очень меня удивило, и я смотрел на нее в полной растерянности. Когда она успокоилась,— а смеялась она не жеманно, но громко и от души,— я сказал неуверенно, как всегда, когда бывал с нею:

— Надеюсь, вам бы не доставило удовольствия, если бы они причинили мне вред?

— Нет, нет, что вы! — сказала Эстелла.— А смеюсь я потому, что у них ничего не выходит. Ох, как эти люди увиваются около мисс Хэвишем, на какие мучения они идут!

Она опять засмеялась, и смех ее по-прежнему был мне непонятен: хотя она мне все объяснила и я не сомневался в ее искренности, такая причина для смеха все же казалась мне недостаточной. Я подумал, что, вероятно, чего-то еще не знаю; она угадала мою мысль и ответила на нее.

— Даже вам,— сказала Эстелла,— нелегко понять, как меня радуют неудачи этих людей и как мне весело,

когда они оказываются одураченными. Ведь вы не жили в этом странном доме с малых лет, как я. Ваша детская наблюдательность не изощрилась, как у меня, от того что против вас без конца интриговали, зная, что вы слабы и беззащитны, прикрываясь участием, жалостью, всякими похвальными чувствами. Ваши невинные младенческие глаза не раскрывались все шире и шире, как у меня, глядя на притворство женщины, которая, даже просыпаясь по ночам, расчетливо прикидывает, как бы ей получше изобразить любовь к ближнему.

Теперь Эстелла не смеялась, как видно — воспоминания эти были ей очень тягостны. Лицо ее так помрачнело, что я отказался бы от всех своих надежд, лишь бы не быть тому причиной.

— Я могу сказать вам кое-что в утешение,— продолжала Эстелла.— Во-первых, хотя и говорится, что вода камень точит, вы можете быть уверены, что этим людям никогда — как бы они ни старались — не удастся повредить вам в глазах мисс Хэвишем. Во-вторых, я вам очень признательна — ведь это из-за вас они суетятся и злобствуют понапрасну!

И она весело протянула мне руку,— грустное настроение ее уже прошло,— а я задержал ее руку и поднес к губам.

— Смешной вы мальчик,— сказала Эстелла,— сколько вам ни тверди — ничего не помогает! Или вы делаете это потому же, почему я когда-то позволила вам поцеловать меня в щеку?

— А почему вы мне это позволили? — спросил я.

— Дайте подумать. Из презрения к интриганам и подлизам.

— Если я скажу «да», можно мне снова поцеловать вас в щеку?

— Надо было спросить раньше, чем целовать руку. Но все равно, если хотите — пожалуйста.

Я наклонился к ней, лицо ее было спокойно, как лицо статуи.

— А теперь,— сказала Эстелла, отстраняясь от меня, едва я коснулся губами ее щеки,— вы должны позаботиться о том, чтобы мне подали чай, и отвезти меня в Ричмонд.

Мне стало больно, когда она опять заговорила так, словно знакомство наше кому-то угодно и мы всего лишь куклы в чьих-то руках; но встречи с Эстеллой никогда не давали мне ничего кроме боли. Как бы она ни держалась со мной, я ничему не верил, ни на что не надеялся и все же продолжал любить ее — без веры и без надежды. К чему повторять это снова и снова? Так было всегда.

Я позвонил, чтобы подали чай, и лакей, представ перед нами со своим волшебным клубком, стал не спеша вносить в комнату принадлежности для этой трапезы, числом не менее пятидесяти, причем до самого чая дело дошло не скоро. Постепенно на столе появились: поднос, чашки с блюдцами, тарелки, ножи и вилки (включая самые большие, какими раскладывают жаркое), ложки (всевозможных размеров и фасонов), солонки, одинокая оладья, надежно укрытая тяжелой железной крышкой, кусок полурастаявшего масла, спрятанный в зарослях петрушки, подобно младенцу Моисею в тростниках *, худосочная булка с напудренной головой, два треугольных ломтика хлеба с оттисками решетки кухонного очага и наконец пузатый семейный чайник на спирту, под тяжестью которого лакей буквально сгибался, всем своим лицом выражая покорное страдание. Затем последовал длинный антракт, после которого он все же принес драгоценного вида шкатулку с какими-то веточками. Я залил их кипятком, и таким образом в итоге всех этих приготовлений добыл для Эстеллы одну чашку неизвестно какого напитка.

Когда я уплатил по счету и лакей получил на чай, и конюх не был забыт, и горничная не осталась в накладе,— словом, когда было роздано достаточно взяток, чтобы вызвать недовольство и презрение всего дома, а кошелек Эстеллы сильно поубавился в весе,— мы сели в карету и уехали. Свернув за угол, карета покатила по Чипсайду, потом по Ньюгет-стрит, и скоро мы поравнялись с высокой стеной, которой я так стыдился.

— Что это за здание? — спросила Эстелла.

Я глупо притворился, что не сразу его узнал, и только потом ответил. Эстелла долго смотрела на стену, высунувшись из окна кареты, потом прошептала: «Несчастные!» Ни за что на свете я бы не признался ей, что побывал здесь нынче утром.

— Мистер Джеггерс,— сказал я, чтобы не заговорить о себе,— мистер Джеггерс, я слышал, посвящен в тайны этого мрачного места, как никто другой в Лондоне.

— Мне кажется, нет такой тайны, в которую мистер Джеггерс не был бы посвящен,— тихо отозвалась Эстелла.

— Вы, вероятно, давно его знаете и часто с ним встречались?

— Я встречалась с ним время от времени с тех пор как себя помню. Но знаю я его и сейчас не лучше, чем когда только что научилась говорить. А вы какого о нем мнения? Сумели вы подружиться с ним?

— Сейчас, когда я привык к его скрытности, все идет хорошо.

— Вы с ним близко знакомы?

— Я однажды обедал у него в доме.

— Должно быть, это любопытный дом,— сказала Эстелла и поежилась.

— Да, очень любопытный.

Мне бы не следовало даже ей слишком много рассказывать про моего опекуна; но я уже готов был перейти к описанию нашего обеда на Джеррард-стрит, как вдруг мы въехали в полосу яркого света от газового фонаря. На минуту, в трепетании неверных бликов и теней, меня охватило то необъяснимое чувство, которое я уже испытал; и даже когда снова стало темно, я не сразу опомнился и сидел словно ослепленный молнией.

Потом разговор у нас пошел о другом, главным образом — о дороге, по которой мы ехали, и о том, какие кварталы Лондона остаются справа от нас, а какие слева. Эстелла рассказала мне, что совсем не знает столицы, потому что не отлучалась из дома мисс Хэвишем, пока не уехала во Францию, а по пути туда и обратно была в Лондоне только проездом. Я спросил ее, поручено ли моему опекуну присматривать за ней, пока она будет жить в Ричмонде, на что она весьма выразительно ответила: «Боже сохрани!» — и замолчала.

Я не мог не видеть, что она кокетничает со мной, что она задумала меня обворожить и добилась бы своего, даже если бы это стоило ей какого-то труда. Но счастливее я от этого не был: не говоря уже о ее манере держаться так, точно нами распоряжаются другие, я чувст-

вовал, что она играет моим сердцем просто потому, что ей так нравится, а не потому, что ей было бы трудно и больно разбить его и выбросить.

Когда мы проезжали через Хэммерсмит, я показал ей дом мистера Мэтью Покета и добавил, что это не очень далеко от Ричмонда и, может быть, мы с ней будем иногда встречаться.

— О да, мы с вами должны встречаться; вы будете приезжать, когда сочтете удобным; о вас будет сообщено хозяйке дома; вернее, ей уже сообщено о вас.

Я спросил, велика ли семья, где ей предстоит жить.

— Нет; их только двое — мать и дочь. Мать, кажется, занимает довольно высокое положение в обществе, но не прочь приумножить свои доходы.

— Меня удивляет, что мисс Хэвишем могла опять расстаться с вами так скоро.

— Это входит в планы мисс Хэвишем касательно моего воспитания, Пип,— сказала Эстелла со вздохом, словно очень устала.— Я должна все время ей писать и часто навещать ее, чтобы она знала, как мне живется... мне и ее драгоценностям — ведь они почти все теперь мои.

То был первый раз, что она назвала меня по имени. Разумеется, она сделала это намеренно и знала, как я это оценю.

Скорее, чем мне бы того хотелось, мы достигли места своего назначения, и карета остановилась перед домом, выходившим на Ричмондский луг; это был важный, старинный дом, помнивший фижмы и мушки, пудреные парики и расшитые камзолы, чулки до колен и шпаги. Несколько очень старых подстриженных деревьев своей неестественной формой до сих пор напоминали парики и роброны; но и им было суждено скоро занять свое место в шествии мертвых и тихо перейти в небытие.

В лунном свете печально прозвучал старческий голос колокольчика,— в былые времена он, должно быть, нередко возвещал: «Вот приехал зеленый кринолин... вот меч с бриллиантами на рукоятке... вот башмачки на красных каблучках и пряжка с синим солитером»,— и две румяные горничные выбежали из дома встречать Эстеллу. Вскоре парадная дверь поглотила ее багаж, она протянула мне руку, улыбнулась, пожелала спокойной ночи,

потом дверь поглотила и ее. А я все стоял, глядя на дом, думал, как счастлив я был бы жить здесь с нею, и знал, что с нею я никогда не бываю счастлив, а только страдаю и мучаюсь.

Карета ждала меня, чтобы отвезти обратно в Хэммерсмит; тоскливо было у меня на душе, когда я в нее садился, а пока доехал, стало еще тоскливее. У дома мистера Покета я увидел маленькую Джейн; она возвращалась из гостей в сопровождении своего маленького кавалера, и я позавидовал ее маленькому кавалеру, хоть он и находился в зависимости у Флопсон.

Мистер Покет уехал куда-то читать лекцию; он читал восхитительные лекции об экономии в домашнем хозяйстве, а его брошюры о воспитании детей и обращении с прислугой считались лучшими руководствами по этим вопросам. Зато миссис Покет была дома и находилась в некотором затруднении: дело в том, что младенцу дали поиграть игольником, чтобы он не плакал во время необъяснимой отлучки Миллерс (имевшей родственника в гвардейском полку). И теперь миссис Покет не досчитывалась бо́льшего количества иголок, чем можно было бы рекомендовать пациенту столь нежного возраста — будь то для уколов или для внутреннего употребления.

Зная, что мистер Покет заслуженно славится своим умением давать превосходные практические советы, своим ясным, здравым суждением и проницательным умом, я подумал было ему довериться, чтобы хоть немного облегчить тоску. Но потом взглянул на миссис Покет, которая, прописав младенцу сон, как всемогущее лекарство, снова углубилась в свою книгу о титулах,— и решил: нет, лучше не нужно.

ГЛАВА XXXIV

Понемногу свыкаясь со своими надеждами, я невольно стал замечать, какое действие они оказывают на меня и на окружающих меня людей. Влияние их на мой собственный характер я по возможности старался от себя скрыть, но в глубине души отлично знал, что его нельзя

назвать благотворным. Я жил с чувством постоянной вины перед Джо. Относительно Бидди совесть моя тоже была отнюдь не спокойна. Просыпаясь по ночам,— как Камилла,— я терзался мыслью, что мог бы стать и лучшим и более счастливым человеком, если бы никогда не видел мисс Хэвишем, а спокойно остался бы дома, в кузнице, и честно делил с Джо его трудовую жизнь. И много раз, сидя в одиночестве у камина и глядя в огонь, я думал: что ни говори, а нет огня лучше, чем огонь нашей кузницы и огонь в очаге нашей кухни.

Однако все мои метания были так неразрывно связаны с Эстеллой, что я терялся, не зная — одного ли себя я должен винить. Другими словами, я далеко не был уверен, что мне жилось бы легче, если бы у меня не было никаких надежд и только Эстелла владела бы всеми моими помыслами.

Вопрос о том, как отзывалось мое положение на других, был много проще, и я понимал, хотя, может быть, недостаточно ясно, что оно никому не идет на пользу и прежде всего не идет на пользу Герберту. При его легком, покладистом характере мои расточительные привычки вовлекали его в расходы, каких он не мог себе позволить, вносили разлад в его простую жизнь и смущали его душевный покой ненужными тревогами и сожалениями. Перед другими родственниками мистера Покета я не чувствовал никакой вины, хотя и толкнул их, сам того не зная, на все их низкие уловки и интриги: эта мелкая подлость была им свойственна, и, не будь меня, ее пробудил бы кто-нибудь другой. Но с Гербертом дело обстояло иначе, и сердце у меня виновато сжималось при мысли, что я сослужил ему плохую службу, загромоздив его бедную квартирку всяким никчемным скарбом и предоставив в его распоряжение желтогрудого Мстителя.

Дальше — хуже. Чтобы окружить себя еще бо́льшей роскошью, я прибегнул к проверенному способу — стал делать долги. Стоило мне начать, как моему примеру последовал и Герберт. По приглашению Стартопа мы записались кандидатами в члены клуба, который именовался «Зяблики в Роще». Я до сих пор не знаю, с какой целью он был учрежден, если не для того, чтобы члены его могли два раза в месяц устраивать дорогостоящие обеды,

после обеда затевать нескончаемые ссоры и давать возможность шести официантам напиваться до бесчувствия на черной лестнице. Эти высокие общественные цели достигались всегда столь успешно, что мы с Гербертом именно в таком смысле и понимали первый традиционный тост клуба, который гласил: «Джентльмены, выпьем за то, чтобы среди Зябликов в Роще вовеки царили такие же чувства дружбы и благоволения».

Зяблики напропалую сорили деньгами (гостиница, где мы обедали, находилась в Ковент-Гардене), и первым Зябликом, которого я увидел, когда удостоился чести вступить в Рощу, был Бентли Драмл, который в то время раскатывал по городу в собственном кабриолете, нанося серьезные увечья тротуарным тумбам. Бывало, что его вытряхивало из экипажа головой вперед, через фартук; однажды он на моих глазах доставил себя таким способом к подъезду Рощи — как доставляют мешок с углем. Впрочем, я немного забегаю вперед, ибо я еще не был Зябликом и, по священным законам клуба, не мог стать таковым, пока не достигну совершеннолетия.

В расчете на ожидавшее меня богатство я охотно взял бы расходы Герберта на себя; но Герберт был горд, и я не мог предложить ему такую вещь. Поэтому затруднения обступали его со всех сторон, а он все продолжал осматриваться. Мы часто засиживались допоздна в веселой компании, и я стал замечать, что за утренним завтраком Герберт осматривается довольно-таки уныло; что к полудню он осматривается уже немного бодрее; обедать садится совсем поникший; после обеда довольно ясно различает вдали очертания Капитала; примерно в полночь бывает близок к тому, чтобы оный Капитал сколотить; а часам к двум ночи снова впадает в такое уныние, что начинает толковать о покупке ружья и отъезде в Америку, вероятно имея в виду уговорить бизонов добыть ему богатство.

Половину недели я обычно проводил в Хэммерсмите, а живя в Хэммерсмите, частенько наведывался в Ричмонд, о чем речь пойдет особо. Герберт тоже нередко бывал в Хэммерсмите, и во время этих наездов отцу его, нужно полагать, приходило иногда в голову, что давно ожидаемый его первенцем счастливый случай еще не

представился. Но в этом семействе, где все всегда летело кувырком, очевидно считали, что и Герберт рано или поздно взлетит без постороннего вмешательства. А пока что мистер Покет все больше седел и все чаще пытался вытащить себя за волосы из своих неприятностей, а миссис Покет по-прежнему ставила свою скамеечку так, что все об нее спотыкались, читала свою книгу о титулах, теряла носовые платки, рассказывала нам о своем дедушке и воображала, что воспитывает детей, отправляя их спать, чуть только они попадались ей на глаза.

Поскольку я, чтобы расчистить себе путь для дальнейшего повествования, даю сейчас обзор целого периода моей жизни, я хочу для полноты картины описать обычаи и нравы, какие установились у нас в Подворье Барнарда.

Казалось, мы задались целью тратить как можно больше денег, причем весь Лондон, казалось, задался целью давать нам за них как можно меньше. Мы всегда чувствовали себя в той или иной степени скверно и то же самое следует сказать о большинстве наших знакомых. Мы словно сговорились считать, что жизнь наша проходит в беспрерывном веселье, втайне же сознавали обратное. Сколько я могу судить, в этом смысле мы не представляли собой исключения из общего правила.

Каждое утро Герберт, словно впервые пускаясь на поиски приключений, шел в Сити осматриваться. Я часто навещал его в темной каморке, где общество его составляли чернильница, вешалка, ящик с углем, моток бечевки, календарь, конторка и высокий табурет; и когда бы я ни зашел, он не делал ничего другого, а только осматривался. Если бы все мы выполняли свои намерения так же добросовестно, как Герберт, мы, вероятно, жили бы в Республике Сплошной Добродетели. Ему, бедняге, больше и нечего было делать, если не считать, что каждый день в определенный час он отправлялся к Ллойду * — должно быть, на предписанное служебным этикетом свидание со своим патроном. Насколько я мог выяснить, его дела с Ллойдом тем и ограничивались, что он ходил туда — а потом возвращался обратно. Когда он особенно остро сознавал, что положение его серьезно и счастливый случай насущно необходим, он шел на биржу

в самое горячее время дня и вертелся там среди денежных заправил в некоем мрачном подобии танца.

— Дело, видишь ли, в том, Гендель,— сказал мне как-то Герберт, вернувшись домой после одной из таких экспедиций,— что случай сам не приходит к человеку, а нужно его ловить. Вот я и ходил его ловить.

Не будь мы так привязаны друг к другу, мы наверняка ненавидели бы друг друга по утрам самой лютой ненавистью. В этот час покаяния наша квартира казалась мне отвратительной, а от ливреи Мстителя меня прямо-таки бросало в дрожь, потому что ни в какое другое время суток я не сознавал столь ясно, как дорого она стоит и как мало от нее проку. По мере того как мы все больше залезали в долги, утренний завтрак все больше превращался в пустую формальность; и однажды, получив рано утром извещение о грозящем мне судебном преследовании, «в некотором роде связанном», как написали бы в нашей провинциальной газете, «с ювелирными изделиями», я дошел до того, что в ответ на дерзкое предположение Мстителя, будто нам нужна свежая булка, схватил его за голубой воротник и задал ему такую трепку, от которой он взлетел в воздух, как обутый в сапоги купидон.

Через определенные промежутки времени — вернее, не определенные, а смотря по настроению — я сообщал Герберту, как бы делясь с ним великим открытием:

— Мой милый Герберт, дела наши из рук вон плохи.

— Мой милый Гендель,— простосердечно отвечал в таких случаях Герберт,— какое совпадение! Верь или нет, но я только что хотел сказать тебе то же самое.

— В таком случае, Герберт,— говорил я,— попробуем разобраться в наших финансах.

Назначая день и час для этих занятий, мы всегда испытывали величайшее удовлетворение. Вот она, деловая хватка, думал я, вот как нужно бороться с превратностями судьбы, вот как нужно брать врага за горло! И я знаю, что Герберт полностью разделял мои чувства.

Чтобы подкрепить свои силы и достойно справиться с трудной задачей, мы заказывали на обед что-нибудь из ряда вон выходящее и в придачу — бутылку чего-нибудь столь же экстраординарного. После обеда на столе по-

являлся пучок перьев, полная до краев чернильница и внушительное количество бумаги — писчей и пропускной: в обильном запасе письменных принадлежностей было что-то чрезвычайно успокоительное.

Затем я брал лист бумаги и аккуратно выводил на нем заголовок: «Реестр долгов Пипа», не забывая проставить дату и адрес — «Подворье Барнарда». Герберт тоже брал лист бумаги и так же тщательно выводил на нем: «Реестр долгов Герберта».

После этого каждый из нас обращался к лежащей перед ним растрепанной куче бумажек, брошенных в свое время в ящик, или стершихся до дыр от пребывания в карманах, или обгоревших, когда ими зажигали свечи, или неделями торчавших за зеркалом. Скрип наших перьев чрезвычайно нас подбадривал, так что порою я уже переставал отличать эту высоконравственную деловую процедуру от самой уплаты долгов. То и другое, во всяком случае, казалось мне одинаково похвальным.

Потрудившись немного, я спрашивал Герберта, как у него подвигается работа. Обычно к этому времени Герберт уже чесал в затылке при виде все удлиняющегося столбика цифр.

— Им конца нет, Гендель,— говорил Герберт.— Честное слово, просто конца нет.

— Будь тверд, Герберт, — отвечал я ему.— Не отступай перед трудностями. Смотри им прямо в лицо. Смотри, пока не одолеешь их.

— Я бы с удовольствием, Гендель, только боюсь, что скорее они меня одолеют.

Все же мой решительный тон оказывал кое-какое действие, и Герберт снова принимался писать. Через некоторое время он опять откладывал перо под тем предлогом, что не может найти счет Кобса, или Лобса, или Нобса — смотря по обстоятельствам.

— Так ты прикинь, Герберт; прикинь, округли и запиши.

— Ты просто чудо как находчив! — восхищенно говорил мой друг.— Право же, у тебя редкостные деловые способности.

Я и сам так считал. В такие дни мне представлялось, что я — первоклассный делец: быстрый, энергичный,

решительный, расчетливый, хладнокровный. Составив полный перечень своих долгов, я сверял каждую запись со счетом и отмечал ее птичкой. Это еще поднимало меня в собственных глазах, а потому было необычайно приятно. Когда ставить птички было уже негде, я складывал все счета стопкой, на каждом делал пометку с оборотной стороны и связывал их в аккуратную пачку. Затем я проделывал то же самое для Герберта (который скромно замечал, что не обладает моей распорядительностью) и чувствовал, что привел его дела в некоторый порядок.

В своих деловых операциях я пользовался и еще одним остроумным приемом, который называл — «оставлять резерв». Предположим, например, что долги Герберта достигали суммы в сто шестьдесят четыре фунта, четыре шиллинга и два пенса; тогда я говорил: «Оставь резерв — запиши двести фунтов». Или, если мои собственные долги достигали цифры вчетверо большей, я тоже оставлял резерв и записывал семьсот. Этот пресловутый резерв казался мне чрезвычайно мудрым изобретением, но сейчас, оглядываясь назад, я вынужден признать, что обходился он не дешево, поскольку мы сразу же делали новые долги на всю сумму резерва, а иногда, почувствовав себя свободными и платежеспособными, заимствовали на радостях и от следующей сотни фунтов.

Но вслед за такими ревизиями наступала полоса покоя и отдыха, некоего умиленного затишья, позволявшая мне какое-то время быть о себе самого лучшего мнения. Умиротворенный своим тяжким трудом, своей изобретательностью и похвалами Герберта, я смотрел на две аккуратные пачки счетов, высившиеся на столе среди разбросанных перьев и бумаги, и ощущал себя не человеком, а своего рода Банком.

В этих торжественных случаях мы запирали входную дверь на замок, чтобы никто нас не беспокоил. Однажды вечером, когда я пребывал в таком безмятежном состоянии духа, мы услышали, как сквозь щель в двери просунули письмо и как оно упало на пол.

— Это тебе, Гендель,— сказал Герберт, возвращаясь с письмом из прихожей.— Надеюсь, не случилось ничего плохого.— Он имел в виду толстую черную печать и траурную кайму на конверте.

Под письмом стояла подпись «Трэбб и К°», а содержание его сводилось к тому, что я — уважаемый сэр, и что они имеют честь сообщить мне, что миссис Джо Гарджери скончалась в понедельник в шесть часов двадцать минут вечера, и меня надеются увидеть на погребении, каковое состоится в следующий понедельник в три часа пополудни.

ГЛАВА XXXV

Впервые на моем пути разверзлась могила, и удивительно, какую резкую перемену это внесло в мое беспечное существование. Образ сестры, неподвижной в своем кресле у огня, преследовал меня днем и ночью. Мысль, что ее место в кухне опустело, просто не укладывалась в голове; и хотя последнее время я почти не думал о ней, теперь мне постоянно чудилось, что она идет мне навстречу по улице или вот-вот постучит в дверь. Даже в нашу квартирку, с которой она уж никак не была связана, вошла пустота смерти, и мне постоянно мерещилось то лицо сестры, то звук ее голоса, словно она была жива или при жизни часто здесь бывала.

Как бы ни сложилась моя судьба, я едва ли стал бы вспоминать сестру с большой любовью. Но, очевидно, сожаление может потрясти нас и без любви. Под влиянием его (или как раз за недостатком более теплого чувства) меня охватило бурное возмущение против обидчика, от которого она приняла столько страданий; и я чувствовал, что, будь у меня надежные улики, я бы ни перед чем не отступил, лишь бы Орлик или кто бы то ни было понес заслуженную кару.

Отправив Джо письмо со словами утешения и с обещанием непременно быть на похоронах, я провел следующие дни в том странном состоянии духа, которое я только что описал. Из Лондона я выехал рано утром и слез с дилижанса у «Синего Кабана», имея в запасе достаточно времени, чтобы не спеша дойти до деревни.

Снова наступило лето; я шел полями, и в памяти у меня возникали те времена, когда я был маленьким

беспомощным мальчуганом и мне так жестоко доставалось от миссис Джо. Но возникали они словно за легкой дымкой, смягчавшей даже боль от Щекотуна. Потому что теперь самый запах дрока и клевера нашептывал мне, что настанет день, когда памяти моей будет отрадно, если в мире живых кто-то, бредущий полями по солнцу, тоже смягчится душою, думая обо мне.

Наконец я завидел впереди наш дом и сразу понял, что Трэбб и К° хозяйничают там, взяв на себя роль бюро похоронных процессий. У парадной двери, как часовые на посту, торчали две нелепые унылые фигуры; каждая держала впереди себя костыль, обвернутый чем-то черным,— словно такой предмет мог хоть кому-нибудь принести утешение. В одной из этих фигур я узнал форейтора, уволенного из «Синего Кабана» за то, что он вывалил в канаву новобрачных, возвращавшихся из церкви, ибо был до того пьян, что мог держаться на лошади только обхватив ее обеими руками за шею. Любоваться этими траурными стражами и закрытыми окнами кузницы и дома сбежались все ребятишки и почти все женщины нашей деревни. При моем появлении один из стражей (форейтор) постучал в дверь, как будто я совсем изнемог от скорби и у меня не было сил постучать в нее самому.

Еще один траурный страж (плотник, который однажды съел на пари двух гусей) отворил дверь и провел меня в парадную гостиную. Здесь мистер Трэбб, завладев большим столом, раздвинув его во всю длину и засыпав черными булавками, устроил своего рода черный базар. Когда я вошел, он только что запеленал в черный коленкор, словно африканского младенца, чью-то шляпу, и сразу протянул руку за моей. Я же, не поняв его намерений и растерявшись в необычной обстановке, схватил его руку и горячо пожал.

Бедный Джо, в нескладном черном плащике, завязанном на шее огромным бантом, сидел один в дальнем конце комнаты, куда Трэбб, очевидно, поместил его как главного героя дня. Когда я наклонился к нему и сказал: — Милый Джо, ну как ты себя чувствуешь? — он ответил: — Пип, дружок, ты знал ее, когда это была такая видная женщина...— и, сжав мою руку, умолк.

Бидди, очень миленькая в скромном черном платье, без шума и суеты делала все, что нужно. Я поздоровался с ней, а потом, считая, что сейчас не время для разговоров, сел рядом с Джо и задумался о том, где же лежит оно... она... моя сестра. Уловив в воздухе слабый запах сдобы, я поискал глазами стол с угощеньем, который не сразу заметил, войдя со света в темную комнату. Теперь я увидел на нем нарезанный пирог со сливами, нарезанные апельсины, печенье и сандвичи, а также два графина хорошо мне знакомых как украшения для буфета, но, сколько я помнил, никогда раньше не бывших в употреблении. В одном из них налит был портвейн, в другом херес, а возле стола маячил льстивый Памблчук, в черном плаще и весь обмотанный крепом; он то набивал себе рот, то пытался привлечь мое внимание подобострастными жестами. Как только это ему удалось, он подошел ко мне и, обдав меня ароматом хереса и сухарей, сказал громким шепотом: — Сэр, дозвольте мне...— и привел свой замысел в исполнение. Затем я разглядел в углу мистера Хабла и миссис Хабл, застывшую в немом отчаянии, как и подобало случаю. Всем нам предстояло следовать за гробом на кладбище, для каковой цели Трэбб каждого в отдельности укутывал и связывал в несуразный черный узел.

— Я то̀ хочу сказать, Пип,— шепнул мне Джо, пока мистер Трэбб, по его собственному выражению, «строил» нас парами в гостиной — точно мы, прости господи, собирались исполнить какой-то зловещий танец,— я то̀ хочу сказать, сэр, что, будь моя воля, я бы лучше отнес ее в церковь сам, или, скажем, помогли бы двое-трое друзей, кто захотел бы потрудиться от чистого сердца; да, видно, нельзя, говорят — соседям не понравится, скажут, чего доброго, что это вроде как недостаток уважения.

— Приготовить носовые платки! — возгласил в эту минуту мистер Трэбб тоном печальным, но деловитым.— Приготовить носовые платки! Выступаем!

И вот все мы приложили платки к лицу, словно у нас шла носом кровь, и вышли на улицу пара за парой: Джо и я; Бидди и Памблчук; мистер и миссис Хабл. Останки моей бедной сестры уже вынесли из дому через кухонную дверь, и так как похоронный церемониал требовал, чтобы шесть человек, несущих гроб, задыхались под отврати-

тельной попоной из черного бархата с белой каймой, все это сооружение смахивало на неуклюжее слепое чудовище о двенадцати человеческих ногах, еле ползущее вперед под присмотром двух погонщиков — форейтора и плотника.

Впрочем, соседи отнеслись к этим фокусам с полным одобрением и очень восхищались нами, когда мы проходили по деревне. Наиболее юные и предприимчивые ее обитатели время от времени бросались нам наперерез или устраивали в удобных местах засады, а когда мы появлялись из-за угла, приветствовали нас восторженными воплями: «Вот они! Вот они идут!» — и чуть что не кричали «ура». Особенно много крови испортил мне в этот день противный Памблчук, который шел позади меня и оказывал мне тонкие знаки внимания тем, что всю дорогу поправлял креп, свисавший с моей шляпы, и разглаживал складки моего плаща. Бесил меня и самодовольный вид мистера и миссис Хабл, которые совсем загордились и воображали себя бог знает кем, оттого что участвовали в столь торжественном шествии.

И вот уже перед нами широко раскинулись болота с выраставшими из-за них парусами речных кораблей, и, вступив на кладбище, мы прошли к могилам, где покоились никогда не виденные мною родители — Филип Пиррип, житель сего прихода, а также Джорджиана, супруга вышереченного. Здесь тело моей сестры тихо опустили в землю, пока в вышине над нами заливались жаворонки и легкий ветерок гнал по траве причудливые тени облаков и деревьев.

О том, как держал себя в это время нечестивец Памблчук, я скажу лишь одно: каждое его движение, каждое слово было адресовано мне; и даже когда читались величавые строки, напоминающие людям, что человек ничего не принес в этот мир — ничего не может и вынести из него; что человек убегает, как тень, и не останавливается,— мистер Памблчук довольно громко кашлянул, тем давая понять, что это правило не распространяется на одного известного ему молодого джентльмена, неожиданно получившего большое состояние. Когда мы воротились домой, он имел наглость вслух пожалеть, что моя сестра не знает, какую честь я ей оказал, и намекнуть,

что ради такой чести ей не жалко было бы и умереть. После этого он допил остатки хереса, а мистер Хабл допил остатки портвейна, и они стали беседовать между собою так (я и впоследствии нередко наблюдал это в подобных случаях), словно сами они существа совсем не той породы, что покойница, и им обеспечено бессмертие. Наконец он ушел и увел с собой мистера и миссис Хабл,— скорее всего отправился к «Веселым Матросам» пить пиво и рассказывать всем собравшимся, что он был моим первым благодетелем и только ему я обязан своим счастьем.

Когда они ушли и когда Трэбб с подручными (мальчишки его среди них не было, в этом я удостоверился) сложили свое маскарадное имущество в мешки и тоже ушли, дышать в доме стало много легче. Мы остались втроем, и скоро Бидди подала нам холодный обед; но обедали мы не в кухне, а в парадной гостиной, и Джо так осторожно обращался с ножом и вилкой, солонкой и тарелками, что всем нам было не по себе. Зато после обеда, когда я уговорил его закурить трубку и мы побыли в кузнице, а потом сели рядышком на большом камне у двери, языки у нас развязались. Придя с похорон, Джо переоделся в нечто среднее между воскресным и рабочим платьем, и теперь это был настоящий Джо, такой, какого я уважал и любил.

Он был очень доволен, что я попросил у него разрешения переночевать в моей прежней комнатушке, и я тоже был доволен: я чувствовал, что поступил похвально, обратившись к нему с этой просьбой.

Когда по земле протянулись вечерние тени, я улучил минутку, чтобы поговорить с Бидди, и мы вышли в сад.

— Бидди,— сказал я,— мне кажется, что ты могла бы сообщить мне эти печальные новости.

— Разве, мистер Пип? — сказала Бидди.— Если бы мне так казалось, я бы сообщила.

— Я не хочу упрекать тебя, Бидди, но, по-моему, это было бы естественно.

— Разве, мистер Пип?

Она говорила так тихо, в ней было столько тихой прелести и доброты, что мне не захотелось снова доводить ее

до слез. Мы молча шли рядом по дорожке, и, глянув на ее потупленные глаза, я решил оставить эту тему.

— Теперь, я полагаю, тебе будет неудобно здесь жить, милая Бидди?

— О, разве можно, мистер Пип,— сказала Бидди с сожалением, но очень решительно.— Я уже условилась с миссис Хабл и завтра переберусь к ней. Надеюсь, что вдвоем мы сможем позаботиться о мистере Гарджери, пока он не наладит свою жизнь.

— А ты как будешь жить, Бидди? Если тебе нужны день...

— Как я буду жить? — перебила меня Бидди и вся вспыхнула румянцем.— Сейчас я вам расскажу, мистер Пип. Я постараюсь получить место учительницы в нашей новой школе, она уже почти достроена. Все соседи могут дать мне хорошие рекомендации, и я надеюсь, что буду работать усердно и терпеливо и, уча других, сама учиться. Вы ведь знаете, мистер Пип,— продолжала Бидди, с улыбкой поднимая на меня глаза,— новые школы не то, что старые, но я многому выучилась у вас, и после вашего отъезда успела кое в чем продвинуться.

— Я думаю, Бидди, что ты сумела бы продвинуться при любых обстоятельствах.

— Да, только вот если есть дурная черта в характере, тут уж ничего не поделаешь.

Это прозвучало не как упрек, а скорее как мысль, высказанная вслух. Ну что ж, подумал я, лучше оставить и эту тему. И я молча прошел еще несколько шагов рядом с Бидди, глядя на ее потупленные глаза.

— Расскажи мне, Бидди, как умерла моя сестра?

— Рассказывать-то почти нечего. Она, бедняжка, четыре дня была не в себе — хотя последнее время это у нее бывало не чаще, скорей даже реже,— а тут вечером, как раз когда чай пить, очнулась и совсем ясно сказала: «Джо». Перед этим она давно ни слова не говорила, ну, я скорей и побежала в кузницу за мистером Гарджери. Она мне показала знаками, что пусть, мол, он сядет возле нее и чтобы я помогла ей обнять его за шею. Я так и сделала, а она положила голову ему на плечо и сразу успокоилась. Потом, спустя немного, опять сказала «Джо», и один раз сказала «прости», и один раз «Пип».

Так она больше и не поднимала голову, а ровно через час мы положили ее на кровать, потому что видим — она уже не дышит.

Бидди заплакала; я и сам едва различал сквозь слезы темнеющий сад, и дорогу, и первые звезды.

— Так ничего и не удалось узнать, Бидди?

— Ничего.

— А что сталось с Орликом?

— Судя по тому, какой он теперь ходит, он, наверно, работает в каменоломне.

— Значит, ты его видела?.. Почему ты смотришь на то темное дерево у дороги?

— Я видела его там в день ее смерти, вечером.

— И это было не в последний раз, Бидди?

— Нет; вот и сейчас я его там видела... не нужно, ни к чему это,— сказала Бидди, удерживая меня за руку, так как я хотел выбежать на дорогу.— Вы же знаете, я бы не стала вас обманывать; он только показался и сразу исчез.

Меня до глубины души возмутило, что этот негодяй все еще преследует ее, и я еще больше его возненавидел. Я сказал это Бидди и добавил, что не пожалел бы ни трудов, ни денег, чтобы убрать его из нашей округи. Бидди мало-помалу меня успокоила и заговорила о том, как Джо меня любит и как он никогда не жалуется (она не сказала на кого, но я и так ее понял), а делает свое дело, честно трудится, не жалея сил, не тратя лишних слов, не ожесточаясь сердцем.

— Да, другого такого человека поискать,— сказал я.— И знаешь, Бидди, нам нужно почаще вот так с тобой беседовать, ведь теперь я, разумеется, буду часто сюда наезжать. Я не оставлю бедного Джо совсем одного.

Бидди промолчала.

— Бидди, ты слышала, что я сказал?

— Да, мистер Пип.

— Во-первых, как тебе не стыдно называть меня мистер Пип, а во-вторых, что это значит, Бидди?

— Что значит? — тихо переспросила Бидди.

— Бидди,— сказал я тоном оскорбленной добродетели,— я решительно желаю знать, что означает твое молчание.

— Мое молчание?

— Да что ты все повторяешь, как попугай! — рассердился я.— Раньше этого за тобой не водилось.

— Раньше! — сказала Бидди.— Ах, мистер Пип! Раньше!

Я решил, что делать нечего — эту тему тоже лучше оставить. Молча пройдясь еще раз по саду, я вернулся к прерванному разговору.

— Бидди,— начал я,— будь добра объяснить мне, почему ты так упорно молчала, когда я сказал, что буду часто наезжать к Джо?

— А вы уверены, что будете часто наезжать к нему? — спросила Бидди, останавливаясь на узкой дорожке под звездами и глядя на меня своими ясными, честными глазами.

— Ах, боже мой! — воскликнул я, чувствуя, что спорить с Бидди бесполезно.— Вот уж это действительно у тебя дурная черта. Пожалуйста, Бидди, не говори больше ни слова. Мне все это крайне неприятно.

После чего я счел себя вправе очень высокомерно держаться с Бидди за ужином, а прощаясь с ней перед тем как уйти в свою комнатку, проявил всю холодность, какую дозволяла мне неспокойная совесть и воспоминание о кладбище и печальных событиях этого дня. И ночью, не находя себе покоя, я просыпался каждые четверть часа и всякий раз вспоминал, как нехорошо, как оскорбительно, как несправедливо обошлась со мной Бидди.

Рано утром мне предстояло пуститься в обратный путь. И рано утром, выйдя из дому, я тихонько заглянул в окошко кузницы. Я простоял несколько минут, глядя на Джо. Он уже взялся за работу, и лицо его светилось здоровьем и силой, словно озаренное ярким солнцем жизни, ожидавшей его впереди.

— Прощай, милый Джо!.. Да нет, не вытирай руку... дай мне пожать ее какая есть. Я скоро приеду, Джо, я буду часто навещать тебя.

— Чем скорее, тем лучше, сэр,— сказал Джо.— И чем чаще, тем лучше, Пип!

Бидди ждала меня в дверях кухни с кружкой парного молока и ломтем хлеба.

— Бидди,— сказал я, пожимая ей на прощанье руку,— я не сержусь, но я очень обижен.

— Ох, пожалуйста, не нужно обижаться,— взмолилась она чуть не со слезами,— пусть уж одной мне будет обидно, если я вас не пожалела.

Снова туман уплывал вверх, открывая передо мной дорогу. Если он, как я смутно догадываюсь, хотел показать мне, что я не вернусь и что Бидди была совершенно права,— мне остается признать одно: он тоже был совершенно прав.

ГЛАВА XXXVI

Дела наши с Гербертом шли все хуже и хуже,— сколько мы ни пытались «разобраться в своих финансах», сколько ни «оставляли резервов», долги неуклонно росли. А время, несмотря ни на что, шло, по своему обыкновению, быстро, и предсказание Герберта сбылось: не успел я оглянуться, как мне стукнул двадцать один год.

Герберт достиг совершеннолетия на восемь месяцев раньше, чем я; но так как ничего, помимо совершеннолетия, он и не предполагал достигнуть, событие это не особенно взволновало Подворье Барнарда. Другое дело — мое рожденье: в ожидании его мы строили тысячи догадок и планов, не сомневаясь, что теперь-то мой опекун обязательно сообщит мне что-нибудь определенное.

Я позаботился о том, чтобы на Литл-Бритен хорошо запомнили, в какой день я родился. Накануне от Уэммика пришло письменное извещение, что мистер Джеггерс будет рад видеть меня в конторе завтра, в пять часов пополудни. Это окончательно убедило нас в том, что следует ждать важных перемен, и, когда наступил знаменательный день, я, не помня себя от волнения, отправился в контору моего опекуна, куда и прибыл точно в назначенное время.

Едва я вошел, Уэммик принес мне свои поздравления и как бы невзначай потер себе нос сложенной хрустящей бумажкой, вид которой мне понравился. Однако он ничего о ней не сказал, а только кивнул на дверь кабинета.

Был ноябрь месяц, и мой опекун стоял у огня, прислонившись к каминной доске и заложив руки за фалды сюртука.

— Ну-с, Пип,— сказал он,— сегодня мне следует называть вас «мистер Пип». С днем рожденья, мистер Пип.

Он пожал мне руку — пожатие его всегда отличалось необычайной краткостью,— и я поблагодарил его.

— Присядьте, мистер Пип,— сказал мой опекун.

Когда я сел, а он остался стоять, да еще нагнул голову, хмурясь на свои сапоги, я почувствовал себя маленьким и беспомощным, как в тот давно минувший день, когда меня посадили на могильный камень. Два страшных слепка стояли тут же на полке и, глупо кривя рот, как будто пыжились подслушать наш разговор.

— А теперь, мой молодой друг,— сказал мистер Джеггерс, словно обращаясь к свидетелю в суде,— я хочу с вами побеседовать.

— Я очень рад, сэр.

— Как вы думаете,— сказал мистер Джеггерс, наклоняясь вперед, чтобы посмотреть в пол, а затем откидывая голову, чтобы посмотреть в потолок,— как вы думаете, сколько вы проживаете в год?

— Сколько проживаю, сэр?

— Сколько,— повторил мистер Джеггерс, все не отрывая взгляда от потолка,— вы — проживаете — в год? — После чего оглядел комнату и застыл, держа носовой платок в руке, на полпути к носу.

Я так часто пробовал разобраться в своих финансах, что теперь даже отдаленно не представлял себе истинного их положения. Поэтому мне волей-неволей пришлось сознаться, что я не могу ответить. Это, казалось, порадовало мистера Джеггерса; он сказал: — Я так и думал! — и высморкался с видом полного удовлетворения.

— Ну вот, мой друг, я задал вам вопрос,— сказал мистер Джеггерс.— Теперь, может быть, вы хотите спросить что-нибудь у меня?

— Конечно, сэр, мне бы хотелось задать вам не один, а несколько вопросов; но я помню ваш запрет.

— Задайте один,— сказал мистер Джеггерс.

— Я сегодня узнаю имя моего благодетеля?

— Нет. Задайте еще один.

— Я еще не скоро узнаю эту тайну?

— Повремените с этим,— сказал мистер Джеггерс,— и задайте еще один.

Я заколебался, но теперь уже, казалось, некуда было уйти от вопроса:

— Мне... я... я что-нибудь получу сегодня, сэр?

Тогда мистер Джеггерс с торжеством ответил:

— Я так и знал, что мы до этого доберемся! — и, кликнув Уэммика, велел ему принести ту самую бумажку. Уэммик вошел, подал ее своему патрону и скрылся.

— Ну вот, мистер Пип,— сказал мистер Джеггерс,— попрошу вашего внимания. Вы довольно-таки часто обращались сюда за ссудами. В кассовой книге Уэммика ваше имя значится довольно-таки часто; но у вас, конечно, есть долги?

— Боюсь, что придется ответить утвердительно, сэр.

— Вы *знаете,* что придется ответить утвердительно, ведь так? — сказал мистер Джеггерс.

— Да, сэр.

— Я не спрашиваю вас, сколько вы должны, потому что этого вы не знаете, а если бы и знали, то не сказали бы; вы бы преуменьшили цифру. Да, да, мой друг! — воскликнул мистер Джеггерс, заметив, что я порываюсь возразить, и грозя мне пальцем.— Вам, весьма возможно, кажется, что это не так, но это так. Вы уж не взыщите, я знаю лучше вашего. Теперь возьмите в руку эту бумажку. Взяли? Очень хорошо. Теперь разверните ее и скажите мне, что это такое.

— Это,— сказал я,— кредитный билет в пятьсот фунтов.

— Это,— повторил мистер Джеггерс,— кредитный билет в пятьсот фунтов. Сумма, на мой взгляд, преизрядная. Как вы считаете?

— Разве с этим можно не согласиться?

— Да, но отвечайте на мой вопрос,— сказал мистер Джеггерс.

— Без сомнения.

— Вы считаете, что это — без сомнения преизрядная сумма. Так вот, Пип, эта преизрядная сумма принадлежит вам. Это подарок ко дню вашего рождения,— так ска-

зать задаток в счет ваших надежд. И эту преизрядную сумму, но отнюдь не больше, вам разрешается проживать ежегодно, пока не появится то лицо, которое вам ее дарит. Другими словами, отныне вы берете ваши денежные дела в свои руки и каждые три месяца будете получать у Уэммика сто двадцать пять фунтов до тех пор, пока у вас не установится связь с первоисточником, а не только с исполнителем. Как я вам уже говорил, я всего только исполнитель. Я следую данным мне указаниям, и за это мне платят. Сам я считаю эти указания неразумными, но мне платят не за то, чтобы я высказывал о них свое мнение.

Я готов был рассыпаться в благодарностях моему щедрому благодетелю, но мистер Джеггерс не дал мне раскрыть рот.

— Мне платят не за то, Пип,— сказал он невозмутимо,— чтобы я передавал кому-либо ваши слова.— И он подобрал полы своего сюртука так же неспешно, как подбирал слова в разговоре, и хмуро поглядел на свои сапоги, словно подозревал, что они строят против него какие-то козни.

Помолчав немного, я робко напомнил:

— Мистер Джеггерс, а тот вопрос, с которым вы велели мне повременить... можно мне теперь задать его еще раз?

— Какой вопрос? — сказал он.

Мне следовало бы знать, что он ни за что не придет мне на помощь, но эта необходимость заново строить вопрос, как будто я задавал его впервые, совсем меня смутила.

— Можно ли рассчитывать,— выговорил я наконец,— что мой покровитель, тот первоисточник, о котором вы говорили, мистер Джеггерс, скоро...— и тут я из деликатности умолк.

— Что «скоро»? — спросил мистер Джеггерс.— В таком виде, вы сами понимаете, это еще не вопрос.

— Скоро прибудет в Лондон,— сказал я, найдя, как мне казалось, нужные слова,— или вызовет меня куда-нибудь?

— В связи с этим,— отвечал мистер Джеггерс, в первый раз за все время глядя прямо на меня своими тем-

ными, глубоко сидящими глазами,— мы должны вернуться к тому вечеру у вас в деревне, когда произошло наше знакомство. Что я вам тогда сказал, Пип?

— Вы сказали, мистер Джеггерс, что может пройти много лет, прежде чем я увижу своего благодетеля.

— Совершенно верно,— сказал мистер Джеггерс.— Это и есть мой ответ.

Глаза наши встретились, и я почувствовал, что весь дрожу, так мне хочется вытянуть из него хоть что-нибудь. И тут же почувствовал, что он это видит и что у меня меньше чем когда-либо шансов что-нибудь из него вытянуть.

— Вы и сейчас думаете, что может пройти еще много лет?

Мистер Джеггерс покачал головой: то не был отрицательный ответ на мой вопрос, то было отрицание самой возможности добиться от него ответа,— и оба безобразных слепка, на которые взгляд мой случайно упал в эту минуту, скорчили такие гримасы, точно им стало невтерпеж нас слушать и они сейчас чихнут.

— Пожалуй, друг мой Пип,— сказал мистер Джеггерс, согревая себе ляжки нагретыми у огня ладонями,— я вам сейчас кое-что разъясню. Этого вопроса мне задавать нельзя. Добавлю для ясности, что этот вопрос может скомпрометировать *меня*. Пожалуй, я пойду даже дальше; я вам скажу еще кое-что.

Он замолчал и так низко нагнулся, хмурясь на свои сапоги, что теперь уже мог потереть себе икры.

— Когда это лицо объявится,— сказал мистер Джеггерс, снова распрямляя спину,— вы и это лицо будете договариваться без моего участия. Когда это лицо объявится, моя роль в этом деле будет кончена. Когда это лицо объявится, мне не нужно будет даже знать об этом. Вот и все, что я могу вам сказать.

Мы обменялись долгим взглядом, а потом я отвел глаза и в раздумье уставился в пол. Из последних слов мистера Джеггерса я вывел, что мисс Хэвишем по каким-то причинам, а может быть, без всякой причины, не посвятила его в свои планы относительно меня и Эстеллы: что это его обидело, задело его самолюбие; или же что он не сочувствует этим планам и не желает иметь к ним

никакого касательства. Я снова поднял глаза и увидел, что он не сводит с меня проницательного взгляда.

— Если это все, что вы можете мне сказать, сэр,— проговорил я,— мне тоже больше нечего сказать.

Мистер Джеггерс кивнул головой, вытащил свои часы, приводившие в такой трепет воров, и спросил меня, где я собираюсь обедать. Я ответил, что дома, с Гербертом. После этого я посчитал необходимым в свою очередь спросить, не согласится ли он отобедать с нами, и он сейчас же принял мое приглашение. Но он непременно захотел идти вместе со мной, чтобы я не затеял в его честь никаких особых приготовлений, а ему еще нужно было написать письмо и, само собой разумеется, вымыть руки. Поэтому я сказал, что пройду пока в контору поболтать с Уэммиком.

Дело в том, что, когда я оказался обладателем пятисот фунтов, в голове у меня мелькнула мысль, уже не раз приходившая мне раньше; и я решил, что Уэммик — как раз тот человек, с которым стоит посоветоваться в таком деле.

Уэммик уже запер кассу и готовился уходить домой. Он слез с табурета, взял с конторки две оплывших свечи и поставил их вместе со щипцами на приступку возле двери, чтобы погасить перед самым уходом; подгреб угли в камине, снял с вешалки шляпу и шинель и теперь, чтобы размяться после рабочего дня, энергично выстукивал себе грудь ключом от кассы.

— Мистер Уэммик,— сказал я,— мне интересно узнать ваше мнение. Я бы очень хотел помочь одному другу.

Уэммик накрепко замкнул свой почтовый ящик и покачал головой, словно наотрез отказываясь потакать подобной слабохарактерности.

— Этот друг,— продолжал я,— мечтает посвятить себя коммерческой деятельности, но у него нет денег для первых шагов, и это его очень угнетает. Вот я и хочу как-нибудь помочь ему сделать первые шаги.

— Внести за него пай? — спросил Уэммик, и тон его был суше опилок.

— Внести за него *часть* пая,— ответил я, ибо меня пронзило тягостное воспоминание об аккуратной пачке счетов, ожидавшей меня дома.— Часть внести и еще, может быть, дать обязательство в счет моих надежд.

— Мистер Пип,— сказал Уэммик,— окажите мне любезность, давайте вместе сосчитаем по пальцам все мосты отсюда до Челси. Что у нас получается? Лондонский мост — раз; Саутворкский — два; Блекфрайерский — три; Ватерлооский — четыре; Вестминстерский — пять; Воксхоллский — шесть.— Называя мосты один за другим, он по очереди пригибал пальцы к ладони бородкой ключа.— Вот видите, целых шесть мостов, выбор богатый.

— Ничего не понимаю,— сказал я.

— Выберите любой мост, мистер Пип,— сказал Уэммик,— пройдитесь по нему, станьте над средним пролетом и бросьте свои деньги в Темзу,— прощай, мои денежки! Выручите ими друга — и скорее всего вы скажете то же самое, только неприятностей будет больше, а толку меньше.

Сказав это, он так растянул рот, что я мог бы опустить туда целую газету.

— Вы меня совсем обескуражили,— сказал я.

— Что и требовалось,— сказал Уэммик.

— Значит,— продолжал я, начиная сердиться,— по вашему мнению, никогда не следует...

— ...вкладывать капитал в друзей? — подхватил Уэммик.— Конечно, не следует. Разве только если человек хочет избавиться от друга, а тогда надо еще подумать, какого капитала не жаль, чтобы от него избавиться.

— И это ваше окончательное мнение, мистер Уэммик?

— Это мое окончательное мнение здесь, в конторе.

— Ах, вот как! — сказал я, не отставая от него, потому что в последних его словах усмотрел лазейку.— Но, может быть, в Уолворте вы были бы другого мнения?

— Мистер Пип,— ответил он с достоинством,— Уолворт это одно, а контора — совсем другое. Точно так же Престарелый это одно, а мистер Джеггерс — совсем другое. Смешивать их не следует. О моих уолвортских взглядах нужно справляться в Уолворте; здесь, на службе, можно узнать только мои служебные взгляды.

— Очень хорошо,— сказал я с облегчением.— Тогда можете быть уверены, что я навещу вас в Уолворте.

— Мистер Пип,— отвечал он,— рад буду видеть вас там, если вы приедете как частное лицо.

Мы вели этот разговор почти шепотом, хорошо зная, каким тонким слухом обладает мой опекун. В эту минуту он появился в дверях кабинета с полотенцем в руках, и Уэммик тотчас надел шинель и приготовился загасить свечи. Мы все вместе вышли на улицу и у порога расстались: Уэммик повернул в одну сторону, а мы с мистером Джеггерсом — в другую.

В течение этого вечера я не раз пожалел, что у мистера Джеггерса нет на Джеррард-стрит Престарелого, или Громобоя, или кого-нибудь, или чего-нибудь, что могло бы придать ему хоть немного человечности. Очень грустно было думать, да еще в день рожденья, что едва ли стоило достигать совершеннолетия в таком настороженном и недоверчивом мире, какой он создавал вокруг себя. Он был в тысячу раз умнее и образованнее Уэммика, но Уэммика мне было бы в тысячу раз приятнее угостить обедом. И не одного только меня мистер Джеггерс вогнал в тоску: когда он ушел, Герберт сказал мне, устремив глаза на огонь, что, наверно, на его, Герберта, совести лежит какое-то страшное преступление, о котором он начисто забыл,— иначе он не чувствовал бы себя таким виноватым и подавленным.

ГЛАВА XXXVII

Полагая, что воскресенье — самый подходящий день для того, чтобы справиться об уолвортских взглядах мистера Уэммика, я в ближайшее же воскресенье предпринял паломничество в замок. Когда я оказался перед крепостными стенами, флаг гордо реял по ветру и подъемный мост был поднят; но, не устрашенный столь грозным видом сей твердыни, я позвонил у ворот и был вполне мирно встречен Престарелым.

— У моего сына была такая мысль, сэр,— сказал старик, закрепив подъемный мост,— что вы, может быть, сегодня к нам пожалуете, и он наказал вам передать, что скоро вернется со своей воскресной прогулки. Мой сын, он любит порядок в своих прогулках. Мой сын, он во всем любит порядок.

Я покивал ему, как это сделал бы сам Уэммик, и, войдя в дом, присел у камина.

— Вы, сэр,— зачирикал старик, грея руки у жаркого огня,— вы, я полагаю, познакомились с моим сыном у него в конторе? — Я кивнул.— Ха! Я слышал, мой сын дока по своей части, сэр? — Я закивал сильнее.— Да, да, вот и мне так говорили. Он ведь служит по адвокатской части? — Я закивал еще сильнее.— Вот это в нем и есть самое удивительное,— сказал старик,— потому что обучался-то он не адвокатскому ремеслу, а бочарному.

Мне было любопытно узнать, дошла ли до старика слава о мистере Джеггерсе, и я прокричал ему в ухо это имя. Каково же было мое смущение, когда он весело рассмеялся и ответил весьма игриво:

— Ну еще бы, где уж там, ваша правда.

Я и по сей день не знаю, к чему относились его слова и какую шутку я, по его мнению, отпустил.

Так как я не мог без конца кивать ему, не пытаясь вызвать его на разговор, то и спросил, чем он сам занимался в жизни — тоже бочарным ремеслом? После того как я несколько раз громко повторил последние два слова и потыкал его пальцем в грудь, чтобы показать, что речь идет о нем, он понял-таки мой вопрос.

— Нет,— сказал он,— я кладовщиком работал, кладовщиком. Сначала там,— судя по его жесту, это означало в дымоходе, но, кажется, он имел в виду Ливерпуль,— а потом здесь, в Лондоне. Только вот немощь эта ко мне привязалась,— ведь я, сэр, глуховат...

Я всем своим видом изобразил величайшее изумление.

— ...Да, да, глуховат; так вот, когда привязалась ко мне эта немощь, мой сын решил пойти по адвокатской части, и меня стал содержать, и потихоньку-полегоньку приобрел и устроил это прекрасное владение. А что касается до ваших слов, сэр,— продолжал старичок и снова весело рассмеялся,— то ясное дело, где уж там, ваша правда.

Я смиренно решил, что никакая моя выдумка, пусть даже самая остроумная, не могла бы, вероятно, позабавить его больше, чем эта воображаемая шутка, и тут же вздрогнул, потому что на стене рядом с камином что-то щелкнуло и словно сама собой от стены откинулась

дощечка с надписью «ДЖОН». Проследив за моим взглядом, старик торжествующе возгласил: — Мой сын вернулся! — И мы вместе поспешили к подъемному мосту.

Стоило бы заплатить большие деньги, чтобы увидеть, как Уэммик помахал мне в знак приветствия с другого берега рва, хотя мог бы с легкостью дотянуться до меня рукой. Престарелый с таким увлечением принялся опускать мост, что я даже не предложил помочь ему, а подождал, пока Уэммик перешел на нашу сторону и представил меня мисс Скиффинс,— ибо явился он не один, а с дамой.

Мисс Скиффинс была особа несколько деревянного вида и, так же как ее провожатый, причастна к почтовому ведомству. Выглядела она года на три моложе Уэммика и, судя по всему, владела кое-каким движимым имуществом. Лиф ее платья был выкроен таким образом, что выше талии фигура ее как спереди так и сзади напоминала бумажного змея; цвет же платья показался мне очень уж ярко-оранжевым, а перчатки — очень уж ядовито-зелеными. Но при всем том она, видимо, была добрым малым и к Престарелому относилась в высшей степени почтительно. Я очень скоро убедился, что мисс Скиффинс — частая гостья в замке: когда мы вошли в дом и я поздравил Уэммика с прекрасным изобретением, при помощи которого он извещал Престарелого о своем приходе, Уэммик попросил меня обратить внимание на стену с другой стороны камина и исчез. Вскоре опять что-то щелкнуло и от стены откинулась другая дощечка, на этот раз с надписью «Мисс Скиффинс»; затем мисс Скиффинс захлопнулась и откинулся Джон; затем мисс Скиффинс и Джон откинулись одновременно и наконец одновременно захлопнулись. Когда Уэммик вернулся, я стал восторженно расхваливать его хитрую механику, а он сказал:

— Это, знаете ли, все для Престарелого — совмещение приятного с полезным. И заметьте, сэр, из всех, кто здесь бывает, секрет этого устройства известен только Престарелому, мисс Скиффинс и мне.

— И мистер Уэммик,— добавила мисс Скиффинс,— сам его придумал из головы и сам все сделал.

Пока мисс Скиффинс снимала шляпку (зеленые перчатки весь вечер оставались у нее на руках как наглядное

доказательство того, что в доме гости), Уэммик предложил мне прогуляться по саду и посмотреть, как выглядит остров в зимнее время. Я понял, что он хочет дать мне возможность справиться о его уолвортских взглядах, и немедленно воспользовался этой возможностью.

Заранее все тщательно обдумав, я приступил к изложению своего дела так, будто раньше не упоминал о нем ни словом. Я сообщил Уэммику, что меня тревожит судьба Герберта Покета, и рассказал о нашем первом знакомстве и как мы подрались. Я вкратце описал семью Герберта и его характер, упомянув, что единственные свои средства к существованию он получает от отца, никогда не зная, когда и сколько получит. Я упомянул о том, какую огромную пользу мне принесло общение с ним, когда я был еще новичком в Лондоне, и сознался, что, кажется, плохо отплатил ему за это и ему жилось бы лучше без меня и моих надежд. Ни словом не обмолвившись о мисс Хэвишем, я все же дал понять, что, возможно, стал Герберту поперек дороги, но что он великодушен и никогда не унизится до подозрений, сведения счетов и мелких интриг. И по всем этим причинам, сказал я Уэммику, а также потому, что Герберт мой друг и я его люблю, мне хочется уделить ему какую-то долю своего богатства, и я надеюсь, что Уэммик, обладая столь обширным опытом и связями, посоветует мне, как при моих средствах теперь же обеспечить Герберту небольшой доход — скажем, хотя бы сто фунтов годовых, для поддержания в нем бодрости духа,— а затем постепенно купить ему пай в каком-нибудь скромном предприятии. В заключение я объяснил Уэммику, что Герберт не должен не только знать, но даже догадываться о моей помощи и что больше мне решительно не с кем посоветоваться. А потом я положил руку Уэммику на плечо и сказал:

— Я просто вынужден был к вам обратиться, хоть и знаю, что это дело хлопотное. Но вы сами виноваты — не надо было приглашать меня в гости.

Уэммик с минуту помолчал, потом словно проснулся и выпалил:

— Ну, мистер Пип, могу вам сказать одно: это с вашей стороны черт знает как хорошо.

— Так помогите мне сделать хорошее дело.

— Ох,— сказал Уэммик, качая головой,— не по моей это части.

— Но ведь сейчас вы не в конторе,— заметил я.

— Что верно, то верно,— согласился он.— Это вы в самую точку попали. Вот что, мистер Пип, я тут пораскину мозгами, и сдается мне, что постепенно можно будет все устроить так, как вы хотите. Скиффинс (это ее брат) — бухгалтер и торговый агент. Я с ним потолкую, и мы для вас что-нибудь придумаем.

— Не знаю, как благодарить вас.

— Напротив,— сказал он,— это я вас должен благодарить, потому что хоть мы с вами сейчас и беседуем как сугубо частные лица, все же я позволю себе заметить, что ньюгетская паутина — прилипчивая штука, а такие дела помогают ее смахнуть.

Поговорив еще немного на эту тему, мы возвратились в замок, где мисс Скиффинс уже занималась приготовлениями к чаю. Самая ответственная работа — поджаривание гренков — была возложена на Престарелого, и добрый старичок занимался ею с таким рвением, что становилось страшно, как бы он заодно с маслом не растопил и себя. Угощение нам предстояло не игрушечное, а самое заправское. Гренки аппетитно пошипывали на противне, прицепленном к верхнему пруту решетки. Престарелый нажарил их такую груду, что его почти не было за нею видно; а мисс Скиффинс наготовила столько чая, что свинья в своем хлеву за домом страшно взволновалась и стала громко выражать желание принять участие в пире.

Флаг был спущен, пушка выпалила в положенное время, и в этой уютной комнате я чувствовал себя отгороженным от остального мира так же прочно, как если бы ров имел тридцать футов в ширину и столько же в глубину. Ничто не нарушало царившего в замке покоя, кроме того, что время от времени на стене со стуком появлялись то мисс Скиффинс, то Джон: дощечки эти страдали каким-то изъяном, и поведение их слегка пугало меня, пока я к нему не привык. По тому, как уверенно хозяйничала мисс Скиффинс, я рассудил, что она разливает здесь чай каждое воскресенье; а разглядев ее классическую брошь, на которой изображена была в профиль мало приятная особа женского пола с очень прямым носом и под очень

тонким лунным серпом, я сразу заподозрил, что этот образчик движимого имущества получен ею в подарок от Уэммика.

Мы съели дочиста все гренки, выпили соответствующее количество чая и так разогрелись и замаслились, что любо-дорого было смотреть. В особенности Престарелый — тот прямо-таки мог сойти за чистенького древнего вождя какого-нибудь племени диких индейцев, только что натершего себя салом. По воскресеньям маленькая служаночка оставалась, видимо, в лоне собственной семьи; поэтому мисс Скиффинс после краткого отдыха перемыла чайную посуду, да так грациозно, словно играя, что это никому из нас не показалось неприличным. Затем она снова надела перчатки, мы подсели поближе к огню, и Уэммик сказал:

— А ну-ка, Престарелый, что там пишут в газете?

Пока Престарелый доставал очки, Уэммик объяснил мне, что это у них так заведено и что читать вслух газету доставляет старику истинное наслаждение.

— Оправдания, мне думается, излишни,— сказал Уэммик,— ведь у него не так уж много радостей,— верно, Престарелый?

— Превосходно, Джон, превосходно,— отвечал старик, увидев, что к нему обращаются.

— Вы только кивайте ему изредка, когда он будет отрываться от газеты,— сказал Уэммик,— больше ему ничего не нужно. Ну-с, Престарелый Родитель, мы ждем.

— Превосходно, Джон, превосходно! — отозвался веселый старичок с таким деловитым и довольным видом, что просто прелесть.

Чтение Престарелого напомнило мне школу двоюродной бабушки мистера Уопсла, с той лишь приятной разницей, что доносилось оно словно через замочную скважину. Поскольку он требовал, чтобы свечи стояли к нему как можно ближе и все время норовил сунуть в огонь то свою голову, то газету, за ним нужно было следить, как за пороховым складом. Но бдительность Уэммика проявлялась так неустанно и так мягко, что Престарелый читал и читал, даже не подозревая, сколько раз он был на волосок от смерти. Когда он взглядывал на нас, мы выказывали

глубокий интерес и удивление и кивали, пока он снова не принимался читать.

Уэммик и мисс Скиффинс сидели рядом, я же сидел несколько поодаль от них, в тени; и вот я заметил, как рот мистера Уэммика стал медленно и осторожно растягиваться, и в то же время рука его медленно и осторожно пустилась в путь вокруг талии мисс Скиффинс. Через некоторое время она показалась уже по другую сторону этой уважаемой леди; но тут мисс Скиффинс ловко перехватила ее зеленой перчаткой, размотала, словно пояс или шарф, и, не сморгнув глазом, положила перед собой на стол. Самообладание мисс Скиффинс в эту минуту было поразительно, и если бы мыслимо было приписать такой образ действий рассеянности, я подумал бы, что мисс Скиффинс действовала машинально.

Вскоре рука Уэммика опять двинулась в путь и постепенно исчезла из виду, а вслед за этим стал опять растягиваться его рот. Я застыл в напряженном, почти томительном ожидании и перевел дух, лишь когда рука его показалась по другую сторону мисс Скиффинс. Мгновенно мисс Скиффинс перехватила ее с ловкостью и хладнокровием боксера, как и в первый раз сняла с себя этот Венерин пояс и положила на стол. Если приравнять стол к стезе добродетели, то не будет ошибкой сказать, что в течение всего времени, пока Престарелый читал газету, рука Уэммика отклонялась от стези добродетели, а мисс Скиффинс возвращала ее обратно.

Наконец Престарелый задремал, убаюканный собственным чтением, и тут Уэммик предложил нашему вниманию небольшой котелок, стаканы и черную бутылку с фарфоровой пробкой, изображающей развеселого румяного монаха. Это дало нам возможность подкрепиться горячим грогом, от которого не отказался и Престарелый, уже успевший опять проснуться. Мешала грог мисс Скиффинс, и я заметил, что они с Уэммиком пили из одного стакана. Я, разумеется, не стал предлагать мисс Скиффинс проводить ее домой, а счел за благо удалиться первым,— что и сделал, сердечно распростившись с Престарелым и искренне поблагодарив за приятно проведенный вечер.

Не прошло и недели, как Уэммик написал мне из Уолворта, что ему, кажется, удалось кое-что выяснить насчет

того дела, которое мы с ним обсуждали как частные лица, и он хотел бы еще раз побеседовать со мной. Я опять побывал у него в Уолворте, а потом побывал там еще и еще, и несколько раз мы встречались в Сити, но на Литл-Бритен не касались этого предмета ни единым словом. Кончилось тем, что мы нашли честного молодого купца, или посредника по фрахтовым контрактам, который лишь недавно стал на ноги и нуждался в капитале и в толковом помощнике, а со временем, по получении определенной суммы, готов был взять этого помощника в компанию. Мы с ним подписали некое секретное соглашение, предметом которого был Герберт, и я уплатил ему наличными половину моих пятисот фунтов, а также обязался внести еще определенную сумму, частью — в рассрочку, из моих доходов, частью — когда вступлю во владение капиталом. Переговоры вел брат мисс Скиффинс. Уэммик направлял их с начала до конца, но лично при них не присутствовал.

Все удалось сделать так ловко, что Герберту и в голову не пришло заподозрить мое участие в этом деле. Я никогда не забуду, с каким сияющим лицом он явился однажды вечером домой и рассказал мне великую новость: он случайно познакомился с некиим Кларрикером (так звали молодого купца), и этот Кларрикер почему-то сразу проникся к нему симпатией, и кажется... кажется, вот он, наконец, долгожданный случай. День ото дня, по мере того как надежды его крепли, а лицо светлело, он, вероятно, все более убеждался в моей преданности, потому что при виде его счастья слезы радости так и навертывались мне на глаза.

А когда все уладилось и Герберт в первый раз пошел работать в контору Кларрикера, а потом весь вечер без умолку проговорил со мной в полном упоении своей удачей, я, едва оставшись один, и в самом деле расплакался от мысли, что мои надежды хоть кому-то принесли какую-то пользу.

Теперь в памяти моей встает событие огромной важности, поворотная точка всей моей жизни. Но до того, как рассказать об этом событии, и до того, как перейти ко всем переменам, которые оно за собой повлекло, я должен посвятить одну главу Эстелле. Это не много, если вспомнить, как долго она владела моим сердцем.

ГЛАВА XXXVIII

Если когда-нибудь, после моей смерти, в старинном доме, выходящем на Ричмондский луг, заведется привидение, то наверняка этим привидением будет мой беспокойный дух. Сколько дней и ночей напролет он витал в этом доме, когда там жила Эстелла! Где бы я ни находился во плоти, дух мой упорно, неизменно, неудержимо летел к этому дому.

Миссис Брэндли, знатная леди, взявшая к себе Эстеллу, была вдовой и жила с единственной дочерью, девушкой на несколько лет старше Эстеллы. Мать была моложава, а дочь старообразна; мать цвела как роза, а дочь пожелтела и увяла; мать увлекалась светской жизнью, а дочь — богословием. Они, что называется, занимали видное положение в обществе, часто выезжали и принимали у себя многочисленных гостей. С Эстеллой их, в сущности, ничто не роднило, но считалось, что они ей нужны, а она нужна им. Миссис Брэндли была дружна с мисс Хэвишем до того, как та удалилась от света.

И в доме миссис Брэндли и за его стенами я терпел все пытки, какие только могла выдумать для меня Эстелла. То, что она по старому знакомству держалась со мной проще — но отнюдь не более благосклонно,— чем с другими, еще больше растравляло мне душу. Она пользовалась мною, чтобы дразнить своих поклонников, но увы! — самая простота наших отношений помогала ей выказывать пренебрежение к моей любви. Будь я ее секретарем, лакеем, единокровным братом, бедным родственником,— будь я младшим братом ее жениха,— я и то не чувствовал бы, что, находясь так близко от нее, так, в сущности, далек от исполнения своих желаний. Мне разрешалось называть ее по имени, как и она меня называла, но это лишь усугубляло мои страдания; и если, как я готов допустить, это сводило с ума других ее воздыхателей, то меня и подавно.

Поклонников у нее было без счета. Правда, мои ревнивые глаза видели поклонника в любом мужчине, который к ней приближался; но и без этого их было слишком достаточно.

Я часто видел ее в Ричмонде, часто слышал о ней в Лондоне и катал ее и ее хозяек в лодке по реке. Пикники сменялись балами, поездки в оперу и в драму — концертами, вечерами, всевозможными развлечениями, во время которых я не отходил от нее и которые доставляли мне одни лишь горькие муки. Я не знал с нею ни минуты счастья, а сам днем и ночью только о том и думал, каким счастьем было бы не расставаться с нею до гроба.

Все это время — а читатель увидит, что длилось оно, в тогдашнем моем представлении, очень долго,— Эстелла словно бы старалась мне внушить, что, поддерживая знакомство, мы только выполняем чьи-то распоряжения. Но бывало и так, что она вдруг отбрасывала эту манеру, отбрасывала все свои капризы и как будто жалела меня.

— Ах, Пип,— сказала она однажды, когда у нее выдался такой вечер и мы сидели у окна в ричмондском доме.— Неужели вы никогда не научитесь остерегаться?

— Чего?

— Меня.

— Вы хотите сказать — остерегаться ваших чар, Эстелла?

— Хочу сказать! Если вы не понимаете, что я хочу сказать, значит вы слепы.

Я бы ответил ей, что любовь вообще слепа, но, как всегда, меня удержала мысль,— тоже доставлявшая мне немало мучений,— что невеликодушно навязываться со своими чувствами, когда Эстелла все равно должна повиноваться воле мисс Хэвишем и знает это. Я с ужасом думал, что это принуждение, уязвляя ее гордость, отталкивает ее от меня и вся душа ее возмущается против союза со мною.

— Во всяком случае,— сказал я,— сегодня у меня не было причин остерегаться; ведь вы сами написали мне, чтобы я приехал.

— Это верно,— сказала Эстелла с небрежной, холодной улыбкой, от которой у меня всегда падало сердце.

Она молча поглядела на сгущавшиеся за окном сумерки, потом продолжала:

— Мисс Хэвишем опять вызывает меня в Сатис-Хаус. Вы должны проводить меня, а если пожелаете, то и вернуться со мной вместе. Ей не хочется, чтобы я ехала

одна, а мою горничную она мне не позволяет брать с собой, потому что не выносит, чтобы прислуга о ней сплетничала. Вы можете меня проводить?

— Могу ли, Эстелла!

— Значит, можете? Тогда, пожалуйста, послезавтра. Все расходы вы должны оплачивать из моего кошелька. Только с этим условием вы можете ехать. Слышите?

— И повинуюсь,— отвечал я.

Больше никаких предупреждений я не получил ни об этой поездке, ни о других, подобных ей. Мисс Хэвишем никогда мне не писала, я даже не знал ее почерка. Через день мы с Эстеллой пустились в путь. Мисс Хэвишем мы застали в той же комнате, где я увидел ее в первый раз, и в доме, само собой разумеется, не было никаких перемен.

Ее страшная нежность к Эстелле еще возросла с тех пор, как я в последний раз видел их вместе; я не случайно употребил это слово: в ее ласках и нежных взглядах было что-то положительно страшное. Она упивалась красотою Эстеллы, упивалась каждым ее словом, каждым движением и, глядя на нее, все захватывала губами свои дрожащие пальцы, словно пожирая прекрасное создание, которое сама взрастила.

С Эстеллы она переводила взгляд на меня, точно хотела заглянуть мне в самое сердце и проверить, глубоки ли его раны.

— Как она с тобой обращается, Пип? — Словно любопытная колдунья, она снова задавала мне этот вопрос, теперь даже в присутствии Эстеллы.

Но особенно таинственной и страшной она показалась мне вечером, когда мы сидели у мерцающего камина: прижав к себе локтем руку Эстеллы и стиснув ее костлявыми пальцами, она стала выпытывать у девушки имена и звания покоренных ею мужчин, о которых та упоминала в своих письмах; перебирая этот список с упорством, свойственным смертельно поврежденному рассудку, она другой рукой опиралась на свою палку, подбородком легла на руку, а ее выцветшие глаза, устремленные на меня, горели, словно у призрака.

Как я ни страдал от этих разговоров, как ни горько мне было сознавать свою зависимость и унижение, все же

я усматривал в них доказательство того, что Эстелле определено мстить всем мужчинам за мисс Хэвишем и что она достанется мне не раньше, чем это чувство мести будет хотя бы в некоторой мере утолено. Я усматривал в них и подтверждение того, что Эстелла предназначена мне: посылая ее в свет, чтобы завлекать, и лукавить, и мучить, мисс Хэвишем наслаждалась злобной уверенностью, что она одинаково недоступна для всех поклонников и что всякому, кто поставит на эту карту, заранее обеспечен проигрыш. Я усматривал здесь извращенное желание помучить меня, прежде чем дать мне в руки долгожданную награду. Я усматривал здесь и ответ на вопрос, почему меня так долго томят и почему мой бывший опекун скрывает, что осведомлен об этих планах. Короче говоря, я усматривал здесь мисс Хэвишем такою, какою видел ее сейчас, какою видел всегда,— мисс Хэвишем и зловещую тень нездорового, сумрачного дома, в котором она пряталась от солнца.

Свечи в бронзовых подсвечниках, укрепленных высоко на стене, горели ровным, тусклым пламенем в этой комнате, забывшей, что такое струя свежего воздуха. Глядя на них и на рожденное ими бледное сияние, на остановившиеся часы, на увядшие принадлежности подвенечного наряда, разбросанные на столе и на полу, и на изможденную женщину у камина, чья огромная призрачная тень металась по стене и потолку, я во всем усматривал новые подтверждения своим догадкам. Мысли мои переносились в большую комнату через площадку, где стоял накрытый стол, и я читал те же ответы в паутине, клочьями свисавшей с высокой вазы, в беготне пауков по скатерти, в возне, которую затевали за обшивкой стены пугливые мыши, в степенных прогулках тараканов на полу.

Случилось так, что в этот наш приезд между Эстеллой и мисс Хэвишем произошла ссора. Раньше я никогда не замечал, чтобы они не ладили друг с другом.

Мы сидели у огня, как я только что описал, и мисс Хэвишем все прижимала к себе руку Эстеллы, но тут Эстелла начала тихонько высвобождать ее. Она уже и прежде не раз выказывала раздражение и скорее терпела эту неистовую нежность, чем отвечала на нее взаимностью.

— Что это? — сказала мисс Хэвишем, сверкнув глазами.— Я тебе надоела?

— Я сама себе немножко надоела, вот и все,— ответила Эстелла и, высвободив руку, встала и перешла к камину.

— Не лги, неблагодарная! — вскричала мисс Хэвишем, с сердцем стукнув палкой об пол.— Это я тебе надоела!

Эстелла взглянула на нее совершенно спокойно и тут же перевела глаза на огонь. Полное равнодушие к безумной вспышке мисс Хэвишем, выражавшееся в ее изящной позе и прекрасном лице, граничило с жестокостью.

— О, бесчувственная! — воскликнула мисс Хэвишем.— О, холодное, холодное сердце!

— Как? — сказала Эстелла по-прежнему равнодушно и даже не сдвинулась со своего места у камина, а только повела на нее глазами.— Вы упрекаете меня в холодности? Вы?

— А разве я не права? — вознегодовала мисс Хэвишем.

— Вам ли об этом спрашивать? — сказала Эстелла.— Я такая, какой вы меня сделали. Вам некого хвалить и некого корить, кроме себя; ваша заслуга или ваш грех — вот что я такое.

— Какие слова она говорит! — горестно вскричала мисс Хэвишем.— Какие слова она говорит, жестокая, неблагодарная, у того самого очага, где ее взрастили! Где я согрела ее на этой несчастной груди, еще кровоточившей от свежей раны, где я годами изливала на нее свою нежность!

— В этом меня уж никак нельзя обвинять,— возразила Эстелла.— В то время я только-только научилась ходить и говорить. Но чего вы от меня требуете? Вы были очень добры ко мне, я вам всем обязана. Чего же вы требуете?

— Любви,— последовал ответ.

— Я вас люблю.

— Нет,— сказала мисс Хэвишем.

— Моя названая мать,— заговорила Эстелла, нисколько не меняя своей грациозной позы, не повышая голоса и не обнаруживая ни раскаяния, ни гнева.— Моя

названая мать, я уже сказала, что всем обязана вам. Все, что у меня есть,— ваше. Все, что вы мне дали, я вам верну по первому вашему слову. Кроме этого, у меня ничего нет. Так не просите же у меня того, чего вы сами мне не давали,— никакая благодарность и чувство долга не могут сделать невозможного.

— Это я не давала ей любви! — воскликнула мисс Хэвишем, в исступлении поворачиваясь ко мне.— Горячей любви, всегда отравленной ревностью, а когда я слышу от нее такие слова, то и жгучей болью! Пусть, пусть назовет меня безумной!

— Мне ли называть вас безумной? — сказала Эстелла.— Кто лучше меня знает, какие у вас ясные цели? Кто лучше меня знает, какая у вас твердая память?! Ведь это я, я сидела у этого очага, на скамеечке, которая и сейчас стоит подле вас, и слушала ваши уроки и смотрела вам в лицо, когда ваше лицо поражало меня и отпугивало!

— И все уже забыто! — простонала мисс Хэвишем.— Забыто!

— Нет, не забыто,— возразила Эстелла.— Не забыто, а бережно хранится у меня в памяти. Разве бывало когда-нибудь, чтобы я пошла против вашей указки? Чтобы осталась глуха к вашим урокам? Чтобы допустила сюда,— она коснулась рукою груди,— запрещенное вами чувство? Будьте же ко мне справедливы.

— Так горда, так горда! — простонала мисс Хэвишем, обеими руками откидывая свои седые волосы.

— Кто учил меня быть гордой? — отозвалась Эстелла.— Кто хвалил меня, когда я знала урок?

— Так бессердечна! — простонала мисс Хэвишем, сопровождая свои слова все тем же движением.

— Кто учил меня быть бессердечной? — отозвалась Эстелла.— Кто хвалил меня, когда я знала урок?

— Но ты горда и бессердечна *со мной!* — Мисс Хэвишем выкрикнула это слово, простирая к ней руки.— Эстелла, Эстелла, Эстелла, ты горда и бессердечна *со мной!*

Эстелла взглянула на нее с каким-то спокойным удивлением, но не сдвинулась с места; через минуту она уже опять смотрела в огонь.

— Одного я не могу понять,— сказала она, помолчав и обращая взгляд на мисс Хэвишем,— почему вы ведете себя так неразумно, когда я приезжаю к вам после месяца разлуки. Я не забыла ни вашего горя, ни причины его. Я свято следовала вашим наставлениям. Я ни разу не проявила слабости, в которой могла бы себя упрекнуть.

— Так, значит, отвечать мне любовью на любовь было бы слабостью? — воскликнула мисс Хэвишем.— Впрочем, да, конечно, она назвала бы это слабостью.

— Мне кажется,— снова помолчав, задумчиво произнесла Эстелла,— я начинаю понимать, как это случилось. Если бы вы взрастили свою приемную дочь в этих темных комнатах и скрыли от нее самое существование дневного света (при котором она никогда не видела вашего лица) и если бы после этого вам почему-нибудь захотелось, чтобы она сразу постигла, что такое дневной свет, а она бы не могла,— это вас разочаровало бы и рассердило?

Мисс Хэвишем не ответила,— она сжала руками виски и с тихим стоном раскачивалась в своем кресле.

— Или еще так,— продолжала Эстелла, — это будет яснее: если бы вы с младенческих лет внушали ей, что дневной свет существует, но создан ей на страх и на погибель и она должна бежать его, потому что он сгубил вас и может сгубить ее, и если бы после этого вам почему-нибудь захотелось, чтобы она приняла дневной свет как должное, а она бы не могла,— это вас разочаровало бы и рассердило?

Мисс Хэвишем слушала (или мне так казалось — лица ее я не видел), но опять ничего не ответила.

— Вот потому,— закончила Эстелла,— и нельзя от меня требовать невозможного. Это не моя заслуга и не мой грех, такой меня сделали — такая я есть.

Не знаю, когда и как мисс Хэвишем очутилась на полу среди своих подвенечных лохмотьев. Я воспользовался этой минутой и, знаком попросив Эстеллу пожалеть несчастную, вышел из комнаты — мне уже давно было здесь невмоготу. Когда я обернулся в дверях, Эстелла все так же неподвижно стояла у огромного камина. Седые волосы мисс Хэвишем рассыпались по полу, смешавшись

со свадебным тряпьем, и смотреть на нее было противно и жалко.

С тяжелым сердцем я вышел из дома и больше часа бродил при свете звезд во дворе, вокруг пивоварни и по запущенным дорожкам сада. Когда я наконец собрался с духом, чтобы вернуться в комнату, Эстелла, сидя у ног мисс Хэвишем, зашивала одно из тех старых платьев, что уже почти распались на части,— впоследствии я нередко вспоминал их, глядя на выцветшие обрывки хоругвей, которыми увешаны стены соборов. Позже мы с Эстеллой поиграли, как бывало, в карты,— только теперь мы играли искусно, в модные французские игры,— и так скоротали вечер, и я ушел спать.

Мне приготовили постель во флигеле. Впервые я проводил ночь под этим кровом, и сон упорно бежал от меня. Сотни мисс Хэвишем не давали мне покоя. Она мерещилась мне то справа от меня, то слева, то в изголовье, то в ногах кровати, за полуотворенной дверью в туалетную комнату, в туалетной, под полом, над головой — словом, повсюду. Наконец, когда время подползло к двум часам ночи, я почувствовал, что не в силах дольше терпеть эту муку и должен встать. Я встал, оделся и пересек дворик, чтобы длинным каменным коридором выйти в наружный двор и погулять там, пока голова у меня не прояснится. Но, едва вступив в коридор, я поспешил задуть свечу, потому что увидел мисс Хэвишем: она, как тень, уходила по коридору прочь от меня и тихо плакала. Я двинулся следом за ней на некотором расстоянии и увидел, как она дошла до лестницы и стала подниматься. В руке она держала свечу, которую, должно быть, вынула из подсвечника в своей спальне, и при свете ее была похожа на привидение. Я тоже дошел до лестницы и, хотя не видел верхних дверей, почувствовал, как в лицо мне пахнуло спертым воздухом парадной залы, и услышал, как она прошла туда, а оттуда через площадку к себе в комнату, а потом снова туда, все так же тихо плача. Подождав немного, я попытался выбраться в темноте на улицу или вернуться во флигель, но это мне удалось лишь тогда, когда в коридор проникли бледные полоски рассвета. И всякий раз, как я за это время приближался к лестнице, вверху раздавались шаги, мелькала свеча и слышался тихий плач.

На следующий день мы уехали. Ссора с Эстеллой не возобновлялась ни в то утро, ни в последующие наши приезды, а их, сколько я помню, было еще четыре. И держалась мисс Хэвишем с Эстеллой по-прежнему, если не считать того, что теперь к ее чувствам как будто примешивался страх.

Невозможно перевернуть эту страницу моей жизни, не начертав на ней имени Бентли Драмла; иначе я был бы рад обойти его молчанием!

Однажды, когда Зяблики собрались в полном составе и как всегда успели перессориться между собой во имя вящей дружбы и благоволения, Зяблик-председатель призвал Рощу к порядку, напомнив, что мистер Драмл еще не провозгласил тоста за здоровье дамы,— согласно уставу клуба в тот день была его очередь выполнить эту торжественную церемонию. Когда графины пошли вкруговую, мне показалось, что этот мерзавец как-то особенно гадко и многозначительно посмотрел на меня, но я не удивился,— ведь мы терпеть не могли друг друга. Каково же было мое изумление и негодование, когда он предложил выпить за здоровье девицы по имени Эстелла!

— А как фамилия? — спросил я.

— Не ваше дело,— огрызнулся Драмл.

— А где живет? — спросил я.— Это вы обязаны сказать.— У Зябликов действительно было такое правило.

— Эстелла из Ричмонда, джентльмены,— сказал Драмл, как бы выключая меня из их числа.— Несравненная красавица.

(— Много он понимает в несравненных красавицах, идиот несчастный! — шепнул я Герберту.)

— Я знаком с этой леди,— сказал Герберт, когда все выпили.

— В самом деле? — сказал Драмл.

— И я тоже,— добавил я, заливаясь краской.

— В самом деле? — сказал Драмл.— О господи!

Никакого иного ответа этот осел не мог придумать — разве что пустить в вас тарелкой или стаканом,— но меня взорвало от его слов не меньше, чем от самой остроумной насмешки, и я немедленно вскочил с места и заявил, что, когда почтенный Зяблик выступает в этой Роще (мы любили употреблять такие парламентские обороты) с пред-

ложением выпить за здоровье дамы, с которой он даже отдаленно не знаком, я не могу расценить это иначе как наглость. Тут мистер Драмл тоже вскочил с места и осведомился, что это значит? Я же в ответ высказал надежду, что ему известно, где меня можно найти, буде он пожелает прислать ко мне своих секундантов.

Вопрос, возможно ли в христианской стране обойтись после таких слов без кровопролития, вызвал среди Зябликов полнейший раскол, и диспут принял столь оживленный характер, что не менее шести почтенных Зябликов вслед за мной высказали надежду, что всем известно, где их можно найти. Наконец Роща (поскольку на ней лежали обязанности суда чести) постановила: если мистер Драмл представит хотя бы малейшее доказательство того, что он имеет счастье быть знакомым с этой леди, мистер Пип, как джентльмен и Зяблик, должен принести извинения за «проявленную им горячность, которая...» и так далее. Чтобы наш гонор не успел остыть, разбирательство было назначено на завтра, и назавтра Драмл явился с записочкой от Эстеллы, в которой она вежливо подтверждала, что несколько раз имела удовольствие с ним танцевать. Мне ничего не оставалось, как только принести извинения за «проявленную мною горячность, которая...» и взять обратно, как совершенно неосновательное, мое утверждение, будто меня можно найти где бы то ни было. Затем мы с Драмлом еще около часа глухо рычали друг на друга, в то время как Роща звенела беспорядочными спорами и пререканиями, и наконец было объявлено, что никогда еще чувства дружбы и благоволения не царили в ней так безраздельно.

Я рассказываю об этом в шутливом тоне, но мне было не до шуток. Не могу выразить, какую боль я испытывал при мысли, что Эстелла дарит своей благосклонностью презренного, грубого, надутого тупицу, хуже которого и не сыскать. Почему же мне так невыносимо было думать, что она снизошла до этого животного? По сей день я объясняю это тем, что моя любовь горела чистым огнем великодушия и самоотречения. Конечно, я бы стал ревновать Эстеллу к кому угодно, но, если бы она благоволила к человеку более достойному, мои мучения не были бы так жестоки и так горьки.

Вскоре я убедился,— это было нетрудно,— что Драмл за ней ухаживает и что она это терпит. Прошло еще немного времени, и он уже не отставал от нее, так что мы сталкивались чуть ли не каждодневно. Он преследовал ее с тупым упрямством, а Эстелла искусно его подзадоривала: она бывала с ним то ласкова, то холодна, то чуть ли не льстила ему, то открыто над ним издевалась, то встречала его как доброго знакомого, то словно забывала, кто он такой.

Но Паук, как назвал его мистер Джеггерс, привык не спеша подстерегать свою добычу и обладал терпением, присущим его племени. Кроме того, он слепо верил в силу своих денег и своей родословной, что нередко выручало его, заменяя ему ясное сознание цели и твердую волю. Таким образом, упорно сторожа Эстеллу, Паук одним своим упорством отваживал многих яркокрылых мотыльков и нередко ткал нить и спускался с потолка как раз в нужную минуту.

На одном балу в городском собрании Ричмонда (в то время такие балы повсюду были в моде), где Эстелла затмила всех других красавиц, этот нескладный Драмл так липнул к ней и она так благосклонно терпела его ухаживания, что я решил с нею поговорить. Я выбрал время, когда она сидела в сторонке, среди жардиньерок с цветами, дожидаясь миссис Брэндли, чтобы вместе ехать домой. Я, разумеется, был тут же, так как сопровождал их почти повсюду.

— Вы утомились, Эстелла?

— Немножко, Пип.

— Оно и понятно.

— Но очень некстати: мне еще нужно сегодня написать письмо в Сатис-Хаус.

— Доложить о последней победе? Ах, нестоящая это победа, Эстелла!

— Что вы хотите сказать? Я ничего такого не заметила.

— Эстелла,— сказал я,— вы только посмотрите на этого человека вон там, в углу, который все время глядит на нас.

— Зачем мне смотреть на него? — возразила Эстелла, поворачиваясь ко мне.— Разве этот человек вон там, в

углу, как вам угодно было выразиться, чем-нибудь интересен?

— Это самое и я хотел у вас спросить,— сказал я.— Ведь он кружил около вас весь вечер.

— Около горящей свечи кружат и бабочки и всякие противные букашки,— сказала Эстелла, бросив взгляд в его сторону.— Может ли свеча этому помешать?

— Нет,— ответил я,— но Эстелла ведь может?

Она помолчала с минуту, потом засмеялась.

— Не знаю, право. Пожалуй, что может. Думайте как хотите.

— Но, Эстелла, выслушайте меня. Я глубоко страдаю оттого, что вы поощряете такого презренного человека, как Драмл. Вы же знаете, что все решительно его презирают.

— Ну и что же?

— Вы знаете, что внутренне он так же мало привлекателен, как и внешне. Неинтересный, вздорный, угрюмый, глупый человек.

— Ну и что же?

— Вы знаете, что ему нечем похвастаться, кроме как богатством да какими-то слабоумными предками; ведь знаете, да?

— Ну и что же? — сказала она еще раз, и с каждым разом ее чудесные глаза раскрывались все шире.

Чтобы как-нибудь перешагнуть через это ее словечко, я подхватил его и с жаром повторил:

— Ну и что же? А то, что я от этого страдаю.

Если бы я мог поверить, что она поощряет Драмла с тайной целью причинить страдания мне — мне! — на душе у меня сразу бы полегчало; но она как всегда просто забывала о моем существовании, так что об этом не могло быть и речи.

— Пип,— сказала Эстелла, окинув взглядом комнату,— не болтайте глупостей о том, как это действует на вас. Может быть, это действует на других, может быть мне того и нужно. Не стоит это обсуждать.

— Нет, стоит,— возразил я,— потому что я не вынесу, если люди станут говорить: «Она растрачивает свою красоту и обаяние на этого болвана, самого недостойного из всех».

— Я вполне могу это вынести,— сказала Эстелла.

— Ах, Эстелла, не будьте такой гордой, такой непреклонной!

— Теперь вы называете меня гордой и непреклонной,— сказала Эстелла, разводя руками,— а только что укоряли в том, что я снизошла до болвана.

— Ну, уж это вы не можете отрицать,— не выдержал я,— ведь только сегодня, у меня на глазах, вы дарили его такими взглядами и улыбками, какими никогда не дарили... меня.

— Неужели же вам хотелось бы,— сказала Эстелла, вдруг обратив на меня серьезный и пристальный, если не гневный взгляд,— чтобы я ловила и обманывала вас?

— Значит, вы ловите и обманываете его, Эстелла?

— Да, его и многих других — всех, кроме вас. Вот идет миссис Брэндли. Больше я ничего не скажу.

А теперь, после того как я посвятил эту одну главу предмету, так давно владевшему моим сердцем и наполнявшему его все новой болью, ничто не мешает мне перейти к событию, которое подготовлялось с еще более давних пор, к событию, которое стало неизбежным уже в то время, когда я и не знал, что на свете существует Эстелла, а ее детский ум едва начинал поддаваться пагубному влиянию мисс Хэвишем.

В одной восточной сказке тяжелую каменную плиту, которая должна была в час торжества упасть на ложе владыки, долго, долго высекали в каменоломне; длинный туннель для веревки, которая должна была удерживать плиту на месте, долго, долго прорубали в скале, плиту долго поднимали и вделывали в крышу, веревку закрепили и через многомильный туннель долго тянули к большому железному кольцу. Когда после бесконечных трудов все было готово и нужный час настал, султана подняли среди ночи, в руки ему вложили острый топор, который должен был отделить веревку от большого железного кольца; он взмахнул топором, разрубил веревку, и потолок обвалился. Так было и со мной: все, что должно было свершиться заранее, и далеко от меня и близко, свершилось; и вот, мгновенный взмах топора — и крыша моей твердыни, рухнув, погребла меня под обломками.

ГЛАВА XXXIX

Мне исполнилось двадцать три года, и прошла неделя со дня моего рожденья, а я так и не слышал больше ни одного слова, которое могло бы пролить свет на мои надежды. Мы уже год с лишним как съехали из Подворья Барнарда и теперь жили в Тэмпле, в Гарден-Корте, у самой реки.

С некоторого времени мои занятия с мистером Покетом прекратились, но отношения наши оставались самыми дружескими. При всей моей неспособности заняться чем-нибудь определенным,— а мне хочется думать, что она объяснялась беспокойством и полной неосведомленностью относительно моего положения и средств к существованию,— я любил читать и неизменно читал по нескольку часов в день. Дела Герберта понемногу шли на лад, у меня же все обстояло так, как я описал в предыдущей главе.

Накануне Герберт уехал по делам в Марсель. Я был один и тоскливо ощущал свое одиночество. Не находя себе места от тревоги, устав без конца ждать, что завтра или через неделю что-то прояснится, и без конца обманываться в своих ожиданиях, я сильно скучал по веселому лицу и бодрой отзывчивости моего друга.

Погода стояла ужасная: бури и дождь, бури и дождь, и грязь, грязь, грязь по щиколотку на всех улицах... День за днем с востока наплывала на Лондон огромная тяжелая пелена, словно там, на востоке, скопилось ветра и туч на целую вечность. Ветер дул так яростно, что в городе с высоких зданий срывало железные крыши; в деревне с корнем выдирало из земли деревья, уносило крылья ветряных мельниц; а с побережья приходили невеселые вести о кораблекрушениях и жертвах. Неистовые порывы ветра перемежались с ливнями, и минувший день, конец которого я решил просидеть за книгой, был самым ненастным из всех.

Многое с тех пор изменилось в этой части Тэмпла,— теперь она уже не так пустынна и не так обнажена со стороны реки. Мы жили на верхнем этаже крайнего дома, и в тот вечер, о котором я пишу, ветер, налетая с реки,

сотрясал его до основания, подобно пушечным выстрелам или морскому прибою. Когда ветром швыряло в оконные стекла струи дождя и я, взглядывая на них, видел, как трясутся рамы, мне казалось, что я сижу на маяке, среди бушующего моря. Временами дым из камина врывался в комнату, словно не решаясь выйти на улицу в такую ночь, а когда я отворил дверь и заглянул в пролет лестницы, на площадках задуло фонари; когда же я, заслонив лицо руками, прильнул к черному стеклу окна (даже приоткрыть окно при таком дожде и ветре нечего было и думать), то увидел, что и во дворе все фонари задуло, что на мостах и на берегу они судорожно мигают, а искры от разведенных на баржах костров летят по ветру, как докрасна раскаленные брызги дождя.

Я положил часы перед собой на стол с тем, чтобы читать до одиннадцати. Не успел я закрыть книгу, как часы на соборе св. Павла и на множестве церквей в Сити — одни забегая вперед, другие в лад, третьи с запозданием — стали отбивать время. Шум ветра диковинно искажал их бой, и, пока я прислушивался, думая о том, как ветер хватает и рвет эти звуки, на лестнице раздались шаги.

Почему я вздрогнул и, холодея от ужаса, подумал о моей умершей сестре, не имеет значения. Минута безотчетного страха миновала, я снова прислушался и услышал, как шаги, поднимаясь, неуверенно нащупывают ступени. Тут я вспомнил, что фонари на лестнице не горят, и, взяв лампу со стола, вышел на площадку. Свет моей лампы, видимо, заметили, потому что все стихло.

— Есть кто-нибудь внизу? — крикнул я, перегнувшись через перила.

— Есть,— ответил голос из темного колодца.

— Какой этаж вам нужно?

— Верхний. Мистер Пип.

— Это я. Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось,— сказал голос. И шаги стали подниматься выше.

Я держал лампу над пролетом лестницы, и свет ее наконец упал на человека. Лампа была с абажуром, удобная для чтения, но она давала лишь очень небольшой круг света, так что человек оказался в нем всего на мгновение.

За это мгновение я успел увидеть лицо, совершенно мне незнакомое, и обращенный кверху взгляд, в котором читалась непонятная радость и умиление от встречи со мной.

Передвигая лампу по мере того как человек поднимался, я разглядел, что одежда на нем добротная, но грубая — под стать путешественнику с морского корабля. Что у него длинные седые волосы. Что от роду ему лет шестьдесят. Что это мускулистый мужчина, еще очень крепкий, с загорелым, обветренным лицом. Но вот он одолел последние две ступеньки, лампа уже освещала нас обоих, и я остолбенел от изумления, увидев, что он протягивает мне руки.

— Простите, по какому вы делу? — спросил я его.

— По какому делу? — переспросил он, останавливаясь.— Ага. Да. С вашего разрешения, я изложу мое дело.

— Хотите зайти в комнату?

— Да,— ответил он.— Я хочу зайти в комнату, мистер.

Вопрос мой был задан не слишком приветливо, потому что меня сердило выражение счастливой уверенности, не сходившее с его лица. Оно сердило меня, ибо он, казалось, ждал отклика с моей стороны. Все же я провел его в комнату и, поставив лампу на стол, сколько мог вежливо попросил объяснить, что ему нужно.

Он огляделся по сторонам с очень странным видом, явно дивясь и одобряя, но так, словно он сам причастен ко всему, чем любуется,— потом снял толстый дорожный плащ и шляпу. Теперь я увидел, что голова у него морщинистая и плешивая, а длинные седые волосы растут только по бокам. Но ничего такого, что объяснило бы его появление, я не увидел. Напротив, в следующую минуту он опять протянул мне обе руки.

— Что это значит? — спросил я, начиная подозревать, что имею дело с помешанным.

Он отвел от меня глаза и медленно потер голову правой рукой.

— Нелегко это перенести человеку,— сказал он низким, хриплым голосом,— когда столько времени ждал, да столько миль проехал; но ты здесь не виноват — здесь ни

ты, ни я не виноваты. Минут через пять я все скажу. Подожди, пожалуйста, минут пять.

Он опустился в кресло у огня и прикрыл лицо большими, темными, жилистыми руками. Я внимательно посмотрел на него и слегка отодвинулся; но я его не узнал.

— Тут поблизости никого нет, а? — спросил он, оглядываясь через плечо.

— Почему это интересует вас, чужого человека, явившегося ко мне в такой поздний час?

— А ты, оказывается, бедовый! — ответил он, покачивая головой так ласково, что я окончательно растерялся и обозлился.— Это хорошо, что ты вырос такой бедовый! Только ты лучше меня не трогай, не то после пожалеешь.

Я уже оставил намерение, которое он успел угадать, потому что теперь я знал, кто это! Ни одной его черты в отдельности я еще не мог припомнить, но я знал, кто это! Если бы ветер и дождь развеяли годы, отделявшие меня от прошлого, смели все предметы, заслонившие прошлое, и унесли нас на кладбище, где мы впервые встретились при столь непохожих обстоятельствах, я и то не признал бы моего каторжника с такой уверенностью, как сейчас, когда он сидел у моего камина. Ему не было нужды доставать из кармана подпилок; не было нужды снимать с шеи платок и повязывать им голову; не было нужды обхватывать себя руками и, пожимаясь, словно от холода, прохаживаться по комнате, выжидательно поглядывая на меня. Я узнал его раньше, чем он прибегнул к этим подсказкам, хотя еще за минуту мне казалось, что я даже отдаленно не подозреваю, кто он такой.

Он вернулся к столу и опять протянул мне обе руки. Не зная, что делать — от изумления голова у меня шла кругом,— я неохотно подал ему свои. Он крепко сжал их, поднес к губам, поцеловал и не сразу выпустил.

— Ты поступил благородно, мой мальчик,— сказал он.— Молодчина, Пип! Я этого не забыл!

Поняв по его изменившемуся выражению, что он собирается меня обнять, я уперся рукой ему в грудь и отстранил его.

— Нет,— сказал я.— Не надо! Если вы благодарны мне за то, что я сделал, когда был ребенком, я надеюсь,

что в доказательство своей благодарности вы постарались исправиться. Если вы пришли сюда благодарить меня, так не стоило трудиться. Не знаю, как вам удалось меня разыскать, но вами, очевидно, руководило хорошее чувство, и я не хочу вас отталкивать; только вы, разумеется, должны понять, что я...

Столько необъяснимого было в его пристальном взгляде, что слова замерли у меня на губах.

— Ты сказал,— заметил он, после того как мы некоторое время молча смотрели друг на друга,— что я, разумеется, должен понять. Что же именно я, разумеется, должен понять?

— Что теперь, когда все так изменилось, я отнюдь не стремлюсь возобновить наше давнишнее случайное знакомство. Мне приятно думать, что вы раскаялись и стали другим человеком. Мне приятно выразить вам это. Мне приятно, что вы пришли поблагодарить меня, раз я, по вашему мнению, заслуживаю благодарности. Но, однако ж, дороги у нас с вами разные. Вы промокли, и вид у вас утомленный. Хотите выпить чего-нибудь перед тем, как уйти?

Он уже снова набросил платок себе на шею и стоял, покусывая его конец и не сводя с меня настороженного взгляда.

— Пожалуй,— ответил он, все не сводя с меня взгляда и не выпуская платка изо рта,— пожалуй, да, спасибо, я выпью перед тем как уйти.

На столике у стены стоял поднос с бутылками и стаканами. Я принес его к камину и спросил моего гостя, что он будет пить. Он молча, почти не глядя, указал на одну из бутылок, и я стал готовить грог. При этом я старался, чтобы рука у меня не дрожала, но оттого, что он все время смотрел на меня, откинувшись в кресле и сжимая в зубах длинный, измятый конец шейного платка, о котором он, как видно, совсем забыл,— совладать с рукой мне было очень трудно. Когда я наконец протянул ему стакан, меня поразило, что глаза у него полны слез.

До сих пор я даже не присаживался, чтобы показать, что жажду поскорее закрыть за ним дверь. Но при виде его смягчившегося лица я смягчился, и мне стало совестно.

— Надеюсь, вы не сочтете мои слова слишком резкими,— сказал я, поспешно наливая грога во второй стакан и придвигая себе стул.— Я не хотел вас обидеть и прошу прощенья, если сделал это невольно. За ваше здоровье, и желаю вам счастья!

Когда я поднес стакан к губам, он бросил удивленный взгляд на конец платка, который упал ему на грудь, чуть только он открыл рот, и протянул мне руку. Я пожал ее, и тогда он выпил, а потом провел рукавом по глазам и по лбу.

— Чем вы занимаетесь? — спросил я его.

— Разводил овец, разводил рогатый скот, еще много чего пробовал,— сказал он,— там, в Новом Свете, за много тысяч миль бурного моря.

— Надеюсь, вы преуспели в жизни?

— Я замечательно преуспел. Были и другие, что вместе со мной уехали и тоже преуспели, но до меня им далеко. Обо мне там слава идет.

— Я рад это слышать.

— Это хорошо, что ты так говоришь, мой милый мальчик.

Не потрудившись задуматься над этими словами и над тем, каким тоном они были произнесены, я обратился к предмету, о котором только что вспомнил.

— Когда-то вы послали ко мне одного человека,— сказал я.— Вы его видели после того, как он исполнил ваше поручение?

— Не видел ни разу. И не мог увидеть.

— Он нашел меня и отдал мне те два билета по фунту стерлингов. Вы ведь знаете, я был тогда бедным мальчиком, а для бедного мальчика это было целое состояние. Но с тех пор я, как и вы, преуспел в жизни, и теперь я прошу вас взять эти деньги обратно. Вы можете отдать их какому-нибудь другому бедному мальчику.— Я достал кошелек.

Он смотрел, как я кладу кошелек на стол и открываю его, смотрел, как я вытаскиваю один за другим два кредитных билета. Они были новенькие, чистые, я расправил их и протянул ему. Не переставая смотреть на меня, он сложил их вместе, согнул в длину, перекрутил разок, поджег над лампой и бросил пепел на поднос.

— А теперь я возьму на себя смелость спросить,— сказал он, улыбаясь так, словно хмурился, и хмурясь так, словно улыбался,— каким же образом ты преуспел с тех пор, как мы с тобой беседовали на пустом холодном болоте?

— Каким образом?

— Вот именно.

Он допил стакан, поднялся и стал у огня, положив тяжелую темную руку на полку камина. Одну ногу он поставил на решетку, чтобы обсушить и согреть ее, и от мокрого башмака пошел пар; но он не глядел ни на башмак, ни на огонь, он упорно глядел на меня. И только теперь меня стала пробирать дрожь.

Я раскрыл рот, но губы мои шевелились беззвучно, пока я наконец не заставил себя проговорить (хотя и не очень явственно), что мне предстоит унаследовать состояние.

— А разрешено будет презренному кандальнику спросить, что это за состояние?

Я пролепетал:

— Не знаю.

— А разрешено будет презренному кандальнику спросить, чье это состояние?

Я снова пролепетал:

— Не знаю.

— А ну-ка, попробую я угадать,— сказал каторжник,— сколько ты получаешь в год с тех пор, как достиг совершеннолетия! Какая, к примеру, первая цифра — пять?

Чувствуя, что сердце у меня стучит, как тяжелый молот в руках сумасшедшего, я встал с места и, опершись на спинку стула, растерянно уставился на своего собеседника.

— Опять же, насчет опекуна,— продолжал он.— Скорее всего, был у тебя до двадцати одного года опекун или вроде того. Может, стряпчий какой-нибудь. Как, к примеру, первая буква его фамилии? Что, если Д?

Словно яркая вспышка вдруг озарила мой мир, и столько разочарований, унижений, опасностей, всевозможных последствий нахлынуло на меня, что, захлестнутый их потоком, я едва мог перевести дыхание.

— Вообрази,— заговорил он снова,— что доверитель этого стряпчего, у которого фамилия начинается на Д, а если уж говорить до конца, так, может быть, Джеггерс,— вообрази, что он прибыл морем в Портсмут, высадился там и захотел тебя навестить. Ты вот давеча сказал: «Не знаю, как вам удалось меня разыскать». Так как же мне удалось тебя разыскать, а? Да очень просто: из Портсмута я написал одному человеку в Лондон и узнал твой адрес. Как этого человека зовут? Да Уэммик!

Под страхом смерти я и то не мог бы вымолвить ни слова. Я стоял, одной рукой опираясь на спинку стула, а другую прижав к груди, которая, казалось, вот-вот разорвется,— стоял, растерянно уставившись на него, а потом судорожно вцепился в стул, потому что комната поплыла и закружилась. Он подхватил меня, усадил на диван, прислонил к подушкам и опустился передо мной на одно колено, так, что его лицо, теперь отчетливо всплывшее в моей памяти и наводившее на меня ужас, оказалось совсем близко к моему.

— Да, Пип, милый мой мальчик, это я сделал из тебя джентльмена! Я, и никто другой! Еще тогда я поклялся, что как заработаю гинею — ты эту гинею получишь. А позднее поклялся, что как наживусь да разбогатею — разбогатеешь и ты. Мне солоно приходилось — я не жаловался, лишь бы тебе жилось сладко. Работал не покладая рук, лишь бы тебе не работать. Ну и что же, милый мальчик? Думаешь, я для того это говорю, чтобы ты ко мне благодарность чувствовал? Ничуть. А для того я это говорю, чтобы ты знал: загнанный, шелудивый пес, которому ты жизнь сохранил, так возвысился, что из деревенского мальчишки сделал джентльмена, и этот джентльмен — ты, Пип!

Отвращение, которое я испытывал к этому человеку, ужас, который он мне внушал, гадливость, которую вызывало во мне его присутствие, не были бы сильнее, если бы я видел перед собой самое страшное чудовище.

— Слушай меня, Пип. Я тебе все равно что второй отец. Ты мой сын, ты мне дороже всякого сына. Я деньги копил — все для тебя. Когда меня нарядили на дальние пастбища стеречь овец и лица-то вокруг меня были только овечьи, так что я и забыл, какое человеческое лицо

бывает,— я и тогда тебя видел. Сидишь, бывало, в сторожке, обедаешь либо ужинаешь и вдруг уронишь нож — вот, мол, мой мальчик смотрит на меня, как я ем и пью. Я тебя там сколько раз видел так же ясно, как на тех гнилых болотах, и всякий раз говорил: «Разрази меня бог»,— и из сторожки выходил, чтобы под открытым небом это сказать: «Вот кончится мой срок, да наживу я денег, сделаю из мальчика джентльмена». И сделал. Ты только посмотри на себя, мой мальчик! Посмотри на свои хоромы — такими и лорд не погнушается. Да что там лорд! Ты с твоими деньгами всякого лорда за пояс заткнешь!

Упиваясь своим торжеством и к тому же помня, что я был близок к обмороку, он не обращал внимания на то, как я воспринимаю его слова. Лишь в этом и была для меня капля утешения.

— Ты только взгляни,— продолжал он, доставая у меня из кармана часы и поворачивая перстень на моем пальце камнем к себе, хотя я весь сжался от его прикосновения, как при виде змеи,— золотые часы, да какие прекрасные: это ли не к лицу джентльмену! А тут — бриллиант, весь обсыпанный рубинами: это ли не к лицу джентльмену! Взгляни на свое белье — тонкое да нарядное. Взгляни на свою одежду — лучшей не сыскать! А книги! — Он обвел глазами комнату.— Вон их сколько на полках, сотни! И ведь ты их читаешь? Знаю, знаю, когда я пришел, ты как раз их читал. Ха-ха-ха! Ты и мне их почитаешь, мой мальчик! А если они на иностранных языках и я ни слова не пойму,— все равно, я еще больше буду тобой гордиться.

Он снова поднес мои руки к губам, и у меня мороз пробежал по коже.

— Ты не утруждай себя, Пип, не разговаривай,— сказал он, после того как опять провел рукавом по глазам и по лбу, а в горле у него что-то булькнуло — я хорошо помнил этот звук! — и стал мне еще отвратительнее тем, что говорил так серьезно.— Самое лучшее тебе помолчать, мой мальчик. Ты ведь не ждал этого годами, как я; не готовился задолго, как я. Но неужто ты ни разу не подумал, что это я все сделал?

— Нет, нет, нет,— отвечал я.— Ни разу!

— Вот видишь, а это я, и никто другой. И ни одна

живая душа про то не знала, кроме меня и мистера Джеггерса.

— И больше никого не было? — спросил я.

— Нет,— сказал он, удивленно вскинув глазами,— кому же еще быть? Ох, мальчик ты мой, какой же ты стал красивый! Ну, а карие глазки тоже есть? Есть где-нибудь карие глазки, по которым ты вздыхаешь?

Ах, Эстелла, Эстелла!

— Они достанутся тебе, мой мальчик, чего бы это ни стоило. Я не говорю, такой джентльмен, как ты, да еще образованный, и сам может за себя постоять; ну а с деньгами оно легче! Давай я тебе доскажу, что начал, мой мальчик. С этой вот сторожки, где я овец стерег, у меня завелись деньги (мне их хозяин-скотовод оставил, когда умирал, он был из таких же, как я), потом кончился мой срок, и начал я помаленьку кое-что делать от себя. За что бы я ни брался, все про тебя думал. Возьмешься, бывало, за что-нибудь новое и скажешь: «Будь я трижды проклят, если это не для мальчика!» И мне во всем везло на удивление. Я уже говорил тебе, обо мне там слава идет. Те самые деньги, что мне хозяин оставил, и те, что я в первые годы заработал, я и отослал в Англию мистеру Джеггерсу — все для тебя, это он тогда по моему письму за тобой приехал.

Ах, если бы он не приезжал! Если б оставил меня в кузнице — пусть не вполне довольным своей судьбой, но насколько же более счастливым!

— И это было мне наградой, мой мальчик,— знать про себя, что я ращу джентльмена. Пусть я ходил пешком, а колонисты разъезжали на чистокровных лошадях, обдавая меня пылью; я что думал? А вот что: «Я ращу джентльмена почище, чем вы все вместе взятые!» Когда они говорили друг дружке: «Везти-то ему везет, а только он еще недавно был каторжником и сейчас невежда, грубый человек», я что думал? А вот что: «Ладно, пусть я не джентльмен и неученый, зато у меня свой джентльмен есть. У вас есть земли да стада; а есть ли у кого-нибудь из вас настоящий лондонский джентльмен?» Этим я себя все время поддерживал. И все время помнил, что когда-нибудь обязательно приеду, и увижу моего мальчика, и откроюсь ему как самому родному человеку.

Он положил руку мне на плечо. Я содрогнулся при мысли, что рука эта, возможно, запятнана кровью.

— Мне не легко было уехать из тех краев, Пип, и не безопасно. Но я своего добивался, и чем труднее оно было, тем сильнее я добивался, потому что я все обдумал и крепко все решил. И вот наконец я здесь. Милый мой мальчик, я здесь!

Я пробовал собраться с мыслями, но голова у меня не работала. Мне все время казалось, что я слушаю не столько этого человека, сколько шум дождя и ветра; даже сейчас я не мог отделить его голос от этих голосов, хотя они продолжали звучать, когда он умолк.

— Где ты меня устроишь? — спросил он через некоторое время.— Надо меня где-нибудь устроить, мой мальчик.

— Ночевать? — спросил я.

— Да. И высплюсь же я сегодня,— ты подумай, сколько месяцев меня носило да швыряло по морям!

— Моего друга, с которым я живу, сейчас нет в городе,— сказал я, вставая с дивана,— ложитесь в его комнате.

— Он и завтра не вернется?

— Нет,— несмотря на все мои старания, я говорил как во сне,— и завтра не вернется.

— Потому что, видишь ли, милый мальчик,— сказал он, понизив голос и внушительно уперев свой длинный палец мне в грудь,— необходимо соблюдать осторожность.

— Я не понимаю. Осторожность?

— Ну да. Не то, клянусь богом, смерть!

— Почему смерть?

— Меня выслали-то пожизненно. Для меня возвращение — смерть. Больно много народу возвращалось за последнее время, и мне, если поймают, не миновать виселицы.

Только этого еще недоставало! Мало того, что несчастный годами ковал мне цепи из своего несчастного золота и серебра, он еще рискнул головой, чтобы приехать ко мне, и теперь его жизнь была в моих руках! Если бы я питал к нему не отвращение, а любовь; если бы он мне внушал не чувство гадливости, а глубочайшую нежность и восхищение — мне и то не могло бы быть хуже. Напротив, это было бы лучше, потому что тогда я естественно и от всего сердца старался бы уберечь его от опасности.

Первой моей заботой было затворить ставни, чтобы с улицы не приметили свет, а потом я затворил и запер двери. Пока я был этим занят, он, стоя у стола, пил ром и закусывал печеньем, и, глядя на него, я снова видел моего каторжника за едой на болоте. Я, кажется, ждал, что он вот-вот нагнется и начнет пилить себе ногу.

Заглянув в комнату Герберта и удостоверившись, что входная дверь там заперта и попасть оттуда на лестницу можно только через ту комнату, где мы беседовали, я спросил моего гостя, сейчас ли он хочет лечь. Он ответил утвердительно, но добавил, что утром хотел бы надеть смену моего «джентльменского» белья. Я достал белье и положил возле постели, и опять мороз пробежал у меня по коже, когда он, прощаясь со мной на ночь, опять стал трясти мне руки.

Наконец я кое-как отделался от него, а потом подбросил угля в огонь и уселся у камина, не решаясь лечь спать. Еще час, а может быть и больше, полное оцепенение не давало мне думать; и только когда я стал думать, мне постепенно стало ясно, что я погиб и что корабль, на котором я плыл, разлетелся в щепы.

Намерения мисс Хэвишем относительно меня — пустая игра воображения; Эстелла вовсе не предназначена мне; в Сатис-Хаус меня только терпели, в пику жадным родственникам, как куклу с заводным сердцем, чтобы упражняться на ней за неимением других жертв,— вот первые жгучие уколы, которые я ощутил. Но самую глубокую, самую острую боль причинила мне мысль, что ради каторжника, повинного бог знает в каких преступлениях и рискующего тем, что его увезут из этой вот комнаты, где я сидел и думал, и повесят у ворот Олд-Бейли,— ради такого человека я покинул Джо.

Теперь ничто не могло бы заставить меня вернуться к Джо, вернуться к Бидди,— потому, вероятно, что сознание того, как позорно я вел себя по отношению к ним, было сильнее любых доводов. Никакая мудрость в мире не могла бы дать мне того утешения, какое сулила их преданность и душевная простота; но никогда, никогда, никогда мне не искупить своей вины перед ними.

В вое ветра, в шуме дождя мне то и дело чудилась погоня. Два раза я мог бы поклясться, что слышал стук

и шепот у входной двери. Поддавшись этим страхам, я не то вспомнил, не то вообразил, что появлению моего гостя предшествовали таинственные знамения. Что за последний месяц мне попадались на улице люди, в которых я находил сходство с ним. Что случаи эти учащались по мере того, как он приближался к берегам Англии. Что каким-то образом его грешная душа посылала ко мне этих вестников, и вот теперь, в эту бурную ночь, он сдержал слово и пришел ко мне.

В эти мысли врывались воспоминания о том, каким неистовым он показался когда-то моим детским глазам; как второй каторжник снова и снова повторял, что этот человек хотел его убить; какой он был страшный во время драки в канаве, когда терзал своего противника, как дикий зверь. В тусклом свете камина из этих воспоминаний родился смутный страх — безопасно ли оставаться взаперти с ним вдвоем, в эту глухую, ненастную ночь. Страх ширился, пока не заполнил всю комнату, и наконец я не выдержал — взял свечу и пошел взглянуть на моего жуткого постояльца.

Он обвязал голову платком, и лицо его во сне было сурово и хмуро. Но хотя на подушке рядом с ним лежал пистолет, он спал, и спал спокойно. Убедившись в этом, я тихонько вынул из двери ключ и запер ее снаружи, прежде чем опять усесться у огня. Постепенно я съехал со стула и очутился на полу. Когда я проснулся после короткого сна, в котором ощущение моего несчастья ни на минуту не покидало меня, церковные часы в Сити били пять, свечи догорели, огонь в камине погас, а от дождя и ветра непроглядная тьма за окном казалась еще чернее.

На этом кончается вторая пора надежд Пипа.

ГЛАВА XL

Хорошо еще, что мне сразу пришлось заботиться о том, как уберечь моего страшного гостя от опасности; мысль эта возникла у меня, едва только я проснулся, и на время оттеснила другие, беспорядочно осаждавшие меня мысли.

О том, чтобы спрятать его в своей квартире, нечего было и думать. Это все равно бы не удалось, и всякая попытка только возбудила бы подозрения. Правда, Мститель уже давно получил расчет, но теперь мне прислуживала краснолицая старуха, приводившая себе в помощь живой узел тряпья, который она называла своей племянницей; и не пустить их в одну из комнат значило наверняка разжечь их любопытство и дать пищу для бесконечных сплетен. Обе они были подслеповаты, что я объяснял долголетней привычкой подглядывать в замочные скважины, и обе неизменно являлись, когда их не звали; пожалуй, это составляло единственную постоянную черту в их характере, если не считать того, что обе были нечисты на руку. Чтобы эти особы не учуяли никакой тайны, я решил сообщить им поутру, что ко мне неожиданно приехал из провинции дядюшка.

Решение это я принял еще тогда, когда пытался нашарить в потемках, чем бы зажечь свечу. Ничего не найдя, я был вынужден отправиться к ближайшим воротам, чтобы привести оттуда сторожа с фонарем. И вот, ощупью спу-

скаясь по темной лестнице, я обо что-то споткнулся, и это что-то оказалось человеком, съежившимся в углу.

Так как на мой вопрос, что он тут делает, человек этот ничего не ответил, а только отстранился от меня, я побежал в будку и, поспешно вызвав сторожа, уже на обратном пути рассказал ему, в чем дело. Ветер дул все так же неистово, поэтому, опасаясь, как бы не погасла единственная свеча, мы не стали зажигать фонари на лестнице, но осмотрели всю лестницу снизу доверху и никого не нашли. Тогда у меня мелькнула мысль — не проскользнул ли неизвестный человек к нам в квартиру; я зажег свечу от свечи сторожа и, оставив его в прихожей, тщательно осмотрел все комнаты, включая ту, где спал мой страшный гость. Все было тихо, в квартиру без меня никто не проник.

Меня тревожило, что именно в эту ночь на лестнице мог скрываться соглядатай, и в надежде узнать что-нибудь от сторожа, я поднес ему стаканчик и спросил, не впускал ли он вчера в ворота какого-нибудь подвыпившего джентльмена. Как же, сказал он, таких было трое, в разное время ночи. Один живет в Фаунтен-Корте, двое других — на Тэмпл-лейн, и он видел, что все они разошлись по своим домам. А единственный человек, который снимал квартиру в одном доме с нами, недели две как уехал из города, и ночью он не мог вернуться,— поднимаясь по лестнице, мы видели на его двери печать.

— В мои ворота мало кто входит, сэр,— сказал сторож, отдавая мне стакан,— очень уж погода была скверная. Кроме тех троих джентльменов, как будто никого и не было после одиннадцати часов,— это когда спрашивали вас.

— Да, да,— поспешил я подтвердить,— это был мой дядя.

— Вы, конечно, его видели, сэр?

— Да. Разумеется, видел.

— И того человека, который был с ним, тоже?

— Который был с ним? — переспросил я.

— Мне так показалось,— отвечал сторож.— Когда он остановился спросить, как к вам пройти, тот человек тоже остановился, а когда он пошел сюда, тот человек тоже пошел сюда.

— Что это был за человек?

Сторож не разглядел его толком, похоже, что из

простых; одежа на нем была как будто вся в пыли, а сверху темный плащ. Сторож, видимо, не придавал этому значения, да оно и понятно,— у него не было причин отнестись к этому серьезно, не то что у меня.

Отделавшись от него,— а мне теперь хотелось прекратить наш разговор как можно скорее,— я с тревогой стал сопоставлять эти два обстоятельства. По отдельности каждое из них объяснялось просто: вполне могло случиться, что какой-нибудь человек, хорошо пообедавший в гостях или дома и даже близко не подходивший к будке этого сторожа, забрел на мою лестницу и спьяна уснул там; с другой стороны, мой безымянный гость мог попросить кого-нибудь проводить его до моего дома. Однако то и другое вместе взятое очень мне не нравилось,— после всего пережитого за эти несколько часов я готов был к чему угодно отнестись с недоверием и страхом.

Я затопил камин — уголь загорелся бледным, невеселым огнем — и задремал в кресле. Когда мне уже казалось, что я просидел так целую ночь, часы пробили шесть. Зная, что до света осталось еще добрых полтора часа, я опять задремал и сначала все время просыпался,— то мне слышались громкие разговоры неизвестно о чем, то ветер в трубе представлялся раскатами грома,— а потом я крепко уснул и проснулся как встрепанный, когда на дворе уже рассвело.

Обдумать свое положение я еще не успел, да и сейчас был на это не способен. Удар оглушил меня. Я был удручен, подавлен, но разобраться в своих чувствах не мог. А составить какой-нибудь план действий мне было бы так же трудно, как залезть на луну. Когда я открыл ставни и увидел за окном дождливое, ветреное, свинцово-серое утро, когда растерянно переходил из комнаты в комнату, когда, пожимаясь от холода, снова уселся у камина ждать служанку, я знал, что мне очень скверно, но едва ли мог бы сказать, почему это так, и давно ли это у меня началось, и в какой день недели я это заметил, и даже кто я, собственно, такой.

Наконец старуха явилась, а с ней и племянница, про которую нельзя было сказать, где ее патлатая голова, а где веник, и обе выразили удивление, застав меня у камина. Я сообщил им, что в комнате Герберта спит мой дядюшка,

приехавший ночью, и распорядился относительно некоторых дополнительных приготовлений к завтраку в честь гостя. Затем, пока они с грохотом двигали мебель и поднимали пыль, я, двигаясь словно во сне, умылся, оделся и снова сел у камина ждать, чтобы он вышел к завтраку.

Через некоторое время дверь отворилась, и он вошел. Вид его привел меня в содрогание, при дневном свете он показался мне еще противнее.

— Я даже не знаю, как вас называть,— сказал я вполголоса, когда он сел за стол.— Я всем говорю, что вы мой дядя.

— Правильно, мой мальчик! Вот и называй меня дядей.

— Вероятно, вы в пути придумали себе какую-нибудь фамилию?

— Да, мой мальчик. Я взял себе фамилию Провис.

— И намерены ее сохранить?

— Ну да, чем она хуже другой, разве что тебе какая-нибудь другая больше нравится.

— А как ваша настоящая фамилия? — спросил я шепотом.

— Мэгвич,— отвечал он тоже шепотом,— наречен Абелем.

— Кем вы готовились стать в жизни?

— Кандальником, мой мальчик.

Он сказал это вполне серьезно, точно назвал какую-то профессию.

— Когда вы вчера вечером входили в Тэмпл...— начал я и сам удивился, неужели это было только вчера вечером, а кажется, уже так давно.

— Так что же, мой мальчик?

— Когда вы вошли в ворота и спросили у сторожа, как сюда пройти, с вами кто-нибудь был?

— Со мной? Нет, мой мальчик.

— Но был кто-нибудь поблизости?

— Точно я не приметил,— сказал он в раздумье,— потому как мне здесь все внове. Но, кажется, действительно кто-то был и вошел за мной следом.

— Вас в Лондоне знают?

— Надеюсь, что нет,— сказал он и выразительно показал пальцем на свою шею, от чего меня бросило в жар.

— А раньше вы в Лондоне бывали?

— Редко когда бывал, мой мальчик. Я все больше находился в провинции.

— А... судили вас в Лондоне?

— Это в который раз? — спросил он, зорко взглянув на меня.

— В последний.

Он кивнул головой.

— Тогда я и с Джеггерсом познакомился. Джеггерс меня защищал.

Я уже готов был спросить, за что его судили, но тут он взял со стола нож, взмахнул им, сказал: — А в чем я провинился, за то отработал и заплатил сполна! — и приступил к завтраку.

Ел он прожорливо, так что было неприятно смотреть, и все его движения были грубые, шумные, жадные. С того времени как я принес ему еды на болото, у него поубавилось зубов, и, когда он мял во рту кусок баранины и нагибал голову набок, чтобы получше захватить его клыками, он был до ужаса похож на голодную старую собаку. Это могло хоть у кого отбить аппетит, а мне и так было не до завтрака, и я сидел мрачный, не отрывая глаз от стола, задыхаясь от непреодолимого отвращения.

— Грешен, люблю поесть, мой мальчик,— пояснил он как бы в свое оправдание, отставляя наконец тарелку,— всегда этим грешил. Кабы не это, я бы, может, и горя меньше хлебнул. И без курева я тоже никак не могу. Когда меня там, на краю света, определили пасти овец, я, наверно, сам с тоски превратился бы в овцу, кабы не курево.

С этими словами он встал из-за стола и, запустив руку в карман своей толстой куртки, извлек короткую черную трубочку и горсть табаку, темного и крепкого, известного под названием «негритянского листа». Набив трубку, он высыпал остатки табака обратно в карман, точно в ящик; потом достал щипцами уголек из камина, закурил и, повернувшись спиною к огню, в который раз своим излюбленным жестом протянул мне обе руки.

— Вот,— сказал он, держа меня за руки и попыхивая трубкой,— вот джентльмен, которого я сделал! Настоящий джентльмен, первый сорт. Ох, и приятно мне на тебя

смотреть, Пип! Так бы все стоял и смотрел на тебя, мой мальчик!

Я при первой возможности высвободил руки и, чувствуя, что мысли мои наконец приходят в некоторый порядок, попытался разобраться в своем положении. Прислушиваясь к его хриплому голосу, глядя на его морщинистую плешивую голову с бахромою седых волос, я стал понимать, к кому я прикован и какой крепкой цепью.

— Я не хочу, чтобы мой джентльмен шлепал по лужам; *у моего* джентльмена не должно быть грязи на сапогах. Ему надо завести лошадей, Пип! И верховых, и выездных, и для слуг особо. А то что же это, колонисты разъезжают на лошадях (да еще на чистокровных, шут их дери!), а мой лондонский джентльмен будет ходить пешком? Нет, нет, мы им покажем такое, что им и не снилось, верно, Пип?

Он достал из кармана большой, туго набитый бумажник и бросил его на стол.

— Тут найдется, что тратить, мой мальчик. Это твое. Все, чем я владею,— все не мое, а твое. Да ты не бойся, это не последнее, есть и еще! Я для того и приехал на родину, чтобы поглядеть, как мой джентльмен будет тратить деньги по-джентльменски. Мне только того и надо. Мне только и надо, что этой радости — глядеть на него. И черт вас всех возьми! — закончил он, окинув взглядом комнату и громко щелкнув пальцами.— Черт вас всех возьми, от судьи в парике до колониста, что пылил мне в нос, уж мой будет джентльмен так джентльмен,— не вам чета!

— Помолчите! — воскликнул я, сам не свой от страха и отвращения.— Мне нужно с вами поговорить. Мне нужно решить, что делать. Мне нужно узнать, как уберечь вас от опасности, сколько времени вы здесь пробудете, какие у вас планы.

— Погоди, Пип,— сказал он, кладя руку мне на плечо и сразу как-то присмирев.— Ты малость погоди. Это я давеча забылся. Недостойные слова сказал, недостойные. Слышь, Пип, ты прости меня. Этого больше не будет.

— Прежде всего,— заговорил я опять, чуть не со стоном,— какие меры предосторожности можно принять, чтобы вас не узнали и не посадили в тюрьму?

— Нет, мой мальчик,— продолжал он все так же смиренно,— это не прежде всего. А прежде всего насчет недостойности. Недаром я столько лет растил джентльмена,— я знаю, какого он требует обращения. Слышь, Пип, я недостойные слова сказал, недостойные. Ты уж прости меня, мой мальчик.

Столько мрачного комизма было в этой речи, что я невесело рассмеялся и сказал:

— Простил, простил. Бросьте вы, бога ради, твердить все одно и то же!

— Нет, Пип, погоди,— не унимался он,— я не для того такую даль ехал, чтобы себя недостойным показать. А теперь, мой мальчик, продолжай. О чем бишь ты начал?..

— Как уберечь вас от опасности, которой вы себя подвергли?

— Да не так уж велика опасность. Если только на меня не донесут, опасности, можно сказать, никакой и нет. А кто на меня донесет? Разве что ты, либо Джеггерс, либо Уэммик.

— А если вас случайно узнают на улице?

— Да словно бы и некому,— сказал он.— В газеты я не собираюсь давать объявление, что вот, мол, А. М. воротился из Ботани-Бэй; и лет, слава богу, немало прошло, и корысти в этом никому нет. Но я тебе так скажу, Пип: будь опасность в сто раз больше, я бы все равно приехал поглядеть на тебя.

— И сколько вы здесь пробудете?

— Сколько пробуду? — переспросил он, удивленно взглянув на меня, и даже вынул изо рта свою черную трубку.— А я туда не вернусь. Я больше отсюда не уеду.

— Где же вам жить? — спросил я.— Что мне с вами делать? Где вы будете в безопасности?

— Не тревожься, мой мальчик,— отвечал он.— За деньги можно и парик купить, и пудры, и очки, и любую одежду — к примеру, панталоны с чулками, да мало ли еще что. Так и до меня люди скрывались, и я так могу не хуже других. А где жить, это ты, мой мальчик, сам мне присоветуй.

— Сейчас вы говорите об этом легко,— сказал я,— но вчера, видно, не шутили, когда клялись, что это смерть.

— И сегодня клянусь, что смерть,— сказал он и опять

сунул трубку в рот.— Если поймают, так вздернут при всем честном народе, на улице, неподалеку отсюда, и очень важно, чтобы ты это как следует понял. Но раз уж дело сделано, о чем толковать? Я здесь. Вернуться туда мне теперь не лучше, чем здесь остаться, даже хуже. Приехал я к тебе по своей воле, сколько лет об этом мечтал. Пусть оно опасно, но я-то старый воробей, из каких только силков не уходил, с тех пор как оперился, и не боюсь сесть на огородное пугало. Если в нем спрятана смерть, значит так и надо, пускай выйдет, покажется, тогда я в нее поверю,— тогда, но не раньше. А теперь дай я еще полюбуюсь на своего джентльмена.

Он опять взял меня за обе руки и, попыхивая трубкой, восхищенно оглядел с головы до ног как свою собственность.

Я тем временем пришел к заключению, что лучше всего будет найти ему поблизости какую-нибудь тихую комнату, куда он мог бы въехать через два-три дня, когда вернется Герберт. Для меня было совершенно очевидно, что я должен посвятить Герберта в нашу тайну, не говоря уже о том, какое огромное облегчение это мне сулило. Но для мистера Провиса (так я решил его называть) это было отнюдь не столь очевидно. Он заявил, что даст на это согласие лишь после того, как увидит Герберта и составит себе о нем благоприятное мнение.

— Да и тогда, мой мальчик,— сказал он, вытаскивая из кармана маленькую засаленную черную библию с застежками,— мы приведем его к присяге.

Я не могу сказать с уверенностью, что мой грозный благодетель возил с собой по свету эту черную книжку с единственной целью — в особо важных случаях заставлять людей клясться на ней, но я никогда не видел, чтобы он находил ей иное применение. Самая книжка была, скорее всего, украдена в каком-нибудь суде, и возможно, что, памятуя об этом, а также исходя из собственного опыта, он полагался на нее как на некое могущественное юридическое заклинание или талисман. Сейчас, когда он извлек ее на свет, я вспомнил, как давным-давно на кладбище он связал меня страшной клятвой и как накануне рассказывал, что в тех далеких глухих краях сопровождал клятвой всякое свое решение.

Так как на нем был дешевый матросский костюм, невольно наводивший на мысль, что у него припасен для продажи попугай или сигары, я счел за благо тут же обсудить, как ему лучше всего одеться. Сам он почему-то свято верил, что «панталоны с чулками» могут сотворить чудеса, и в общих чертах уже придумал себе одеяние, которое превратило бы его в нечто среднее между настоятелем собора и зубным врачом. Мне стоило больших трудов убедить его, что лучше ему принять обличье зажиточного фермера; мы также уговорились, что он подстрижет волосы покороче и слегка их припудрит. И наконец — поскольку служанка и ее племянница еще не видели его — было решено, что он не станет показываться им на глаза, пока все эти перемены в его внешности не будут произведены.

Казалось бы, условиться об этих мерах предосторожности было не так уж сложно; но я пребывал в такой растерянности, чтобы не сказать умопомрачении, что это заняло много времени, и я только в третьем часу дня вышел на улицу, чтобы сделать все необходимое. Провиса я запер в квартире, наказав ни под каким видом никому не отворять дверь.

Я знал, что на Эссекс-стрит, в двух шагах от моего дома, имеется весьма почтенный пансион, выходящий задними окнами на Тэмпл; туда я и отправился прежде всего, и мне посчастливилось получить номер на третьем этаже для моего дяди мистера Провиса. Затем я обошел несколько магазинов и заказал все необходимое для того, чтобы преобразить его в фермера. А покончив с этим, я уже в чисто личных целях взял курс на Литл-Бритен. Мистер Джеггерс сидел за своим столом, но при виде меня тотчас встал и перешел к камину.

— Смотрите, Пип,— сказал он,— будьте осторожны.

— Конечно, сэр,— подтвердил я, так как по дороге хорошо обдумал все, что должен ему сказать.

— Не ставьте в затруднительное положение себя, а также никого другого,— продолжал мистер Джеггерс.— Понимаете — никого. Ничего мне не рассказывайте. Я ничего не хочу знать: я не любопытен.

Разумеется, я сразу понял, что ему все известно.

— Я только хотел удостовериться, что мне сказали

правду, мистер Джеггерс,— отвечал я.— У меня нет надежды, что это неправда, но все же я решил проверить.

Мистер Джеггерс кивнул.

— Но как вы это выразились: «сказали» или «сообщили»? — спросил он, нагнув голову набок и не глядя на меня, но устремив взгляд в пол и точно прислушиваясь.— «Сказали» — это как будто подразумевает личное общение. А ведь у вас не могло быть личного общения с человеком, находящимся в Новом Южном Уэльсе.

— Пусть будет «сообщили», мистер Джеггерс.

— Очень хорошо.

— Человек по имени Абель Мэгвич сообщил мне, что он и есть мой неизвестный благодетель.

— Правильно,— сказал мистер Джеггерс.— Это он... в Новом Южном Уэльсе.

— И только он? — спросил я.

— И только он,— ответил мистер Джеггерс.

— Я не настолько глуп, сэр, чтобы считать вас в какой-либо мере ответственным за мои ошибки и ложные выводы; но я всегда думал, что это мисс Хэвишем.

— Как вы правильно заметили, Пип,— сказал мистер Джеггерс, обращая на меня спокойный взгляд и покусывая указательный палец,— за это я не могу нести никакой ответственности.

— А между тем это казалось так правдоподобно, сэр,— продолжал я тоскливо.

— Доказательств ни малейших, Пип,— сказал мистер Джеггерс, качая головой и подбирая полы сюртука.— Никогда не верьте тому, что кажется; верьте только доказательствам. Нет лучше правила в жизни.

— Больше мне нечего сказать,— вздохнул я, немного подумав.— Я проверил сообщение, которое получил,— и все кончено.

— И теперь,— сказал мистер Джеггерс,— когда Мэгвич... в Новом Южном Уэльсе... наконец объявился, вы можете убедиться, Пип, что в моих разговорах с вами я с начала до конца строго придерживался фактов. Не было случая, чтобы я отступил от строгого изложения фактов. Вам это вполне ясно?

— Вполне, сэр.

— Я предупредил Мэгвича... в Новом Южном Уэльсе, когда он впервые написал мне... из Нового Южного Уэльса, что буду строго придерживаться фактов и чтобы он не ждал от меня ничего иного. Я также сделал ему предостережение. Мне показалось, что в своем письме он смутно намекнул, что думает когда-нибудь, в отдаленном будущем, увидеться с вами здесь, в Англии. Я предостерег его, что не желаю больше об этом слышать; что у него нет никаких шансов на помилование; что он выслан пожизненно; и что, вернувшись в пределы этой страны, он совершит уголовное преступление, по закону влекущее за собой наивысшую кару. Я предостерег Мэгвича на этот счет,— сказал мистер Джеггерс, глядя на меня в упор,— я написал ему в Новый Южный Уэльс. Он, несомненно, принял к сведению мое предостережение.

— Несомненно,— сказал я.

— Уэммик сообщил мне,— продолжал мистер Джеггерс, все так же в упор глядя на меня,— что он получил письмо из Портсмута, от какого-то колониста по фамилии Парвис или...

— Или Провис,— подсказал я.

— Или Провис,— благодарю вас, Пип. Может быть, и в самом деле Провис? Может быть, вы знаете, что его фамилия Провис?

— Да.

— Вы, стало быть, знаете, что его фамилия Провис. Итак, письмо из Портсмута, от колониста по фамилии Провис, который от имени Мэгвича просил сообщить ему ваш адрес. Насколько мне известно, Уэммик послал ему ваш адрес обратной почтой. Вероятно, вы от Провиса и получили сведения относительно Мэгвича... в Новом Южном Уэльсе?

— Да, от Провиса,— отвечал я.

— До свидания, Пип,— сказал мистер Джеггерс, протягивая мне руку.— Рад был повидать вас. Когда будете писать Мэгвичу в Новый Южный Уэльс или передавать ему что-нибудь через Провиса, не откажите упомянуть, что подробный отчет по нашему многолетнему делу, а также оправдательные документы будут переданы вам вместе с оставшимися суммами: кое-какие суммы еще остались. До свидания, Пип!

Он пожал мне руку и в упор смотрел на меня, пока я не вышел из комнаты. В дверях я обернулся: он все так же в упор смотрел на меня, а отвратительные слепки точно старались разомкнуть веки и восхищенно выдавить из своих распухших глоток: «Удивительный человек!»

Уэммика в конторе не было, да и будь он на своем месте, он ничем не мог бы мне помочь. Я сразу вернулся в Тэмпл, где грозный Провис, поджидая меня, спокойно потягивал грог и курил «негритянский лист».

На следующий день мне прислали на дом мои покупки, и он стал переодеваться. Но, к моему величайшему огорчению, все, что бы он ни надел, шло ему меньше, чем его матросское платье. Словно что-то в нем сводило на нет всякую попытку переиначить его. Чем больше я его наряжал, чем лучше я его наряжал, тем яснее видел фигуру беглого на болоте. Разумеется, при моем тревожном состоянии духа такое впечатление отчасти объяснялось тем, что передо мной все отчетливее возникало его тогдашнее лицо и повадка; но мне уже чудилось, что он волочит одну ногу, словно на ней все еще болтается тяжелая цепь, и что каждая черточка в нем, каждое движение выдает каторжника.

У него еще сохранились дикарские привычки одинокой жизни на пастбищах, и никакая одежда не могла их смягчить; а к этому присоединялась память о последующей унизительной жизни клейменого среди колонистов и сознание, что он снова должен скрываться от закона. В том, как он сидел и стоял, и пил и ел, как задумывался порой, угрюмо ссутулившись, как доставал свой нож с роговой рукояткой и обтирал его о штаны, прежде чем нарезать пищу, как брал со стола легкую чашку или стакан, точно поднимал большую, нескладную кружку, как отхватывал кусок хлеба и аккуратно собирал им с тарелки всю подливку до последней капли, точно зная, что больше не получит, а потом вытирал о хлеб пальцы и отправлял его в рот,— во всем этом и в тысяче других повседневных мелочей яснее ясного обнаруживался Острожник, Кандальник, Арестант.

Ему очень хотелось напудрить волосы, и я дал на это свое согласие, когда он отказался от панталон с чулками. Но пудра выглядела на нем так, как выглядели бы, веро-

ятно, румяна на лице покойника: благодаря этой жалкой уловке то, что было важнее всего скрыть, с ужасающей ясностью проступило наружу и словно засверкало вокруг его макушки. Мы тут же отменили эту затею, и он только подстриг свои седые космы.

Не могу выразить, как меня угнетала страшная тайна, окружавшая этого человека. Когда по вечерам он засыпал в кресле, вцепившись узловатыми руками в подлокотники и уронив на грудь плешивую голову, изборожденную глубокими морщинами, я сидел и смотрел на него, гадая, что за грех у него на душе, и приписывал ему по очереди все преступления, какие только бывают на свете, пока мною не овладевало страстное желание вскочить и бежать куда глаза глядят. Час от часу мое отвращение к нему росло, и возможно даже, что я бы не вытерпел этой муки и действительно сбежал, несмотря на все, что он для меня сделал и какой опасности себя подверг, если бы меня не удерживала мысль о скором возвращении Герберта. Однажды, впрочем, я все же вскочил среди ночи и стал натягивать самую свою скверную одежду с безумным намерением бросить его, а заодно и все мое имущество и, поступив в солдаты, уехать в Индию.

Даже лицом к лицу с призраком мне не было бы страшнее в моей уединенной квартире под самой крышей длинными вечерами и ночами, в непрестанном шуме ветра и дождя. Призрак нельзя было бы арестовать и повесить по моей вине, а с Провисом я каждую минуту опасался такой возможности, и это окончательно лишало меня присутствия духа. Если он не спал и не раскладывал какой-то сложнейший, одному ему известный пасьянс, для чего пользовался собственной, невероятно истрепанной колодой карт, и всякий раз, как пасьянс сходился, делал на столе отметку своим ножом,— если, повторяю, он не был занят ни тем, ни другим, то просил меня почитать ему вслух: «По-иностранному, мой мальчик!» Пока я читал, он стоял у огня и, хотя не понимал ни слова, по-хозяйски оглядывал меня, а между пальцами руки, которой я заслонялся от света, мне было видно, как он жестами приглашает столы и стулья воздать должное моему таланту. Молодой ученый, оказавшись во власти чудовища, которое он создал в своей гордыне *, был не более несчастен,

чем я, оказавшись во власти человека, который создал меня и к которому я испытывал тем сильнейшее отвращение, чем больше он проявлял ко мне восхищения и любви.

Я чувствую, что пишу так, словно это длилось по крайней мере год. Это длилось дней пять. Все время поджидая Герберта, я не отлучался из дому и только с наступлением темноты выходил с Провисом немного подышать воздухом. Наконец однажды вечером, когда я, совсем измученный, задремал после обеда,— по ночам тяжелые кошмары не давали мне отдохнуть,— меня разбудили долгожданные шаги на лестнице. Провис, который тоже спал, вскочил при звуке отодвинутого мною стула, и в то же мгновение в руке у него сверкнул нож.

— Тихо! Это Герберт! — сказал я; и Герберт влетел в комнату, внося с собой свежесть всех дорог Франции.

— Гендель, дорогой мой, ну здравствуй, здравствуй и еще раз здравствуй! Я точно целый год не был дома. Постой-ка, может, и правда год прошел,— что это ты как похудел, побледнел! Гендель, дорогой... Ох, прошу прощенья.

Поток его слов и пылкие рукопожатия разом прервались,— он увидел Провиса. Не сводя с него пристального взгляда, Провис неторопливо убирал нож и одновременно доставал что-то из другого кармана.

— Герберт, друг мой,— сказал я, накрепко затворяя входную дверь, в то время как Герберт застыл на месте в полном изумлении,— случилась очень странная вещь. Это... это мой гость...

— Все хорошо, мой мальчик! — сказал Провис, выступая вперед со своей черной книжкой, а потом обратился к Герберту: — Возьмите в правую руку. Разрази вас бог на этом месте, если кто от вас хоть слово услышит. Целуйте библию!

— Сделай все, как он хочет,— шепнул я Герберту.

И Герберт повиновался, продолжая глядеть на меня ласково и озадаченно, после чего Провис пожал ему руку и сказал:

— Теперь вы, сами понимаете, связаны клятвой. И пусть я буду последним обманщиком, если Пип не сделает из вас джентльмена!

ГЛАВА XLI

Не берусь описать, как изумился и встревожился Герберт, когда мы сели втроем у огня и я поведал ему свою тайну. Достаточно будет сказать, что на лице Герберта я видел отраженными свои собственные чувства и прежде всего — мое отвращение к человеку, который столько для меня сделал.

Уже одно то, как этот человек торжествовал по поводу моей удачи, разделяло нас непереходимой гранью. За исключением того пресловутого случая, когда он один-единственный раз после возвращения показал себя «недостойным»,— о чем стал надоедливо твердить Герберту, едва только я закончил свой рассказ,— он не видел ничего, способного омрачить безоблачную картину моего счастья. Когда он хвалился, что сделал из меня джентльмена и приехал посмотреть, как я буду по-джентльменски проживать его денежки, он говорил столько же от моего лица, сколько от своего собственного. И ему в голову не приходило усомниться в том, что все это мне очень приятно и что я, как и он, преисполнен торжества и гордости.

— Послушайте меня, товарищ Пипа,— так он закончил одну из своих тирад, обращенных к Герберту,— мне не хуже, чем кому другому, известно, что один раз, с тех пор как я возвратился,— и на одну только минуту,— я показал себя недостойным. Я и Пипу сказал, что, мол, знаю, недостойные это слова. Но вы на этот счет не расстраивайтесь. Не для того я сделал из Пипа джентльмена, не для того Пип и вас сделает джентльменом, чтобы мне забыть, какое с вами с обоими требуется обращение. Милый мой мальчик, и вы, товарищ Пипа, можете быть спокойны: вам за меня краснеть не придется. Как я держал язык на привязи после той минуты, когда у меня недостойные слова сорвались, так и сейчас держу и всегда буду держать.

Герберт сказал: — Разумеется,— но, как видно, не усмотрел в этом особого утешения,— лицо его оставалось растерянным и огорченным. Мы с нетерпением ждали, чтобы Провис ушел к себе и оставил нас одних, но он, видимо, ревновал меня к обществу Герберта и как нарочно все сидел да сидел. Было уже за полночь, когда я проводил

его на Эссекс-стрит и благополучно доставил до самой двери его новой квартиры. И только закрыв за ним дверь, я впервые после его приезда почувствовал некоторое облегчение.

У меня не выходила из головы встреча с неизвестным человеком на лестнице, и я всегда оглядывался по сторонам, когда выводил моего гостя на прогулку и возвращался с ним домой; оглядывался я по сторонам и сейчас. Но как ни трудно, живя в большом городе, отделаться от чувства, что за тобой следят, особенно если знаешь, что такая опасность тебе угрожает, я все же не мог убедить себя, что кому-нибудь из встречавшихся мне людей есть дело до моего существования. Редкие прохожие спешили каждый своей дорогой, а когда я сворачивал в Тэмпл, улица была совсем безлюдна. Никто не вышел вместе с нами из ворот, никто не вошел со мной обратно. Пересекая двор у фонтана, я увидел, что в окнах Провиса горит яркий, спокойный свет, и одинаково пусто и тихо было в нашем дворе, когда я оглядел его, прежде чем войти в свой подъезд, и на лестнице, когда я по ней поднимался.

Герберт встретил меня с распростертыми объятиями, и я острей, чем когда-либо, ощутил, какое это огромное счастье — иметь друга. После того как он в немногих словах выразил мне свое сочувствие и подбодрил меня, мы сели и стали обсуждать вопрос — что же теперь делать?

Поскольку кресло, в котором весь вечер сидел Провис, оставалось на прежнем месте у огня (а у него была такая тюремная привычка — держаться одного и того же места в комнате и проделывать одни и те же манипуляции со своей трубкой и «негритянским листом», ножом и колодой карт, точно выполняя урок, который ему написали на грифельной доске), поскольку, повторяю, кресло его оставалось на прежнем месте, Герберт, не подумав, опустился в него, но через минуту вскочил, отодвинул его и взял себе другое. После этого ему незачем было говорить мне, что он проникся к моему покровителю глубокой неприязнью, и мне незачем было сообщать ему то же о себе. Мы признались в этом друг другу без единого слова.

— Ну вот,— сказал я Герберту, когда он устроился в другом кресле.— Что же теперь делать?

— Мой бедный, милый Гендель,— отвечал он, сжав руками виски,— я так ошарашен, что даже думать не могу.

— Так было и со мной, Герберт, когда я только что узнал. И все-таки что-то нужно делать. Он уже носится с новыми планами — лошади, коляски, всякие дорогие наряды. Надо его как-то остановить.

— Значит, ты считаешь, что не можешь принять...

— А как же иначе! — перебил я Герберта.— Ты только подумай, кто он такой! Один его вид чего стоит!

И тут нас обоих пробрала дрожь.

— А между тем, Герберт, как это ни ужасно, он, видимо, ко мне привязан, сильно привязан. Надо же было случиться такому несчастью!

— Мой бедный, милый Гендель,— повторил Герберт.

— И потом, даже если я сейчас проведу черту и не возьму от него больше ни пенни, подумай, сколько я ему уже должен за прошлое! И вообще я кругом в долгах,— как я их выплачу теперь, когда мне не на что надеяться и я не обучен никакой профессии и ни на что в жизни не гожусь?

— Ну уж ни на что не годишься,— это ты, пожалуйста, не говори,— возразил Герберт.

— А на что я гожусь? Разве что пойти в солдаты, а больше ни на что. И может быть, дорогой мой Герберт, я бы так и поступил, если бы не знал, что меня ждет твой дружеский совет и поддержка.

Тут я, понятно, не удержался от слез, а Герберт, понятно, сделал вид, что не заметил этого, и только крепко сжал мне руку.

— Во всяком случае, дорогой мой Гендель,— сказал он, немного помолчав,— солдатская служба это не то, что нужно. Если ты отказываешься от его дальнейшего покровительства и от его денег, то, вероятно, думаешь со временем рассчитаться за то, что получил от него. А уж при солдатской-то службе какие расчеты! И, кроме того, это просто глупо. Тебе гораздо лучше поступить в контору Кларрикера, хоть это и очень скромное дело. У меня ведь, ты знаешь, все идет к тому, чтобы стать его компаньоном.

Несчастный! Если бы он знал, чьи деньги дали ему такую возможность!

— Но тут есть другой вопрос,— продолжал Герберт.— Это невежественный, упрямый человек, который годами жил одной заветной мечтой. Более того, мне кажется (воз-

можно, я ошибаюсь), что это человек отчаянного, необузданного нрава.

— Мне-то это хорошо известно,— отозвался я.— Могу рассказать тебе, какие я тому видел доказательства.

И я рассказал ему про то, о чем раньше не упоминал,— про его схватку с другим каторжником.

— Вот видишь,— сказал Герберт.— Ты только подумай: он является сюда, рискуя головой, чтобы осуществить свою заветную мечту. И вот, когда она только что осуществилась, после стольких трудов, после стольких лет ожидания, ты лишаешь его жизнь всякого смысла, разрушаешь его мечту, обесцениваешь в его глазах все его богатство. Ты подумал о том, на какой шаг это может его толкнуть?

— Я думаю об этом днем и ночью, Герберт, с того рокового вечера, как он сюда явился. Мне просто не дает покоя мысль, как бы он не решил отдать себя в руки правосудия.

— И можешь не сомневаться,— сказал Герберт,— скорей всего так оно и будет. В этом смысле ты в его власти, пока он в Англии, и если ты от него отступишься, он очертя голову именно это и сделает.

Надо сказать, что такое опасение преследовало меня с самого начала,— ведь если бы оно оправдалось, я бы стал почитать себя убийцей,— и теперь слова Герберта привели меня в такой ужас, что я не мог усидеть на месте и стал ходить взад и вперед по комнате. Я сказал Герберту, что даже если бы Провис не донес на себя сам, а был опознан случайно, мне было бы бесконечно тяжело чувствовать себя косвенным виновником его ареста. И, говоря это, я не лгал, хотя мне было достаточно тяжело видеть его на свободе, подле себя, и я предпочел бы всю жизнь работать в кузнице, лишь бы не дожить до этого часа!

Однако нужно было все-таки решить вопрос — что же теперь делать?

— Самое главное,— сказал Герберт,— надо как можно скорее увезти его из Англии. Тебе придется уехать вместе с ним, иначе он ни за что не согласится.

— Но куда бы я его ни увез, могу ли я помешать ему вернуться?

— Ах, Гендель, неужели ты не понимаешь, насколько опаснее сказать ему все и довести его до крайности здесь, в двух шагах от Ньюгета, чем где-нибудь за границей? Нет, так или иначе надо заставить его уехать. Нельзя ли выдумать подходящий предлог — того второго каторжника или еще какое-нибудь обстоятельство его прошлой жизни?

— В том-то и горе,— сказал я и, остановившись перед Гербертом, развел руками, словно предлагая убедиться в безнадежности моего положения.— Мне ровно ничего не известно о его жизни. Я тут с ним по вечерам чуть не до сумасшествия доходил,— смотрю на него и думаю: вот сидит тот, кто перевернул всю мою жизнь, а я о нем ничего не знаю, кроме того, что это несчастный бродяга, который в детстве два дня держал меня в смертельном страхе.

Герберт поднялся, взял меня под руку, и мы стали медленно прохаживаться взад-вперед, изучая узор ковра.

— Гендель,— сказал наконец Герберт и остановился,— ты ведь твердо решил больше не принимать от него никаких благодеяний?

— Конечно. Разве ты на моем месте стал бы сомневаться?

— И ты твердо решил, что должен прекратить с ним всякое знакомство?

— Как ты еще можешь спрашивать, Герберт?

— И ты опасаешься, не можешь не опасаться, за его жизнь, которую он поставил на карту ради тебя, и следовательно должен сделать все, чтобы не дать ему себя погубить, так? Ну, значит, ты и думать не смей о том, как выпутаться самому, пока не увезешь его из Англии. А после этого — выпутывайся, ради создателя, как можно скорей, и тогда уж мы вместе сообразим, что делать.

Как отрадно было скрепить рукопожатием даже столь неопределенное решение и опять пройтись взад-вперед по комнате!

— Что же касается того, как узнать его историю,— сказал я,— то я вижу только один способ: спросить его самого, и все.

— Да,— сказал Герберт,— спроси его прямо с утра, когда мы сядем завтракать. (Прощаясь с Гербертом, наш гость предупредил, что придет пораньше, чтобы завтракать вместе с нами.)

Порешив на этом, мы пошли спать. Всю ночь мне снились самые несуразные сны, и проснулся я не отдохнувший; к тому же, утро снова принесло с собой страшную мысль: а вдруг кто-нибудь узнает, что он самовольно вернулся из ссылки? Когда я не спал, эта мысль ни на минуту не покидала меня.

Он явился в назначенное время, достал свой нож и сел к столу. У него была целая куча планов, как «его джентльмену показать себя заправским джентльменом», и он уговаривал меня не теряя времени почать бумажник, который с первого вечера оставался в моем распоряжении. Мою квартиру и свои комнаты он считал лишь временным пристанищем и советовал мне теперь же приглядеть «хоромину побогаче», где-нибудь вблизи Гайд-парка, где нашлась бы «койка» и для него. Когда он покончил с завтраком и стал вытирать нож о штаны, я приступил к нему без всяких обиняков:

— Вчера после вашего ухода я рассказал моему другу о вашей драке на болоте, когда вас нашли солдаты. Помните?

— Еще бы не помнить!

— Нам хотелось бы узнать что-нибудь про того человека... и про вас. Очень странно, что я так мало знаю, особенно о вас. Вы не могли бы — прямо сейчас, не откладывая,— рассказать нам немного о себе?

— Что ж,— ответил он, подумав.— Ведь вы, товарищ Пипа, помните, что связаны клятвой?

— Прекрасно помню.

— Что бы я ни рассказал,— добавил он настойчиво,— клятва — она ко всему относится.

— Я это вполне понимаю.

— И помните, вы! В чем я провинился, за то отработал и заплатил сполна,— продолжал он настаивать.

— Пусть будет так.

Он достал свою черную трубку и собирался набить ее «негритянским листом», но, посмотрев на зажатую в пальцах щепоть табаку, видно побоялся, как бы курение не отвлекло его от рассказа. Он высыпал табак обратно в карман, воткнул трубку в петлицу, уперся руками в колени и сперва посидел молча, гневно и хмуро глядя в огонь, а потом обернулся к нам и заговорил.

ГЛАВА XLII

— Милый мальчик, и вы, товарищ Пипа, я не стану рассказывать вам мою жизнь, как в книжках пишут или в песнях поют, а объясню все коротко и ясно, чтобы вы сразу меня поняли. Из тюрьмы на волю, а с воли в тюрьму, и опять на волю, и опять в тюрьму,— вот и вся суть. Так и шла моя жизнь, пока меня не услали на край света,— это после того, как Пип сослужил мне службу.

Чего-чего надо мной не делали — только что вешать не пробовали. Под замком держали, точно серебряный чайник. Возили с места на место, то из одного города выгоняли, то из другого, и в колодки забивали, и плетьми наказывали, и травили, как зайца. Где я родился, о том я знаю не больше вашего. Первое, что я помню, это как где-то в Эссексе репу воровал, чтобы не помереть с голоду. Кто-то сбежал и бросил меня — какой-то лудильщик — и унес с собой жаровню, так что мне было очень холодно.

Я знал, что фамилия моя Мэгвич, а наречен Абелем. Вы спросите, откуда знал? А откуда я знал, что вот эта птица зовется снегирь, а эта — воробей, а эта — дрозд? Я бы мог и так рассудить, что, мол, все это враки, но птичьи-то имена оказались правильные, значит, скорее всего, и мое тоже.

И кто, бывало, ни встретит этого мальчишку Абеля Мэгвича, оборванного и голодного, сейчас же пугается и либо гонит его прочь, либо хватает и тащит в тюрьму. До того часто меня хватали, что я с малых лет и воли-то почти не видел.

Так вот и получилось, что я еще совсем маленьким оборвышем был, таким жалким, что, кажется, глядя на него, сам бы заплакал (правда, в зеркало я не гляделся, я и в домах таких не бывал, где зеркала водятся), а меня уже стали считать неисправимым. Бывало, придут в тюрьму посетители, так им первым делом меня показывают: «Этот вот, говорят, неисправимый. Так и кочует из тюрьмы в тюрьму». Те на меня удивляются, а я на них, а некоторые обмеряли мне голову,— лучше бы они мне живот обмерили,— а другие дарили душеспасительные

книжки, которые я не мог прочесть, и говорили всякие слова, которые я не мог понять. И все, бывало, толкуют мне про дьявола. А какого дьявола? Жрать-то мне надо было или нет?.. Впрочем, это я недостойные слова сказал, я ведь знаю, как надо говорить с джентльменами. Милый мальчик, и вы, товарищ Пипа, не бойтесь, больше этого не будет.

Я бродяжил, попрошайничал, воровал, когда удавалось — работал, только это бывало не часто, потому что кому же захочется давать такому работу, вам и самим бы, наверно, не захотелось; был понемножку и браконьером, и батраком, и возчиком, и косцом, и коробейником — словом, всего понемножку испробовал, с чего барыш невелик, а неприятностей не оберешься, и стал я взрослым мужчиной. В придорожной харчевне какой-то беглый солдат, который прятался в куче картошки, научил меня читать. А писать научил странствующий великан, он продавал свои подписи на ярмарках по пенсу штука. Теперь меня уже не так часто сажали за решетку, но все же тюремщикам хватало со мной работы.

Тому назад с лишком двадцать лет познакомился я на скачках в Эпсоме с одним человеком,— будь он сейчас здесь, я бы ему вот этой кочергой череп расколол, не хуже ореха. Звали его Компесон; и это тот самый человек, мой мальчик, которого я на твоих глазах измолотил в канаве,— ты правильно рассказал про это твоему товарищу вчера вечером, когда я ушел.

Этот Компесон строил из себя джентльмена, да и правда, учился он в богатом пансионе, был образованный. Говорить умел, как по писаному, и замашки самые барские. К тому же собой был красавец. Я увидел его в первый раз накануне главных скачек на поле возле ипподрома в одном балагане, где я и до того бывал. Он сидел за столом с целой компанией, и хозяин (он меня знал, хороший был парень) вызвал его и говорит: «Вот этот человек вам, думаю, подойдет»,— это я то есть.

Компесон поглядел на меня очень зорко, а я на него. Вижу — у него часы с цепочкой, и перстень, и булавка в галстуке, и одет хоть куда.

«Судя по вашему виду,— говорит мне Компесон,— судьба вас не балует».

«Да, говорю, хозяин, и никогда особенно не баловала». (Я незадолго до того вышел из Кингстонской тюрьмы,— упекли за бродяжничество. С тем же успехом мог попасть и за другое, да в тот раз ничего другого не было.)

«Судьба изменчива,— говорит Компесон,— может, и ваша скоро изменится».

Я говорю: «Надеюсь. Пора бы».

«Что вы умеете делать?» — говорит Компесон.

«Есть и пить, говорю, если вы поставите монету».

Компесон рассмеялся, опять поглядел на меня очень зорко, дал мне пять шиллингов и велел приходить завтра, сюда же.

Я пришел к нему назавтра, туда же, и он взял меня в подручные и компаньоны. А спросите, каким таким делом он занимался, что ему нужен был компаньон? Его дело было — мошенничать, подделывать подписи, сбывать краденые банкноты и тому подобное. Всяческие ловушки, какие он только мог выдумать хитрой своей головой, да так, чтобы самому не прихлопнуло ногу, да чтобы нажиться, а других подвести,— вот чем он занимался. Жалости он знал не больше, чем железный подпилок, сердце у него было холодное, как смерть, зато голова — как у того самого дьявола.

С Компесоном работал еще один человек, звали его Артур, это у него была такая фамилия. Тот сильно хворал, посмотреть на него — краше в гроб кладут. Они с Компесоном за несколько лет до того сыграли скверную штуку с одной богатой женщиной и нажили на этом кучу денег; но Компесон просаживал сотни на скачках и в азартные игры,— он и королевскую казну сумел бы пустить по ветру. Так что Артур умирал бедняком, от белой горячки, и жена Компесона (Компесон ее бил почем зря) жалела его, когда было время, а Компесон — тот никого и ничего не жалел.

Глядя на Артура, мне бы надо было остеречься, да нет, куда там; и не стану я вам говорить, будто я брезговал этими делами, потому что, милый мой мальчик с товарищем, это были бы бесполезные слова. Ну так вот, связался я с Компесоном, и стал он из меня веревки вить. Артур жил у Компесона в доме, в верхней комнате (дом у него был возле Брентфорда), и Компесон вел точный

счет, сколько тот ему должен за стол и квартиру, чтобы он, если поправится, все отработал. Но Артур скоро перечеркнул этот счет. Во второй, не то в третий раз, что я его видел, он поздно вечером ворвался к Компесону в гостиную, в одной рубахе, волосы слиплись от пота, и говорит жене Компесона: «Салли, честное слово, она там стоит наверху, у моей постели, и я не могу ее прогнать. Она, говорит, вся в белом, и в волосах белые цветы, и очень сердится, держит в руках саван и грозится, что наденет его на меня в пять часов утра».

«Вот дурак,— говорит Компесон,— ты что, не знаешь, что она жива? И как ей было к тебе попасть, если она ни в дверь, ни в окно не входила и по лестнице не подымалась?»

«Не знаю, как она туда попала,— говорит Артур, а сам весь трясется от лихорадки,— только она стоит в углу, у кровати, и очень сердится. А там, где у нее сердце разбито,— это ты его разбил,— там капли крови».

На словах-то Компесон храбрился, но он был порядочный трус. «Отведи ты этого помешанного наверх,— говорит он жене,— и вы, Мэгвич, помогите ей, ладно?» А сам и близко не подошел.

Мы с женой Компесона отвели его наверх, уложили в постель, а он все бушует. Кричит: «Поглядите на нее! Она машет мне саваном! Неужели не видите? Поглядите, какие у нее глаза! Я ее боюсь, она сердится!» Потом опять закричал: «Она накинет его на меня, и тогда я погиб! Отнимите у нее саван, отнимите!» А потом вцепился в нас, и давай с ней разговаривать, и отвечать ей, так что мне уж стало мерещиться, будто я и сам ее вижу.

Жене Компесона не впервой было с ним возиться, она дала ему чего-то выпить, и мало-помалу горячка его отпустила, и он успокоился. «Ох, говорит, ушла! Это ее сторож за ней приходил?» Жена Компесона говорит: «Да».— «Вы ему сказали, чтобы он ее запер и засов задвинул?» — «Да».— «И чтобы отнял у нее эту страшную простыню?» — «Да, да, все сказала».— «Вы добрая душа,— говорит он,— спасибо вам, только не уходите от меня, не уходите».

После этого он лежал тихо почитай что до пяти часов, а тут вдруг вскинулся да как завизжит: «Опять пришла!

И саван держит... Развернула... Выходит из угла... К постели идет! Держите меня оба — с двух сторон,— не давайте ко мне прикоснуться. Ага! Не вышло! Она хочет накинуть саван мне на плечи, хочет поднять меня и обернуть им. Поднимает! Что же вы меня не держите!» И тут он сел, выпрямился весь — и помер.

Компесон нисколько не огорчился,— этак, мол, для них обоих лучше. Мы с ним вскоре взялись за дело, но сперва он по своей хитрости заставил меня поклясться на моей же библии — на этой самой черной книжке, мой мальчик, на которой вчера твой товарищ клялся.

Я не стану перебирать всего, что придумывал Компесон, а я выполнял,— этого и в неделю не переберешь,— а просто скажу вам, милый мальчик и товарищ Пипа, что этот человек так опутал меня своими сетями, что я стал его рабом, не хуже негра. Всегда я был ему должен, всегда в его власти, всегда работал, всегда дрожал за свою шкуру. Он был моложе меня, но зато ученый, и в тысячу раз хитрее и безжалостней. Моя сожительница, с которой у меня тогда выдалось трудное времечко... Ох, нет, ее-то я напрасно приплел.

Он в замешательстве огляделся по сторонам, словно потерял нужное место в книге своих воспоминаний, отвернулся к огню, крепче уперся руками в колени, потом приподнял руки и снова опустил.

— Про это рассказывать ни к чему,— продолжал он, опять поворачиваясь к нам.— Труднее того времени, когда я был с Компесоном, мне, пожалуй, и не припомнить. А этим все сказано. Я тебе говорил, что, пока я был с ним, меня судили, одного, за мошенничество?

Я ответил:

— Нет.

— Так вот,— сказал он,— судили, и наказание я отбыл. А что до арестов по подозрению, так их за те четыре-пять лет, что мы с ним работали, было не то два, не то три, только всякий раз не хватало улик. Наконец нас обоих привлекли к суду за то, что пускали в обращение краденые банкноты,— а там и другие наши художества вскрылись. Компесон мне тогда сказал: «Защищаться каждому порознь, как будто мы и незнакомы» — и все! А я был до того беден, что не мог пригласить Джеггерса,

пока всю свою одежду не продал,— только в том и остался, в чем был.

Когда нас ввели в залу суда, я первым делом заметил, каким джентльменом смотрит Компесон,— кудрявый, в черном костюме, с белым платочком,— и каким я против него смотрю оборванцем. Когда началось заседание и вкратце перечислили улики, я заметил, как тяжело вина ложится на меня и как легко на него. Когда принялись за свидетелей, все время выходило, будто это я главный преступник, каждый готов был в том присягнуть — и деньги всегда платили мне, и всем казалось, что я один и затеял дело, и барыш получил. А уж когда повел речь защитник Компесона, тут я понял всю их политику. Он что сказал? «Милорд и джентльмены, вот перед вами стоят рядом два человека, и вы сразу видите, до чего они между собой не похожи. Один, младший, получил воспитание, с ним и разговор будет вежливый; другой, старший, не получил воспитания, с ним и разговор будет другой; один, младший, можно сказать, ни в чем таком не был замечен, а только был на подозрении; другой, старший, был замечен много раз, и всякий раз вина его была доказана. Так разве не ясно, который из них виновен, если виновен один, а если оба — то который виновен гораздо больше?» Ну, и все в этом роде. А когда стали выяснять наше прошлое, тут и пошло: Компесон и в школе-то учился, и его друзья детства занимают всякие высокие посты, и свидетели встречали его в таких-то клубах да обществах, и никто про него дурного не слышал. А меня уж и раньше судили, и знают из конца в конец Англии во всех острогах и арестантских. А когда предоставили последнее слово, Компесон заговорил, заговорил, и нет-нет да и закроет лицо белым платочком, и даже стихи в свою речь вставлял,— а я только и мог сказать: «Джентльмены, этот человек, что стоит со мной рядом,— отъявленный мерзавец». А когда вынесли решение, Компесону просили снисхождение оказать по причине первой судимости и дурного влияния и за то, что он так хорошо давал показания против меня, а для меня у них нашлось всего одно слово: «Виновен». А когда я сказал Компесону: «Дай срок, выйдем отсюда — я тебе рожу разобью!», так Компесон просит судью о защите, и к нему приставляют двух караульных,

охранять его от меня. А когда огласили приговор, Компесон-то получил семь лет, а я четырнадцать, и судья еще пожалел его, потому что он, дескать, мог бы всего добиться в жизни, а про меня сказал, что я закоренелый преступник, опасный человек, и, наверно, плохо кончу.

Провис весь дрожал от волнения, но овладел собой, два-три раза коротко вздохнул, проглотил слюну и, дотронувшись до моей руки, сказал успокаивающе:

— Милый мальчик, недостойных слов ты от меня не услышишь.

Однако он так разгорячился, что не мог продолжать, пока не вытер себе платком лицо, голову, шею и руки.

— Я сказал Компесону, что разобью ему рожу, и поклялся — разбей, мол, господи, мою, если я вру. Мы содержались на той же барже, но я долго не мог до него добраться, хоть и старался. Наконец я как-то подошел к нему сзади и дал ему по щеке, чтобы он обернулся и подставил мне рожу, но тут меня заметили, схватили и бросили в темную. На той барже темная была не бог весть что для человека бывалого, да притом если умеешь нырять и плавать. Я сбежал и прятался среди могил, завидуя тем, кто в них лежит и от всех забот избавлен, и тут-то в первый раз увидел моего мальчика!

Он окинул меня ласковым взглядом, от чего мне снова стало противно, хотя только что я его искренне жалел.

— Из слов моего мальчика я понял, что Компесон тоже прячется на этом болоте. Скорее всего он от меня и удрал, уж очень боялся меня, только ему невдомек было, что я тоже на берегу. Я его разыскал. Я разбил ему рожу. «А теперь, говорю, берегись. Себя мне не жаль, а уж тебя я приволоку обратно». И если бы понадобилось, я бы его вплавь, за волосы, один на баржу доставил, без всяких солдат.

Конечно, ему и тут вышло послабление,— при его-то джентльменском прошлом! Рассудили, что он бежал, когда был не в себе от страха, как бы я его не убил, и наказание ему дали легкое. А меня заковали, опять судили и выслали пожизненно. Только я, мой мальчик и вы, товарищ Пипа, не остался там пожизненно, потому как вот он я, здесь.

Он снова утерся платком, не спеша достал из кармана табак, вытащил трубку из петлицы, не спеша набил ее, встал и закурил.

— Он умер? — спросил я, помолчав.

— Кто, мой мальчик?

— Компесон.

— Одно могу сказать: если жив, так надеется, что меня-то нет в живых. Я об нем с тех пор не слышал.

Герберт писал что-то карандашом на открытой книге. Дождавшись, когда Провис, раскурив свою трубку, загляделся на огонь, он тихонько пододвинул книгу ко мне, и я прочел:

«Брата мисс Хэвишем звали Артур. Компесон — это тот человек, который считался ее женихом».

Я закрыл книгу, чуть заметно кивнул Герберту и отложил книгу в сторону; но мы не обменялись ни словом, а только смотрели на Провиса, который стоял у огня и курил свою трубку.

ГЛАВА XLIII

Стоит ли размышлять о том, насколько в моей неприязни к Провису была повинна Эстелла? Стоит ли задерживаться в пути для того, чтобы сравнить то состояние духа, в котором я силился смыть с себя грязь Ньюгета, прежде чем встретить ее на почтовом дворе, с моими теперешними горькими думами о пропасти, отделяющей гордую красавицу Эстеллу от ссыльного, которого я укрывал? Путь от этого не станет глаже, ни конец его радостней. Это не послужит ни Провису на пользу, ни в оправдание мне.

После его рассказа у меня зародились новые страхи, или, вернее, прежние смутные страхи облеклись в отчетливую форму. Если Компесон жив и проведает о его возвращении, насчет последствий можно не сомневаться. Что Компесон смертельно боится Провиса, никто не знал лучше меня; и трудно было бы вообразить, что, будучи таким, каким тот его описал, он упустит случай навсегда избавиться от своего врага и не донесет на него.

Провису я ни словом не обмолвился об Эстелле, да и впредь твердо решил молчать о ней. Но Герберту сказал, что не могу уехать за границу, не повидав Эстеллу и мисс Хэвишем. Было это вечером того дня, когда Провис рассказал нам свою историю. Я решил на следующий же день побывать в Ричмонде.

Когда я явился в дом миссис Брэндли, послали за горничной Эстеллы, и та доложила, что ее барышня уехала в деревню. Куда? В Сатис-Хаус, как обычно. Нет, не как обычно, сказал я, потому что она никогда не ездила туда без меня. Когда она вернется? В ответе мне послышалась какая-то заминка, еще усилившая мое удивление; горничная полагала, что если Эстелла и вернется, то лишь на короткое время. Я ничего не понял, кроме того, что мне и не хотели ничего разъяснить, и отправился домой, совершенно сбитый с толку.

Вечером, после того как Провис ушел к себе (я всегда провожал его и всегда внимательно смотрел по сторонам), мы с Гербертом снова посовещались и пришли к выводу, что о поездке за границу лучше не заговаривать, пока я не возвращусь от мисс Хэвишем. Тем временем мы решили каждый про себя обдумать, что именно нужно сказать: притвориться ли, будто мы испугались слежки каких-то подозрительных лиц; или мне выразить желание попутешествовать, поскольку я никогда не выезжал из Англии. Оба мы были уверены, что Провис согласится на любое мое предложение. И оба считали, что долго подвергать его такой опасности, как сейчас, нечего и думать.

На следующий день у меня достало низости соврать, будто я обещал непременно навестить Джо; впрочем, на какую только низость я не был способен по отношению к Джо или к его имени! Провису я внушил, что в мое отсутствие он должен всячески соблюдать осторожность, а Герберта просил последить за ним, как следил я. Через сутки я вернусь, и тогда можно будет, не испытывая больше его терпения, подумать и о том, чтобы зажить, как подобает заправским джентльменам. И тут у меня мелькнула мысль (как выяснилось позднее, она мелькнула и у Герберта), что под этим предлогом и будет, вероятно, легче всего увезти его из Англии,— сочинить,

что мы поедем за покупками или что-нибудь в этом роде.

Подготовив таким образом свою поездку к мисс Хэвишем, я отбыл еще затемно, первым дилижансом, и Лондон уже остался далеко позади, когда забрезжил день, робкий, плаксивый, дрожащий, как нищий — в лохмотьях облаков и заплатах тумана. Под моросящим дождем мы подъехали к «Синему Кабану», и кто бы вы думали вышел из ворот с зубочисткой в руке встретить карету? Бентли Драмл, собственной персоной!

Поскольку он сделал вид, будто не заметил меня, я сделал вид, будто не заметил его. Притворялись мы оба очень неискусно, тем более что оба тут же вошли в залу, где он только что позавтракал, а мне был приготовлен завтрак. Для меня было как нож острый увидеть его в нашем городе,— я слишком хорошо знал, зачем он туда приехал.

Делая вид, что читаю засаленную газету месячной давности, где среди местных новостей особенно бросались в глаза такие чужеродные материи, как кофе, рассол, рыбный соус, мясная подливка, растопленное масло и вино, коими она была густо забрызгана, точно болела особой формой кори,— я уселся за столик, а он стал у камина. То обстоятельство, что он стоял у камина, постепенно выросло в моих глазах в величайшую обиду, и я вскочил с места, твердо решив не оставлять за ним этой привилегии. Подойдя к камину, я потянулся за кочергой, чтобы помешать угли, для чего мне пришлось просунуть руку между решеткой и ногами мистера Драмла, но я по-прежнему делал вид, будто не замечаю его.

— Вы что же, не желаете здороваться? — спросил мистер Драмл.

— Ах, это вы,— сказал я, зажав в руке кочергу.— А я-то думал, кто это загораживает огонь.

С этими словами я стал что есть силы работать кочергой, а когда угли разгорелись, расправил плечи и занял позицию спиной к огню, рядом с мистером Драмлом.

— Только что приехали? — спросил мистер Драмл, легонько оттирая меня в сторону правым плечом.

— Да,— ответил я, в свою очередь легонько оттирая его левым плечом.

— Дрянные здесь места,— сказал Драмл.— Вы, кажется, отсюда родом?

— Да,— подтвердил я.— Говорят, здесь очень похоже на ваш Шропшир.

— Нисколько не похоже,— сказал Драмл.

Тут мистер Драмл поглядел на свои сапоги, а я поглядел на свои, после чего мистер Драмл поглядел на мои сапоги, а я — на его.

— Давно вы здесь? — спросил я, твердо решив не уступать ему ни дюйма пространства перед камином.

— Достаточно, чтоб соскучиться,— отвечал Драмл с притворным зевком, но, очевидно, решив держаться той же политики.

— И долго здесь пробудете?

— Еще не знаю,— отвечал мистер Драмл.— А вы?

— Еще не знаю.

Тут, по особой внутренней дрожи, я почувствовал, что, попытайся плечо мистера Драмла подвинуться хотя бы на волос вправо, я бы вышвырнул его в окно; а также, что при первой подобной попытке со стороны моего плеча, мистер Драмл вышвырнул бы меня в сени. Он начал что-то насвистывать. Я тоже.

— Здесь поблизости, я слышал, много болот? — сказал Драмл.

— Да,— сказал я.— Что ж из этого?

Мистер Драмл поглядел на меня, потом на мои сапоги, потом сказал: «О господи!» — и рассмеялся.

— Вам весело, мистер Драмл?

— Да нет,— сказал он,— не особенно. Я вот хочу, чтобы было веселей, покататься верхом, обследовать эти самые болота. Там, говорят, попадаются глухие деревушки, забавные кабачки... и кузницы... и всякое такое. Человек!

— Что угодно, сэр?

— Лошадь мне готова?

— Ждет у крыльца, сэр.

— Так вот, вы, как вас там, молодая леди сегодня не поедет кататься, погода неподходящая.

— Слушаю, сэр.

— Обедать я здесь не буду, я приглашен обедать к этой леди.

— Слушаю, сэр.

Драмл взглянул на меня, и, как он ни был туп, наглое торжество, написанное на его толстой физиономии глубоко уязвило меня и привело в такое бешенство, что я готов был сгрести его в охапку (как разбойник из сказки поступил со старухой) и посадить на горящие угли.

Одно было ясно нам обоим: пока не подоспеет подмога, ни он, ни я шагу не ступим от камина. Мы стояли рядом, выпятив грудь, плечом к плечу, нога к ноге, заложив руки за спину, словно приросши к полу. В окне, за сеткой дождя, виднелась верховая лошадь, на столе появился мой завтрак, а посуду от завтрака Драмла убрали, лакей пригласил меня к столу, я кивнул, но мы оба остались на месте.

— Были вы с тех пор в Роще? — спросил Драмл.

— Нет,— сказал я.— Хватит с меня Зябликов после прошлого раза.

— Это когда мы с вами не сошлись во мнениях?

— Да,— отрезал я.

— Полноте, они еще очень милостиво с вами обошлись,— съязвил Драмл.— Нельзя так легко терять терпение.

— Мистер Драмл,— сказал я,— не вам бы судить о таких вещах. Когда я теряю терпение (я не говорю, что это имело место в данном случае), я не швыряюсь стаканами.

— А я швыряюсь,— сказал Драмл.

Взглянув на него еще раза два и чувствуя, как во мне закипает нестерпимая ярость, я сказал:

— Мистер Драмл, я не искал этого разговора и думаю, что его нельзя назвать приятным.

— Разумеется, нельзя,— надменно бросил он через плечо.— Тут и думать не о чем.

— А потому,— продолжал я,— мне бы хотелось предложить, чтобы отныне мы с вами прекратили всякое знакомство.

— Совершенно с вами согласен,— сказал Драмл.— Я бы и сам это предложил — или, что более вероятно, сделал бы без всяких предложений. Но вы не теряйте терпения. Вы и без того достаточно потеряли.

— Что вы хотите этим сказать, сэр?

— Человек! — крикнул Драмл вместо ответа.

Лакей вырос в дверях.

— Послушайте, вы, как вас там! Вы запомнили, что молодая леди сегодня не поедет кататься и что я приглашен к ней обедать?

— Точно так, сэр.

Лакей пощупал ладонью мой остывающий чайник, умоляюще посмотрел на меня и вышел. Тогда Драмл, стараясь не шевельнуть правым плечом, достал из кармана сигару и откусил кончик, но с места не сдвинулся. Задыхаясь от негодования, я чувствовал, что еще одно слово — и будет произнесено имя Эстеллы, а услышать его от этого человека я был не в силах; поэтому я тупо вперил взгляд в противоположную стену, словно в комнате никого, кроме меня, не было, и заставил себя молчать. Неизвестно, сколько времени длилась бы эта дурацкая игра в молчанку, но скоро в комнату, расстегивая на ходу теплые куртки и потирая руки, ввалились три толстых фермера,— вероятно, подосланных лакеем,— и так дружно устремились к огню, что мы были вынуждены уступить им место.

Через окно я увидел, как Драмл грубо схватил свою лошадь за холку и взгромоздился в седло,— и лошадь под ним шарахнулась и стала пятиться. Я уже думал, что он ускакал, но он воротился и крикнул, чтобы ему дали огня для сигары, которую он держал в зубах, позабыв закурить. Откуда-то — не то из ворот гостиницы, не то из переулка — к нему подошел человек в пыльной одежде, и в ту минуту, когда Драмл перегнулся в седле, зажигая сигару, и со смехом кивнул на окна нижнего этажа,— сутулые плечи и нечесаные волосы этого человека, стоявшего спиною к дому, напомнили мне Орлика.

Я пребывал в таком расстройстве чувств, что в ту минуту мне было все равно, он это или нет, и к завтраку я так и не притронулся, а только смыл с лица и рук дорожную грязь и направился к знакомому старому дому,— лучше бы я никогда не переступал его порога, никогда бы его не видел!

ГЛАВА XLIV

В комнате, где стоял туалетный стол и горели восковые свечи в стенных подсвечниках, я застал и мисс Хэвишем и Эстеллу; мисс Хэвишем сидела на диванчике у камина, а Эстелла на подушке у ее ног. Эстелла вязала, мисс Хэвишем смотрела на нее. Обе подняли голову, когда я вошел, и обе сразу увидели во мне перемену. Я заключил это из того, как они переглянулись.

— Пип,— сказала мисс Хэвишем.— Какими судьбами ты здесь очутился, Пип?

Взгляд ее был тверд, но я заметил, что она чем-то смущена. А когда Эстелла, на минуту оторвавшись от вязанья, подняла на меня глаза и тотчас снова их опустила, то по движению ее пальцев я вообразил, как будто она сказала это мне на языке глухонемых: она знает, что мой благодетель мне известен.

— Мисс Хэвишем,— сказал я,— вчера я ездил в Ричмонд — поговорить с Эстеллой, но узнал, что *она* какими-то судьбами очутилась здесь. Тогда я тоже приехал сюда.

Так как мисс Хэвишем уже в третий или четвертый раз делала мне знак садиться, я опустился на стул у туалета, который обычно занимала она сама. В тот день это место среди обломков крушения, валявшихся вокруг, показалось мне самым подходящим.

— То, что я хотел сказать Эстелле, мисс Хэвишем, я скажу ей при вас... очень скоро... немного погодя. Вас это не удивит и не будет вам неприятно. Я несчастен так, как вы только могли того желать.

Мисс Хэвишем смотрела на меня по-прежнему твердо, Эстелла продолжала вязать, и по движению ее пальцев я видел, что она прислушивается; но голова ее оставалась опущенной.

— Я узнал, кто мой покровитель. Открытие это не радостное и не принесет мне ничего — ни богатства, ни славы, ни общественного положения. По некоторым причинам я не могу говорить об этом подробнее. Это не моя тайна, а чужая.

Я умолк, глядя на Эстеллу и обдумывая, как мне продолжать, и мисс Хэвишем повторила:

— Это не твоя тайна, а чужая. Ну, а что же дальше?

— Когда вы в первый раз велели мне прийти сюда, мисс Хэвишем, когда я ничего не знал, кроме своей деревни, которую мне лучше было бы никогда не покидать,— вероятно, я попал сюда, как мог попасть любой другой мальчик, как слуга, с тем, чтобы удовлетворить вашу прихоть и получить за это сколько следует?

— Да, Пип,— отвечала мисс Хэвишем, твердо кивая головой,— так оно и было.

— И мистер Джеггерс...

— Мистер Джеггерс,— мисс Хэвишем уверенно подхватила мою мысль,— не имел к этому никакого касательства и ничего об этом не знал. То, что он и мой поверенный и поверенный твоего покровителя,— чисто случайное совпадение. Удивляться тут нечему, у него очень много клиентов. Но так или иначе, это простое совпадение, и никто в нем не виноват.

Взглянув на ее изможденное лицо, всякий убедился бы, что до сих пор она говорила правду, ничего не утаивая.

— Но когда я поддался заблуждению, во власти которого пребывал так долго, вы нарочно оставили меня в неведении?

— Да,— и опять она твердо кивнула головой,— я тебя не разубеждала.

— И это было милосердно?

— Кто я такая,— вскричала мисс Хэвишем и в сердцах так стукнула клюкой об пол, что Эстелла бросила на нее удивленный взгляд,— кто я такая, боже правый, чтобы требовать от меня милосердия?

Мой вопрос был малодушным и вырвался у меня непроизвольно. Я так и сказал ей, когда ее внезапная вспышка сменилась угрюмым молчанием.

— Ну, ну,— сказала она.— Так что же дальше?

— За свою службу здесь я получил щедрую награду,— сказал я, чтобы успокоить ее,— я получил возможность выучиться ремеслу кузнеца, и до сих пор расспрашивал вас только потому, что хотел кое-что для себя выяснить. А продолжаю я уже с другой и, надеюсь, более похвальной целью. Умышленно оставляя меня в заблуждении, мисс Хэвишем, вы преследовали цель наказать... проучить... может быть, вы сами подскажете слово, кото-

рое, не будучи оскорбительным, выразило бы ваши намерения по отношению к вашим корыстным родственникам?

— Верно. Но ведь они сами на это напросились! И ты тоже. Неужели же мне, после всего, что я выстрадала, нужно было брать на себя труд разубеждать вас? Вы сами расставили себе сети. Я тут ни при чем.

Переждав, пока она успокоится (потому что на последних словах голос ее снова поднялся до гневного крика), я продолжал:

— У вас есть родственники, мисс Хэвишем, с которыми я близко знаком и постоянно встречаюсь с тех самых пор, как уехал в Лондон. Я знаю, что они заблуждались относительно моего положения так же искренне, как и я сам. И с моей стороны было бы низко и дурно не сказать вам,— все равно, приятно ли вам будет это услышать и соблаговолите ли вы мне поверить,— что вы глубоко несправедливы к мистеру Мэтью Покету и к его сыну Герберту, если отказываетесь видеть, какие это благородные, прямые, честные люди, неспособные на интриги и зависть.

— Они твои друзья,— сказала мисс Хэвишем.

— Они стали моими друзьями,— возразил я,— когда полагали, что я занял их место, и когда, насколько мне известно, Сара Покет, мисс Джорджиана и миссис Камилла отнюдь не питали ко мне дружеских чувств.

Мне показалось, что такое противопоставление подняло Герберта и его отца в глазах мисс Хэвишем, и это меня порадовало. Она устремила на меня проницательный взгляд и сказала спокойно:

— Чего ты для них просишь?

— Только того,— отвечал я,— чтобы вы не ставили их на одну доску с остальными. Пусть они из одной семьи, но это совсем иные люди.

Не сводя с меня проницательного взгляда, мисс Хэвишем повторила:

— Чего ты для них просишь?

— Вы видите,— сказал я, чувствуя, что краснею,— мне не хватает хитрости, и я при всем желании не мог бы скрыть, что действительно хочу вас попросить о чем-то. Мисс Хэвишем, если бы у вас нашлись деньги на доброе дело — помочь моему другу Герберту прочно стать на

ноги и притом без его ведома,— я бы мог вам указать, что для этого нужно.

— А почему непременно без его ведома? — спросила она, сложив руки на клюке и наклонившись вперед, чтобы лучше меня видеть.

— Потому,— сказал я,— что я сам, больше двух лет тому назад, начал это доброе дело без его ведома и не хочу, чтобы он об этом узнал. А какие обстоятельства мешают мне довести до конца то, что я начал, этого я не могу объяснить. Это часть той тайны, о которой я сказал, что она не моя, а чужая.

Мисс Хэвишем медленно перевела взгляд с моего лица на огонь в камине. В полной тишине, при свете вяло оплывающих восковых свечей, мне казалось, что она глядит в огонь очень долго; но вот кучка красных углей рассыпалась с легким треском, и она, словно очнувшись, опять посмотрела на меня,— сначала невидящим, а потом все более осмысленным взглядом. Эстелла все это время не переставала вязать. Сосредоточив наконец свой взгляд и мысли на мне, мисс Хэвишем заговорила так, словно наша беседа и не прерывалась.

— Что еще?

— Эстелла,— сказал я, стараясь овладеть сразу задрожавшим голосом,— вы знаете, что я вас люблю, и как давно, и какой преданной любовью.

Услышав, что я к ней обращаюсь, она подняла голову и, не переставая вязать, посмотрела на меня невозмутимо спокойно. Я заметил, что мисс Хэвишем перевела взгляд с меня на нее, потом опять на меня.

— Я заговорил бы об этом раньше, если бы не мое долгое заблуждение. Мне казалось... я надеялся, что мисс Хэвишем предназначила нас друг для друга. Пока я думал, что вы не вольны в своем выборе, я молчал. Но теперь я должен это сказать.

Лицо Эстеллы оставалось невозмутимо спокойным, пальцы ее продолжали вязать, но она покачала головой.

— Я знаю,— сказал я в ответ на это движение.— Знаю. У меня нет надежды когда-либо назвать вас своей, Эстелла. Я понятия не имею, что со мной станется в ближайшее время, и где я буду, и не окажусь ли нищим. Но

я вас люблю. Люблю с тех пор, как впервые увидел вас в этом доме.

Все так же спокойно, не переставая вязать, она опять покачала головой.

— Если мисс Хэвишем думала о том, что делает, то с ее стороны было жестоко, неимоверно жестоко воспользоваться впечатлительностью бедного мальчика и столько лет мучить меня напрасной надеждой, несбыточной мечтой. Но, вероятно, она об этом не думала. Поглощенная своими страданиями, она, вероятно, забыла о моих, Эстелла.

Мисс Хэвишем крепко прижала руку к сердцу и сидела неподвижно, переводя взгляд с Эстеллы на меня.

— По-видимому,— сказала Эстелла ровным голосом,— существуют какие-то чувства... фантазии — не знаю, как их назвать,— недоступные моему пониманию. Когда вы говорите, что любите меня, я понимаю слова, которые вы произносите, но и только. Вы ничего не пробуждаете в моей груди, ничего не трогаете. Мне безразлично, что бы вы ни говорили. Я пыталась вас предостеречь; разве нет, скажите?

Я печально ответил:

— Да.

— Да. Но вы не захотели остеречься, потому что думали, что я это говорю не серьезно. Ведь думали, скажите?

— Я думал и надеялся, что вы говорите не серьезно. Вы, Эстелла, такая юная, такая неискушенная, такая красавица! Нет, это противно природе.

— Моей природе это не противно,— возразила она. И добавила, подчеркивая каждое слово: — Это отвечает той природе, какую во мне воспитали. Я говорю это вам, потому что выделяю вас из всех других людей. А большего от меня не ждите.

— Разве не верно,— сказал я,— что Бентли Драмл находится здесь, в нашем городе, и преследует вас своими ухаживаниями?

— Совершенно верно,— отвечала она равнодушно, как говорят о тех, кого глубоко презирают.

— И что вы поощряете его, ездите с ним верхом и что он сегодня у вас обедает?

Казалось, ее немного удивило, что я это знаю, но она снова ответила:

— Совершенно верно.

— Но вы же не любите его, Эстелла?

В первый раз за все время пальцы ее остановились, и она ответила с сердцем:

— Ну вот, вы опять свое. Или, несмотря ни на что, вы и сейчас думаете, что я говорю не серьезно?

— Но вы же не могли бы выйти за него замуж, Эстелла?

Она взглянула на мисс Хэвишем и на минуту задумалась, не выпуская из рук вязанья. Потом ответила:

— Почему и не сказать вам правду? Я выхожу за него замуж.

Я закрыл лицо руками, однако совладал с собой довольно быстро, если вспомнить, какую муку причинили мне ее слова. Когда я опять поднял голову, лицо мисс Хэвишем было так страшно, что не могло не потрясти меня, даже в моем безумном смятении и горе.

— Эстелла, дорогая, не дайте мисс Хэвишем толкнуть вас на этот роковой, непоправимый шаг! Пусть я для вас ничто,— я знаю, так оно и есть,— но выберите себе более достойного мужа. Мисс Хэвишем отдает вас Драмлу, чтобы смертельно оскорбить и унизить многих не в пример лучших мужчин, которые восхищаются вами, и тех немногих, которые по-настоящему вас любят. Может быть, среди этих немногих есть один, который любит вас так же преданно, хоть и не так давно, как я. Осчастливьте его, и мне легче будет снести это ради вас!

Мой призыв удивил ее своей страстностью и, казалось — будь она способна представить себе мое душевное состояние,— мог бы зажечь в ней искру сочувствия. Она повторила смягчившимся голосом:

— Я выхожу за него замуж. Приготовления к свадьбе уже начаты, свадьба будет скоро. Почему вы бросаете упрек моей приемной матери? Она ни в чем не виновата. Я поступаю так по своей воле.

— По своей воле бросаетесь на шею такому негодяю, Эстелла?

— Кому же мне, по-вашему, броситься на шею? — возразила она с улыбкой.— Не такому ли человеку, который сразу почувствует (если люди чувствуют такие вещи), что я ничего не могу ему дать? Да что там. Дело сделано.

Мне будет неплохо, и мужу моему тоже. А мисс Хэвишем вовсе не толкала меня на этот, как вы выразились, непоправимый шаг, она предпочла бы, чтобы я еще повременила выходить замуж; но жизнь, которую я веду, мне надоела, я не нахожу в ней ничего привлекательного и не прочь переменить ее. А теперь довольно об этом. Мы никогда не поймем друг друга.

— Такой подлец, такой болван! — воскликнул я в отчаянии.

— Не беспокойтесь, я не буду его добрым ангелом,— сказала Эстелла.— Пусть не надеется. Ну, вот моя рука. Давайте на этом и расстанемся, мечтательный вы мальчик... или мужчина?

— Ах, Эстелла! — простонал я, и жгучие мои слезы закапали на ее руку, как я ни старался их удержать.— Даже если бы мне суждено было остаться в Англии и попрежнему смотреть в глаза людям, как мог бы я вас видеть женою Драмла?

— Пустое,— сказал она.— Пустое. Это скоро пройдет.

— Никогда, Эстелла!

— Через неделю вы обо мне и думать забудете.

— Забуду! Вы — часть моей жизни, часть меня самого. Вы — в каждой строчке, которую я прочел с тех пор, как впервые попал сюда простым деревенским мальчиком, чье бедное сердце вы уже тогда ранили так больно. Вы — везде и во всем, что я с тех пор видел,— на реке, в парусах кораблей, на болотах, в облаках, на свету и во тьме, в ветре, в море, в лесу, на улицах. Вы — воплощение всех прекрасных грез, какие рождало мое воображение. Как прочны камни самых крепких лондонских зданий, которые ваши руки бессильны сдвинуть с места, так же крепко и нерушимо живет в моей душе ваш образ и в прошлом, и теперь, и навеки. Эстелла, до моего последнего вздоха вы останетесь частью меня, частью всего, что во мне есть хорошего,— сколь мало бы его ни было,— и всего дурного. Но сейчас, в минуту прощанья, я связываю вас только с хорошим и впредь обещаю только так и думать о вас, ибо я верю, что вы сделали мне больше добра, чем зла, как бы ни разрывалось сейчас мое сердце. Бог вас прости и помилуй!

Каким восторгом страдания был рожден этот поток

бессвязных слов, я и сам не знаю. Он хлынул наружу, словно кровь из душевной раны. Два-три коротких мгновенья я прижимал руку Эстеллы к губам, потом вышел из комнаты. Но я не забыл (а вскоре вспомнил и по особым причинам), что, в то время как Эстелла поглядывала на меня лишь с недоверчивым удивлением, лицо мисс Хэвишем, все не отнимавшей руки от сердца, обратилось в страшную маску скорби и раскаяния.

Все кончено, все рухнуло! Столько всего кончилось и рухнуло, что, когда я выходил из калитки, дневной свет показался мне более тусклым, чем когда я в нее входил. Некоторое время я прятался в глухих окраинных переулках, а потом пустился пешком в Лондон, потому что успел настолько прийти в себя, что понял: я не могу возвратиться в гостиницу и снова увидеть Драмла; не могу сидеть на крыше дилижанса, где со мной непременно заговорят; не могу придумать ничего лучшего, как шагать и шагать до полного изнеможения.

Уже за полночь я перешел Темзу по Лондонскому мосту. Пробравшись лабиринтом узких улиц, которые в то время тянулись на запад по северному берегу, я подошел к Тэмплу со стороны Уайтфрайерс, у самой реки. Меня не ждали до завтра, но ключи были при мне, и я знал, что, если Герберт уже лег спать, я могу не тревожить его.

Так как в ночное время я редко входил в Тэмпл с этой стороны и так как я был весь в грязи после долгой дороги, то я нашел вполне естественным, что ночной сторож внимательно меня оглядел, прежде чем впустить в чуть притворенные ворота. Чтобы рассеять его сомнения, я назвал себя.

— Мне так и показалось, сэр, только я не был уверен. Вам письмо, сэр. Посыльный, который его принес, велел сказать, чтобы вы потрудились прочесть его здесь, у моего фонаря.

Очень удивленный, я взял письмо. Оно было адресовано Филипу Пипу, эсквайру, а в верхнем углу конверта стояло: «Просьба прочесть сейчас же». Я разорвал конверт и при свете фонаря, который сторож поднес поближе, прочел написанные рукою Уэммика слова:

«Не ходите домой».



ГЛАВА XLV

Прочитав это послание, я тотчас повернул прочь от ворот Тэмпла, добежал до Флит-стрит, а там мне попалась запоздалая извозчичья карета, и я поехал в Ковент-Гарден, в гостиницу «Хаммамс», куда в те времена пускали в любой час ночи. Коридорный без дальних слов отпер мне дверь, зажег свечу, стоявшую первой в ряду на его полке, и провел в комнату, значившуюся первой в его списке. То был своего рода склеп на нижнем этаже, окном во двор, отданный в безраздельное владение огромной кровати о четырех столбиках, которая одной ногой бесцеремонно залезла в камин, другую высунула за дверь, а крошечный умывальник так прижала к стене, что он и пикнуть не смел.

Я попросил, чтобы мне дали ночник, и коридорный, прежде чем удалиться, принес мне безыскусственное изделие тех добрых старых дней — тростниковую свечу. Предмет этот, представлявший собою некий призрак тросточки, при малейшем прикосновении ломался пополам, от него ничего нельзя было зажечь, и пребывал он в одиночном заключении на дне высокой жестяной башни с прорезанными в ней круглыми отверстиями, от которых ложились на стены светлые круги, казалось, взиравшие на меня с величайшим любопытством. Когда я лег в постель, полумертвый от усталости, со стертыми ногами и с тоской на сердце, оказалось, что я бессилен сомкнуть не только глаза этого новоявленного Аргуса *, но и свои собственные. Так мы и глядели друг на друга в тишине и сумраке ночи.

Какая это была безнадежная ночь! Какая тревожная, печальная, длинная! В комнате неуютно пахло остывшей золой и нагретой пылью. Глядя вверх, на углы балдахина, я думал о том, сколько синих мух из мясной лавки, и уховерток с рынка, и всяких козявок из пригородов, должно быть, затаилось там в ожидании лета.

Это навело меня на мысль о том, случается ли им оттуда падать, и мне тут же стало мерещиться, будто я чувствую на лице какие-то легкие прикосновения, что было весьма неприятно и в свою очередь вызывало еще более подозрительные ощущения на спине и на шее. Протекло

сколько-то времени, и я стал различать диковинные голоса, какими обычно полнится молчание ночи: шкафчик в углу что-то нашептывал, камин вздыхал, крошечный умывальник тикал, как хромые часы, а в комоде изредка начинала звенеть одинокая гитарная струна. Примерно тогда же глаза на стене приняли новое выражение, и в каждом из этих светлых кружков появилась надпись: *«Не ходите домой»*.

Ни ночные видения, осаждавшие меня, ни ночные звуки не в силах были прогнать эти слова: *«Не ходите домой»*. Они, как телесная боль, вплетались во все мои мысли. Незадолго до того я читал в газетах, что какой-то неизвестный явился ночью в гостиницу «Хаммамс», лег в постель и покончил с собой,— наутро его нашли в луже крови. Мне взбрело в голову, что это произошло в том самом склепе, где я сейчас находился, и я встал, чтобы удостовериться, нет ли следов крови на полу или на мебели; потом отворил дверь и выглянул наружу в надежде, что мне станет легче от света далекого фонаря, возле которого, наверно, дремал коридорный. Но все это время мой ум был так занят вопросами, почему мне нельзя идти домой, и что случилось дома, и когда я смогу пойти домой, и у себя ли дома Провис,— что, казалось бы, в нем не могло остаться места ни для чего другого. Даже когда я думал об Эстелле и о том, что мы в этот день навсегда с ней расстались, когда вспоминал во всех подробностях наше прощанье, каждый ее взгляд, каждое слово и как она вязала, проворно двигая пальцами,— даже тогда мне всюду мерещилось предостережение: *«Не ходите домой»*. Когда же, обессилев душою и телом, я наконец задремал, передо мною возник огромный туманный глагол, который я должен был спрягать. Повелительное наклонение: не ходи домой, пусть он, она не ходит домой, не пойдем домой, не ходите домой, пусть они, оне не ходят домой. Потом сослагательное: я не мог бы, не хотел бы, не должен бы был, не решился бы, не смел бы пойти домой, и так далее, пока я не почувствовал, что теряю рассудок, и, повернувшись на другой бок, не стал снова вглядываться в светлые круги на стене.

Я распорядился, чтобы меня разбудили в семь часов, так как мне было ясно, что прежде всего нужно повидать

Уэммика и что в данных обстоятельствах меня могут интересовать только его уолвортские взгляды. Мне не терпелось покинуть комнату, где я провел такую тоскливую ночь, и при первом же стуке в дверь я вскочил со своего беспокойного ложа.

В восемь часов передо мной выросли зубчатые стены замка. Так как мне посчастливилось встретить у крепостных ворот служаночку, нагруженную двумя горячими хлебцами, я вместе с нею ступил на подъемный мост и, пройдя подземным ходом, без доклада предстал перед Уэммиком в ту минуту, когда он заваривал чай для себя и Престарелого. В глубине сцены, через отворенную дверь, виден был и сам Престарелый, еще не вставший с постели.

— А-а, мистер Пип! — сказал Уэммик.— Так вы вернулись?

— Да,— отвечал я,— но дома не был.

— Вот и хорошо,— сказал он, потирая руки.— Я на всякий случай оставил вам по записке во всех воротах Тэмпла. Вы в которые входили? — И, выслушав мой ответ, продолжал: — Я сегодня обойду остальные и уничтожу записки; я держусь того правила, что не следует без нужды хранить документы,— мало ли кто и когда вздумает пустить их в ход. А сейчас позвольте обратиться к вам с просьбой: вас не затруднит поджарить вот эту колбасу для Престарелого Родителя?

Я сказал, что ничто не доставит мне большего удовольствия.

— В таком случае, Мэри-Энн, вы можете идти,— сказал Уэммик служаночке и, когда она исчезла, добавил, хитро подмигнув: — А мы с вами, мистер Пип, остаемся, таким образом, с глазу на глаз.

Я поблагодарил его за дружбу и заботу, и мы стали беседовать вполголоса, в то время как я поджаривал для старика колбасу, а Уэммик резал и намазывал ему маслом хлеб.

— Так вот, мистер Пип,— сказал Уэммик,— мы понимаем друг друга. Сейчас мы беседуем как частные лица,— нам не впервой обсуждать секретные дела. Служебная точка зрения — это одно. Мы же с вами не на службе.

Я поспешил с ним согласиться. Я так волновался, что уже успел зажечь колбасу наподобие факела и тут же задуть ее.

— Вчера утром,— сказал Уэммик,— находясь в известном месте, куда я однажды вас водил,— даже наедине, мистер Пип, лучше по возможности избегать имен и названий...

— Гораздо лучше,— подтвердил я,— я вас понимаю.

— ...вчера утром,— продолжал Уэммик,— я там случайно услышал, что некий человек, как будто имеющий какое-то отношение к колониям и владеющий кое-каким движимым имуществом... кто именно, я не знаю... называть мы его не будем...

— И не нужно,— сказал я.

— ...произвел немалый переполох в некоей части света, куда отправляются многие люди, причем не всегда следуя собственным склонностям, а сплошь и рядом даже за счет государства...

Внимательно следя за выражением его лица, я дал колбасе вспыхнуть не хуже фейерверка, поневоле отвлекся этим и отвлек внимание Уэммика, за что и поспешил принести свои извинения.

— ... тем, что бесследно исчез из этих мест, не оставив адреса. На основании чего,— сказал Уэммик,— строятся всевозможные предположения и догадки. И еще я слышал, что за вами и за вашей квартирой в Тэмпле следили и, возможно, продолжают следить.

— Кто? — спросил я.

— В это я предпочитаю не вдаваться,— сказал Уэммик уклончиво.— Нельзя забывать о служебных обязанностях. Я об этом слышал так же, как в разное время в том же месте слышал о многих других любопытных вещах. Я ни от кого не получал никаких сведений. Я просто слышал об этом.

Не переставая говорить, он взял у меня из рук вилку и колбасу и аккуратно собрал Престарелому завтрак на небольшом подносе. Но прежде чем накормить Престарелого, он вошел к нему в спальню, повязал ему чистую белую салфетку, помог сесть и сдвинул его колпак набекрень, так что вид у старичка стал совсем ухарский. За-

тем Уэммик заботливо поставил перед ним завтрак и спросил: — Ну что, Престарелый, все в порядке? — на что тот весело отвечал: — Превосходно, Джон, превосходно! — Поскольку Престарелый явно считался не готовым для обозрения, а значит, его следовало полагать невидимым, я притворился, будто ничего этого не замечаю.

Когда Уэммик вернулся ко мне, я спросил:

— То обстоятельство, что за мной и за моей квартирой следят (а я и сам имел случай это заподозрить), связано с человеком, о котором вы только что говорили, ведь так?

Лицо Уэммика стало очень серьезно.

— Я не стал бы утверждать это с полной уверенностью. То есть раньше не стал бы. А теперь скажу: либо это так, либо будет так, либо к тому идет.

Понимая, что вассальная верность по отношению к Литл-Бритен не позволяет ему высказаться более вразумительно, и с благодарностью сознавая, что он и так сильно отступил от своих правил, я не счел возможным допытываться дальше. Но, пораздумав немного у огня, сказал, что беру на себя смелость задать ему один вопрос, на который он волен отвечать или не отвечать, как ему будет угодно, причем я заранее подчиняюсь его решению. Он прервал свой завтрак, скрестил руки и, захватив в горсти рукава рубашки (чтобы полнее насладиться домашним уютом, он завтракал без сюртука), кивнул мне в знак того, что ждет моего вопроса.

— Вы слышали что-нибудь об одном проходимце, чья настоящая фамилия — Компесон?

В ответ последовал еще один кивок.

— Он жив?

Снова кивок.

— Он в Лондоне?

Уэммик кивнул еще раз, накрепко закрыл щель почтового ящика и с последним, заключительным кивком вернулся к прерванному завтраку.

— А теперь, — сказал Уэммик, — когда с вопросами покончено, — он подчеркнул и повторил эти слова для моего сведения и руководства, — я перехожу к тому, что я сделал, когда услышал то, что услышал. Я пошел в Гарден-Корт, рассчитывая застать вас дома; не застав же

вас, пошел к Кларрикеру, рассчитывая застать там мистера Герберта.

— Его-то вы застали? — спросил я в большой тревоге.

— Его-то я застал. Не называя имен и не входя в подробности, я дал ему понять, что если ему известно о пребывании кого-нибудь — скажем, Тома, Джека или Ричарда — в вашей квартире или поблизости от нее, то хорошо бы, не дожидаясь вас, переселить Тома, Джека или Ричарда куда-нибудь в другое место.

— Он, наверно, совсем стал в тупик?

— Да, сначала он стал в тупик. Тем более когда я сказал ему свое мнение, что пытаться сейчас увозить Тома, Джека или Ричарда слишком далеко — небезопасно. Послушайте меня, мистер Пип. При существующих обстоятельствах нет места лучше большого города, раз уж человек в нем находится. Не стоит раньше времени вылезать из норы. Надо залечь. Переждать, пока кругом поутихнет, и не высовывать носа наружу даже ради того, чтобы понюхать заграничного воздуха.

Я поблагодарил его за ценный совет и спросил, что же предпринял Герберт?

— Мистер Герберт,— отвечал Уэммик,— с полчаса не мог опомниться, а потом кое-что придумал. Он под секретом сообщил мне, что намерен жениться на одной молодой особе, у которой, как вам, без сомнения, известно, имеется прикованный к постели папаша. Каковой папаша, бывши в прошлой своей жизни судовым эконoмом, лежит в фонаре окна, откуда ему видно, как по реке ходят вверх и вниз корабли. С этой молодой особой вы, вероятно, знакомы?

— Лично — нет,— сказал я.

Покаюсь: Клара не благоволила ко мне, считая, что я только ввожу Герберта в расходы и дружба со мной идет ему во вред; когда Герберт впервые предложил ей нас познакомить, она выказала по этому поводу так мало восторга, что моему другу ничего не оставалось, как обрисовать мне истинное положение вещей, и знакомство наше было до времени отложено. С тех пор как я начал тайно помогать Герберту продвигаться в жизни, я сносил такое положение дел с философической стойкостью; со своей стороны, ни Герберт, ни его нареченная особенно

не желали, чтобы при их свиданиях присутствовал кто-то третий; так и случилось, что, хотя я, по его словам, сильно вырос в мнении Клары и хотя мы уже давно пересылали друг друг поклоны и приветы, мне еще ни разу не привелось ее видеть. Впрочем, Уэммика я не стал посвящать во все эти подробности.

— Так как дом, где они живут,— продолжал Уэммик,— стоит на реке, много ниже Лондонского моста, между Лаймхаусом и Гринвичем, а владеет им, как выяснилось, весьма почтенная вдова, которая хотела бы сдать внаймы верхние комнаты — меблированные,— то мистер Герберт и спросил меня, как я смотрю на такое временное жилище для Тома, Джека или Ричарда. Я сказал, что смотрю весьма одобрительно по трем причинам, которые сейчас вам изложу. Итак, во-первых: сами вы даже близко около тех мест не бываете, и от людных улиц, больших и маленьких, это тоже достаточно далеко. Во-вторых: не бывая там лично, вы всегда могли бы получать сведения о Томе, Джеке или Ричарде через мистера Герберта. В-третьих: если бы вам, по прошествии какого-то срока и когда это покажется безопасным, захотелось посадить Тома, Джека или Ричарда на иностранный пакетбот,— пожалуйста, он уже тут как тут, хоть сейчас в дорогу.

Значительно приободренный этими доводами, я еще и еще раз поблагодарил Уэммика и просил его продолжать.

— Так вот, сэр! Мистер Герберт взялся за дело с необычайным рвением и вчера вечером, к девяти часам, благополучно водворил Тома, Джека или Ричарда — нам с вами не интересно знать, кого именно,— на новое место. Там, где он проживал раньше, хозяевам дали знать, что его вызвали в Дувр, и он действительно отбыл по Дуврской дороге, а уже потом свернул в сторону. Во всем этом есть еще и то большое преимущество, что произошло это в ваше отсутствие, и если кто-нибудь вами особо интересуется, он должен был знать, что вы в это время находились за много миль от Лондона и были заняты совсем другими делами. Это отвлекает подозрения и создает некоторую путаницу; потому я и советовал вам не ходить домой даже в случае, если бы вы вернулись в город вчера вечером. Это вносит еще большую путаницу, а путаница вам на руку.

Тут Уэммик, кончив завтракать, посмотрел на часы и стал надевать сюртук.

— И имейте в виду, мистер Пип,— сказал он, всовывая руки в рукава,— кажется, я сделал все, что мог; но ежели бы удалось сделать больше — я говорю с уолвортской точки зрения и как сугубо частное лицо,— я сделаю это с радостью. Вот вам адрес. Ничего страшного не будет, если сегодня вечером, перед тем как идти домой, вы туда заглянете и сами убедитесь, что Том, Джек или Ричард хорошо устроен,— это еще одна причина, почему вам не следовало ходить домой вчера. Но после того как побываете дома, больше туда не ходите. Не на чем, мистер Пип, не на чем,— руки его уже показались из рукавов, и я горячо их пожимал.— И разрешите мне высказать вам напоследок одно немаловажное соображение.— Он положил руки мне на плечи и добавил таинственным шепотом: — Воспользуйтесь сегодняшним вечером, чтобы обеспечить за собой его движимое имущество. Трудно сказать, что его ждет впереди. Не дайте движимому имуществу пропасть даром.

Не питая ни малейшей надежды, что сумею разъяснить Уэммику мой взгляд на этот предмет, я не стал и стараться.

— Мне пора идти,— сказал Уэммик.— Вам я бы порекомендовал провести время до вечера здесь, если, конечно, у вас нет более неотложных дел. Вид у вас порядком утомленный, и вам полезно будет посидеть совершенно спокойно в обществе Престарелого — он скоро встанет — и сочного кусочка... вы свинью помните?

— Как же,— сказал я.

— Так вот, сочного кусочка свинины. Та колбаса, что вы поджаривали, тоже из нее, в общем — свинка была первый сорт во всех отношениях. Непременно отведайте, хотя бы ради старого знакомства.— И весело гаркнул: — До свиданья, Престарелый Родитель!

— Превосходно, Джон, превосходно, мой мальчик,— пропищал старичок из-за кулис.

Я вскоре уснул перед огнем, и почти весь день мы с Престарелым занимали друг друга тем, что по очереди засыпали и просыпались в креслах. На обед мы ели свиное филе и овощи с собственного огорода, и я кивал ста-

ричку из самых лучших побуждений, когда не делал этого невольно, от усталости. Когда совсем стемнело, я ушел; Престарелый уж готовился поджаривать гренки, и, судя по числу чайных чашек и по тому, как он поглядывал на откидные дощечки на стене, я понял, что к чаю ожидают мисс Скиффинс.

ГЛАВА XLVI

Уже пробило восемь часов, когда на меня пахнуло приятным запахом щепок и стружки, неотделимым от плотников, что строят лодки и мастерят весла, блоки и мачты. Вся эта прибрежная часть города ниже Лондонского моста была мне совершенно незнакома, и, выйдя к реке, я обнаружил, что нужное мне место находится вовсе не здесь и разыскать его нелегко. Называлось оно «на берегу Мельничного пруда у затона Чинкса», и единственным признаком, по которому его можно было найти, служил Старый Копперов канатный завод.

Где я только не плутал, каких только не перевидал судов, что чинились в сухих доках, и корпусов старых кораблей, обреченных на слом, и сколько ила и тины, оставленных приливом, и сколько верфей, где строили корабли, и других, где их разбирали, и ржавых якорей, тупо цеплявшихся за землю, хотя они уже много лет как отслужили свой срок, и какие вставали на моем пути горные кряжи из бочек и теса, и сколько канатных заводов, из которых ни один не был Старым Копперовым! Раза четыре я сворачивал к реке слишком рано, раз пять — слишком поздно, и в конце концов, нежданно-негаданно, очутился-таки на берегу Мельничного пруда. Это был, по здешним местам, привольный уголок, где речному ветру было где разгуляться, и росло там несколько деревьев, и высился остов разрушенной ветряной мельницы, и стоял Старый Копперов канатный завод — в лунном свете он тянулся вдаль узким рядом вбитых в землю деревянных рам, прикрытых навесом и напоминавших какие-то древние грабли, которые от старости растеряли почти все свои зубья.

Выбрав из немногих причудливых домов на берегу Мельничного пруда один — с деревянным фасадом и оконным выступом во все три этажа, я подошел поближе и прочел на дверной дощечке: «Миссис Уимпл». Так как это и была нужная мне фамилия, я постучал, и мне открыла немолодая, цветущая, приятной наружности женщина. Впрочем, ее сразу же сменил Герберт,— он молча провел меня в гостиную и затворил дверь. Странно было увидеть его лицо, такое знакомое, в этой незнакомой комнате, где он явно чувствовал себя как дома, и я, помнится, разглядывал его так же, как разглядывал стекло и фарфор в угловом шкафчике, раковины на камине и цветные гравюры на стене, изображавшие гибель капитана Кука, корабельную шлюпку и его величество короля Георга III в пышном кучерском парике, лосинах и ботфортах, на террасе Виндзорского дворца.

— Все в порядке, Гендель,— сказал Герберт,— и он вполне доволен, только очень хочет повидать тебя. Моя дорогая девочка сейчас у отца, ты подожди минутку, она придет, тогда я вас познакомлю, а потом мы пойдем наверх... Да, да, это и есть ее отец. (Я услышал над головой какое-то грозное рычанье, что, очевидно, и отразилось на моем лице.)

— Надо полагать, что этот старикан — порядочная каналья,— сказал Герберт с улыбкой,— но я его никогда не видел. Слышишь, как пахнет ромом? Это он вечно тянет.

— Ром? — спросил я.

— Да,— подтвердил Герберт,— и можешь себе представить, как это полезно для его подагры. К тому же он всю провизию держит у себя в комнате и выдает на каждый день. Все у него расставлено на полках над кроватью, все отпускается строго по весу. Наверно, его комната сильно смахивает на мелочную лавку.

Пока он говорил, рычание перешло в протяжный рев, а затем смолкло.

— Чего же еще и ждать,— сказал Герберт в виде пояснения,— если он непременно желает сам резать сыр? Когда у человека подагра в правой руке — и во всех других конечностях,— как ему разрезать головку глостерского, не изувечив себя?

Видимо, он изувечил себя не на шутку,— яростный рев раздался с новой силой.

— Для миссис Уимпл это редкая удача, что она сдала верхний этаж Провису,— сказал Герберт.— Как правило, жильцы, разумеется, сбегают от такого шума. Любопытный это дом, верно, Гендель?

Да, это был любопытный дом, но безупречно прибранный и чистый.

— Миссис Уимпл — хозяйка на диво,— продолжал Герберт, когда я высказал ему это мнение.— Просто не знаю, что бы сталось с моей Кларой без ее материнской заботы. Ведь у Клары нет матери, и вообще никого родных, кроме старого Филина.

— Неужели это его фамилия, Герберт?

— Нет, нет, это я его так называю. Фамилия его — Барли. Но какое счастье для сына моих родителей — любить девушку, у которой нет родных и которая сама не мучится из-за своих предков и других не мучает!

Герберт уже рассказывал мне раньше, а теперь напомнил, что он познакомился с мисс Кларой Барли, когда та заканчивала свое образование в некоем учебном заведении в Хэммерсмите; после того как ее вызвали домой ухаживать за больным отцом, они во всем открылись доброй миссис Уимпл, которая с тех пор и покровительствовала их чувствам и опекала их, проявляя при этом столько же заботливости, сколько такта. Между ними было решено, что старого Барли отнюдь не следует посвящать ни в какие сердечные тайны, поскольку он был просто не способен заинтересоваться чем-либо более возвышенным, чем ром, подагра или судовой провиант.

Пока мы таким образом беседовали вполголоса, а потолочная балка дрожала от непрерывного рычания старого Барли, дверь отворилась и в комнату вошла очень хорошенькая, тоненькая, темноглазая девушка лет двадцати, с корзинкой в руках; Герберт поспешил освободить ее от этой ноши и представил мне как «Клару». Девушка была поистине очаровательна, и ничего не стоило вообразить, что это — пленная фея, которую свирепый старый людоед Барли похитил и заставил себе прислуживать.

— Вот полюбуйся,— сказал Герберт, после того как мы немного поговорили, и с сочувственной и нежной

улыбкой указал мне на корзину,— в таком виде бедная Клара каждый вечер получает свой ужин: вот ее порция хлеба, и ломтик сыра, и ром... который выпиваю я. А вот это мистеру Барли нужно приготовить к утреннему завтраку,— здесь две бараньих отбивных, три картофелины, немножко лущеного гороха, немножко муки, две унции масла, щепотка соли и вон сколько черного перца. Все это тушится вместе и съедается в горячем виде; для подагры, конечно, ничего лучшего не придумаешь!

Было столько трогательной безыскусственности в том, как покорно Клара обводила взглядом эти припасы, пока Герберт перечислял их; столько невинной доверчивости и любви в том, как просто она позволила руке Герберта обнять ее плечи; и такая в ней чувствовалась мягкость и беззащитность,— здесь, на берегу Мельничного пруда, у затона Чинкса, возле Старого Копперова канатного завода, под балкой, сотрясавшейся от рычания старого Барли,— что я ни за какие деньги не захотел бы расторгнуть их помолвку, даже за те, что лежали в толстом бумажнике, который я так и не открыл.

Я от души любовался девушкой, но внезапно рычание снова перешло в рев и над головой послышался страшный стук, точно великан с деревянной ногой старался проткнуть ею потолок, чтобы добраться до нас. Клара сказала Герберту: «Папа меня зовет, милый!» — и убежала.

— Видал бессовестную старую акулу? — сказал Герберт.— Как ты думаешь, Гендель, что ему теперь понадобилось?

— Не знаю,— сказал я.— Может быть, выпить?

— Совершенно верно! — воскликнул Герберт, словно я разгадал труднейшую загадку.— Грог у него намешан в бочоночке и стоит на столе. Погоди, сейчас услышишь, как Клара его приподымет, чтобы он мог до него дотянуться... вот! — Снова протяжный рев на нисходящих нотах.— Теперь,— сказал Герберт, когда стало тихо,— он пьет. А теперь,— добавил Герберт, когда балка опять задрожала,— он улегся на место!

Вскоре после этого Клара вернулась, и Герберт повел меня наверх к нашему узнику. Проходя мимо комнаты мистера Барли, мы слышали за дверью хриплое бормотанье, то нараставшее, то спадавшее, как ветер, которое

на человеческом языке,— если заменить благими пожеланиями нечто прямо им противоположное,— звучало бы примерно так:

— Свистать всех наверх! Благослови меня бог, вот старый Билл Барли. Вот он, старый Билл Барли, благослови меня бог! Вот он, Билл Барли, лежит пластом, благослови его душу. Лежит пластом, как дохлая камбала, вот вам старый Билл Барли. Всех наверх, благослови вас господь!

Герберт сообщил мне, что невидимый Барли целыми сутками черпает утешение в таких вот разговорах с самим собой, причем в дневное время один его глаз нередко бывает прикован к телескопу, укрепленному на кровати так, чтобы ему удобно было лежа обозревать реку.

Провис занимал две верхние комнатки-каюты, где было вдоволь света и воздуха и где мистера Барли было не так слышно, как внизу. В разговоре со мной он не выказал ни малейшей тревоги; казалось, он и не испытывал ее. Но меня поразило, что он как-то смягчился,— ни тогда, ни позже я не мог определить, в чем именно заключалась эта перемена, но она произошла, в том не было сомнения.

Отдохнув за день и хорошенько все обдумав, я пришел к решению ничего не говорить ему про Компесона. Иначе — как знать, думал я, а вдруг он, движимый смертельной враждой к этому человеку, еще вздумает разыскивать его, обрекая себя на верную гибель? Поэтому, когда мы с ним и с Гербертом уселись у камина, я первым делом спросил его, полагается ли он на суждение Уэммика и на источники, из которых тот получает свои сведения?

— Да, да, мой мальчик,— отвечал он и серьезно кивнул головой.— Уж Джеггерс-то знает!

— Так вот,— продолжал я,— я говорил с Уэммиком и хочу передать вам его предостережение и советы.

И я честно все ему рассказал, умолчав, как и собирался, лишь об одном предмете. Я рассказал, как Уэммик услышал в Ньюгетской тюрьме (от заключенных ли, или от служащих — мне неизвестно), что кто-то прознал о его возвращении и что за моей квартирой следили; передал мнение Уэммика, что ему следует на некоторое время «залечь», а мне лучше с ним не видаться; и мнение Уэммика относительно того, как ему покинуть Англию. Я до-

бавил, что, когда придет время, я, разумеется, уеду вместе с ним, или следом за ним, смотря по тому, что Уэммик найдет менее опасным. О том, как мы будем жить дальше, я не сказал ни слова, да и мысли на этот счет у меня были самые неопределенные, особенно теперь, когда он так смягчился и когда опасность, которой он себя подвергал ради меня, приняла такие ясные очертания. Что же касается того, чтобы изменить мой образ жизни и увеличить расходы, то пусть сам посудит, не будет ли это сейчас, в наших трудных и сложных обстоятельствах, просто смешно, а может, и подозрительно?

Этого он не мог отрицать, и вообще проявил полное благоразумие. Возвращение его, сказал он, было рискованным шагом, он это знал с самого начала. Он не сделает ничего, что могло бы еще увеличить опасность, а с такими хорошими помощниками ему, надо полагать, и бояться нечего.

Тут Герберт, до сих пор задумчиво смотревший в огонь, сказал, что предложение Уэммика навело его на одну мысль, которой, пожалуй, стоит с нами поделиться.

— Мы с тобой оба хорошие гребцы, Гендель, и могли бы, когда придет время, сами увезти мистера Провиса вниз по реке из Лондона. Тогда не нужно будет нанимать лодку и брать лодочника. Это даст нам лишнюю возможность избежать подозрений, а нам нельзя пренебрегать никакими возможностями. Ничего, что сейчас зима; ты мог бы теперь же завести себе лодку, держать ее у лестницы Тэмпла и кататься вверх и вниз по реке. Упражняйся изо дня в день, и к этому скоро привыкнут и перестанут замечать тебя. Проделай это двадцать раз или пятьдесят, и ничего не будет удивительного, если ты проделаешь это в двадцать первый или в пятьдесят первый раз.

Мне этот план понравился, а Провис и вовсе был от него в восторге. Мы решили, что приведем его в исполнение и что Провис не будет узнавать нас, если нам случится проплывать мимо Мельничного пруда. Но, кроме того, мы договорились, что всякий раз, как он нас увидит и захочет передать сигнал «Все спокойно», он будет спускать штору на той створке своего окна, которая выходит на восток.

Итак, поскольку мы обо всем условились и совещание наше закончилось, я встал и собрался уходить, сказав Герберту, что нам лучше не идти домой вместе, а поэтому я выйду на полчаса раньше его.

— Не хочется мне оставлять вас,— сказал я Провису,— хотя нет сомненья, что здесь вы в большей безопасности, нежели возле меня. Прощайте!

— Милый мой мальчик,— отвечал он, сжимая мои руки,— не знаю, когда мы теперь свидимся, и не нравится мне твое «Прощайте». Скажи лучше: «Спокойной ночи!»

— Спокойной ночи! Мы всегда будем все знать друг о друге через Герберта, а когда придет время, я буду готов, уж вы не беспокойтесь. Еще раз — спокойной ночи!

Было решено, что ему незачем спускаться вниз, и, когда мы уходили, он стоял на площадке у своей двери и светил нам, перегнувшись через перила с лампой в руке. Оглянувшись на него, я вспомнил вечер его появления,— тогда я сам вот так же стоял с лампой на лестнице и даже подумать не мог, что когда-нибудь мне будет так грустно и страшно с ним расставаться.

Старик Барли по-прежнему рычал и бранился за своей дверью, точно все это время ни на минуту не умолкал и не собирался умолкнуть. Внизу я спросил Герберта, сохранил ли наш узник фамилию Провис? Нет, конечно, отвечал он, новый жилец зовется мистер Кембл. Мой друг добавил, что в доме о мистере Кембле знают лишь одно: он, Герберт, принимает в нем участие и ему, Герберту, очень важно, чтобы новый постоялец ни в чем не нуждался и жил в полном уединении. Поэтому, когда мы вошли в гостиную, где миссис Уимпл и Клара сидели за рукоделием, я счел за благо умолчать о том горячем участии, с которым и сам отношусь к мистеру Кемблу.

Распростившись с хорошенькой, милой темноглазой девушкой и с доброй женщиной, в которой годы не угасили способности радеть о судьбе двух любящих сердец, я почувствовал, что Старый Копперов канатный завод совершенно преобразился в моих глазах. Пусть старик Барли стар, как мир, пусть бранится, как целая извозчичья биржа, но в затоне Чинкса хватит молодости, надежды и веры, чтобы заполнить его до краев. И тут я вспомнил

Эстеллу и наше прощанье и пошел домой совсем приунывший.

В Тэмпле все было тихо, как в самые спокойные времена. Окна тех комнат, где еще так недавно жил Провис, стояли закрытые, темные, и в Гарден-Корте не было ни души. Я три раза прошелся мимо фонтана, прежде чем подняться к себе в квартиру, но никого не увидел. И Герберт, когда зашел через полчаса ко мне в спальню,— я так измучился, что сразу лег в постель,— рассказал то же самое. Он отворил одно из окон и, выглянув на залитую лунным светом улицу, доложил, что там царит такая торжественная пустота, какая, наверно, бывает ночью в запертом соборе.

На следующий день я отправился раздобывать себе лодку. Это заняло немного времени, лодка была доставлена к лестнице Тэмпла и стала на причал в двух минутах ходьбы от моей двери. После этого я начал упражняться в гребле, то один, то вместе с Гербертом. Я часто бывал на реке в холод, ветер и дождь, и через несколько дней никто уже не обращал на меня внимания. Вначале я держался выше Блекфрайерского моста, но затем, когда часы прилива изменились, стал добираться и до Лондонского. То был еще старый Лондонский мост, и в некоторые часы дня вода здесь стремительно неслась, образуя водовороты и ямы, что создало ему недобрую славу. Однако, присмотревшись к другим гребцам, я быстро наловчился проскакивать опасное место, и после этого часто пробирался среди множества кораблей и лодок до самого Эрита. Мимо Мельничного пруда мы впервые прошли вместе с Гербертом и видели, как штора на восточной стороне окна опустилась оба раза — и встречая нас и провожая обратно. Герберт обычно бывал там не реже трех раз в неделю и ни разу не сообщил мне ничего хоть сколько-нибудь тревожного. И все же я знал, что основания для тревоги есть, и не мог отделаться от ощущения, что за мною следят. Стоит такому ощущению появиться, и оно не оставляет человека в покое; невозможно сосчитать, скольких ни в чем не повинных людей я подозревал в том, что они наблюдают за мной.

Словом, я вечно дрожал от страха за отчаянного человека, которого мы прятали. Герберт как-то говорил мне,

что по вечерам, во время отлива, он любит стоять у окна и думать, что вода, со всем, что она несет на себе, течет к его Кларе. А я с ужасом думал, что она течет к Мэгвичу и что любая черная точка на ее поверхности может оказаться погоней, которая приближается к нему быстро, бесшумно и уверенно, чтобы настигнуть его и схватить.

ГЛАВА XLVII

Несколько недель прошло без всяких перемен. Мы ждали, а Уэммик не подавал знака. Если бы я никогда не видел его за пределами Литл-Бритен и никогда не удостаивался чести быть запросто принятым в замке, я мог бы в нем усомниться; но я знал его хорошо и не сомневался в нем ни минуты.

Тем временем денежные мои дела приняли совсем плохой оборот, кредиторы один за другим торопили с уплатой. Я даже начал ощущать недостаток наличных денег (попросту говоря, в кармане бывало пусто) и восполнял его продажей всяких безделушек и драгоценностей, без которых легко мог обойтись. Но во мне жило твердое убеждение, что, пока мои планы и намерения столь неопределенны, брать деньги у моего покровителя было бы бессердечно и подло. Поэтому я отослал ему с Гербертом непочатый бумажник, чтобы он хранил его у себя, и испытывал своеобразное удовлетворение — искреннее или нет, судить не берусь — оттого, что не пользовался его великодушием с тех пор, как узнал, с кем имею дело.

Прошло сколько-то времени, и мною овладело тягостное чувство, что Эстелла замужем. Страшась подтверждения моей догадки, хотя она и так уже граничила с уверенностью, я не читал газет и попросил Герберта (которому поведал о нашем последнем свидании) никогда не говорить о ней со мною. Зачем я берег этот последний лоскуток от покрывала надежды, разодранного, развеянного по ветру? Разве я знаю? Зачем вы, читатель, проявили такую же непоследовательность в прошлом году, в прошлом месяце, на прошлой неделе?

Очень печально мне жилось в то время, и надо всей моей тревожной жизнью, ни на минуту не исчезая из виду, как горная вершина над цепью более низких гор, маячила главная, неотступная тревога. А между тем новых причин для опасений не возникало. Сколько бы я ни вскакивал по ночам с постели, охваченный леденящим предчувствием, что Провиса нашли; сколько бы ни прислушивался вечерами, поджидая Герберта и воображая, что шаги его торопливее обычного и он несет худые вести; как бы ни терзался и ни безумствовал, а жизнь шла своим чередом. Обреченный бездействовать и пребывать в постоянном напряжении и страхе, я только катался по реке в своей лодке и ждал, ждал, ждал без конца.

Бывало, что, спустившись далеко по реке, я не мог пробиться обратно через водовороты, бурлившие у быков и арок старого Лондонского моста; в таких случаях я оставлял лодку у пристани близ Таможни, с тем чтобы позднее ее доставили к лестнице Тэмпла. Я делал это охотно,— было очень важно, чтобы я и моя лодка примелькались здешнему люду. Из этого незначительного обстоятельства воспоследовали две встречи, о которых я сейчас и хочу рассказать.

Однажды в конце февраля я сошел на пристань у Таможни уже в сумерки. В тот день я спустился с отливом до самого Гринвича и повернул, когда начался прилив. Днем было ясно, но к заходу солнца пал туман, и мне пришлось с большой осторожностью лавировать среди судов и лодок. И на пути туда и на пути обратно я видел в знакомом окне сигнал «Все спокойно».

Вечер был холодный, я озяб и решил сейчас же подкрепиться обедом; а так как по возвращении домой в Тэмпл мне предстояли долгие часы унылого одиночества, я подумал — не сходить ли после обеда в театр. Тот театр, где мистер Уопсл некогда стяжал свои сомнительные лавры, находился поблизости, возле реки (сейчас он уже нигде не находится), и на нем-то я и остановил свой выбор. Я знал, что мистеру Уопслу не удалось возродить английский театр, скорее он, напротив, катился вместе с ним вниз, к полному упадку. Афиши как-то сообщали прискорбную весть об исполнении им роли Верного Арапа при девице знатного происхождения и ее обезьянке.

А Герберту случилось видеть, как он смешил публику, играя кровожадного восточного царька с кирпично-красной рожей и в нелепейшем колпаке, обшитом бубенцами.

Я пообедал в одном из тех трактиров, которые мы с Гербертом называли географическими — где каждая скатерть являла собою карту мира, столь много на ней отпечаталось следов от портерных кружек, а на каждом ноже застывшая подливка уподоблялась морским течениям (по сей день во всех владениях лорд-мэра едва ли найдется хоть один негеографический трактир!),— и кое-как скоротал время до театра, то и дело засыпая над хлебными крошками, щурясь на газовый рожок и парясь в запахе горячих обедов. Потом встряхнулся, встал и отправился в театр.

На сцене доблестный боцман королевской службы — герой героем, только штаны были ему тесноваты в одних местах, а в других висели слишком свободно — нахлобучивал всей сухопутной мелкоте шляпы на самые глаза, хотя был очень великодушен и храбр и подбивал окружающих не платить налоги, хотя был отменным патриотом. В кармане у него был мешок с деньгами, похожий на пудинг в салфетке, и на эти деньги он при всеобщем ликовании справил свадьбу с молодой особой, дочерью почтенного торговца подушками, причем все жители Портсмута (числом девять по последней ревизии) высыпали на берег и, потирая собственные руки и пожимая чужие, запели «Налей, налей!». Однако некий чумазый кочегар, который наотрез отказался наливать и вообще отказывался делать все, что бы ему ни предлагали, и чье сердце (как о том прямо сказал боцман) было столь же черно, как его физиономия, предложил двум другим кочегарам доставить всем на свете кучу неприятностей; это и было проделано с таким успехом (поскольку семейство кочегара пользовалось большим влиянием при дворе), что понадобилось полвечера, чтобы все опять уладить, да и то ничего бы не вышло, если бы честный маленький красноносый бакалейщик в белой шляпе и черных гетрах не залез в часы, предварительно вооружившись рашпером, и не подслушал бы чужой разговор, и не вылез бы наружу, и не пристукнул бы сзади рашпером тех, для кого подслушанные им све-

дения оказались недостаточно убедительными. Вслед за тем мистер Уопсл (о котором до тех пор и слуху никакого не было) вышел на сцену с орденом Подвязки на груди, изображая собою всемогущего сановника, который явился прямо из адмиралтейства, и сообщил, что всех кочегаров незамедлительно отправят в тюрьму, а боцману он привез английский флаг в виде скромной награды за его службу на благо отечеству. Боцман, расчувствовавшись впервые за свою долгую жизнь, благоговейно вытер слезы флагом, а затем, снова повеселев и назвав мистера Уопсла «Ваша честь», попросил разрешения пожать ему руку, как моряк моряку. Мистер Уопсл с большим достоинством снизошел к его просьбе, после чего был немедленно затиснут в пыльный угол, потому что всем остальным нужно было плясать матросский танец; и из этого-то угла, озирая публику недовольным взглядом, он заметил меня.

Вторым номером шла Новейшая Рождественская Пантомима-буфф, в первой сцене которой, как я в том с горечью убедился, злосчастный мистер Уопсл, в красном трико, с огромной, светящейся от фосфора физиономией и с шевелюрой из красной бахромы, ковал в какой-то пещере громы небесные и отчаянно струсил, когда к обеду воротился домой его хозяин-великан (сильно охрипший). Вскоре он, впрочем, показал себя с более достойной стороны: когда Гению Юной Любви понадобилась помощь — в борьбе с жестокосердым и невежественным фермером, который, дабы воспрепятствовать счастью своей единственной дочери, залез в мешок от муки и в таком виде умышленно свалился из окна второго этажа на избранника ее сердца,— он призвал мудрого Чародея, и этот последний, прибыв из-под земли довольно нетвердой походкой, после явно опасного и богатого приключениями странствования, оказался мистером Уопслом в шляпе с высокой тульей и с толстым руководством по черной магии под мышкой. Поскольку на земле деятельность этого чародея ограничивалась главным образом тем, что к нему взывали, о нем пели, его толкали, вокруг него танцевали и слепили его разноцветными хлопушками, досуга у него оставалось предостаточно. И я немало удивился, когда заметил, что он проводит этот досуг в том, что с видом величайшего изумления глазеет в мою сторону.

Так поразительно было недоумение, с каждой минутой нараставшее во взоре мистера Уопсла, и казалось, он производил в уме такие сложные выкладки и так в них путался, что я просто понять не мог, в чем же тут дело. Я думал об этом еще долго после того, как он вознесся в облака в большом круглом футляре из-под часов, и попрежнему ничего не понимал. Я все еще думал об этом и час спустя, когда вышел из театра и обнаружил, что он дожидается меня у подъезда.

— Добрый вечер,— сказал я, пожав ему руку и шагая с ним рядом по улице.— Я видел, что вы меня заметили.

— Заметил вас, мистер Пип? — переспросил он.— Ну разумеется, я вас заметил. Но кто же там был еще?

— Кто еще?

— Это очень, очень странно,— сказал мистер Уопсл, и снова на лице его появилось выражение полной растерянности,— а между тем я готов поклясться, что то был он.

Сильно встревоженный, я стал умолять мистера Уопсла объяснить мне, что он хочет сказать.

— Вот не знаю,— продолжал мистер Уопсл все так же растерянно,— обратил бы я на него внимание или нет, если бы вас тут не было; впрочем, вероятно, обратил бы.

По привычке я невольно огляделся по сторонам, ибо от этих загадочных слов меня мороз подрал по коже.

— О нет, здесь его не может быть,— сказал мистер Уопсл.— Он ушел, когда я еще был на сцене, я видел.

Имея достаточно причин подозревать всех и каждого, я заподозрил даже этого несчастного актера. Что, если ему поручено поймать меня в ловушку, заставить что-нибудь выболтать? И я только поглядывал на него, молча шагая вперед.

— Сначала я, представьте, вообразил, что он пришел вместе с вами, мистер Пип, но потом убедился, что вам и невдомек, что он сидит позади вас, точно призрак.

Я опять похолодел от страха, но упорно молчал, так как его туманные намеки вполне могли быть подсказаны желанием заставить меня так или иначе связать их с Провисом. Что сам Провис не появлялся в театре, в этом я, конечно, был более чем уверен.

— Кажется, слова мои вас удивляют, мистер Пип? Да, да, я вижу. Но это так странно, так странно! Вы просто

не поверите тому, что я вам сейчас скажу. И я бы не поверил, если бы услышал от вас.

— В самом деле?

— В самом деле. Мистер Пип, помните ли вы один давнишний рождественский вечер, когда вы были еще совсем маленький, и я обедал у Гарджери, и к вам пришли солдаты, чтобы починить пару наручников?

— Помню прекрасно.

— И помните, что была погоня за двумя беглыми каторжниками, и что мы приняли в ней участие, и Гарджери взял вас на закорки, и я бежал впереди, а вы едва поспевали за мной?

— Помню, помню.— Он и представить себе не мог, как хорошо я все это помнил... кроме последней подробности.

— И помните, как мы настигли их в канаве, где они дрались, и один страшно избил другого и раскровенил ему все лицо?

— Как сейчас помню.

— И потом солдаты зажгли факелы и окружили их, а мы решили все досмотреть до конца и пошли за ними по черным болотам, и лица их были ярко освещены факелами — это я особенно подчеркиваю: лица их были освещены факелами, а вокруг нас было кольцо сплошного мрака?

— Да,— сказал я.— Все это я помню.

— Так вот, мистер Пип, один из тех двух арестантов сидел сегодня позади вас. Я углядел его через ваше плечо.

«Держись!» — подумал я и спросил:

— Как вам показалось, который же из них это был?

— Тот, которого избил другой,— отвечал он без запинки.— Я готов поклясться, что узнал его. Чем больше я об этом думаю, тем меньше сомневаюсь.

— Любопытно! — сказал я, притворившись, что только так и воспринял его рассказ.— Чрезвычайно любопытно!

Не могу выразить, какое смятение вызвал во мне этот разговор, какой ужас обуял меня при мысли, что Компесон сидел позади меня «точно призрак». Ведь если было за эти последние месяцы несколько минут, когда я о нем не думал, так это как раз были те минуты, которые он провел рядом со мной; и сознавать, что после стольких предосторожностей с моей стороны он все же застиг меня

врасплох, было равносильно тому, как если бы я, чтобы отгородиться от него, захлопнул одну за другою сотню дверей и вдруг увидел бы его в двух шагах от себя. Не мог я сомневаться и в том, что он пришел в театр, потому что там был я; а значит, каким бы спокойным все ни казалось на поверхности, опасность оставалась близкой и неминуемой.

Я задал мистеру Уопслу несколько вопросов. Когда этот человек вошел в залу? Этого он не мог сказать: он заметил меня, а потом, за спиной у меня, заметил того. И узнал он его не сразу, но с самого начала у него было смутное ощущение, что человек этот как-то связан со мной и с тем временем, когда мы жили в деревне. Как он был одет? Вполне прилично, но ничего примечательного; кажется, в черном. Был у него шрам на лице? Как будто нет. Это, положим, я и сам бы мог сказать, ибо, хотя, занятый своими мыслями, я и не приглядывался к сидящим позади меня, все же лицо, обезображенное шрамом, едва ли ускользнуло бы от моего внимания.

Когда мистер Уопсл сообщил мне все, что ему удалось припомнить, а мне удалось из него вытянуть, и когда я угостил его легким ужином, который он бесспорно заслужил после столь утомительного вечера, мы расстались. До Тэмпла я добрался в первом часу, ворота уже были заперты на ночь. Ни когда я входил, ни когда шел через двор к себе, никого около меня не было.

Герберта я застал дома, и, подсев к огню, мы с ним стали держать совет. Но выходило, что сделать мы ничего не можем — разве только известить Уэммика о происшествии этого вечера и напомнить, что мы ждем его указаний. Опасаясь, как бы не повредить ему слишком частыми посещениями замка, я решил послать ему письмо. Я написал его до того, как лечь спать, и тут же вышел и опустил, и снова поблизости никого не было. Мы с Гербертом согласились, что нам не остается ничего другого, как соблюдать крайнюю осторожность. Мы и соблюдали ее больше прежнего, если только это возможно,— и я даже близко не подходил к затону Чинкса, исключая тех случаев, когда проплывал мимо него на лодке, но и тогда я разглядывал берег Мельничного пруда не более внимательно, чем все, что встречалось мне на пути.

ГЛАВА XLVIII

Вторая из двух встреч, о которых я упомянул в предыдущей главе, произошла примерно через неделю после первой. Я опять сдал свою лодку на пристани у Таможни; до наступления темноты на этот раз еще оставалось около часа, и, лениво раздумывая, где бы пообедать, я вышел на Чипсайд и брел по тротуару — самый неприкаянный человек в этой занятой, спешащей толпе,— когда сзади на плечо мне опустилась чья-то большая рука. То была рука мистера Джеггерса, и он продел ее мне под локоть.

— Раз мы идем в одну сторону, Пип, можно пройтись вместе. Вы куда направляетесь?

— Вернее всего, в Тэмпл,— сказал я.

— Разве вы не знаете?

— Вот именно,— отвечал я, довольный тем, что раз в жизни его допрос не смутил меня.— Я не знаю, потому что еще не решил.

— Но обедать вы собираетесь? Этого вы, надеюсь, не станете отрицать?

— Нет,—отвечал я,— этого я не стану отрицать.

— Вы куда-нибудь приглашены?

— Не стану отрицать и того, что я никуда не приглашен.

— В таком случае,—сказал мистер Джеггерс,—пойдемте обедать ко мне.

Я уже хотел отказаться, когда он добавил: — И Уэммик будет.

Тогда я переменил свой отказ на согласие — те несколько слов, которые я успел произнести, одинаково годились для того и для другого,— и, пройдя еще немного по Чипсайду, мы свернули на Литл-Бритен; а тем временем в окнах магазинов уже вспыхивали яркие огни, и фонарщики, с трудом выбирая в уличной толкотне место, где бы поставить свою лесенку, прыгали вверх и вниз, бегали взад и вперед и зажигали в сгущающемся тумане больше красных светящихся глаз, чем зажглось белых глаз от тростниковой свечи на призрачной стене моего номера в «Хаммамс».

В конторе на Литл-Бритен начались обычные про-

цедуры, отмечавшие конец делового дня: писали письма, мыли руки, гасили свечи, запирали кассу. Я праздно стоял у камина в кабинете мистера Джеггерса, и в капризных вспышках огня мне мерещилось, будто страшные слепки затеяли со мной какую-то дьявольскую игру в прятки, а две толстых конторских свечи, тускло озарявшие мистера Джеггерса, который писал в углу свои письма, были обернуты грязными погребальными пеленами, словно в память о сонме повешенных клиентов.

На Джеррард-стрит мы отправились втроем, в наемной карете; и, как только приехали, нам подали обед. Мне бы, разумеется, и в голову не пришло даже отдаленно, даже движением бровей намекнуть в этом доме на уолвортские чувства Уэммика; но я был бы не прочь время от времени дружески с ним переглянуться. Однако не тут-то было! Если уж он поднимал глаза от тарелки, то обращал их на мистера Джеггерса, а со мной был так холоден и сух, словно на свете имелось два Уэммика-близнеца и передо мной сидел не тот, что мне нужен.

— Вы переслали мистеру Пипу записку мисс Хэвишем? — спросил его мистер Джеггерс, едва мы сели за стол.

— Нет, сэр,— ответил Уэммик.— Я как раз собирался отправить ее почтой, когда вы с мистером Пипом пришли в контору. Вот она.— И он протянул письмо не мне, а своему шефу.

— Здесь всего две строчки, Пип,— сказал мистер Джеггерс, передавая его мне.— Адресовано на Литл-Бритен, потому что мисс Хэвишем не была уверена в вашем адресе. Она пишет, что хочет повидать вас по одному делу, о котором вы ей говорили. Вы поедете?

— Да,— отвечал я, пробегая глазами записку, содержание которой он изложил весьма точно.

— Когда вы думаете поехать?

— Я связан одним обстоятельством,— сказал я, взглянув на Уэммика, который набивал почтовый ящик рыбой,— и не вполне располагаю своим временем. Пожалуй, съезжу теперь же.

— Раз мистер Пип думает ехать теперь же,— сказал Уэммик мистеру Джеггерсу,— ему и ответа писать не нужно.

Усмотрев в этих словах указание, что медлить не следует, я решил ехать завтра и сказал им об этом. Уэммик выпил рюмку вина и с мрачным удовлетворением посмотрел — опять-таки не на меня, а на мистера Джеггерса.

— Итак, Пип,— сказал мистер Джеггерс,— наш приятель Паук разыграл свои карты и сорвал-таки банк.

Мне ничего не оставалось, как только кивнуть головой.

— Ха! Этому человеку дай волю — он далеко пойдет, только вот дадут ли ему волю. В конце концов и здесь победит сильнейший, но кто из них сильнее — еще неизвестно. Если он вздумает драться...

— Неужели же,— перебил я, чувствуя, как у меня пылают щеки и горит сердце,— неужели вы серьезно думаете, мистер Джеггерс, что у него хватит на это низости?

— Я этого не утверждал, Пип. Я говорю предположительно. Если он вздумает драться, тогда, возможно, сила окажется на его стороне; если же это будет состязание умов — тогда, безусловно, нет. Не стоит впустую гадать о том, чем кончит такой человек в подобного рода обстоятельствах, потому что здесь одинаково возможны два исхода.

— Позвольте спросить, какие именно?

— Такой человек, как наш приятель Паук,— отвечал мистер Джеггерс,— либо дерется, либо виляет хвостом. Он может вилять хвостом и рычать, или вилять хвостом и не рычать; но он либо дерется, либо виляет хвостом. Спросите Уэммика, что он думает по этому поводу.

— Либо дерется, либо виляет хвостом,— сказал Уэммик, обращаясь к кому угодно, только не ко мне.

— Итак, выпьем за миссис Бентли Драмл,— сказал мистер Джеггерс и, взяв с этажерки графин самого лучшего вина, налил сначала нам, потом себе,— и да разрешится спор о главенстве к удовольствию леди! К обоюдному удовольствию леди и джентльмена он разрешиться не может. Ох, Молли, Молли, Молли, Молли, как же вы сегодня нерасторопны!

Экономка в эту минуту была подле него — ставила на стол какое-то блюдо. Осторожно выпустив блюдо из рук, она отступила на шаг и смущенно пролепетала что-то в свое оправдание. И тут меня поразило движение ее пальцев.

— Что случилось? — спросил мистер Джеггерс.

— Ничего,— сказал я.— Просто предмет нашего разговора мне не особенно приятен.

Пальцы ее двигались так, как они движутся, когда женщина вяжет. Она стояла, глядя на своего хозяина, не уверенная, можно ли ей уйти, или, если она уйдет, он кликнет ее снова. Взгляд ее был исполнен напряженного внимания. Ну конечно же, совсем недавно, в слишком памятный для меня день, я видел точно такие же глаза и руки!

Он отпустил ее, и она бесшумно вышла из комнаты. Но я видел ее перед собою так отчетливо, как если бы она не уходила. Я смотрел на эти руки, смотрел на эти глаза, на эти пышные волосы; и рядом с ними видел другие руки, другие глаза, другие волосы, которые я так хорошо знал, и старался представить себе, какими они станут после двадцати лет мучительной жизни с извергом-мужем. И снова я смотрел на руки и глаза экономки и вспомнил то необъяснимое чувство, которое охватило меня, когда я — не один — бродил в последний раз по запущенному саду и брошенной пивоварне. Я вспомнил, как испытал это же чувство, когда увидел глаза, глядящие на меня, и руку, подзывавшую меня из окна дилижанса; и как это же чувство ослепило меня, словно молния, когда карета, в которой я — тоже не один — ехал по темной улице, внезапно осветилась ярким светом фонаря. Я вспомнил, как одна-единственная черточка, восполнив пробел, помогла узнать Компесона в театре, и понял, что такой пробел в моем сознании восполнился теперь, когда после упоминания имени Эстеллы я увидел пальцы, как будто занятые вязаньем, и внимательные глаза. И я проникся непоколебимой уверенностью, что эта женщина — мать Эстеллы.

Мистер Джеггерс видел нас вместе с Эстеллой, и от него едва ли укрылись чувства, которые я и не пытался скрывать. Он кивнул, когда я сказал, что предмет нашего разговора мне неприятен, похлопал меня по плечу, подлил в стаканы вина и снова занялся обедом.

Экономка появлялась в комнате еще только два раза, очень ненадолго, и мистер Джеггерс говорил с нею резко. Но руки ее были руки Эстеллы, и глаза были

глаза Эстеллы, и, появись она еще хоть сто раз, это уже не могло бы ни укрепить моей уверенности, ни поколебать ее.

Вечер тянулся уныло, Уэммик, когда ему наливали вина, проглатывал его деловито, словно по долгу службы, и сидел, не сводя глаз со своего патрона, готовый в любую минуту подвергнуться допросу. Что касается количества вина, то его почтовый ящик мог вместить его столько же,— и с такой же равнодушной готовностью,— сколько обычный почтовый ящик вмещает писем. И все время мне казалось, что он — не тот близнец и только с виду похож на Уэммика из Уолворта.

Мы рано поднялись уходить и вышли вместе. Уже тогда, когда мы искали свои шляпы среди бесчисленных сапог мистера Джеггерса, я почувствовал, что нужный близнец вот-вот появится; а стоило нам пройти десять шагов по Джеррард-стрит в направлении Уолворта, как я обнаружил, что иду под руку с нужным мне близнецом, а другой, ненужный, растворился в вечернем воздухе.

— Ну-с,— сказал Уэммик,— с этим покончено! Удивительный он человек, второго такого не сыщешь; но я чувствую, что, когда я у него обедаю, мне приходится себя туго-натуго завинчивать, а я предпочитаю обедать в отвинченном состоянии.

Я нашел, что он выразился очень удачно, и так и сказал ему.

— Никому, кроме вас, я не стал бы этого говорить,— отвечал он.— Но я знаю, то, что говорится между нами, дальше не пойдет.

Я спросил его, видел ли он когда-нибудь приемную дочь мисс Хэвишем, миссис Бентли Драмл? Он сказал, что нет. Затем, чтобы избежать слишком резкого перехода, я справился о Престарелом и о мисс Скиффинс. При упоминании о мисс Скиффинс он скорчил хитрую физиономию, остановился посреди улицы и высморкался, развернув платок и тряхнув головой не без затаенного самодовольства.

— Уэммик,— сказал я,— помните, еще до того как я первый раз был в гостях у мистера Джеггерса, вы мне советовали обратить внимание на его экономку?

— Разве? — ответил он.— Очень возможно. О черт,— добавил он с досадой,— конечно, помню! Оказывается, я еще не совсем отвинтился.

— Укрощенная тигрица — так вы ее назвали?

— А *вы* бы как ее назвали?

— Точно так же. Скажите, Уэммик, как мистер Джеггерс ее укротил?

— Это его секрет. Она уже много лет живет у него в доме.

— Расскажите мне ее историю! У меня есть особые причины этим интересоваться. Вы ведь знаете, то, что говорится между нами, дальше не пойдет.

— В сущности, я не знаю ее истории,— отвечал Уэммик,— вернее, знаю далеко не все. Но то, что знаю, я вам расскажу. Разумеется, мы с вами сейчас беседуем как сугубо частные лица.

— Разумеется.

— Лет двадцать тому назад эту женщину судили в Олд-Бейли за убийство, и суд оправдал ее. В молодости она была красавицей, и, кажется, в ней есть цыганская кровь. Во всяком случае, как вы сами понимаете, кровь у нее в то время была достаточно горячая.

— Но ведь ее оправдали?

— Мистер Джеггерс защищал ее,— продолжал Уэммик, устремив на меня многозначительный взгляд,— и провел это дело всем на удивление. Оно казалось безнадежным, да и опыта у него еще не было, а он вывернулся так, что все только ахнули; можно, пожалуй, сказать, что тогда-то он и создал себе имя. Он целые дни проводил в полицейском суде — все добивался, чтобы дело вообще прекратили; а во время судебных заседаний, когда сам он не мог выступать, ни на шаг не отходил от адвоката, и тот с начала до конца говорил по его указке — это каждому было понятно. Жертвой убийства была женщина — лет на десять старше этой, и гораздо выше ростом и шире в кости. Убийство произошло на почве ревности. Обе они бродяжничали, и эта вот, что живет у мистера Джеггерса, совсем девчонкой вышла замуж за какого-то бродягу — как говорится, обвенчалась вокруг ракитова куста,— и ревнива была, как черт. Убитую (по годам она подходила тому человеку больше, это бесспорно) нашли в са-

рае близ Хаунслоу-Хис. Видно было, что она выдержала жестокую борьбу. Она вся была избита и расцарапана, а в конце концов ее задушили. Единственной, на кого могло пасть подозрение, была эта женщина, и мистер Джеггерс построил свою защиту главным образом на том, что она физически не способна была совершить такое убийство. Можете быть уверены,— добавил Уэммик, тронув меня за рукав,— в то время он никогда не поминал о том, какие у нее сильные руки, не то что теперь.

(Я рассказывал Уэммику, как в день званого обеда мистер Джеггерс заставил ее показать нам руки.)

— Да, сэр,— продолжал Уэммик,— а тут как-то получилось,— чисто случайно, разумеется,— что со времени своего ареста эта женщина всегда была до того искусно одета, что производила впечатление куда более хрупкой, чем была на самом деле; в особенности рукава у нее, говорят, лежали таким манером, что руки казались совсем тонкими и слабыми. На теле у нее обнаружили всего два-три синяка — у какой бродяжки их не бывает! — но руки с тыльной стороны были сильно поцарапаны, и стоял вопрос: что это, следы ногтей или нет? И вот мистер Джеггерс доказал, что она продиралась через заросли терновника, которые не доставали ей до лица, но не могли не поранить ее руки; и правда, в коже у нее нашли занозы,— они были представлены в суд в качестве вещественных доказательств,— да и кусты при осмотре оказались поломанными там, где через них пробирались, и на них нашли мелкие клочки от ее платья и кое-где пятнышки крови. Но самый смелый его довод был вот какой. В доказательство ее ревности делались ссылки на якобы обоснованное подозрение, будто в то время, когда произошло убийство, она в отместку этому человеку не помня себя умертвила их трехлетнего ребенка. Мистер Джеггерс повел такую линию: «Мы утверждаем, что это следы не ногтей, а колючек, и показываем вам колючки. Вы утверждаете, что это следы ногтей, и в то же время выдвигаете гипотезу, будто она убила своего ребенка. Но если так, вы обязаны сделать все выводы из этой гипотезы. Предположим, что она действительно убила своего ребенка и что ребенок, цепляясь за нее, исцарапал ей руки. Ну так что же? Ведь вы ее судите не за убийство

ребенка, хотя могли бы. Что же касается данного дела, так раз уж вы настаиваете на том, что это следы ногтей, то, вероятно, вы нашли им объяснение, если допустить, аргументации ради, что вы их не выдумали?» Короче говоря, сэр,— сказал Уэммик,— мистер Джеггерс окончательно затуманил присяжным мозги, и они признали ее невиновной.

— И с тех пор она у него служит?

— Да. Но мало того,— сказал Уэммик,— она поступила к нему в услужение сейчас же после того, как ее оправдали, уже укрощенная, такая вот, как сейчас. С тех пор она кой-чему выучилась, что ей нужно было по должности, но укрощена она была с самого начала.

— Вы не помните, кто у нее был — мальчик или девочка?

— Говорят, девочка.

— Больше вам сегодня нечего мне сказать?

— Нечего. Письмо я ваше получил и уничтожил. А больше нечего.

Мы сердечно распрощались, и я пошел домой с грузом новых забот и мыслей, но отнюдь не избавившись от старых.

ГЛАВА XLIX

Наутро я уехал дилижансом в Сатис-Хаус, прихватив с собою записку мисс Хэвишем на тот случай, если она, из присущего ей своенравия, выразит удивление по поводу столь скорого моего приезда. Но на полпути я слез у гостиницы и, позавтракав там, прошел остальную часть дороги пешком: мне хотелось войти в город незаметно, самыми тихими проулками, и таким же образом его покинуть.

Зимний свет уже немного померк, когда я проходил пустынными, гулкими дворами, что тянулись позади Торговой улицы. Эти древние монастырские угодья, где когда-то шумели сады и стояли трапезные монахов и где теперь к уцелевшим стенам пристроили смиренные сараи и конюшни, были почти так же безмолвны, как сами мо-

нахи, спящие в своих могилах. Никогда еще звон соборных колоколов не казался мне таким далеким и печальным, как сейчас, когда я торопился вперед с одной мыслью — как бы кого-нибудь не встретить; звуки старинного органа доносились до моего слуха, как похоронная музыка; и грачи, летая вокруг седой колокольни и качаясь на голых сучьях высоких деревьев в монастырском саду, словно кричали мне, что все здесь изменилось и что Эстелла уже никогда сюда не вернется.

Калитку открыла пожилая женщина, которую я видал и раньше,— одна из служанок, живших во флигеле за двориком. В темной прихожей, как обычно, стояла зажженная свеча, и, взяв ее, я один поднялся по лестнице. Мисс Хэвишем была не у себя в комнате, а в зале через площадку. Не получив ответа на свой стук, я заглянул в дверь и увидел, что она сидит в ободранных креслах у самого камина и пристальным, немигающим взглядом смотрит на подернутый пеплом огонь.

Как уже бывало не раз, я вошел и стал возле камина, где она, едва подняв голову, должна была меня увидеть. Она казалась такой бесконечно одинокой, что я проникся бы к ней жалостью, даже если бы она с умыслом нанесла мне обиду горше той, за которую я мог на нее пенять. Преисполненный сострадания к ней, я думал о том, что вот и я стал одним из обломков крушения этого злосчастного дома, как вдруг ее взгляд остановился на мне. Она вздрогнула и тихо проговорила:

— Это не сон?

— Это я, Пип. Мистер Джеггерс передал мне вчера вашу записку, и я тотчас приехал.

— Благодарю. Благодарю.

Я пододвинул к огню второе, такое же ободранное кресло, сел в него и тут только заметил в ее лице что-то новое — словно она меня боится.

— Я хочу,— сказала она,— вернуться к тому предмету, о котором ты упоминал, когда был здесь в последний раз, и показать тебе, что у меня все же не каменное сердце. Но, может быть, теперь ты уже не поверишь, что во мне осталось хоть что-то человеческое?

Когда я произнес какие-то успокоительные слова, она протянула вперед дрожащую руку, словно хотела до меня

дотронуться; но тут же снова отняла, прежде чем я понял ее намерение и взял в толк, как мне себя вести.

— Ты, когда просил за своего друга, сказал, что можешь научить меня, как сделать полезное, доброе дело. Видно, тебе бы этого хотелось?

— Очень, очень хотелось бы.

— Какое же это дело?

Я стал рассказывать ей историю моей тайной помощи Герберту. Не успел я начать, как решил, по выражению ее лица, что она в рассеянности своей думает скорее обо мне, а не о том, что я говорю. Видимо, я не ошибся, потому что, когда я умолк, она, казалось, не сразу это заметила.

— Ты почему замолчал? — спросила она наконец, и опять лицо у нее было такое, будто она меня боится.— Или ты меня так ненавидишь, что не хочешь говорить со мной?

— Бог с вами, мисс Хэвишем,— ответил я,— как вы могли это подумать! Мне показалось, что вы перестали меня слушать, поэтому я замолчал.

— Может, так оно и было,— сказала она, приложив руку ко лбу.— Ты начни еще раз сначала, только я буду смотреть на что-нибудь другое. Ну вот, теперь говори.

Она оперлась рукою на палку с выражением решимости, какое я порой у нее замечал, и вперила взгляд в огонь, словно твердо вознамерившись слушать внимательно. Я снова заговорил и рассказал ей, что надеялся внести весь пай Герберта из своих средств, но теперь это мне не удастся. И тут я ей напомнил, что подробно разъяснить свои затруднения не могу, потому что это связано с чужою тайной.

— Так,— сказала она, кивнув головой, но не глядя на меня.— Сколько же денег недостает до полной суммы?

Мне было страшновато назвать цифру, она казалась очень большой.

— Девятьсот фунтов.

— Если я дам тебе эти деньги, сохранишь ты мою тайну, так же, как сохранил свою?

— Сохраню так же свято.

— И тебе станет легче на душе?

— Много легче.

— А сейчас ты очень несчастлив?

Мисс Хэвишем задала этот вопрос, по-прежнему не глядя на меня, но в словах ее прозвучала необычная мягкость. Я не сразу ответил,— голос изменил мне. Она скрестила руки на набалдашнике палки и тихо склонилась на них лицом.

— Я никак не могу назвать себя счастливым, мисс Хэвишем; но на то есть и другие причины, кроме тех, что вам известны. Это — та самая тайна, о которой я говорил.

Через некоторое время она подняла голову и опять устремила взгляд на огонь.

— Ты очень великодушно сказал, что у тебя есть и другие причины для горя. Это правда?

— К сожалению, правда.

— И я ничем не могу тебе помочь, кроме как услужив твоему другу? Считай, что это сделано, но для тебя самого я ничего не могу сделать?

— Ничего. Благодарю вас за этот вопрос. Еще больше благодарю за доброту, которой он подсказан. Но нет, ничего.

Вскоре она поднялась и обвела глазами мертвую комнату, ища пера и бумаги. Но ничего такого здесь не было, и тогда она достала из кармана желтые таблички слоновой кости в оправе из потускневшего золота и стала писать на них карандашом в потускневшем золотом футляре, который висел у нее на шее.

— Ты по-прежнему в добрых отношениях с мистером Джеггерсом?

— О да. Я только вчера у него обедал.

— Вот распоряжение, по которому он выплатит тебе деньги, с тем чтобы ты мог употребить их для своего друга. Здесь я денег не держу; но если тебе приятнее, чтобы мистер Джеггерс ничего об этом не знал, я могу прислать их тебе.

— Благодарю вас, мисс Хэвишем, мне будет очень удобно получить их у него в конторе.

Она прочла мне то, что написала; указания были даны ясно и четко и притом так, чтобы меня невозможно было заподозрить в желании истратить эти деньги на себя. Я принял таблички из ее дрожащих рук; руки эти задро-

жали еще сильнее, когда она, сняв с шеи цепочку с карандашом, тоже отдала ее мне. За все это время она ни разу на меня не взглянула.

— На первой табличке стоит мое имя. Если когда-нибудь,— пусть через много времени после того, как мое разбитое сердце обратится в прах,— ты сможешь написать под моим именем: «Я ее прощаю»,— прошу тебя, сделай это.

— Ах, мисс Хэвишем,— сказал я,— я могу это сделать хоть сейчас. Все мы повинны в жестоких ошибках. Я сам был слеп и неблагодарен, и слишком нуждаюсь в прощении и добром совете, чтобы таить на вас злобу.

Только теперь она посмотрела на меня и к моему изумлению, к моему ужасу рухнула передо мной на колени, простирая ко мне сложенные руки так, как, наверно, простирала их к небу, когда бедное сердце ее было еще молодо и не ранено и мать учила ее молиться.

Увидев мисс Хэвишем у своих ног, седую, с изможденным лицом, я был потрясен до глубины души. Я стал умолять ее подняться и обхватил руками, чтобы помочь ей; но она только вцепилась в мою руку и, приникнув к ней лицом, заплакала. Никогда раньше я не видел слез у нее на глазах и теперь молча склонился над ней в надежде, что они принесут ей облегчение. Она уже не стояла на коленях, но без сил опустилась наземь.

— О! — вскричала она в отчаянии.— Что я наделала! Что я наделала!

— Если вы думаете о том, мисс Хэвишем, какой вред вы мне причинили, я вам отвечу: очень небольшой. Я полюбил бы ее, несмотря ни на что... Она замужем?

— Да!

Я мог и не задавать этого вопроса,— я это сразу понял по тому новому чувству пустоты, которое царило в опустелом доме.

— Что я наделала! Что я наделала! — Она ломала руки, хваталась за волосы, и снова и снова у нее вырывался этот вопль: — Что я наделала!

Я не знал, что сказать, как ее утешить. Я слишком понимал, что она тяжко согрешила, когда, обуянная жаждой мести, исковеркала впечатлительную детскую душу, как велела ей смертельная обида, отвергнутая любовь,

уязвленная гордость; но я понимал и то, что, отгородившись от дневного света, она отгородилась от неизмеримо большего; что, став затворницей, она затворила свое сердце для тысячи целительных естественных влияний; что, целиком уйдя в свои одинокие думы, она повредилась в уме, как то всегда бывало, и будет, и не может не быть со всяким, кто дерзнет пойти против начертаний творца. И мог ли я не сострадать ей, не усмотреть возмездия в том, какой жалкой тенью она стала, в ее полной непригодности для этой земли, где ей положено было жить, в этом тщеславии, рожденном скорбью и владевшем несчастной женщиной безраздельно, как владеет людьми тщеславие, рожденное смирением, раскаянием, стыдом,— все чудовищные формы тщеславия, которые, как проклятье, тяготеют над нами!

— Пока ты не заговорил с ней в тот раз, пока я не увидела в тебе, как в зеркале, все, что сама испытала когда-то, я не знала, что я наделала. Что я наделала!

И так без конца, двадцать раз, пятьдесят раз — что она наделала!

— Мисс Хэвишем,— сказал я, когда она затихла.— Пусть совесть вас не мучит из-за меня. Но вот Эстелла — это другой разговор, и если вы в состоянии — пусть в самой малой мере — исправить тот вред, который вы ей причинили, убив в ней живую душу, лучше сделать это, чем целый век оплакивать прошедшее.

— Да, да, я это знаю. Но, Пип, голубчик ты мой! — Глубокое женское сострадание послышалось мне в этой непривычной ласке.— Голубчик ты мой! Поверь мне: вначале, когда она только ко мне попала, я хотела уберечь ее от моей горькой доли. Вначале я ничего другого не хотела.

— Что ж,— сказал я,— вполне возможно.

— Но когда она стала подрастать и с каждым днем становилась все краше, я совершила дурное дело: я захваливала ее, задаривала, наставляла, вечно была при ней предостережением и наглядным примером, и вот — украла у нее сердце и на место его вложила кусок льда.

— Лучше было оставить ей живое сердце,— сказал я, не удержавшись,— пусть бы даже оно истекло кровью или разбилось.

С минуту мисс Хэвишем смотрела на меня как безумная, потом опять началось — «Что я наделала!».

— Если бы ты знал всю мою жизнь,— простонала она,— ты бы меня лучше понял, ты бы меня пожалел.

— Мисс Хэвишем,— сказал я как можно мягче,— я знаю вашу жизнь, знаю с тех пор, как впервые уехал из этих мест. Ваши несчастья внушили мне искреннее сострадание, и хочу верить, что я понял, как они на вас повлияли. То, что произошло между нами, не дает ли мне права задать вам один вопрос, касающийся Эстеллы? Не теперешней, а такой, какой она была, когда только что сюда попала?

Она сидела на полу, упершись локтями в ободранное кресло и склонившись головой на руки. Услышав мой вопрос, она глянула мне прямо в глаза и ответила:

— Спрашивай.

— Кто родители Эстеллы?

Она покачала головой.

— Вы не знаете?

Она снова покачала головой.

— Но ее привез сюда, или прислал сюда, мистер Джеггерс?

— Привез.

— Расскажите мне, как это случилось.

Она отвечала шепотом, пугливо озираясь:

— Когда я уже долго прожила взаперти в этих комнатах (как долго — не знаю, тебе ведь известно, что́ показывают здешние часы), я как-то сказала ему, что хочу воспитать маленькую девочку, хочу полюбить ее и уберечь от моей участи. Я читала о нем в газетах еще до того, как рассталась с миром, а впервые увидела, когда он приехал сюда по моей просьбе, чтобы привести этот дом в его нынешний вид. Он обещал присмотреть мне такую девочку-сиротку. Однажды он привез ее сюда, спящую, и я назвала ее Эстеллой.

— Сколько ей тогда было лет?

— Года два или три. Сама она знает только то, что осталась сиротой и что я ее усыновила.

Я и без того был уверен, что та женщина — ее мать, и не нуждался ни в каких доказательствах. Но здесь как будто устанавливалась связь, ясная для каждого.

Для чего еще мне было затягивать мое посещение? Дело Герберта я уладил, мисс Хэвишем рассказала мне все, что знала об Эстелле, я сказал и сделал все, что мог, чтобы облегчить ее совесть. Неважно, какими еще словами мы обменялись на прощанье; но мы простились.

Уже сильно стемнело, когда я вышел на свежий воздух. Я кликнул женщину, у которой были ключи от калитки, и сказал, что не буду ее пока беспокоить, а до ухода еще погуляю в саду. Ибо внутренний голос говорил мне, что никогда уже я сюда не вернусь, и я чувствовал, что грустный час сумерек как нельзя больше подходит для моей прощальной прогулки.

Мимо склада бочек, по которым я когда-то лазил и которые с тех пор годами мочили дожди, отчего многие из них прогнили, а на тех, что стояли стоймя, скопились болотца и лужицы, я направился в запущенный сад. Я обошел его весь; заглянул в уголок, где произошла моя драка с Гербертом, видел дорожки, по которым мы гуляли с Эстеллой. Всюду было холодно, пусто, уныло!

Свернув на обратном пути к пивоварне, я проник в нее из сада через небольшую дверь, запертую снаружи на ржавую задвижку, и прошел из конца в конец. Уже выходя через главную дверь,— которую теперь нелегко было отворить, потому что отсыревшие створки разбухли, и петли разболтались, и порог зарос плесенью,— я оглянулся. При этом движении одно детское воспоминание вспыхнуло во мне с поразительной силой: мне снова почудилось, будто я вижу мисс Хэвишем висящей на перекладине. Так сильно было это впечатление, что я опрометью кинулся туда и остановился под перекладиной, дрожа всем телом, прежде чем понял, что мне это только привиделось.

Удрученный вечерним мраком и этим страшным, хоть и мгновенным видением, я ощущал неизъяснимый ужас, выходя во двор через те самые деревянные ворота, о которые когда-то больно бился головой, чтобы заглушить боль, причиненную мне Эстеллой. Во дворе я постоял в нерешительности, раздумывая, позвать ли служанку, чтобы она выпустила меня на улицу, или еще раз сбегать наверх — удостовериться, что с мисс Хэвишем не случи-

лось без меня ничего худого. Я остановился на последнем и стал подниматься по лестнице.

Я заглянул в комнату, где оставил ее, и увидел, что она сидит в своих ободранных креслах спиною ко мне, у самого камина. Но в то мгновение, когда я притворял дверь, чтобы тихонько уйти, перед глазами у меня взметнулся столб пламени, и в то же мгновение я увидел, что она бежит ко мне, с душераздирающим криком, в вихре огня, охватившего ее и взлетевшего высоко над ее головой.

На мне была шинель с двойной пелериной, через руку перекинут плащ. Что я сорвал их с себя, ринулся ей навстречу, повалил ее на пол и набросал на нее эту одежду; что с той же целью я сдернул со стола огромную скатерть, а заодно и всю гору гнили и притаившихся в ней ползучих тварей; что мы лежали на полу, сцепившись, как заклятые враги, и что чем больше я ее укутывал, тем отчаяннее она кричала и вырывалась,— все это я вспомнил позднее; в ту минуту я ничего не думал, не чувствовал, не знал. Лишь постепенно до меня дошло, что мы лежим на полу возле длинного стола, а в дымном воздухе носятся горящие хлопья, которые минуту назад были ее поблекшим подвенечным нарядом.

Тогда я оглянулся и увидел, что по полу во все стороны разбегаются потревоженные тараканы и пауки, а в дверях появились плачущие, запыхавшиеся служанки. Я по-прежнему изо всех сил удерживал ее на полу, как пленника, вот-вот готового сбежать; и, вероятно, даже не понимал, кто она такая и почему мы боролись, и не помнил, что она была охвачена огнем и что огонь потух, пока не увидел, как хлопья, бывшие когда-то ее нарядом, теперь уже погасшие, падают вокруг нас черным дождем.

Она была без чувств, и я не давал ни поднять ее, ни даже подойти к ней близко. Послали за помощью, и до самого прихода врача я так и держал ее, словно мною владела безумная мысль (да, кажется, так оно и было), что, если я ее отпущу, пламя вспыхнет с новой силой и уничтожит ее. Только когда к ней подошел доктор со своими помощниками, я поднялся и с удивлением увидел, что обе руки у меня обожжены: я и не заметил, когда это случилось.

Осмотрев ее, доктор объявил, что она получила серьезные ожоги, но что сами по себе они отнюдь не смертельны — гораздо опасней нервное потрясение. По его указаниям постель ей постелили в этой же комнате, на большом столе, где было всего удобнее перевязать ее раны. Когда я снова увидел ее час спустя, она лежала на том самом месте, по которому в давние времена стучала клюкой, предсказывая, что когда-нибудь ее здесь положат.

Мне сказали, что одежда ее сгорела дотла, но вид ее и сейчас наводил на жуткую мысль о расстроенной свадьбе: обложенная до самого подбородка белой ватой, поверх которой была накинута белая простыня, она по-прежнему казалась призраком чего-то, что было, но изменилось безвозвратно.

От прислуги я узнал, что Эстелла в Париже, и доктор, по моей просьбе, обещал написать ей ближайшей почтой. Родственников мисс Хэвишем я взял на себя, решив сообщить о случившемся только Мэтью Покету и оставить на его усмотрение, оповестить или не оповестить остальных. Я сделал это через Герберта на следующий день, как только возвратился в Лондон.

Одно время в тот вечер она говорила обо всем, что произошло, вполне связно, только неестественно быстро и оживленно. К полуночи она стала заговариваться, а еще позднее начала без конца повторять тихим, заунывным голосом: «Что я наделала!» Потом — «Сперва я хотела ее уберечь от моей горькой доли». И еще — «Возьми карандаш и напиши под моим именем: «Я ее прощаю». Эти три фразы чередовались в неизменном порядке, но иногда она пропускала слово то в одной из них, то в другой — никогда ни слова не прибавляла, а только, пропустив одно, переходила к следующему.

Так как я ничем не мог быть здесь полезен, а в Лондоне меня ждали дела и тревоги, о которых даже ее бред не заставил меня позабыть, я решил в течение ночи, что уеду первым утренним дилижансом — мили две пройду пешком, а потом, уже за пределами города, займу свое место. И часов в шесть утра я наклонился над ней и коснулся губами ее губ в ту минуту, когда они произносили: «Возьми карандаш и напиши под моим именем: «Я ее прощаю».

ГЛАВА L

За ночь мне два раза перевязали руки, третью перевязку сделали утром. Левая рука была сильно обожжена до локтя и менее сильно — до плеча; она очень болела, но с той стороны огонь был всего жарче, и я считал, что еще дешево отделался. На правой руке ожоги были много слабее, я даже мог двигать пальцами. Она тоже, конечно, была забинтована, но не так неудобно, как левая, которую мне пришлось носить на перевязи. И шинель я мог надеть только внакидку, застегнув ее у ворота. Волосы мне опалило огнем, но голова и лицо не пострадали.

Герберт съездил в Хэммерсмит к отцу, а потом вернулся в Тэмпл и посвятил весь день уходу за мной. Он показал себя на редкость заботливой сиделкой: точно по часам снимал мне повязки, смачивал их в прохладной примочке, стоявшей наготове, и снова накладывал необычайно терпеливо и нежно, за что я был ему от души благодарен.

Вначале, когда я неподвижно лежал на диване, мне было мучительно-трудно, почти невозможно не видеть красных вспышек огня, не слышать его торопливого потрескивания и шороха, и едкого запаха гари. Едва задремав, я просыпался от крика мисс Хэвишем и от страшного видения — как она бежит ко мне и над головой у нее столбом взвивается пламя. Бороться с этим болезненным бредом было куда труднее, чем с физической болью; и Герберт, видя это, всячески старался занять мое внимание.

Ни он, ни я не заговаривали о лодке, но оба о ней думали. Потому мы, собственно, и обходили этот предмет, потому и согласились (не обменявшись ни словом), что руки мои нужно вылечить как можно скорее, потратив на это не недели, а дни.

По возвращении я, конечно, первым делом справился, все ли в порядке в доме у реки. Герберт спокойно и уверенно рассеял все мои тревоги, и потом мы уже весь день не возвращались к этой теме. Но под вечер, когда Герберт перевязывал мне руки, пользуясь не столько дневным светом, сколько отблесками огня в камине, он вдруг словно вспомнил что-то.

— Вчера вечером, Гендель, я добрых два часа просидел у Провиса.

— А где была Клара?

— Бедняжка! — сказал Герберт.— Она весь вечер ублажала старого Филина. Стоило ей выйти за дверь, как он принимался колотить об пол своим костылем. Но похоже, что ему уже недолго осталось ее изводить. При таких порциях рома с перцем — и перца с ромом — думаю, что все это тиранство скоро кончится.

— И тогда вы поженитесь?

— А как же иначе я могу заботиться о моей милой девочке?.. Положи-ка руку на спинку дивана, мой дорогой. А я сяду вот здесь и сниму повязку так осторожно, что ты и не заметишь. Так вот, я начал о Провисе. Ты знаешь, Гендель, он изменился к лучшему.

— Я же тебе говорил, что в последний раз он показался мне как-то мягче.

— Да, да. И ты был совершенно прав. Вчера он разговорился и еще кое-что рассказал мне о своей жизни. Помнишь, он тогда осекся, упомянув о какой-то женщине, с которой ему так трудно пришлось... я тебе сделал больно?

Я вздрогнул, но не от его прикосновения. Это его слова заставили меня вздрогнуть.

— Я успел забыть об этом, Герберт, но теперь вспоминаю.

— Ну так вот. Он говорил об этой поре своей жизни, и какая это была мрачная, дикая пора! Рассказать тебе? Или сейчас это тебя слишком разволнует?

— Расскажи непременно. Все от слова до слова.

Герберт наклонился вперед и внимательно посмотрел на меня, словно стараясь понять, почему я ответил так нетерпеливо.

— Голова у тебя не горячая? — спросил он, приложив мне руку ко лбу.

— Нет,— отвечал я.— Герберт, милый, расскажи, что тебе сказал Провис.

— Он говорит,— сказал Герберт,—...вот видишь, повязка снялась прямо-таки замечательно, теперь наложим новую, прохладную... Что, по началу ежишься, мой дорогой? Ну ничего, это сейчас пройдет... Он говорит, что жен-

щина эта была молодая и очень ревнивая и мстительная. Мстительная до предела, Гендель.

— А что ты называешь пределом?

— Убийство... Ой, неужели я задел по больному месту? Очень щиплет?

— Нет, я не чувствую. Как она убила? Кого убила?

— Да видишь ли, может, это слишком страшное слово для того, что она сделала,— сказал Герберт,— но ее судили за убийство, мистер Джеггерс ее защищал, и успешно, и вот тогда-то Провис впервые услышал его имя. Жертвой была другая женщина, много крепче той, они сцепились не на жизнь, а на смерть, в каком-то сарае. Кто начал и честная была борьба или нет — все это неизвестно; но чем она кончилась — очень хорошо известно: жертву нашли задушенной.

— И эту женщину осудили?

— Нет, оправдали... Бедный мой Гендель, опять я тебе сделал больно?

— Нисколько, Герберт. Ну? Что же было дальше?

— У этой женщины, которую оправдали, был ребенок от Провиса, и Провис его очень, очень любил. В тот самый вечер, когда ее соперница была задушена, женщина эта явилась к Провису и поклялась, что убьет ребенка (который был где-то у нее) и что он больше никогда его не увидит, а потом сразу исчезла... Ну вот, с самой трудной рукой мы покончили, теперь осталась только правая, а это уж пустяки. Лучше я пока не буду зажигать лампу, хватит камина,— у меня рука тверже, когда я не так ясно вижу твои болячки... А все-таки, дорогой, по-моему, тебя лихорадит. Что-то ты очень часто дышишь.

— Возможно, Герберт. И что же, она сдержала свою клятву?

— Вот это и есть самое ужасное в жизни Провиса. Да, она сдержала клятву.

— То есть это он так говорит.

— Ну, разумеется, мой дорогой,— удивленно сказал Герберт и снова в меня вгляделся.— Я все тебе рассказываю с его слов. Других сведений у меня нет.

— Да, конечно.

— Что касается того,— продолжал Герберт,— дурно или хорошо он обращался с матерью своего ребенка, об

этом Провис умолчал; но она лет пять делила с ним жалкое существование, о котором он нам здесь рассказывал, и, видимо, он жалел ее и не захотел погубить. Поэтому, опасаясь, как бы его не заставили давать показания по поводу убитого ребенка, что значило бы обречь ее на верную смерть, он исчез — убрался с дороги, как он сам выразился,— и на суде о нем только смутно упоминалось, как о некоем человеке по имени Абель, который и был предметом ее безумной ревности. После суда она как в воду канула, так что он потерял и ребенка и мать ребенка.

— Скажи мне, пожалуйста...

— Одну минуту, мой дорогой, сейчас я кончу. Этот Компесон — его злой дух, мерзавец, каких свет не видел,— знал, что он уклонился от дачи показаний и почему уклонился, и, конечно, воспользовался этим, чтобы, угрожая доносом, окончательно прибрать его к рукам. Вчера мне стало ясно, что за это-то главным образом Провис его и ненавидит.

— Скажи мне,— повторил я,— и имей в виду, Герберт, это очень важно,— он тебе говорил, когда это случилось?

— Очень важно? Тогда погоди, я припомню, как он сказал. Да, вот: «Тому назад лет двадцать, не меньше, почитай что сразу после того, как я стакнулся с Компесоном». Сколько тебе было лет, когда ты набрел на него около вашей церквушки?

— Лет семь, наверно.

— Ну, правильно. А это случилось года на три или четыре раньше, и он говорит, что ты тогда напомнил ему дочку, которую он потерял при таких страшных обстоятельствах,— она была бы примерно твоей ровесницей.

— Герберт,— сказал я, очнувшись от минутного молчания,— тебе при каком свете меня лучше видно, из окна или от камина?

— От камина,— отвечал Герберт, опять придвигаясь ко мне.

— Посмотри на меня.

— Смотрю, мой дорогой.

— Потрогай меня.

— Трогаю, дорогой.

— Ты не думаешь, что у меня жар или рассудок помутился от вчерашнего?

— Н-нет, мой дорогой,— сказал Герберт, смерив меня долгим, внимательным взглядом.— Ты немного возбужден, но в общем — такой, как всегда.

— Я знаю, что я такой, как всегда. А человек, которого мы прячем в доме у реки,— *отец Эстеллы.*

ГЛАВА LI

Какую я преследовал цель, когда так упорно доискивался, чьим ребенком была Эстелла,— этого я не могу сказать. Читатель вскоре увидит, что вопрос этот и не возникал у меня сколько-нибудь отчетливо, пока его не поставил передо мной человек и опытнее меня и умнее.

Но после того как у нас с Гербертом состоялся описанный выше знаменательный разговор, меня охватило лихорадочное чувство, что я обязан выяснить все до конца, что я не могу так это оставить, а должен повидать мистера Джеггерса и добиться от него правды. Уж не знаю, воображал ли я, что стараюсь для Эстеллы, или мне хотелось, чтобы на человека, безопасностью которого я был столь озабочен, упал отблеск романтической тайны, так давно окружавшей ее в моих глазах. Возможно, что вторая догадка ближе к истине.

Как бы там ни было, я вскочил и готов был сейчас же бежать на Джеррард-стрит. Удержал меня только довод Герберта, что я рискую окончательно слечь и оказаться бесполезным тогда, когда от моей помощи, возможно, будет зависеть жизнь нашего беглеца. Лишь после многократных заверений, что завтра-то я уж непременно пойду к мистеру Джеггерсу, я наконец согласился остаться дома, лежать спокойно и позволить Герберту врачевать мои раны. Наутро мы вышли вместе и расстались на углу Смитфилда и Гилтспер-стрит; Герберт зашагал к себе в Сити, а я направился на Литл-Бритен.

У мистера Джеггерса и Уэммика было заведено время от времени проверять баланс конторы, просматривать

счета клиентов и все приводить в порядок. В эти дни Уэммик забирал свои бумаги и книги в кабинет к мистеру Джеггерсу, а в контору спускался один из клерков с верхнего этажа. В то утро, обнаружив такого клерка на месте Уэммика, я сразу понял, в чем дело; но я не жалел, что застану их вместе,— пусть Уэммик сам убедится, что я не выдал его ни единым словом.

Мое появление с рукой на перевязи и в накинутой на плечи шинели обеспечивало мне благосклонный прием. Я, как только приехал в город, послал мистеру Джеггерсу краткое сообщение о несчастье, но теперь он заставил меня рассказать все подробно; и самая тема была столь необычна, что разговор у нас получился не такой сухой и отрывистый, как всегда, и не так строго был подчинен правилу — все подкреплять доказательствами. Пока я говорил, мистер Джеггерс по своему обыкновению стоял у камина. Уэммик, откинувшись на стул и сунув руки в карманы, а перо заложив в почтовый ящик, смотрел на меня во все глаза. Безобразные слепки, неотделимые в моем представлении от здешних деловых разговоров, казалось, напряженно принюхивались — не пахнет ли гарью и сейчас.

Заключив свою повесть и ответив на все их вопросы, я извлек из кармана распоряжение мисс Хэвишем о выдаче мне девятисот фунтов для Герберта. Когда я протянул мистеру Джеггерсу таблички, глаза его ушли немного глубже под брови, но затем он передал таблички Уэммику с указанием выписать чек и дать ему на подпись. Пока Уэммик выполнял это указание, я смотрел на него, а мистер Джеггерс, покачиваясь взад и вперед в своих начищенных сапогах, смотрел на меня.

— Мне очень жаль, Пип,— сказал он, после того как чек был подписан и я положил его в карман,— что мы ничего не предпринимаем для вас лично.

— Мисс Хэвишем была так добра,— сказал я,— что спросила, не может ли она чем-нибудь помочь мне, и я ответил, что нет.

— Ну что ж, вам виднее,— сказал мистер Джеггерс, а Уэммик одними губами произнес: «Движимое имущество».

— Я бы на вашем месте не ответил «нет»,— сказал мистер Джеггерс,— но в таких делах каждому виднее, что ему нужно.

— Движимое имущество нужно каждому,— сказал Уэммик, бросив на меня укоризненный взгляд.

Решив, что сейчас самое время заговорить о том, что привело меня сюда, я повернулся к мистеру Джеггерсу и сказал:

— Впрочем, сэр, с одной просьбой я все-таки обратился к мисс Хэвишем. Я попросил ее рассказать мне о ее приемной дочери, и она рассказала мне все, что знала.

— Вот как? — сказал мистер Джеггерс и нагнулся поглядеть на свои сапоги, а потом снова выпрямился.— Ха! Я, пожалуй, не стал бы этого делать, но ей, конечно, виднее.

— Я знаю об Эстелле больше, сэр, чем сама мисс Хэвишем. Я знаю ее мать.

Мистер Джеггерс вопросительно посмотрел на меня и повторил:

— Мать?

— Я видел ее мать не более трех дней тому назад.

— Да? — сказал мистер Джеггерс.

— И вы тоже, сэр. Вы-то видели ее не далее как сегодня.

— Да?

— Возможно, что я знаю о родителях Эстеллы даже больше, чем вы, сэр. Я знаю и ее отца.

По какой-то едва уловимой заминке — мистер Джеггерс слишком хорошо владел собой, чтобы изменить своей обычной манере, но эту настороженную заминку не сумел скрыть — я понял, что отец Эстеллы ему неизвестен. Я, в сущности, так и предполагал, помня слова Провиса, переданные мне Гербертом, что он в свое время «убрался с дороги» и что сам он обратился к мистеру Джеггерсу лишь года четыре спустя, когда ему уже не было смысла устанавливать свое отцовство. Однако до сих пор я мог лишь догадываться об этом, теперь же у меня не осталось ни малейших сомнений.

— Вот как? Вы знаете отца этой леди, Пип? — спросил мистер Джеггерс.

— Да,— отвечал я,— его зовут Провис... из Нового Южного Уэльса.

Даже мистер Джеггерс вздрогнул при этих словах. Он вздрогнул едва приметно и тут же спохватился и взял

себя в руки; но все же он вздрогнул, хоть и сделал вид, будто ему просто понадобилось достать носовой платок. Как принял мое сообщение Уэммик, я не могу сказать, потому что не смотрел на него в эту минуту, опасаясь, как бы всевидящий мистер Джеггерс не догадался о наших тайных сношениях.

— Какие же доказательства, Пип,— сказал мистер Джеггерс, и платок его замер в воздухе на полпути к носу,— какие доказательства имеются у Провиса для такого утверждения?

— Он этого не утверждает,— сказал я,— и никогда не утверждал. Он понятия не имеет о том, что его дочь жива.

На этот раз даже всемогущий носовой платок оказался бессильным. Мой ответ прозвучал так неожиданно, что мистер Джеггерс, не закончив обычного ритуала, сунул платок обратно в карман, скрестил на груди руки и вперил в меня строгий, пронизывающий взгляд, хотя в лице его по-прежнему ничего не дрогнуло.

Тогда я рассказал ему все, что узнал, и откуда узнал, но рассказал с таким расчетом, чтобы он мог заключить, будто сведения, которые я получил от Уэммика, сообщила мне мисс Хэвишем. Об этом я особенно постарался. И я упорно не смотрел в сторону Уэммика, пока не кончил, а потом еще некоторое время молча выдерживал взгляд мистера Джеггерса. Когда же я наконец все-таки посмотрел на Уэммика, оказалось, что перо уже перекочевало из почтового ящика к нему в руку и он прилежно склонился над рабочим столом.

— Ха! — сказал мистер Джеггерс, нарушив молчание, и шагнул к разложенным на столе бумагам.— Так на чем мы остановились, Уэммик, перед тем как вошел мистер Пип?

Но я не мог стерпеть, чтобы он так от меня отмахнулся, и со страстью, чуть ли не с возмущением стал убеждать его быть со мной откровеннее и проще. Я напомнил ему, какими фантазиями обольщался, и как долго, и что́ потребовалось, чтобы глаза у меня открылись; намекнул и на ту опасность, одна мысль о которой гнетет мне душу. Неужели же я не заслужил его доверия даже теперь, когда столько открыл ему? Я сказал, что ни в чем

его не виню и ни в чем не подозреваю, а только прошу подтверждения того, что я узнал. А если он спросит, зачем мне это нужно, я отвечу,— как ни мало значения он придает таким жалким мечтам,— что я любил Эстеллу долго и преданно и хотя потерял ее и обречен влачить жизнь в одиночестве, однако все, что ее касается, до сих пор для меня дорого и свято. И видя, что мистер Джеггерс стоит неподвижно и молчит, как будто и не слышал моего призыва, я обратился к Уэммику и сказал:

— Уэммик, я знаю, что у вас доброе сердце. Я видел ваш уютный дом и вашего старика отца, видел, в каких веселых, невинных утехах вы проводите свой досуг. Умоляю вас, замолвите за меня слово перед мистером Джеггерсом, убедите его, что после всего, что было, он должен поговорить со мной по-человечески!

Я никогда не видел, чтобы два человека смотрели друг на друга так странно, как мистер Джеггерс и Уэммик после этой моей тирады. Сперва у меня мелькнуло опасение, что Уэммик немедленно получит расчет; но оно рассеялось, когда я увидел, что мистер Джеггерс вот-вот улыбнется, а Уэммик глядит смелее.

— Что такое? — сказал мистер Джеггерс.— Это у вас-то старик отец и невинные утехи?

— Ну так что ж,— возразил Уэммик,— вы ведь их не видите, так не все ли равно?

— Пип,— сказал мистер Джеггерс, кладя мне руку на плечо и улыбаясь самой настоящей улыбкой,— кажется, этот человек — самый хитрый притворщик во всем Лондоне.

— Ничего подобного,— возразил Уэммик, смелея все больше и больше.— А себя вы забыли?

Опять они переглянулись так же странно, словно подозревая друг друга в каком-то обмане.

— Это у вас-то уютный дом? — сказал мистер Джеггерс.

— Раз он не мешает службе,— возразил Уэммик,— почему бы и нет. Сдается мне, сэр, что, возможно, вы и сами подумываете, как бы устроить себе уютный дом к тому времени, когда вы устанете от всех ваших дел.

Мистер Джеггерс задумчиво покивал головой и даже... даже вздохнул.

— Пип,— сказал он,— о «жалких мечтах» мы, пожалуй, не будем говорить; об этих материях вы знаете больше моего — они у вас свежее в памяти. А теперь касательно того, другого дела. Я изложу вам некий воображаемый случай. Только помните, я ничего не утверждаю.

Он помолчал, дав мне время заверить его, что я полностью отдаю себе отчет в том, что он особо оговорил, что ничего не утверждает.

— Ну так вот, Пип,— сказал мистер Джеггерс.— Вообразите следующее: вообразите, что женщина, в таких обстоятельствах, какие вы описали, скрыла своего ребенка, но была вынуждена признаться в этом своему адвокату, когда тот ей объяснил, что для правильного ведения защиты ему необходимо знать, жив ребенок или нет. Вообразите, что в это же время богатая и взбалмошная леди поручила ему найти ребенка, которого она могла бы усыновить и воспитать.

— Понимаю, сэр.

— Вообразите, что этот адвокат вращался в мире, где царит зло, и о детях знал главным образом то, что их родится на свет великое множество и все они обречены на гибель. Вообразите, что он нередко видел, как детей самым серьезным образом судили в уголовном суде, где их приходилось брать на руки, чтобы показать присяжным; вообразите, что ему было известно сколько угодно случаев, когда их бросали в тюрьму, секли, ссылали на каторгу, изгоняли из общества,— всячески готовили из них висельников, а дав им вырасти — вешали. Вообразите, что чуть ли не на всех детей, какие попадались ему на глаза в его практике, он имел полное основание смотреть как на мальков, имеющих превратиться в рыбу, которая в конце концов попадет ему в сети,— что их будут обвинять, защищать, бросать на произвол судьбы, отнимать у родителей, подвергать всяческому унижению и надругательству.

— Понимаю, сэр.

— Вообразите, Пип, что среди этого множества детей нашлась одна маленькая, миловидная девочка, которую можно было спасти; которую отец считал погибшей, а справки наводить боялся; чью мать ее защитник держал в повиновении такими доводами: «Я знаю, что вы сделали и как сделали. Вы пошли туда-то и напали на того-то, и

так-то оборонялись; а потом отправились туда-то и поступили так-то и так-то, чтобы отвести от себя подозрения. Я проследил каждый ваш шаг и теперь рассказываю вам, как что было. Расстаньтесь с дочерью, но я вам обещаю, что, если понадобится представить ее в суд, чтобы вас оправдали, она будет представлена. Отдайте ее в мои руки, и я сделаю все возможное, чтобы вас выручить. Если вы будете спасены, будет спасен и ваш ребенок; если вы погибнете, по крайней мере ребенок будет спасен». Вообразите, что женщина пошла на это и что суд ее оправдал.

— Я вас понял как нельзя лучше.

— И что все это лишь предположительно?

— Да, что все это лишь предположительно.

И Уэммик повторил:

— Лишь предположительно.

— Вообразите, Пип, что под влиянием всего пережитого, а также страха смерти, эта женщина слегка помешалась в уме и что, когда ее освободили, ей было страшно вернуться к людям, и она пришла к своему адвокату искать убежища. Вообразите, что он взял ее к себе и всякий раз, как ее дикий, необузданный нрав готов был прорваться наружу, усмирял ее, снова напоминая, что она всецело в его власти. Понятен вам этот воображаемый случай?

— Вполне.

— Вообразите, что девочка выросла и вышла замуж по расчету. Что мать жива по сей день. Что отец жив по сей день. Что мать и отец, ничего друг о друге не зная, живут на расстоянии стольких-то миль или, если хотите, ярдов один от другого. Что тайна по-прежнему остается тайной, если не считать, что вы до нее добрались. Вот этот последний пункт особенно постарайтесь уяснить себе.

— Хорошо.

— Уэммика я тоже попрошу особенно уяснить себе этот пункт.

И Уэммик сказал:

— Хорошо.

— Ради кого стоило бы открывать эту тайну? Ради отца? Думается мне, что встреча с матерью его ребенка не облегчила бы его положения. Ради матери? Думается мне,

что если ее обвиняли не зря, то ей лучше остаться там, где она есть. Ради дочери? Думается мне, плохая бы это была услуга — разгласить тайну ее происхождения для сведения ее супруга и обречь ее на позор, от которого она была избавлена двадцать лет и которого легко могла бы не изведать до самой смерти. Но вообразите вдобавок к этому, Пип, что вы ее любили, что о ней были «жалкие мечты», какие, кстати говоря, не вам одному туманили голову,— и я скажу,— а вы, подумав, согласитесь со мною,— что чем это сделать, лучше бы вы отрубили себе вашу забинтованную левую руку забинтованной правой, а потом передали топор Уэммику, чтобы он отрубил вам и правую.

Я посмотрел на Уэммика — лицо его было серьезно. Очень серьезно он приложил указательный палец к губам. То же сделал и я. То же сделал и мистер Джеггерс. А потом последний сказал уже обычным своим тоном:

— Ну-с, Уэммик, так на чем же мы остановились, перед тем как вошел мистер Пип?

Когда они принялись за работу, я заметил, что они еще несколько раз посмотрели друг на друга все так же странно, с тою лишь разницей, что теперь каждый из них словно боялся, а может быть, и знал, что показал себя другому с недостойной, чисто человеческой стороны. Именно поэтому, вероятно, они теперь ничего не спускали друг другу,— мистер Джеггерс держал себя в высшей степени властно, а Уэммик упрямился и спорил всякий раз, как у них возникало хоть малейшее недоразумение. Я еще никогда не видел, чтобы они так не ладили: обычно все шло у них чрезвычайно мирно.

Но, словно на выручку им, в кабинете как нельзя более кстати появился Майк, тот клиент в меховой шапке и со склонностью вытирать нос рукавом, которого я застал здесь в самый первый раз, что пришел в контору. Этот субъект, у которого, как видно, кто-нибудь из родственников, если не он сам, вечно попадал в беду (что на здешнем языке означало — в Ньюгет), пришел сообщить, что его старшая дочь арестована по подозрению в краже из магазина. Когда он излагал это печальное происшествие Уэммику, в то время как мистер Джеггерс величественно стоял у камина, не снисходя до участия в их беседе, на глазах у Майка ненароком блеснула слеза.

— Это еще что такое? — вопросил Уэммик грозно и негодующе.— Вы что, хныкать сюда пришли?

— Я нечаянно, мистер Уэммик!

— Нет, нарочно,— отрезал Уэммик.— Как вы смеете? Разве можно сюда приходить, если вы не в состоянии слова сказать, не брызгая, как скверное перо? Постыдились бы!

— Бывает ведь, мистер Уэммик, что и не совладаешь со своими чувствами,— взмолился Майк.

— С чем?! — свирепо переспросил Уэммик.— А ну, повторите!

— Вот что, почтеннейший,— вмешался мистер Джеггерс, делая шаг вперед и указывая на дверь.— Уходите-ка отсюда вон. Никаких чувств я здесь не потерплю. Уходите вон.

— Так вам и надо,— сказал Уэммик.— Уходите вон.

И злосчастный Майк покорно ретировался, а мистер Джеггерс и Уэммик, снова найдя общий язык, принялись за свои занятия так энергично и бодро, словно только что с аппетитом позавтракали.

ГЛАВА LII

От мистера Джеггерса я пошел со своим чеком к брату мисс Скиффинс — бухгалтеру; брат мисс Скиффинс — бухгалтер — тут же отправился в контору Кларрикера и привел Кларрикера ко мне; и я с чувством великого удовлетворения закончил наше с ним дело. Только это я и совершил хорошего, только это и довел до конца, с тех пор как впервые узнал о своих больших надеждах.

Кларрикер воспользовался этим случаем, чтобы рассказать мне, что фирма его идет в гору, что теперь ему удастся открыть небольшое отделение на Востоке, очень нужное ему для расширения операций, и что во главе этого отделения он поставит Герберта, поскольку тот стал теперь его компаньоном. Из этого я понял, что мне вскоре пришлось бы расстаться с моим другом даже в том случае, если бы сам я не уезжал из Англии. И тут-то я почув-

ствовал, что мой последний якорь вот-вот оторвется и я понесусь неведомо куда по воле волн и ветра.

Но зато как отрадно бывало, когда Герберт, приходя вечерами домой, с восторгом сообщал мне свои новости, не подозревая, что они мне известны, и принимался расписывать, как он увезет Клару Барли в страну Тысячи и одной ночи и как я тоже к ним приеду (очевидно, на верблюде) и мы вместе поплывем по Нилу и увидим всяческие чудеса. Не очень обольщаясь насчет моего собственного участия в этой радужной картине, я все же видел, что Герберт уверенно выходит на дорогу и что, если только старый Билл Барли не охладеет к рому с перцем, судьба его дочери будет скоро устроена.

Между тем наступил март месяц. Моя левая рука заживала, но так медленно, что я все еще не мог натянуть на нее рукав. Правой рукой, хоть и порядком обезображенной, я уже с грехом пополам владел.

Однажды в понедельник, когда мы с Гербертом сели завтракать, я получил по почте следующее письмо от Уэммика:

«Уолворт. Немедленно по прочтении сжечь. В начале недели, или, скажем, в среду, можно, если желаете, попытаться сделать то, о чем вам известно. Теперь сжигайте».

Я показал письмо Герберту, и мы предали его огню (предварительно выучив наизусть), а потом стали обсуждать, что же нам делать. Ибо теперь уже нельзя было молчать о том, что грести я не в состоянии.

— Я думал, думал,— сказал Герберт,— и, кажется, надумал кое-что получше, чем брать лодочника с Темзы. Давай возьмем Стартопа. Он славный малый, прекрасно гребет, и нас любит, и надежный, и честный.

Я и сам не раз о нем думал.

— Но ведь ему нужно будет что-то объяснить, Герберт?

— Очень немного. Пусть до последней минуты считает, что это просто шуточная затея, которую надо держать в секрете; а там скажем ему, что есть важные причины, почему Провиса нужно посадить на пароход. Ты ведь тоже с ним поедешь?

— Да, конечно.

— Куда?

Я и над этим вопросом размышлял мучительно и долго и пришел к выводу, что мне, в сущности, все равно, в какой порт ни попасть — в Гамбург ли, в Роттердам или Антверпен,— лишь бы увезти его из Англии. Можно было сесть на любой иностранный пароход, какой согласится нас взять. Я считал, что нужно отплыть на лодке как можно дальше,— уж, конечно, дальше Грейвзенда, где особенно приходилось бояться расспросов и осмотра, в случае если бы возникли какие-нибудь подозрения. Поскольку иностранные суда обычно выходили из Лондона с началом отлива, нам надо было спуститься по реке с предыдущим отливом и в каком-нибудь тихом местечке выждать, когда можно будет перехватить пароход. Время это можно было рассчитать довольно точно, если заранее навести необходимые справки.

Со всем этим Герберт согласился, и тотчас после завтрака мы отправились на разведку. Мы выяснили, что больше всего нам, видимо, подойдет пароход, уходящий в Гамбург, и на нем-то, главным образом, и сосредоточили свое внимание. Однако мы заметили себе и другие корабли, уходившие в это время из Лондона, и как следует запомнили размер и общий вид каждого из них. После этого мы на несколько часов расстались,—я пошел выправлять нужные бумаги, а Герберт — поговорить со Стартопом. В час мы уже опять встретились и доложили друг другу о своих успехах. До сих пор все шло гладко: бумаги были у меня в кармане, Герберт застал Стартопа дома, и тот изъявил полную готовность нам помочь.

Было решено, что они двое будут грести, я сяду за руль, а Провиса мы повезем пассажиром; спешить нам не придется,— времени вполне достанет. Мы уговорились, что нынче вечером Герберт отправится из Сити к Мельничному пруду, не заходя домой обедать; что завтра, во вторник, он совсем туда не пойдет; Провису он накажет, чтобы в среду тот спустился на берег к лестнице, что находится у самого его дома, едва он завидит нас из окна, но не раньше; все предварительные разговоры будут закончены сегодня же вечером, после чего мы уже не увидимся с ним, пока не подъедем за ним на лодке.

Когда мы с Гербертом в точности условились обо всех этих предосторожностях, я пошел домой.

Отперев дверь своим ключом, я увидел в ящике письмо, адресованное мне,— очень грязное на вид письмо, хотя и не безграмотное. Его принесли прямо на квартиру (конечно, уже после того как я вышел из дому), и вот что в нем было написано:

«Если вы не боитесь сегодня или завтра вечером в *девять часов* прийти на болота, в дом у шлюза, близ печи, где жгут известь, то приходите, не пожалеете. Если хотите кое-что узнать касательно *вашего дяди Провиса,* то приходите непременно, не теряя времени, и никому ни слова. *Приходите один.* Это письмо имейте при себе».

У меня было слишком довольно забот и до получения этого диковинного письма. Теперь же я совсем растерялся. Что хуже всего — решать нужно было немедля, иначе я рисковал опоздать на дневной дилижанс, который мог вовремя доставить меня в наш город. О том, чтобы ехать завтра, не могло быть и речи,— до нашего бегства осталось бы слишком мало времени. А с другой стороны — как знать, может, обещанные сведения как раз и имеют отношение к задуманному бегству?

Будь у меня и вдоволь времени на размышления, я, вероятно, все равно бы поехал. Но размышлять было некогда — до отхода дилижанса оставалось всего полчаса,— и я решил ехать. Если бы не упоминание о моем «дяде Провисе», я бы, несомненно, остался. Именно это упоминание, да еще после письма Уэммика и всех утренних приготовлений, и решило дело.

В лихорадочной спешке трудно полностью охватить содержание любого письма, и мне пришлось еще два раза перечитать эту таинственную записку, прежде чем мой мозг как-то машинально отметил, что я не должен о ней рассказывать. Так же машинально повинуясь этому запрету, я схватил карандаш и написал Герберту, что, поскольку я уезжаю, и, возможно, на долгое время, я решил еще раз побывать у мисс Хэвишем — справиться о ее здоровье и сейчас же вернуться. После этого я только-только успел накинуть шинель, запереть квартиру и добраться проулками и дворами до почтовой станции. Если

бы я взял карету и ехал улицами, я бы опоздал; я и так поймал дилижанс уже в воротах. Придя в себя, я увидел, что сижу один, по колено уйдя ногами в солому, и тряский дилижанс уносит меня из города.

Я сказал «придя в себя», потому что действительно был не в себе с той минуты, как получил это письмо,— уж очень оно меня ошеломило после утренней спешки. А спешил и волновался я утром ужасно, потому что как ни долго я ждал вести от Уэммика, в конце концов его сигнал все же поразил меня своей неожиданностью. Теперь же я стал недоумевать — как я очутился в этой карете, и сомневаться, достаточно ли у меня для этого причин, и прикидывать, не лучше ли сойти и вернуться домой, и твердить себе, что никогда не следует обращать внимания на анонимные письма,— словом, вкусил полную меру мучительных колебаний и противоречивых решений, вероятно знакомых всякому, кто когда-либо совершал необдуманные поступки. И все же упоминание о Провисе перевесило все остальные доводы. Я рассудил,— как, сам того не сознавая, рассуждал и раньше,— что в случае, если бы я не поехал и из-за этого с ним случилось бы что-нибудь недоброе, я бы вовек себе этого не простил!

Темнота настигла нас еще в дороге, и никогда поездка не казалась мне такой томительно-долгой, как в этот раз, когда в окно кареты ничего не было видно, а на империале я не мог ехать, потому что был еще нездоров. Не желая показываться в «Синем Кабане», я зашел в харчевню поскромнее на окраине города и заказал себе обед. Пока его готовили, я сходил в Сатис-Хаус узнать о здоровье мисс Хэвишем; состояние ее было по-прежнему серьезно, хотя кое-какое улучшение и отмечалось.

Моя харчевня была когда-то частью монастырской постройки, и обедал я в маленькой восьмиугольной столовой, похожей на купель. Я еще не мог управляться с ножом, и хозяин, старик с блестящей лысиной во всю голову, взялся нарезать мне мясо. Слово за слово, мы разговорились, и он был так любезен, что рассказал мне мою же историю,— разумеется, в той широко распространенной версии, по которой выходило, что моим первым благодетелем был Памблчук и что ему я обязан своим счастьем.

— Вы знаете этого молодого человека? — спросил я.

— Я-то? — переспросил хозяин.— Да я его помню с тех пор, как он под стол пешком ходил.

— А теперь он наведывается в эти края?

— Как же, наведывается иногда к своим знатным друзьям, а на того человека, который его в люди вывел, и смотреть не хочет.

— Кто же этот человек?

— Да тот, про которого я вам толкую,— ответил хозяин.— Мистер Памблчук.

— А больше он ни к кому не проявил такой черной неблагодарности?

— Проявил бы, кабы было к кому,— проворчал хозяин.— Да не к кому. Кроме Памблчука, разве кто-нибудь для него что сделал?

— Это Памблчук так говорит?

— Говорит! — возмутился хозяин.— Тут и говорить нечего.

— Но он-то говорит это?

— Послушать, как он про это рассказывает, сэр,— отвечал хозяин,— просто сердце переворачивается.

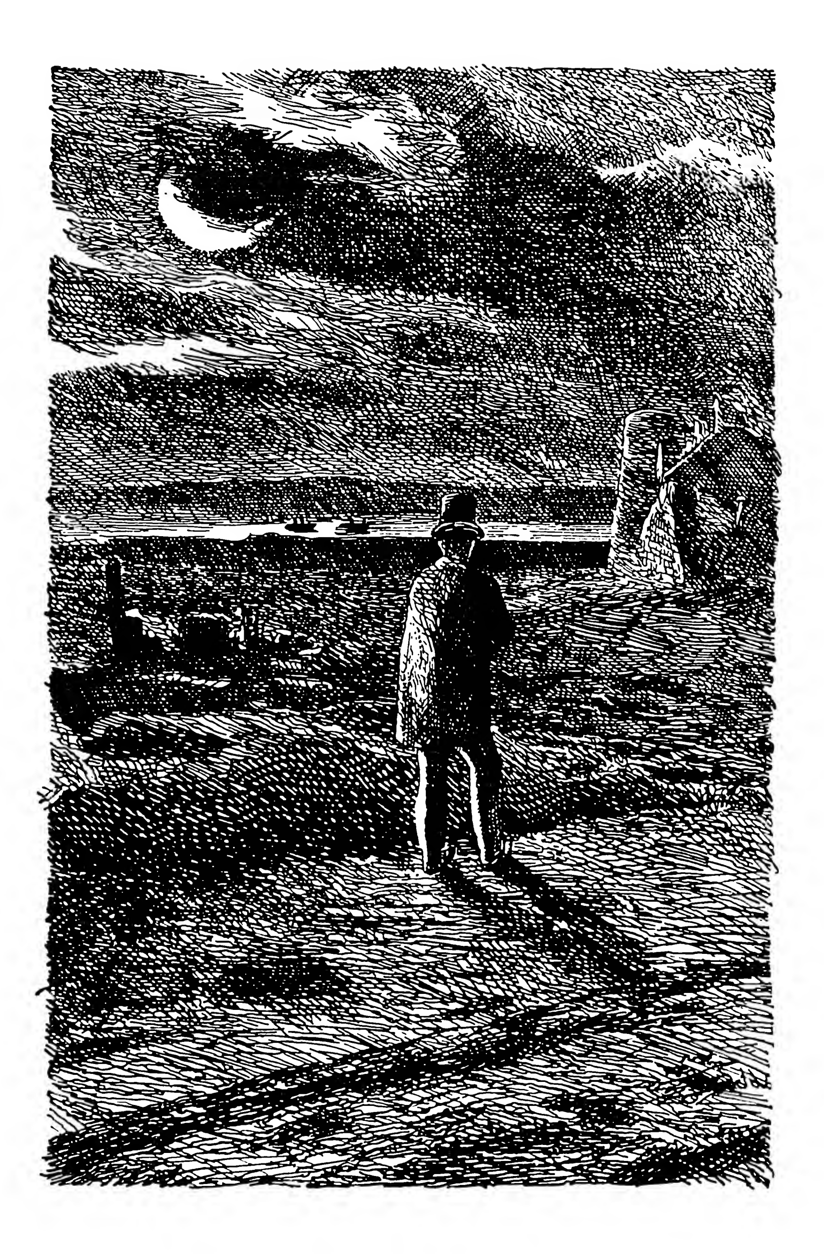
Я подумал: «А ты, Джо, милый Джо, ты никогда об этом не говоришь. Добрый, терпеливый Джо, ты-то никогда не жалуешься. И ты тоже, кроткая Бидди!»

— Видно, у вас и аппетит пропал, как с вами это приключилось,— сказал хозяин, кивнув на мою забинтованную руку.— Попробуйте вот этот кусочек понежнее.

— Нет, спасибо,— отвечал я и, отвернувшись от стола, мрачно уставился в огонь.— Я ничего не хочу. Можно убирать.

Никто не давал мне почувствовать мою неблагодарность к Джо так остро, как этот наглый самозванец Памблчук. От его двуличия еще ярче сияла душевная чистота Джо; чем большим подлецом он себя показывал, тем Джо казался благородней.

Более часа я неподвижно просидел у огня, смиренно сознавая, что устыжен по заслугам. С боем часов я очнулся (хотя уныние и стыд по-прежнему мною владели), встал, попросил, чтобы на мне застегнули шинель, и вышел. Я уже раньше обшарил все карманы в поисках письма, которое хотел еще раз пробежать, и, не найдя,



с досадой подумал, что, как видно, обронил его в солому, на полу кареты. Впрочем, я и так отлично помнил, куда и когда должен явиться — на болота к дому у шлюза, близ печи, где жгут известь, в девять часов. И так как времени у меня оставалось в обрез, я направился, никуда не заходя, прямо к болотам.

ГЛАВА LIII

Ночь выдалась темная, хотя полная луна взошла, как раз когда я миновал последние сады и вышел на болота. За черной их далью светила узкая полоска чистого неба,— огромная красная луна едва на ней умещалась. Через несколько минут она поднялась выше и скрылась за низко нависшей грядой облаков.

Уныло завывал ветер, на болотах было очень тоскливо. Человек, попавший сюда впервые, просто не выдержал бы этой тоски, и даже у меня так сжалось сердце, что я заколебался — не повернуть ли обратно. Но я знал болота с детства, не заплутался бы здесь и в более темную ночь, и раз уж я сюда приехал, никаких предлогов для отступления у меня не было. Итак, приехав сюда против своего желания, я против желания пошел дальше.

Путь мой лежал не в ту сторону, где находился наш дом, и не в ту, где мы когда-то ловили беглых. Плавучая тюрьма была далеко позади меня, и огонь старого маяка на песчаной косе я видел, только когда оглядывался. Печь, где жгли известь, я знал так же хорошо, как старую батарею, но их разделяло много миль пустынных болот, и если бы в ту ночь в обеих этих точках горели огни, между ними тянулась бы длинная черная линия горизонта.

Вначале я кое-где закрывал за собой ворота в изгородях и несколько раз останавливался, давая время коровам, разлегшимся на сухой тропинке, подняться и неуклюже убрести в траву и камыш. Но вскоре все вокруг меня словно вымерло, я остался совсем один.

И еще полчаса я шел, прежде чем приблизился к печи. Известь горела, издавая тяжелый, удушливый запах, но

рабочих не было видно,— огонь зажгли на всю ночь. Тут же была небольшая каменоломня. Она приходилась прямо у меня на дороге, и по брошенным ломам и тачкам я убедился, что еще сегодня здесь работали.

Когда тропинка, поднявшись из карьера, снова вывела меня на уровень болот, я увидел, что в доме у шлюза светится огонек. Я ускорил шаги и постучал в дверь. В ожидании ответа я огляделся, заметил, что шлюз заброшен и разваливается, что дом — деревянный, с черепичной крышей — недолго еще будет служить защитой от непогоды (скорее всего он и сейчас уже пропускает ветер и дождь), что ил и тина кругом густо затянуты известью, а зловонные пары от печи наплывают на меня медленно и неумолимо. Между тем ответа не было, и я постучал еще раз. Снова никакого ответа — и я нажал на щеколду.

Она поддалась под моей рукой, и дверь приотворилась. Заглянув в дом, я увидел зажженную свечу на столе, скамью и тюфяк на козлах. Над головой я заметил чердак и крикнул: «Кто-нибудь тут есть?», но ответа не последовало. Я посмотрел на часы, убедился, что уже начало десятого, еще раз крикнул: «Есть тут кто-нибудь?» Снова не получив ответа, я вышел наружу и остановился в нерешительности.

Пошел сильный дождь. Не увидев снаружи ничего нового, я опять вошел в дом, остановился в дверях, чтобы меня не мочило, и стал вглядываться в ночь. Рассудив, что, раз в доме горит свеча, значит кто-то был здесь совсем недавно и скоро вернется, я решил посмотреть, на много ли обгорел фитиль. Я шагнул в дом, но не успел я взять свечу, как сильный удар вышиб ее у меня из руки и погасил, а в следующее мгновение я понял, что на меня накинули сзади толстую веревочную петлю.

— Ага! — произнес кто-то сквозь зубы и ругнулся.— Теперь-то ты от меня не уйдешь!

— Что такое? — закричал я, вырываясь.— Кто это? Помогите! Помогите!

Локти мои были туго прижаты к бокам, и поврежденная рука нестерпимо болела. Кто-то невидимый то тяжелой ладонью зажимал мне рот, то наваливался на меня всей грудью, чтобы заглушить мои крики, и, все время чувст-

вуя на лице чье-то горячее дыхание, я продолжал безуспешно вырываться, пока меня накрепко к чему-то привязывали.

— Вот теперь,— произнес тот же голос и снова последовало ругательство,— попробуй у меня еще раз крикнуть — я с тобой живо расправлюсь.

Изнемогая от боли в покалеченной руке, еще не придя в себя от изумления, но тем не менее понимая всю серьезность подобной угрозы, я умолк и попытался хоть немного высвободить руку. Однако веревка ни на волос не поддалась. А в руке, еще болевшей от ожога, теперь было такое ощущение, словно она варилась в кипятке.

По тому, как черная ночь за окном внезапно сменилась непроглядным мраком, я понял, что мой невидимый мучитель закрыл ставень. Пошарив в темноте, он нашел кремень и огниво и стал высекать огонь. Я напряженно вглядывался в искры, падавшие на трут, который он старательно раздувал, но видел — и то лишь на секунду — только его губы и голубоватый кончик спички, зажатой у него в руке. Трут отсырел — оно и не удивительно, в таком-то месте,— и искры гасли одна за другой.

Он не торопился и снова и снова ударял кремнем по стали. Когда искры посыпались ярким дождем, мелькнули его руки и кусочек лица, и я разглядел, что он сидит, склонившись к столу, а больше ничего. Вот я опять увидел его синие губы, дующие на трут, и наконец спичка вспыхнула — и я узнал Орлика.

Кого я ожидал увидеть — право, не знаю, но только не его. Узнав же его, я понял, что дело мое действительно плохо, и стал следить за каждым его движением.

Он не спеша зажег свечу, бросил спичку на пол и затоптал ее. Потом отставил свечу в сторону, чтобы лучше меня видеть, лег локтями на стол и уставился на меня. Я увидел, что привязан к отвесной деревянной лестнице, ведущей на чердак и вделанной в пол немного отступя от стены.

— Вот,— сказал он, после того как мы некоторое время обозревали друг друга.— Теперь ты от меня не уйдешь.

— Развяжи меня. Отпусти!

— Обязательно,— сказал он.— Я тебя отпущу. От-

пущу твою душеньку лететь из тела куда захочет. Дай только срок.

— Для чего ты заманил меня сюда?

— А ты не знаешь? — ответил он, злобно сверкнув глазами.

— Почему ты напал на меня в потемках?

— Потому что хочу все покончить один. Один-то сумеет молчать лучше, чем двое. Ух ты, дьявольское отродье!

Навалившись на стол и самодовольно покачивая головой, он упивался моей беспомощностью с таким сатанинским злорадством, что у меня упало сердце. Я молчал, не сводя с него глаз, а он, протянув руку куда-то в угол, достал оттуда ружье с обитой медью ложей.

— А это ты знаешь? — сказал он, делая вид, будто целится в меня.— Знаешь, где видал его раньше? Говори, волчонок!

— Да,— отвечал я.

— Твоя работа, что меня оттуда погнали? Твоя? Говори!

— А что мне оставалось?

— За одно это тебя убить мало. А как ты смел втереться между мной и одной особой, которая мне нравилась?

— Когда это?

— А всегда. Дня не было, чтобы ты меня не порочил при ней.

— Ты сам себя порочил, сам себя и вини. Я бы тебе ничем не мог напортить, если бы ты сам себе не портил.

— Врешь! И ты, значит, не пожалел бы ни трудов, ни денег, чтобы убрать меня из нашей округи? — Он повторил слова, которые я сказал Бидди при нашей последней встрече.— Так вот послушай и намотай себе на ус: сегодня тебе и вовсе имело бы смысл убрать меня из нашей округи. Да, да, хотя бы на это ушли все твои денежки до последнего фартинга!

То была правда — я особенно ясно это почувствовал, когда он, по-собачьи оскалив зубы, погрозил мне своей огромной ручищей.

— Что ты со мной сделаешь?

— А то сделаю,— сказал он и, встав, чтобы получше размахнуться, со всей силы треснул кулаком по столу,— что убью тебя насмерть.

Пригнувшись близко к моему лицу, он медленно разжал кулак, провел ладонью по губам, точно у него слюнки текли, на меня глядя, и опять уселся.

— Ты старому Орлику сызмальства поперек дороги стоял. Ну, так нынче он тебя спихнет с дороги. Хватит! Кончено твое дело.

Холод смерти объял меня. В отчаянии я окинул взглядом свою западню, ища хоть какой-нибудь лазейки; но лазейки не было.

— Мало того,— сказал он, снова наваливаясь локтями на стол.— Я от тебя ни тряпки, ни косточки не оставлю. Убью и брошу в печь — я до нее двух таких, как ты, дотащу — пусть люди думают, что хотят, узнать они ничего не узнают.

С непостижимой быстротой я представил себе все последствия такой смерти. Отец Эстеллы решит, что я его бросил на произвол судьбы, он попадет в лапы властей и погибнет, обвиняя меня; даже Герберт усомнится во мне, когда вспомнит мою записку и услышит, что я всего на минуту подходил к калитке мисс Хэвишем; Джо и Бидди никогда не узнают, как глубоко я сегодня почувствовал свою вину перед ними, никто никогда не узнает, что я пережил, каким хотел быть верным и честным, какие вытерпел мучения. Смерть, ожидавшая меня, была ужасна, но еще много ужаснее был страх, что после смерти меня незаслуженно осудят. Мысли мои неслись так неудержимо, что злодей еще не договорил, а я уже ощущал, как меня презирают нерожденные поколения — дети Эстеллы, их дети...

— Пока я тебя не пристукнул, как барана,— говорил Орлик,— а ты этого дождешься, для того я тебя и привязывал,— я на тебя вдоволь нагляжусь да вдоволь над тобой потешусь. Ух ты, дьявол!

У меня мелькнула мысль снова позвать на помощь, хотя кому, как не мне, было знать, что помощи в этой пустыне ждать неоткуда. Но при виде его мерзкой радости гнев и презрение придали мне мужества, и я крепко сжал губы. Что бы ни было, решил я, нельзя унижаться перед ним, а нужно сопротивляться, пока хватит сил, до последнего. Пусть в этот страшный час я ни к кому не питал зла; пусть я смиренно молил всевышнего о прощении;

пусть сердце у меня болело при мысли, что я не простился и уже не смогу проститься с теми, кто был мне дорог, не смогу им ничего объяснить, ни просить, чтобы они не судили слишком строго мои заблуждения,— но его я и сейчас убил бы не задумываясь.

Он, видимо, выпил, глаза у него были красные и воспаленные. На шее висела жестяная фляжка,— так он в прежние дни носил с собой еду и питье. Он поднес фляжку к губам, глотнул; и я почувствовал крепкий запах спиртного, проступавшего багровыми пятнами у него на лице.

— Волчонок! — сказал он, снова навалившись на стол.— Старый Орлик тебя сейчас кое-чем порадует: ведь это ты сгубил свою ведьму-сестру.

И опять — он еще говорил, медленно и нескладно, а в сознании у меня с той же непостижимой быстротою уже пронеслось все с начала до конца — нападение на мою сестру, ее болезнь и смерть.

— Нет, ты, негодяй! — сказал я.

— А я тебе говорю — это твоих рук дело, все через тебя произошло! — вспылил он и, схватив ружье, с силой рассек им воздух.— Я к ней подобрался сзади, все равно как нынче к тебе, да как дал ей! Думал, что насмерть ее укокошил, и, будь там поблизости такая вот печь, уж ей бы не ожить. Но это все не Орлик сделал, а ты. Тебе вечно поблажки давали, а его ругали да били. Это старого-то Орлика ругали да били, а? Вот теперь ты за это заплатишь. Ты виноват, ты и заплатишь.

Он снова сделал глоток и рассвирепел еще пуще. По тому, как он запрокинул фляжку, я понял, что в ней осталось совсем немного. Мне было ясно, что он накачивается для храбрости, чтобы прикончить меня. Я знал, что каждая оставшаяся на дне капля — это капля моей жизни. Я знал, что, когда я обращусь в тот пар, что еще так недавно подползал ко мне, как вещий призрак, Орлик поступит так же, как после нападения на мою сестру: скорее побежит в город, чтобы все видели, как он шатается по улицам и пьет во всех кабаках. Мысль моя унеслась за ним в город, нарисовала светлую, людную улицу, по которой он бредет, и сейчас же, в противоположность ей — пустынное болото и стелющийся над ним белый пар, в котором я растворился.

Мало того что я успевал охватить мыслью целые годы, пока он произносил какой-нибудь десяток слов,— но и самые его слова не оставались для меня словами, а порождали зримые образы. Мозг мой был так возбужден, что стоило мне подумать о каком-нибудь месте или человеке, как я уже видел и человека и место. Невозможно выразить, до какой степени четки были эти образы, а между тем я так внимательно следил все время за Орликом,— кто не стал бы следить за тигром, готовым к прыжку! — что не упускал ни малейшего его движения.

Подкрепившись второй раз, он встал со скамьи и отодвинул стол. Потом поднял свечу и, загородив ее своей злодейской рукой, чтобы свет падал мне на лицо, опять с наглым торжеством на меня уставился.

— Слушай, волчонок, я тебе еще кое-что расскажу. Это ты на старого Орлика наткнулся тогда вечером, на лестнице.

Я увидел лестницу с погасшими фонарями. Увидел тень чугунных перил, падавшую на стену от фонаря ночного сторожа. Увидел комнаты, которые мне не суждено было больше увидеть: знакомая мебель, одна дверь закрыта, другая приотворена.

— А почему старый Орлик там оказался? Ты слушай, волчонок, я тебе все расскажу. Вы с ней сумели-таки выжить меня из этих краев, добились того, что для меня здесь легкого хлеба не стало, ну я и завел себе новых товарищей и новых хозяев. Они за меня и письма пишут, когда надо,— понял, волчонок? — письма за меня пишут! Они под всякую руку писать умеют, не то что ты, поганец. Я еще тогда задумал тебя извести, когда ты хоронить сестру приезжал. Только все примеривался, как бы это повернее обделать, вот и решил выследить, как ты живешь да где бываешь. Нет, думаю, уж как-нибудь да старый Орлик до тебя доберется. И смотри-ка, что вышло! Искал тебя, а нашел твоего дядю Провиса. Здорово, а?

Мельничный пруд, и затон Чинкса, и Старый Копперов канатный завод — как отчетливо, ярко я их увидел! Провис в своей комнате-каюте, сигнал, теперь уже не нужный, хорошенькая Клара, добрая женщина, что заменила ей мать, старый Билл Барли со своей подагрой — все про-

плыло мимо, словно унесенное быстрой рекой моей жизни, спешащей к морю!

— Это у тебя-то дядя! Да я знал тебя у Гарджери этаким вот заморышем, которому мне ничего не стоило двумя пальцами шею свернуть (а у меня частенько руки чесались, когда вижу, бывало, в воскресенье, как ты за околицей слоняешься), тогда-то у тебя никаких дядьев не было, будьте спокойны. А уж когда старый Орлик прослышал, что скорее всего твой дядя Провис носил на ноге то самое железное кольцо, которое старый Орлик подобрал на этих болотах, распиленное, да хранил у себя, пока не оглушил им твою сестру, вот так же, как тебя скоро оглушит... понятно?.. уж когда он об этом прослышал... ну...

С этой зверской издевкой он ткнул свечу прямо мне в лицо, так что я невольно отвернулся.

— Ага! — вскричал он со смехом и снова ткнул в меня свечой.— Раз обжегся, второй раз не хочется! Старый Орлик, он знает, что ты обжегся, старый Орлик знает, что ты своего дядюшку задумал втихомолку из Англии спровадить, где уж тебе перехитрить старого Орлика,— он знал и то, что ты сегодня явишься! Ну, слушай, волчонок, я тебе еще кое-что скажу, это уж напоследок. Есть такой человек, до которого твоему дядюшке все равно, как тебе до старого Орлика. Вот теперь пусть-ка остережется этого человека, когда племянничек-то сгинет. Пусть-ка остережется, когда от его родственничка ни клочка одежи, ни косточки не останется. Тот человек нипочем не потерпит, чтобы Мэгвич — вот видишь, мне и фамилия его известна! — живой по одной с ним земле ходил, он о нем все что ни на есть разведал, еще когда тот в чужой земле обретался, и уж наверно, чем такого врага рядом с собой иметь, доложил о нем кому следует. Может, это и есть тот человек, что умеет под всякую руку писать — не то что ты, поганец. Берегись, Мэгвич, не уйти тебе от Компесона да от двух столбов с перекладиной.

Опять он ткнул в меня свечу, опалив мне лицо и волосы и на мгновение ослепив меня, а потом повернулся ко мне своей широченной спиной и поставил свечку на стол. Я успел мысленно прочитать молитву и побывать у Джо с Бидди и у Герберта — все до того, как он опять повернулся ко мне.

Между столом и стеной было пустое пространство в несколько футов. Он стал ходить по нему взад и вперед. Никогда я еще так ясно не чувствовал, какой огромной физической силой наделен этот человек, как сейчас, глядя на его злые глаза и длинные, болтающиеся руки. У меня не осталось ни проблеска надежды. Как ни стремительно работал мой мозг, как ни предельно ярки были картины, проносившиеся передо мной вместо мыслей, я все же отдавал себе отчет в том, что, не будь у него твердого решения через несколько минут бесследно меня уничтожить, он бы нипочем не рассказал мне так много.

Вдруг он остановился, вынул из фляги пробку и отшвырнул прочь. Мне показалось, что она стукнулась об пол громко, как свинцовая гирька. Он пил медленно, все выше запрокидывая флягу, и уже не смотрел на меня. Последние капли он вылил себе на ладонь и слизнул. Потом, словно охваченный внезапной яростью, он со страшным проклятием бросил флягу на стол и нагнулся; и я увидел у него в руке тяжелый молот, каким дробят камни.

Я не забыл о принятом решении: не тратя времени на тщетные мольбы, я закричал во всю мочь и стал изо всей мочи вырываться. Свободны у меня были только ноги да голова, но я вырывался с такой силой, какой и сам за собой не знал. В то же мгновение раздались ответные крики, в дверь метнулся снаружи свет и какие-то фигуры, послышались голоса и возня, и Орлик, вынырнув из-под чьих-то тел, как из водоворота, одним прыжком перемахнул через стол и исчез во тьме!

Очнувшись, я обнаружил, что лежу развязанный на полу, в той же комнате, головой у кого-то на коленях. Когда я приходил в себя, глаза мои были устремлены на лестницу (я увидел ее раньше, чем воспринял сознанием), поэтому я и понял, что нахожусь там же, где лишился чувств.

В полном отупении я сначала даже не оглянулся, чтобы посмотреть, кто меня поддерживает; я лежал и смотрел на лестницу, как вдруг между нею и мною возникло лицо. Лицо портновского мальчишки!

— Кажется, целехонек,— сказал портновский мальчишка деловитым тоном,— только уж и бледен!

При этих словах тот, кто держал меня, пригнулся к моему лицу, и я увидел, что это...

— Герберт! Боже милостивый!

— Тише,— сказал Герберт.— Спокойней, Гендель. Не волнуйся.

— И наш старый товарищ Стартоп! — воскликнул я, когда тот тоже наклонился надо мной.

— Вспомни, в чем он обещал нам помочь,— сказал Герберт,— и успокойся.

Сразу все вспомнив, я вскочил, но тут же снова свалился от боли в руке.

— Неужто мы опоздали, Герберт? Какой сегодня день? Сколько я здесь пробыл? — У меня мелькнула страшная мысль, что я, может быть, пролежал здесь очень долго — целые сутки — двое суток — больше.

— Мы не опоздали. Еще только понедельник.

— Слава богу!

— Завтра вторник, и ты весь день можешь отдыхать,— сказал Герберт.— Но ты стонешь, бедный мой Гендель. Что у тебя болит? Стоять ты можешь?

— Да, да,— сказал я.— И идти могу. У меня ничего не болит. Только руку страшно дергает.

Они осмотрели ее и сделали что могли. Рука сильно распухла и воспалилась, малейшее прикосновение причиняло мне жгучую боль. Но они разорвали свои платки на бинты и осторожно вложили мою руку обратно в перевязь на то время, пока мы дойдем до города, где можно будет достать освежающей примочки. Через несколько минут мы затворили за собою дверь темного, пустого дома и отправились в обратный путь через каменоломню. Портновский мальчишка — теперь уже портновский верзила-подмастерье — шел впереди с фонарем, этот фонарь я и увидел тогда в дверях. Прошло часа два с тех пор, как я в последний раз смотрел на небо, луна поднялась много выше, и ночь, несмотря на дождь, посветлела. Белый пар от печи уползал от нас вдаль, и я снова вознес к небу молитву, но теперь то была молитва благодарности.

Добившись наконец, чтобы Герберт объяснил мне, как ему удалось меня спасти (сначала он наотрез отказался говорить и только успокаивал меня), я узнал, что второпях обронил анонимное письмо у нас в комнате, где он и

нашел его вскоре после моего ухода, когда вернулся домой вместе со Стартопом, которого встретил по дороге. Тон письма встревожил его, тем более что оно противоречило записке, которую я наскоро ему написал. Минут десять он его обдумывал, и так как тревога его не улеглась, а напротив, усилилась, он побежал на почтовый двор справиться, когда отходит следующий дилижанс, и Стартоп вызвался пойти с ним вместе. Узнав, что последний дилижанс уже ушел, и чувствуя, что с возникновением препятствий тревога его обратилась в самый настоящий страх, он решил ехать следом за мной в наемной карете. Так он и Стартоп прибыли в «Синий Кабан», твердо рассчитывая застать меня там или получить обо мне какие-нибудь сведения; когда же расчет их не оправдался, они пошли к дому мисс Хэвишем, но разминулись со мной. Тогда они возвратились в гостиницу (вероятно, как раз в то время, когда я слушал местный вариант моей собственной биографии), чтобы подкрепиться и найти кого-нибудь, кто проводил бы их на болота. Среди других зевак в воротах «Синего Кабана» околачивался портновский мальчишка — верный своей старой привычке околачиваться всюду, куда его не звали,— а портновский мальчишка видел, как я шел от дома мисс Хэвишем в сторону харчевни. Так портновский мальчишка оказался их проводником, и с ним-то они отправились к дому у шлюза, только на болота они вышли другой дорогой, которой я не захотел идти, потому что она вела через город. По дороге Герберту пришло в голову, что, может быть, я все-таки занят здесь каким-нибудь важным разговором, имеющим целью оградить Провиса от опасности, и, решив, что в таком случае всякое вмешательство может испортить дело, он оставил своего проводника и Стартопа на краю карьера, а сам приблизился к дому и три раза обошел его кругом, пытаясь выяснить, все ли там спокойно. Ему удалось только смутно расслышать один голос, низкий и хриплый (это было, когда мой ум так лихорадочно работал), и он уже подумал, что, может, меня здесь и нет, как вдруг я громко закричал, и тогда он тоже закричал и кинулся в дом, а следом за ним и те двое.

Когда я рассказал Герберту о том, что произошло в доме у шлюза, он заявил, что, несмотря на поздний час,

нужно немедленно идти к городским властям и требовать приказа об аресте. Но я еще раньше отказался от такой мысли: нас могли здесь задержать или снова вызвать на завтра, а это было бы гибелью для Провиса. Герберт согласился с моими доводами, и мы решили пока что махнуть рукой на Орлика. Из предосторожности мы решили также скрыть истинное положение вещей от мальчишки Трэбба, который, я в том убежден, был бы сильно разочарован, узнай он, что помог уберечь меня от обжигательной печи. Не то чтобы мальчишка Трэбба по природе своей отличался кровожадностью; просто он был не в меру предприимчив и всегда готов поразнообразить свою жизнь и поразвлечься за счет ближнего. На прощанье я дал ему две гинеи (что̀ он, видимо, одобрил) и выразил сожаление, что в прошлом так плохо о нем думал (что̀ не произвело на него ровно никакого впечатления).

До среды оставалось так мало времени, что мы положили в ту же ночь воротиться в Лондон, втроем в одной карете; к тому же нам хотелось убраться отсюда раньше, чем ночное происшествие станет достоянием молвы. Герберт раздобыл целую бутыль примочки и всю дорогу смачивал мне руку, чем и помог мне выдержать мучительное путешествие. К Тэмплу мы подъехали, когда было уже совсем светло, и я сейчас же лег в постель и не вставал до вечера.

Мною владел гнетущий страх, что я расхвораюсь и завтра буду никуда не годен; удивительно, право, как я от одного этого страха не заболел серьезно. По всей вероятности, так бы оно и случилось,— ибо пережитые ужасы тоже не прошли мне даром! — если бы не напряжение, в котором меня держала мысль о завтрашнем дне. Так тревожно мы ждали этого дня, такими он был чреват последствиями, так неведом был его исход, теперь уже столь близкий!

Разумеется, мы были правы, когда решили весь вторник совсем не видаться с Провисом; а между тем это еще усугубляло мою тревогу. Я вздрагивал от каждого звука, от любых шагов на лестнице, всякий раз воображая, что его нашли и схватили и вот идут сообщить мне об этом. Я убеждал себя, что его в самом деле схватили; что меня гнетет нечто большее, чем опасение или предчувствие;

что арест совершился, и это каким-то таинственным образом стало мне известно. День проходил, а дурных вестей все не было. наступил вечер, на улице стемнело, и тут безумный страх, что к утру я расхвораюсь, совсем одолел меня. Больную руку дергало, в воспаленной голове стучало, и мне казалось, что у меня начинается бред. Чтобы проверить себя, я принимался считать до ста, до тысячи, повторял наизусть знакомые стихи и отрывки. Случалось, что переутомленный мозг отказывался работать и я на несколько минут впадал в дремоту или забывал нужное слово; тогда я вскакивал и говорил себе: «Ну вот, наверно у меня открылась горячка!»

Весь день мне не позволяли двигаться, перевязывали мне руку, давали прохладительное питье. Едва забывшись сном, я просыпался с тем же ощущением, что и в доме у шлюза,— будто прошло очень много времени и возможность спасти Провиса упущена. Около полуночи я встал с постели и бросился к Герберту в полной уверенности, что проспал круглые сутки и среда уже миновала. Это было последнее, на что я, в своем волнении, оказался способен,— после этого я крепко уснул.

Когда я посмотрел в окно, утро среды только начиналось. Мигающие огни на мостах побледнели, восходящее солнце было красное, как зарево над болотом. Река текла под мостами, еще темная и таинственная, а мосты из черных уже стали серыми, и на холодные их переплеты кое-где ложились теплые красные пятна от небесного пожара. Пока я смотрел на море крыш, из которого колокольни и шпили взмывали в прозрачный воздух, солнце взошло, и река засверкала миллионами искр, словно кто-то сорвал с нее темную пелену. И словно с меня тоже сорвали темную пелену, я вдруг почувствовал себя здоровым и бодрым.

Герберт спал в своей постели, наш старый однокашник — на диване. Одеться без помощи я не мог, но я раздул в камине угли, еще тлевшие с вечера, и приготовил кофе. Вскоре и они поднялись, тоже здоровые и бодрые, и мы впустили в окна холодный утренний воздух и долго смотрели на поднимающуюся с приливом воду.

— В девять часов, как начнется отлив,— весело сказал Герберт,— будьте готовы и поджидайте нас, кто там есть на берегу Мельничного пруда!

ГЛАВА LIV

Был один из тех мартовских дней, когда светит жаркое солнце и дует холодный ветер, когда на солнце лето, а в тени зима. Мы захватили толстые куртки, я взял свой дорожный мешок. Из всего, чем я владел на земле, я брал с собой лишь то немногое, что уместилось в этом мешке. Куда я еду, как буду жить и когда вернусь,— на все эти вопросы я не мог бы ответить, да и не пробовал: все мои помыслы были сосредоточены на спасении Провиса. Только в дверях я на минуту оглянулся с мимолетной мыслью — сколько всего произойдет до того, как я снова увижу эти комнаты, если мне еще суждено их увидеть!

Мы не спеша дошли до лестницы на набережной и постояли там, делая вид, что обдумываем, стоит ли нам спускаться к воде. (Я, разумеется, заранее озаботился тем, чтобы лодка была наготове.) Разыграв эту маленькую комедию, которую некому было смотреть, кроме двух-трех земноводных созданий — завсегдатаев нашей лестницы, мы сели в лодку, Герберт на носу, я за рулем, и отчалили. Время было половина девятого.

Свой план мы составили так: от девяти до трех спускаться с отливом, а когда он кончится, потихоньку плыть дальше, против течения, до самой темноты. К этому времени мы уже будем много ниже Грейвзенда, между Кентом и Эссексом, где река широко разливается по равнине и движения на ней почти нет, где на берегу мало кто живет и только изредка попадаются одинокие прибрежные трактиры, в одном из которых мы и найдем себе приют. Там мы пробудем всю ночь. Оба парохода — один на Гамбург, другой на Роттердам — выйдут из Лондона в четверг, в девять утра. В зависимости от того, где мы к этому времени будем, мы рассчитаем, когда их можно ждать, и окликнем тот, который подойдет первым, так чтобы, если нас почему-нибудь не возьмут на борт, в запасе оставался еще второй. Их отличительные признаки мы хорошо запомнили.

Так отрадно было наконец-то приступить к осуществлению нашего замысла, что мне уже не верилось — неужели я всего несколько часов назад был близок к отчаянию.

Свежий воздух, солнце, движение на реке, движение самой реки — этой живой дороги, которая, казалось, сочувствовала нам, подбадривала нас и подгоняла,— все вливало в меня новые надежды. Я огорчался тем, что в лодке от меня так мало пользы; но трудно было найти лучших гребцов, чем мои два товарища,— вот такими сильными, ровными взмахами они могли грести весь день.

В то время пароходное движение на Темзе было не столь велико, как теперь, зато весельных лодок встречалось гораздо больше. Парусных угольщиков, каботажных судов и барок было, пожалуй, столько же, но число пароходов, больших и малых, увеличилось с тех пор раз в десять, а то и в двадцать. В этот день, несмотря на ранний час, по реке уже сновали бесчисленные гребные лодки, и бесчисленные баржи тянулись вниз с отливом; но все же плавать в черте города было тогда не в пример проще теперешнего, и мы бодро неслись вперед среди множества яликов и шлюпок.

Уже остались позади старый Лондонский мост, и старый Биллингсгетский рынок с устричными баркасами и голландскими шлюпами, и Белая башня Тауэра, и Ворота изменников *, и мы оказались в самой оживленной части порта. Здесь грузились и разгружались пароходы из Лита, Абердина, Глазго, казавшиеся нам снизу неимоверно высокими; здесь на десятках угольщиков поднимали из трюмов уголь и с грохотом переваливали его через борт на баржи; здесь стоял завтрашний пароход на Роттердам, который мы внимательно оглядели, и здесь же второй, на Гамбург,— мы проскочили под самым его бушпритом. И вот уже у меня сильнее забилось сердце,— со своего места на корме я завидел впереди берег Мельничного пруда и лестницу.

— Он там? — спросил Герберт.

— Нет еще.

— Ну и правильно. Он должен сойти, только когда заметит нас. А сигнал видно?

— Отсюда еще не вижу... нет, кажется, вижу... А вот и он сам! Навались! Легче, Герберт. Суши весла!

Лодка едва коснулась лестницы, и вот он уже сел в нее, и мы понеслись дальше. У него был с собой грубый матросский плащ и черная парусиновая сумка,— заправский портовый лоцман, да и только.

— Милый мальчик! — сказал он, усевшись, и тронул меня за плечо.— Молодец мальчик, не подвел. Ну, спасибо тебе, спасибо!

И снова мы лавируем среди сотен судов и суденышек, вправо, влево, увертываемся от ржавых цепей, растрепанных пеньковых канатов, подпрыгивающих буйков, на ходу окунаем в воду плывущие по ней сломанные корзины, разгоняем стайки щепок и стружек, режем пятна угольной пыли; вправо, влево, под деревянными фигурами на форштевне «Джона Сандерландского», держащего речь к ветрам (удел многих Джонов на свете!), и «Бетси Ярмутской», красавицы с крепкой грудью и круглыми глазами, на два дюйма торчащими из орбит; вправо, влево, между верфей, где не смолкая стучат молотки и пилы ходят по дереву, где грохочут машины, работают насосы на кораблях, давших течь, и скрипят лебедки, где корабли берут курс в открытое море и какие-то морские чудища во всю глотку переругиваются через фальшборт с матросами на лихтерах; вправо, влево, и наконец — вон из этого столпотворения, туда, где юнги могут убрать свои кранцы — хватит, мол, ловить рыбу в мутной воде,— и свернутые паруса могут раздуться на вольном ветру.

У лестницы, куда мы подходили взять Провиса, и позже, я все время поглядывал — не наблюдают ли за нами, но ничего подозрительного не заметил. Уж конечно, никакая лодка не шла следом за нашей ни сейчас, ни раньше. Если бы я обнаружил такую лодку, то пристал бы к берегу и вынудил сидящих в ней либо обогнать нас, либо выдать свои намерения. Но по всем признакам нам ниоткуда ничто не грозило.

Провис надел свой длинный плащ и, как я уже сказал, прекрасно подходил к окружающей картине. Меня удивило, что он казался спокойнее нас всех (впрочем, это, возможно, объяснялось тем, какую страшную жизнь он прожил). То не было равнодушие,— он сказал мне, что надеется еще увидеть своего джентльмена лучшим из лучших в чужой стране; не замечал я в нем и смиренной покорности судьбе,— просто он не желал волноваться раньше времени. Когда опасность придет, он встретит ее мужественно, но к чему забегать вперед?

— Кабы ты знал, до чего это хорошо, мой мальчик,—

сказал он мне,— сидеть возле моего мальчика да покуривать, после того как столько дней был заперт в четырех стенах,— ты бы мне позавидовал. Но тебе этого не понять.

— Мне кажется, я понимаю всю сладость свободы,— сказал я.

— Может быть,— сказал он, важно покачав головой,— но все же не настолько понимаешь, как я. Для этого, мой мальчик, надо под замком посидеть, как я... Да что там, не буду я говорить недостойных слов.

Мне подумалось — как же он в таком случае мог ради владевшей им фантазии подвергнуть опасности не только свою свободу, но и жизнь? А потом я сообразил, что ему, не в пример другим людям, свобода, не связанная с опасностью, представлялась чем-то противоестественным. Как видно, догадка моя была близка к истине, потому что он, покурив немного, продолжал:

— Видишь ли, мой мальчик, когда я жил там, на другом конце света, меня все время тянуло сюда, на этот конец; и шибко мне там наскучило, хоть я и богател день ото дня. Мэгвича все знали, Мэгвич мог ездить куда хотел и делать что хотел, и никто на него внимания не обращал. Ну, а здесь, милый мальчик, мною куда больше интересуются, вернее сказать — стали бы интересоваться, кабы знали, где я есть.

— Если все будет хорошо,— сказал я,— завтра вы опять окажетесь на свободе и в полной безопасности.

— Что ж,— сказал он и глубоко вздохнул,— будем надеяться.

— А вы не очень надеетесь?

Он окунул руку в воду и сказал, улыбаясь с той мягкостью, которую я уже в нем подметил:

— Да нет, мой мальчик, отчего же. Вон, видишь, как у нас все идет ладно да гладко. Только,— я это, может, потому подумал, что очень уж приятно да тихо мы скользим по воде,— только я вот сейчас подумал, пока трубку свою курил, что как реку до дна не увидишь, так не угадаешь, что будет через несколько часов. И остановить время не остановишь, все равно как воду. А она — вон — ушла между пальцев, и нет ее, видишь? — И он поднял руку, с которой стекали блестящие капли.

— Если бы не выражение вашего лица, я бы подумал, что вы что-то приуныли,— сказал я.

— Ни чуточки, мой мальчик! Это все оттого, что очень уж мы славно плывем, и вода под лодкой журчит, все равно как из церкви пение доносится. А еще — видно, я понемножку стареть начинаю.

Он с невозмутимым видом сунул трубку в рот и сидел, такой безмятежный и довольный, точно мы уже находились за пределами Англии. А между тем каждого совета он слушался так, словно пребывал в непрестанном страхе: когда мы часов в двенадцать пристали к берегу, чтобы купить на дорогу пива, и он хотел выйти из лодки, я заметил, что ему, по-моему, не следует выходить, и он только произнес: «Ты так думаешь, мой мальчик?» — и покорно уселся на свое место.

На реке было свежо, но солнце светило ярко, и это придавало нам бодрости. Я старался как можно лучше использовать течение, товарищи мои гребли все так же ровно, и мы быстро подвигались вперед. Вода между тем спадала, ближние холмы и леса постепенно скрывались из виду, и мы опускались все ниже между илистых берегов, но отлив хорошо помогал нам еще и тогда, когда мы проходили Грейвзенд. Пассажир наш был надежно укутан плащом, поэтому я, чтобы попасть в фарватер, провел лодку совсем близко от плавучей таможни, мимо двух пароходов с переселенцами и под самым носом военного транспорта, на глазах у солдат, смотревших на нас со шканцев. Но вскоре сила отлива стала убывать, и все суда, стоявшие на якоре, стали поворачиваться, и вот они уже повернулись, а корабли, ожидавшие прилива, чтобы войти в порт, стали надвигаться на нас целой флотилией, и тогда мы прижались к берегу, где прилив меньше давал себя чувствовать, и еще некоторое время ползли вперед, осторожно обходя банки и отмели.

Наши гребцы, которые за день несколько раз делали короткую передышку, пуская лодку плыть по течению, заявили, что почти не устали и для отдыха им вполне хватит четверти часа. По скользким камням мы поднялись на берег, чтобы закусить тем, что было у нас с собой, и оглядеться. Местность здесь была похожа на наши болота — плоская однообразная равнина, сколько хватит глаз; река

уходила вдаль бесконечными излучинами, и бесконечно поворачивались на ней плавучие буи, а все остальное словно застыло в неподвижности. Ибо последний корабль флотилии уже исчез за последним низким мысом, который мы обогнули, и исчезла последняя зеленая барка с бурым парусом, груженная соломой; несколько плашкотов, похожих на те кораблики, что мастерят неумелые детские руки, стояли, зарывшись в тину; и низенький маяк на сваях стоял в тине, как калека на костылях; и торчали из тины осклизлые колья, и торчали из тины осклизлые камни, и торчали из тины красные столбики-вехи, и сползала в тину ветхая пристань и ветхий домишко без крыши, и не было вокруг нас ничего кроме тины и мертвого безлюдья.

Мы снова отчалили и, как могли, поплыли дальше. Теперь это было много труднее, но Герберт и Стартоп не сдавались и гребли, гребли, гребли до самого заката. К этому времени река подняла нас повыше, и стало видно далеко вокруг. Вон красное солнце на горизонте опускается в лиловую, быстро чернеющую мглу; вот пустынное, плоское болото; а там, вдали, холмы, и кажется, что ничего живого не осталось на земле, разве что мелькнет над водой одинокая чайка.

Между тем быстро темнело, луна должна была взойти еще не скоро, и мы собрали совет; длился он недолго — всем было ясно, что нам следует заночевать в первой же глухой харчевне, какая попадется на пути. И вот друзья мои опять взялись за весла, а я стал высматривать какое-нибудь строение. Так, лишь изредка перекидываясь словами, мы проплыли четыре-пять долгих миль. Было очень холодно, и встречный угольщик, в камбузе которого ярко пылал огонь, показался нам уютным, как родной дом. Теперь уже совсем стемнело, только река светилась, когда весла, погружаясь в воду, тревожили редкие отражения звезд.

В этот смутный час у всех нас, видно, было ощущение, что за нами гонятся. Временами волны прилива с тяжелым плеском ударялись о берег, и, заслышав этот звук, кто-нибудь из нас непременно вздрагивал и смотрел в том направлении. Кое-где течением вымыло в берегу узкие бухточки, и все мы с опаской к ним приближались и тре-

вожно в них заглядывали. По временам кто-нибудь тихо спрашивал: «Что это плеснуло?» Или другой говорил: «Вон там, кажется, лодка!» После чего воцарялась мертвая тишина, и я с раздражением думал, как громко весла трутся об уключины.

Наконец мы завидели огонек и крышу, а вскоре после этого причалили к маленькой пристани, сложенной из таких же камней, какие валялись повсюду вокруг. Я один сошел на берег и выяснил, что огонек светится в окне харчевни. Дом отнюдь не блистал чистотой и, по всей вероятности, был хорошо знаком контрабандистам; но в кухне жарко топился очаг, и можно было заказать яичницу с салом, не говоря уже о всяких напитках. Имелись также две комнаты для постояльцев, «какие ни на есть», по словам хозяина. Во всем доме оказался только хозяин, его жена да седое существо мужского пола — работник, такой осклизлый и грязный, словно и его покрывало приливом до верхней отметки.

С этим помощником я снова спустился к лодке, мы забрали из нее весла, руль и багор, а лодку вытащили на берег. Мы плотно поужинали у кухонного очага и пошли взглянуть на свои комнаты: Герберт и Стартоп заняли одну, мы с Провисом другую. Воздух был изгнан из них так основательно, словно присутствие его грозило смертью, а под кроватями валялось такое количество грязного белья и каких-то картонок, что я подивился — откуда у хозяев столько добра. Но, несмотря на это, мы решили, что превосходно устроились, потому что более уединенного места и сыскать было нельзя.

Когда мы опять расположились у огонька, работник — он сидел поодаль в углу, вытянув ноги в огромных разбухших башмаках, о которых успел сообщить нам, пока мы ели яичницу с салом, что дня три назад снял их с утонувшего матроса, когда труп прибило к берегу,— работник спросил меня, повстречалась ли нам четырехвесельная шлюпка. На мой отрицательный ответ он сказал, что она, значит, пошла вниз, хотя отсюда повернула вверх, с приливом.

— Видно, они почему-нибудь передумали,— добавил работник.

— Вы как сказали, четырехвесельная? — переспросил я.

— Правильно, — сказал он.— Четыре гребца и два пассажира.

— Они сходили на берег?

— А как же, пива брали, бутыль у них с собой была на два галлона. Я бы им в это пиво с моим удовольствием яда подсыпал либо какого зелья подлил.

— Почему?

— Уж я-то знаю почему,— голос работника хлюпал, точно в горло ему намыло тины.

— Он думает,— сказал хозяин, хилый, медлительный человек с белесыми глазами, видимо привыкший полагаться на своего работника,— он думает про них такое, чего и нет.

— Уж я-то знаю, что я думаю,— заметил работник.

— Ты думаешь, это таможенные,— сказал хозяин.

— Ага,— сказал работник.

— Ну, и ошибаешься.

— Кто, я?

После этого красноречивого ответа, в котором звучала безграничная вера в собственную непогрешимость, работник снял один из своих разбухших башмаков, заглянул в него, вытряхнул на пол несколько камешков и надел снова. Он проделал это с видом человека, который может все себе позволить, потому что всегда прав.

— А куда же они, по-твоему, девали свои пуговицы? — возразил хозяин уже менее убежденно.

— Пуговицы куда девали? — окрысился работник.— В воду бросили. Проглотили. Посеяли, авось, мол, салат вырастет. Вот куда девали.

— А ты не задирайся,— жалобно попрекнул его хозяин.

— Уж таможенный найдет, куда деть свои *пуговицы,*— сказал работник, презрительно подчеркивая ненавистное слово,— ежели ему несподручно, чтобы их люди видели. С какой бы радости четырехвесельной шлюпке с двумя пассажирами шнырять то вверх по течению, то вниз, то не поймешь как,— нет, тут наверняка таможенными пахнет.

С этими словами он гордо удалился из кухни; а хозяин счел за благо оставить неприятную тему.

От этого их разговора всем нам стало не по себе, а

мне — в особенности. Ветер уныло бормотал за окном вода плескалась о берег, и у меня было ощущение, что мы заперты в клетке, окруженной врагами. Эта зловещая четырехвесельная шлюпка, неизвестно зачем шныряющая так близко от нас, не шла у меня из ума. Уговорив Провиса лечь спать, я вызвал на улицу обоих моих товарищей (Стартоп к этому времени уже был посвящен в нашу тайну), и мы опять стали держать совет. Нужно было обсудить, оставаться ли здесь до тех пор, пока не пора будет выезжать к пароходу,— то есть примерно до полудня следующего дня,— или же отчалить рано утром. Нам казалось, что лучше будет пока остаться на месте, а за час до того, как мог появиться пароход, выгрести в фарватер и тихонько плыть вперед по течению. Порешив на этом, мы возвратились в дом и пошли спать.

Я лег, почти не раздеваясь, и несколько часов спокойно проспал. Проснувшись, я услышал, что ветер усилился и вывеска харчевни («Корабль») скрипит и стукается о свой столб. Встревоженный, я встал тихонько, чтобы не разбудить крепко спавшего Провиса, и подошел к окну. Оно выходило на пристань, куда мы вытащили свою лодку, и, когда глаза мои привыкли к тусклому свету затянутой облаками луны, я увидел, что в лодку заглядывают какие-то два человека. Они прошли под окном и не стали спускаться к причалу, где, как я заметил, никого не было, а зашагали по болотам по направлению к устью реки.

Первой моей мыслью было разбудить Герберта и показать ему их удаляющиеся фигуры. Однако, еще не войдя в его комнату, которая примыкала к моей, но смотрела в противоположную сторону, я передумал, вспомнив, что ему и Стартопу пришлось сегодня тяжелее, чем мне, и жаль нарушать его отдых. Из своего окна я еще раз поглядел на двух человек, шагающих по болоту; они вскоре скрылись из глаз, и, сильно озябнув, я улегся, чтобы все хорошенько обдумать, и тут же уснул.

Встали мы рано. Пока мы, дожидаясь завтрака, вчетвером прохаживались перед домом, я решил рассказать о том, что видел ночью. И снова Провис взволновался меньше других. Скорей всего, сказал он спокойно, это и правда таможенные, а к нам они не имеют никакого каса-

тельства. Я старался убедить себя, что так оно и есть, тем более что это было вполне возможно. И все же я подал мысль,— не пройти ли нам с ним пешком до мыса, который был отсюда виден, с тем чтобы лодка забрала нас там часов в двенадцать. Все решили, что такая предосторожность не помешает, и вскоре после завтрака, не сказавшись никому в харчевне, мы с ним пустились в путь.

Дорогой он курил свою трубку да изредка останавливался, чтобы потрепать меня по плечу. Можно было подумать, что не ему, а мне грозит опасность и он меня успокаивает. Говорили мы очень мало. Подойдя к назначенному месту, я попросил его обождать за кучей камней, пока я осмотрю окрестность, потому что ночью те двое шли в этом же направлении. Он послушался, и я пошел дальше один. Ни у самого мыса, ни поблизости от него никаких лодок не было, не было и признаков того, чтобы кто-нибудь здесь садился в лодку. Впрочем, с ночи река сильно поднялась, и следы ног, если они здесь и были, могли оказаться под водой.

Когда Провис выглянул из-за своего укрытия и увидел, что я машу ему шляпой, он подошел ко мне, и мы стали поджидать остальных, то лежа на берегу, закутавшись в плащи, то прохаживаясь, чтобы согреться. Но вот из-за мыса показалась наша лодка; мы уселись и выгребли в фарватер. Время уже было без десяти час, и мы стали высматривать, не покажется ли дым парохода.

Однако лишь в половине второго мы завидели вдали столб дыма, а вскоре за ним и второй. Пароходы шли полным ходом, и мы, приготовив наши два дорожных мешка, стали прощаться с Гербертом и Стартопом. Только что мы пожали друг другу руки, причем ни Герберт, ни я не могли удержаться от слез, как из бухточки немного впереди нас стрелою вылетела четырехвесельная шлюпка и тоже стала править на середину реки.

До сих пор мы видели только дым, так как самый пароход был скрыт за поворотом берега; но вот и он показался — идет прямо на нас. Я скомандовал Герберту и Стартопу держать наперерез течению, чтобы нас лучше было видно с парохода, а Провису крикнул — пусть завернется в свой плащ и сидит тихо. Он бодро отозвался: «Будь покоен, мой мальчик»,— и замер неподвижно, как

статуя. Тем временем шлюпка, повинуясь умелым гребцам, пересекла нам путь, дала нам с нею поравняться и пошла рядом. Оставив между бортами ровно столько места, сколько требовалось, чтобы работать веслами, они так и держались рядом — вслед за нами переставали грести, вслед за нами делали два-три взмаха. Один из двух пассажиров правил рулем и так же, как его гребцы, внимательно нас разглядывал; второй, закутанный не хуже Провиса, взглянул на нас, а потом весь съежился и что-то шепнул рулевому. Больше никто не произнес ни слова.

Через несколько минут Стартоп, сидевший напротив меня, разобрал, который пароход идет первым, и вполголоса сказал мне: — Гамбургский.— Пароход приближался очень быстро, лопасти его колес все громче шлепали по воде. Мне уже казалось, что тень его настигает нашу лодку, когда с шлюпки нас окликнули. Я отозвался.

— Среди вас имеется самовольно вернувшийся ссыльный,— сказал человек, сидевший на руле.— Вон он, тот, что закутан в плащ. Зовут его Абель Мэгвич, иначе — Провис. Я арестую этого человека и предлагаю ему сдаться, а вам — оказать помощь полиции.

В ту же минуту, словно бы ничего и не скомандовав своим гребцам, он подвел шлюпку вплотную к нашей лодке: не успели мы оглянуться, как они одним сильным взмахом рванули вперед, убрали весла и крепко вцепились в наш борт. Это вызвало страшное смятение на пароходе, я услышал, как нам что-то кричат, услышал команду остановить машину, услышал, как колеса остановились, но чувствовал, что пароход продолжает неудержимо на нас надвигаться. В ту же минуту я увидел, что рулевой шлюпки положил руку на плечо арестованному и что обе лодки стало поворачивать по течению, а вверху матросы со всех ног сбегаются на бак. В ту же минуту арестованный вскочил и, протянув руку через плечо полицейского, сдернул плащ с головы человека, который, съежившись, сидел в шлюпке. В ту же минуту я узнал его лицо — лицо второго каторжника из времен моего детства. И в ту же минуту это помертвевшее от ужаса лицо, которого я никогда не забуду, отпрянуло назад, с парохода раздался многоголосый крик, потом громкий всплеск где-то рядом со мной, и я почувствовал, что лодка из-под меня уходит.

Всего какое-нибудь мгновение я словно отбивался от тысячи мельничных колес и тысячи вспышек света; это мгновение прошло, меня втащили в шлюпку. Тут был и Герберт и Стартоп; но наша лодка исчезла, и оба каторжника тоже исчезли.

В сумятице оглушительных криков и свиста выходящего пара, поворотов парохода и бешеных скачков шлюпки я сначала не мог отличить небо от воды и один берег от другого; но матросы ловко выправили шлюпку, и отведя ее вперед с помощью нескольких быстрых, сильных ударов, склонились над веслами и стали пристально вглядываться в воду за кормой. Вскоре мы заметили в воде какой-то черный предмет, который несло на нас течением. Никто не произнес ни слова, но рулевой поднял руку, и гребцы стали потихоньку табанить, чтобы шлюпку не относило. Темный предмет приблизился, и я увидел, что это плывет Мэгвич, но плывет неловко, с трудом. Его втащили на борт и немедленно заковали в ручные и ножные кандалы.

Шлюпку опять выправили, и молчаливое наблюдение за водой возобновилось. Но уже близко был роттердамский пароход, который, видимо ничего не подозревая, шел полным ходом. Его окликали, пытались остановить, но поздно: через минуту оба парохода уже удалялись от нас, а шлюпка подпрыгивала на поднятых ими волнах. Наблюдение продолжалось еще долго после того, как все стихло и пароходы скрылись из виду; но все знали, что теперь это дело безнадежное.

В конце концов мы отступились и поплыли вдоль берега к харчевне, которую мы так недавно покинули и где были встречены с превеликим удивлением. Здесь я мог кое-чем облегчить страдания Мэгвича — теперь уже не Провиса! — у которого была сильно ушиблена грудь и рассечена голова.

Он рассказал мне, что, по-видимому, очутился под килем парохода и, подымаясь, задел о него головой. А грудью он, очевидно, ударился о борт шлюпки, да так сильно, что дыхание причиняло ему страшную боль. Он добавил, что не берется сказать, что́ готов был сделать с Компесоном, но в ту минуту, как он сдернул с него плащ, негодяй вскочил с места, откинулся назад, и они вместе

свалились за борт; а оттого, что он, Мэгвич, падая, толкнул нашу лодку и от попыток его помощника удержать его, лодка перевернулась. И еще он рассказал мне, шепотом, что они пошли ко дну, вцепившись друг в друга, что под водой произошла жестокая схватка, а потом он рванулся, вырвался и уплыл.

У меня не было причин сомневаться в том, что его рассказ — истинная правда. Полицейский офицер, правивший шлюпкой, почти в тех же словах описал, как они свалились в воду.

Когда я попросил у этого офицера разрешения снять с арестованного мокрую одежду и взамен купить для него, что найдется у хозяев харчевни, он охотно согласился, оговорив только, что обязан взять на сохранение все, что Мэгвич имел при себе; таким образом к нему перешел и бумажник, некогда отданный в мое распоряжение. Он также разрешил мне — но только мне, а не моим друзьям — сопровождать арестованного в Лондон.

Работнику из «Корабля» было указано, где именно погибший упал в воду, и он взялся поискать труп в тех местах, куда его скорее всего могло выбросить. Мне показалось, что его интерес к этим поискам сильно возрос, когда он узнал, что на утонувшем были чулки. Вероятно, чтобы одеть его с головы до ног, требовалось не менее десятка утопленников: этим, должно быть, и объясняется, почему все предметы его одежды находились на различных ступенях разрушения.

Мы пробыли в харчевне до трех часов дня, а когда начался прилив, Мэгвича снесли к пристани и положили в шлюпку. Герберту и Стартопу предстояло добираться до Лондона сухим путем. Печально было наше прощание, а садясь в лодку рядом с Мэгвичем, я почувствовал, что, пока он жив, тут теперь и будет мое место.

Ибо от моего отвращения к нему не осталось и следа, и в загнанном, израненном, закованном арестанте, державшем мою руку в своей, я видел только человека, который вознамерился стать моим благодетелем и в течение долгих лет хранил ко мне добрые, благодарные, великодушные чувства. Я видел в нем только человека, который обошелся со мной куда лучше, чем я обошелся с Джо.

Ему делалось все труднее дышать, и часто он не мог

удержаться от стона. Я старался поддерживать его голову здоровой рукой, а сам с ужасом чувствовал, что не могу сожалеть о его тяжелых увечьях, поскольку скорая смерть была бы для него избавлением. Я не сомневался, что еще живы люди, способные и готовые опознать его, и не надеялся, что к нему проявят снисхождение. Ведь в свое время, на суде, его постарались выставить в наихудшем свете, а после того он бежал из тюрьмы и опять предстал перед судом, вернулся из ссылки, зная, что это грозит ему смертью, и по сути дела убил человека, стараниями которого был арестован.

Пока мы плыли к заходящему солнцу, которое вчера садилось позади нас, и река наших надежд словно катила свои волны вспять, я сказал ему, как меня гнетет мысль, что он возвратился на родину из-за меня.

— Милый мальчик,— отвечал он,— что бы ни случилось, я доволен. Я повидал своего мальчика, а джентльменом он может быть и без меня.

Нет. Я и об этом успел подумать, пока сидел с ним рядом. Нет. Не говоря уже о моих собственных желаниях, теперь я понимал намеки Уэммика. Я не сомневался, что раз он будет осужден, все его имущество отойдет в казну.

— Послушай, мой мальчик,— сказал он.— Теперь люди пусть лучше не знают, что джентльмен со мной знакомство водит. Ты навещай меня этак случайно, как будто просто зашел за компанию с Уэммиком. И когда меня приведут к присяге,— уж это будет в последний раз! — сядь так, чтобы мне тебя видно было. А больше мне ничего не нужно.

— Я никуда от вас не уйду,— сказал я,— буду с вами всегда, когда только разрешат. Видит бог, я останусь вам верен, как вы были верны мне!

Я почувствовал, как рука его задрожала; он отвернулся лицом к дощатому борту лодки, и снова из горла его послышался знакомый булькающий звук, но словно смягченный, так же как и сам он смягчился. И хорошо, что благодаря его словам я вовремя сообразил то, до чего иначе мог додуматься слишком поздно: конечно же, от него нужно утаить, что его расчеты — сделать из меня богатого человека — пошли прахом.

ГЛАВА LV

На следующий день его доставили в полицейский суд, и дело было бы сразу назначено к слушанию, если бы для установления его личности не пришлось послать за старым надзирателем, служившим в плавучей тюрьме, откуда он когда-то сбежал. Никто в его личности не сомневался, но Компесона, который должен был ее засвидетельствовать, мертвого носило где-то по волнам, а в Лондоне в то время не случилось никого из тюремных служащих, кто бы мог дать нужные показания. Я еще накануне, сразу по возвращении, побывал на дому у мистера Джеггерса, чтобы заручиться его помощью, и мистер Джеггерс обещал не показывать против арестованного. Ничего больше и нельзя было сделать: он сказал мне, что, когда свидетель явится, дело будет решено в пять минут, и никакие силы на земле не помогут решить его в нашу пользу.

Я сообщил мистеру Джеггерсу свой план — скрыть от Мэгвича потерю его состояния. Мистер Джеггерс сердито попенял мне за то, что я «дал деньгам ускользнуть между пальцев», и сказал, что нужно будет своевременно подать прошение и попытаться хотя бы частично их сохранить. Однако он не утаил от меня, что, хотя далеко не все приговоры предусматривают конфискацию имущества, в данном случае ее не избежать. Это я и сам хорошо понимал. Я не состоял с преступником в родстве, не был связан с ним никакими признанными узами; до своего ареста он не написал никакого завещания или дарственной в мою пользу, а теперь это было бы бесполезно. Я не имел никаких прав на его имущество; и я принял решение — от которого никогда не отступал,— что не стану растравлять себя безнадежными попытками утвердить за собой такое право.

Были основания предполагать, что утонувший доносчик рассчитывал, в случае конфискации, на большое вознаграждение и собрал точные сведения об имущественном положении Мэгвича. Когда труп его наконец нашли — за много миль от места катастрофы и в таком обезображенном виде, что узнать его можно было только по содержимому его карманов,— кое-какие записи, хранившиеся в

бумажнике, удалось разобрать. Там значилось имя банкира в Новом Южном Уэльсе, принявшего от Мэгвича крупный денежный вклад, и было перечислено несколько весьма ценных земельных участков. Оба эти пункта входили также в перечень, который Мэгвич дал мистеру Джеггерсу в тюрьме, воображая, что я унаследую все его богатства. Вот когда невежество этого несчастного пошло ему на пользу: он ни на минуту не усомнился, что раз мистер Джеггерс взял дело в свои руки, то наследство мое обеспечено.

По прошествии трех дней свидетель, которого дожидалось обвинение, явился, и несложное следствие было закончено. Мэгвич должен был предстать перед судом на ближайшей сессии, которая начиналась через месяц.

В эту-то тяжелую пору моей жизни Герберт пришел однажды вечером домой в большом огорчении и сказал:

— Дорогой мой Гендель, боюсь, что скоро я буду вынужден тебя покинуть.

Будучи подготовлен к этому известию его компаньоном, я удивился меньше, чем он того ожидал.

— Если я не поеду сейчас в Каир, мы упустим прекрасные возможности, и выходит, Гендель, что придется мне уехать как раз тогда, когда я тебе больше всего нужен.

— Ты всегда будешь мне нужен, Герберт, потому что я всегда буду тебя любить; но сейчас ты мне нужен не больше, чем в любое другое время.

— Тебе будет так тоскливо.

— Об этом мне некогда думать,— сказал я.— Ты же знаешь,— все время, сколько разрешается, я провожу у него, я бы целый день от него не уходил, если б можно было. А остальное время мысли мои все равно с ним.

Ужасающее положение, в каком оказался Мэгвич, так потрясло нас обоих, что мы были не в силах говорить о нем в более определенных словах.

— Дорогой мой,— сказал Герберт,— только в виду нашей близкой разлуки — а она очень близка — я осмеливаюсь задать тебе вопрос: ты подумал о своем будущем?

— Нет, я вообще боюсь думать о будущем.



— Но ты не вправе о себе забывать, никуда это не годится, дорогой мой Гендель. Давай-ка побеседуем немножко о твоих делах, по старой дружбе.

— Изволь,— сказал я.

— В нашей новой конторе, Гендель, нам понадобится...

Видя, что из деликатности он не решается произнести нужное слово, я подсказал: — Клерк.

— Да, клерк. И, насколько я понимаю, со временем он (подобно одному клерку, с которым ты хорошо знаком), вполне может превратиться в компаньона. Так вот, Гендель... словом, дорогой мой, приезжай-ка ты ко мне!

Пленительна была подкупающая сердечность, с какой он, после слов «так вот, Гендель», видимо предназначенных служить вступлением к серьезному деловому разговору, внезапно переменил тон, протянул мне свою честную руку и заговорил как мальчишка.

— Мы с Кларой уже столько раз все это обсудили,— продолжал Герберт,— и моя дорогая девочка не далее как сегодня со слезами на глазах просила тебе передать, что, если ты согласишься с нами жить, когда приедешь, она всеми силами постарается, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты убедился, что друг ее мужа и ей тоже друг. Мы бы так чудесно зажили, Гендель!

Я горячо поблагодарил Клару и горячо поблагодарил Герберта, но сказал, что сейчас еще не могу дать ответа на его великодушное предложение. Во-первых, голова у меня так полна другими заботами, что я и обдумать ничего толком не в состоянии. Во-вторых... Да! Во-вторых, в сознании моем смутно зародилось нечто, о чем будет еще сказано к самому концу этой нехитрой повести.

— Но если ты считаешь, Герберт, что вопрос этот, без ущерба для вашего дела, можно на некоторое время оставить открытым..

— На сколько угодно времени! — воскликнул Герберт.— На полгода, на год!

— Это слишком много,— сказал я.— Самое большее — на два-три месяца.

К полному удовольствию Герберта мы скрепили этот уговор рукопожатием, после чего у него достало храбро-

сти сообщить мне, что отъезд его, видимо, должен состояться уже в конце недели.

— А Клара?

— Моя дорогая девочка не бросит своего отца, покуда он жив; но проживет он недолго. Миссис Уимпл шепнула мне по секрету, что он вот-вот отдаст богу душу.

— Я не хочу показаться бессердечным,— заметил я,— но, право же, это лучшее, что он может сделать.

— Пожалуй,— сказал Герберт.— Ну, а тогда я приеду за своей дорогой девочкой, и мы с ней тихо обвенчаемся в ближайшей церкви. Не забудь, дорогой мой Гендель, у этой прелестной крошки нет никакой родословной, она в глаза не видела книги пэров и ничегошеньки не знает о своем дедушке. Это ли не счастье для сына моей матери!

На той же неделе в субботу я проводил Герберта до почтовой кареты, увозившей его в порт, и он уехал, преисполненный радужных надежд, но глубоко огорченный разлукой со мной. Я зашел в какой-то ресторанчик, послал оттуда Кларе записку, извещая ее, что он благополучно отбыл и велел передать ей тысячу самых нежных приветов, а потом одиноко направился к себе домой — если так можно выразиться, ибо я уже не чувствовал себя там дома, и не было на свете дома, который я мог бы назвать своим.

На лестнице мне повстречался Уэммик,— он, оказывается, безуспешно стучал в мою дверь. Я еще не виделся с ним с глазу на глаз после плачевного исхода нашей попытки к бегству, и он приходил для того, чтобы, как сугубо частное лицо, объяснить мне кое-что в связи с этой неудачей.

— К покойному Компесону,— сказал Уэммик,— вели нити чуть не от всех дел, которыми мы занимались, и то, о чем я вам говорил, я узнал из разговоров кое-каких его подручных, попавших в беду (кто-нибудь из его подручных всегда попадает в беду). После этого я уже ничего не пропускал мимо ушей и наконец услышал, что он отлучился из Лондона, и подумал, что вот самое время вам попытать счастья. Теперь-то я так полагаю, что он, будучи очень хитрым человеком, нарочно обманывал тех, кого заставлял на себя работать,— это была его система. Вы, надеюсь, не в обиде на меня, мистер Пип? Поверьте, я очень старался услужить вам, чем только мог.

— Это я прекрасно знаю, Уэммик, и я вам от души признателен за ваше участие и дружбу.

— Ну и спасибо вам, большое спасибо. Скверная получилась история,— сказал Уэммик, почесывая в затылке,— уверяю вас, я давно не был так расстроен. Я все думаю — сколько движимого имущества зря пропало. Ой-ой-ой!

— А я, Уэммик, больше думаю о несчастном владельце этого имущества.

— Да, разумеется,— сказал Уэммик.— Вполне понятно, что вы ему сочувствуете, я бы и сам не пожалел пяти фунтов, чтобы его вызволить. Но я смотрю на дело так: уж раз покойный Компесон сумел заранее прознать о его возвращении и задумал выдать его, навряд ли было возможно его спасти. А вот движимое имущество было вполне возможно спасти. В этом и состоит различие между имуществом и его владельцем, вы меня понимаете?

Я пригласил Уэммика зайти и выпить грога, прежде чем отправляться в Уолворт. Он согласился. Еще не допив свои полстакана, он вдруг спросил без всяких предисловий, только изобразив некоторую сконфуженность:

— Мистер Пип, что вы скажете, если я в понедельник возьму себе отпуск?

— Что ж, это вы, вероятно, первый раз за целый год себе позволяете.

— Скажите лучше — за десять лет,— заявил Уэммик.— Да. Я решил в понедельник взять себе отпуск. Более того: я решил отправиться на прогулку. Более того: я решил просить вас сопровождать меня.

Я хотел отговориться тем, что невеселый из меня сейчас получится спутник, но Уэммик не дал мне открыть рот.

— Я знаю, чем занято ваше время, мистер Пип,— сказал он,— и знаю, что настроение у вас неважное. Но если бы вы могли оказать мне такую любезность, вы бы меня весьма обязали. Прогулка это недолгая, и к тому же ранняя. Вам пришлось бы потратить на нее, вместе с завтраком, скажем — часа четыре, с восьми до двенадцати. Вы прикиньте, неужели вы так-таки не сможете выкроить на это время?

Он столько для меня сделал, с тех пор как началось наше знакомство, что было бы грешно отказать ему в

таком пустяке. Я сказал, что смогу выкроить время, что выкрою непременно,— и сам порадовался, видя, какую радость доставило ему мое согласие. Мы условились, что я зайду за ним в замок в понедельник утром ровно в половине девятого, и на том распростились.

В понедельник, точно в назначенное время, я позвонил у ворот замка. Уэммик сам впустил меня, и мне показалось, что вид у него еще более аккуратный, чем обычно, и шляпа вычищена еще лучше. В столовой уже были приготовлены два стакана рома с молоком и два сухарика. Престарелый, как видно, встал в этот день с петухами: бросив взгляд в открытую дверь его спальни, я заметил, что кровать его пуста.

Когда мы, подкрепившись на дорогу ромом с молоком и сухариками, стали собираться на таинственную прогулку, Уэммик, к моему великому удивлению, извлек откуда-то удочку и взял ее на плечо.

— Разве мы идем на рыбную ловлю? — спросил я.

— Нет,— отвечал Уэммик,— но я люблю гулять с удочкой.

Мне это показалось странным; однако я промолчал, и мы пустились в путь. Мы пошли по направлению к Кемберуэлскому лугу, и, приближаясь к нему, Уэммик вдруг сказал:

— Ого! Глядите-ка, церковь!

В этом не было ничего достойного удивления; но мне опять пришлось удивиться, когда он сказал, словно осененный блестящей идеей:

— Не зайти ли нам туда?

Мы зашли, оставив удочку на паперти, и огляделись по сторонам. Уэммик залез в карман и вытащил из него что-то, завернутое в бумагу.

— Ого!— сказал он.— Глядите-ка, две пары перчаток! Не надеть ли нам их?

Поскольку перчатки были белые, лайковые и поскольку щель почтового ящика была раздвинута до последнего предела, я начал о чем-то догадываться. Догадка моя превратилась в уверенность, когда в церковь через боковую дверь вступил Престарелый, сопровождавший даму.

— Ого! — сказал Уэммик.— Глядите-ка, мисс Скиффинс! Не сыграть ли нам свадьбу?

Целомудренная эта девица была одета как обычно, если не считать того, что она в ту самую минуту меняла свои зеленые лайковые перчатки на белые. Такого же рода жертву на алтарь Гименея готовился принести и Престарелый. Но для старичка процедура надевания перчаток оказалась сопряженной со столь великими трудностями, что Уэммик счел необходимым прислонить его спиной к колонне, а сам, зайдя сзади, стал изо всех сил тянуть перчатки на себя, в то время как я крепко держал старичка за талию, чтобы он мог, без опасности для жизни, оказать соответствующее сопротивление. С помощью этого хитроумного маневра перчатки наделись как нельзя лучше.

Тут появились священник и пономарь, и нас, выстроив по рангу, подвели к роковым ступеням. Перед началом венчания я услышал, как Уэммик, верный своему замыслу все делать как бы невзначай, сказал, доставая что-то из жилетного кармана:

— Ого! Глядите-ка, кольцо!

Я исполнял обязанности шафера, или дружки жениха; а маленькая хлипкая привратница в детском чепчике притворялась закадычной подругой мисс Скиффинс. Ответственная роль посаженого отца досталась Престарелому, в связи с чем он, без всякого злого умысла, поставил священника в весьма неудобное положение. Произошло это так. Когда священник вопросил: «Кто отдает сию женщину в жены сему мужчине?», старый джентльмен, понятия не имевший, до какого места венчания мы добрались, продолжал благодушно улыбаться десяти заповедям, начертанным на стене. Священник вопросил еще раз: «*Кто* отдает сию женщину в жены сему мужчине?» Видя, что старый джентльмен по-прежнему пребывает в блаженном неведении относительно всего происходящего, жених прокричал громко, как привык обращаться к нему дома: «Ну, Престарелый Родитель, ты же знаешь, как отвечать; кто отдает?» На что Престарелый, прежде чем заявить, что отдает не кто иной, как он, с готовностью отозвался: «Превосходно, Джон, превосходно, мой мальчик!» И тут священник сделал такую зловещую паузу, что у меня закралось сомнение — удастся ли нам в этот день довенчаться.

Однако это нам удалось, и, когда мы выходили из церкви, Уэммик снял крышку с купели, положил туда свои белые перчатки и водворил крышку на место. Миссис Уэммик, проявив больше предусмотрительности, положила свои белые перчатки в карман и опять надела зеленые.

— А теперь, мистер Пип,— сказал Уэммик, с торжествующим видом вскидывая удочку на плечо,— разрешите вас спросить, может ли кому прийти в голову, что мы только что от венца?

Завтрак был заказан для нас в чистенькой кухмистерской неподалеку от церкви, с видом на Кемберуэлский луг; в комнате, где мы уселись, стоял небольшой бильярд на случай, если мы захотим рассеяться после торжественной церемонии. Я с удовольствием отметил, что миссис Уэммик уже не разматывала руку Уэммика, когда она обвивалась вокруг ее талии, а, сидя у стены на стуле с высокой спинкой, подобная виолончели в футляре, принимала это проявление нежных чувств, как мог бы его принять сей сладкозвучный инструмент.

Нас накормили прекрасным завтраком, причем всякий раз, как кто-нибудь отказывался от какого-нибудь блюда, Уэммик приговаривал: «Кушайте, не стесняйтесь, за все уплачено вперед». Я пил за здоровье молодых, пил за Престарелого, пил за процветание замка, на прощанье поцеловал новобрачную,— словом всячески постарался не испортить им праздника.

Уэммик проводил меня до дверей, и я еще раз пожал ему руку и пожелал счастья.

— Благодарствуйте! — сказал он, потирая руки.— С курами она управляется просто на диво. Вот отведаете как-нибудь яиц — сами скажете. Эй, мистер Пип! — крикнул он мне вдогонку и закончил вполголоса: — Это я вам высказал чисто уолвортское мнение.

— Понимаю. И на Литл-Бритен повторять его не следует.

Уэммик кивнул.

— После того что вы в тот раз выболтали, лучше, чтобы мистер Джеггерс об этом не знал. А то он, чего доброго, решит, что у меня размягчение мозгов или что-нибудь в этом роде.

ГЛАВА LVI

Весь месяц, оставшийся до начала судебной сессии, он тяжко болел. У него было сломано два ребра, они задели легкое, и ему день ото дня становилось труднее и больнее дышать. И говорил он от боли так тихо, что его едва можно было расслышать, а потому все больше молчал. Но слушать меня он был готов сколько угодно, и первой моей обязанностью стало говорить и читать ему то, что, как я знал, было ему всего нужнее.

В таком состоянии он не мог помещаться в общей камере, и дня через два его перевели в лазарет. Только это и позволило мне навещать его так часто. И если бы не болезнь, его непременно заковали бы в кандалы — ведь считалось, что он — закоренелый преступник и обязательно попытается бежать.

Я приходил к нему каждый день, но лишь на короткое время; таким образом от одного нашего свидания до другого малейшая перемена в его состоянии успевала отразиться у него на лице. Я не припомню, чтобы хоть когда-нибудь заметил в нем перемену к лучшему; с тех пор как за ним захлопнулись тюремные ворота, он день ото дня худел, терял силы и чувствовал себя все хуже.

Почти безразличная покорность, проявляемая им, была покорностью смертельно уставшего человека. По его тону, по отдельным, шепотом сказанным словам, я мог заключить, что он размышляет над тем, не стал ли бы он другим, лучшим человеком, сложись его жизнь более благоприятно. Но он никогда на это не ссылался и не делал попыток перетолковать в свою пользу прошлое, неумолимо тяготевшее над ним.

Два или три раза случилось, что арестанты, работавшие в лазарете, упомянули при мне об утвердившейся за ним славе неисправимого злодея. По лицу его пробегала тогда улыбка, и он обращал на меня доверчивый взгляд, словно хотел сказать, что я-то еще ребенком видел от него не одно только дурное. Если не считать этого, он был исполнен смирения и кротости, и я не помню, чтобы он хоть раз на что-нибудь пожаловался.

Когда пришло время, мистер Джеггерс подал ходатайство об отсрочке дела до следующей сессии. Шаг этот был явно рассчитан на то, что он до тех пор не доживет, и в просьбе отказали. Его дело слушалось одним из первых. В суде он сидел на стуле, и мне разрешили стоять у самой решетки, которой были отгорожены подсудимые, и держать его за руку.

Дело разбиралось недолго — все было ясно. То, что можно было сказать в его защиту, было сказано: как он в изгнании занялся честным трудом и законными путями нажил богатство. Однако ничто не могло изменить того обстоятельства, что он вернулся и находится здесь, перед судьей и присяжными. Поскольку именно за это его и судили, не признать его виновным было невозможно.

В то время существовал обычай (как я узнал на опыте этой страшной сессии) посвящать заключительный день объявлению приговоров, причем смертный приговор для вящего эффекта объявлялся последним. Если бы картина эта не сохранилась неизгладимо в моей памяти, то сейчас, когда я пишу эти строки, я бы просто не поверил, что на моих глазах судья прочел этот приговор сразу тридцати двум мужчинам и женщинам. И первым среди этих тридцати двух был он,— ему и тут позволили сидеть, потому что стоя он бы попросту задохнулся.

Как сейчас вижу я перед собою залу суда, вижу все, вплоть до капель апрельского дождя на оконных стеклах, сверкающих в лучах апрельского солнца. За решеткой, возле которой я снова стою, держа его за руку, выстроены мужчины и женщины — тридцать два человеческих существа: иные держатся вызывающе, иные сжались от страха, те плачут и рыдают, те закрыли лицо руками, те угрюмо озираются по сторонам. Некоторые из женщин пронзительно кричали, но теперь их усмирили, и водворилась тишина. Шерифы с массивными цепями и медалями, прочие судейские букашки и чудища, глашатаи, приставы, галерея, битком набитая публикой — как в театре! — все смотрят на осужденных, которые остались теперь лицом к лицу с судьей. Он обращается к ним с речью. Среди несчастных, коих он видит перед собой, есть человек, заслуживающий быть особо отмеченным, который чуть ли не с младенчества нарушал закон; который после неоднократ-

ного заключения в тюрьму и других наказаний был наконец приговорен к каторжным работам на определенный срок; который совершил дерзкий побег, сопряженный с насильственными действиями, и был приговорен к ссылке, на этот раз пожизненно. Одно время этот человек, оказавшись далеко от мест, бывших свидетелями его преступлений, как будто проникся сознанием своей вины и вел жизнь тихую и честную. Но в какую-то роковую минуту, не устояв против тех склонностей и страстей, кои столь долго делали его язвой нашего общества. он покинул убежище, где обрел душевный покой и раскаяние, и вернулся в страну, пребывание в которой было ему запрещено законом. Здесь он вскоре был изобличен, но ему некоторое время удавалось скрываться от правосудия; когда же его наконец схватили при попытке к бегству, он оказал сопротивление и — умышленно ли, или в ослеплении собственной дерзостью, о том ему лучше знать,— явился причиной смерти изобличившего его лица, которому была известна вся история его жизни. Поскольку возвращение в страну, изгнавшую его, карается *смертью,* и поскольку он в дальнейшем еще отяготил свою вину, ему надлежит приготовиться к *смерти.*

Солнце ярко светило в большие окна сквозь сверкавшие на стеклах капли дождя, и широкая полоса света протянулась от судьи к тем тридцати двум, связывая их воедино и, быть может, напоминая кой-кому из присутствующих, что и тот и другие как равные предстанут перед иным, вечным судией, для которого нет ничего сокрытого и который никогда не ошибается. С трудом приподнявшись, так что лицо его стало отчетливо видно в этой полоске света, осужденный сказал: — Милорд, смертный приговор мне произнес всевышний, но я принимаю и ваш,— и снова сел. Кто-то призвал к тишине, и судья договорил то, что еще имел сказать остальным. Затем был прочитан официальный текст приговора, и часть осужденных вывели под руки, другие вышли, тщетно стараясь напустить на себя равнодушный вид, кое-кто кивнул в сторону галереи, двое или трое пожали друг другу руки, некоторые, выходя, жевали душистую сухую траву, подобранную в зале. Он вышел последним, потому что ему нужно было помочь встать со стула, и двигался он очень

медленно: и он держал меня за руку все время, пока уводили остальных и пока зрители вставали с мест (застегивая сюртуки, отряхивая юбки, как в церкви или после обеда) и сверху показывали друг дружке то того преступника, то другого, а чаще всех — его и меня.

Я молил бога, чтобы он умер до того, как будет подписан указ об исполнении приговора, и твердо на это надеялся, но, терзаясь опасением, как бы он все-таки не протянул слишком долго, в тот же вечер засел писать прошение министру внутренних дел, в котором изложил все, что знал об осужденном, и указал, что он возвратился в Англию только из-за меня. Я писал это прошение горячо, с чувством, а на следующий день, отослав его, стал составлять другие — разным высокопоставленным лицам, на милосердие которых особенно надеялся, и даже на высочайшее имя. Поглощенный сочинением этих петиций, я несколько дней и ночей после объявления приговора не знал ни минуты покоя, разве что засыпал иногда, сидя на стуле. А разослав их по назначению, не мог оторваться от тех мест, где их оставил: когда я находился поблизости, мои хлопоты казались мне не столь безнадежными. Охваченный безрассудным волнением и душевной болью, я бродил вечерами по улицам мимо присутственных мест и особняков, где лежали поданные мною бумаги. По сей день, в холодные, пыльные весенние вечера унылые улицы западного Лондона с длинными рядами фонарей и пышных, наглухо запертых домов всегда пробуждают во мне печальные думы.

Ежедневные наши свидания теперь еще больше сократили, и надзор за ним стал строже. Заметив или вообразив, что меня подозревают в намерении передать ему яд, я попросил, чтобы меня обыскивали, прежде чем подпустить к его койке, и предложил надзирателю, который от нас не отлучался, потребовать от меня любых доказательств того, что я не замышляю ничего дурного. Грубого обращения ни я, ни он ни от кого не видели. Люди исполняли свой долг, но без излишней жестокости. Надзиратель всякий раз сообщал мне, что ему хуже, и слова его подтверждали другие больные арестанты и те арестанты, которые за ними ходили (всё злодеи, но, благодарение богу, не чуждые истинной доброты!).

По мере того как проходили дни, он все больше и больше лежал молча, устремив безучастный взгляд на белый потолок, и лицо его ничего не выражало, лишь изредка оживая от какого-нибудь сказанного мною слова. Иногда он совсем не мог говорить; тогда он вместо ответа слабо пожимал мою руку, и я научился быстро угадывать его желания.

Придя в тюрьму на десятый день, я заметил в нем бо́льшую перемену, чем обычно. Глаза его были обращены к двери и засветились при моем появлении.

— Милый мальчик,— сказал он, когда я сел возле его койки,— а я уж боялся, что ты опоздаешь. Хоть и знал, что этого не может быть.

— Сейчас как раз время,— ответил я.— Я еще подождал у ворот.

— Ты всегда ждешь у ворот, ведь верно, мой мальчик?

— Да. Чтобы не потерять ни минуты.

— Спасибо тебе, мой мальчик. Спасибо. Дай бог тебе здоровья. Ты от меня не отступился, мой мальчик.

Я пожал его руку и не ответил, ибо не мог забыть, что было время, когда я готов был от него отступиться.

— А дороже всего то,— сказал он,— что, с тех пор как надо мной висит черная туча, ты стал ко мне ласковей, чем когда светило солнце. Вот это всего дороже.

Он лежал на спине, дыхание с трудом вырывалось из его груди. Сколько бы он ни боролся, как бы ни любил меня, сознание временами покидало его, и мутная пленка заволакивала безучастный взгляд, устремленный к белому потолку.

— Боль вас сегодня очень мучает?

— Я не жалуюсь, мой мальчик.

— Вы никогда не жалуетесь.

Больше он уже ничего не сказал. Он улыбнулся, и по движению его пальцев я понял, что он хочет приподнять мою руку и положить ее себе на грудь. Я помог ему, и он опять улыбнулся и сложил руки поверх моей.

Между тем время, разрешенное для свидания, истекло; но, оглянувшись, я увидел около себя смотрителя тюрьмы, который сказал мне шепотом:

— Вы можете еще не уходить.

Я горячо поблагодарил его и спросил:

— Можно мне кое-что сказать ему, если он будет в состоянии меня услышать?

Смотритель отошел в сторону и поманил за собой надзирателя. Движения их были бесшумны, но безучастный взгляд, устремленный к белому потолку, ожил и с нежностью обратился на меня.

— Дорогой Мэгвич, теперь наконец я должен вам это сказать. Вы понимаете, что я говорю?

Пальцы его чуть сжали мою руку.

— Когда-то у вас была дочь, которую вы любили и потеряли.

Пальцы его сжали мою руку сильнее.

— Она осталась жива и нашла влиятельных друзей. Она жива и сейчас. Она — знатная леди, красавица. И я люблю ее.

Последним усилием, которое не осталось втуне лишь потому, что я сам помог ему, он поднес мою руку к губам. Потом снова опустил ее себе на грудь и прикрыл своими. Еще на мгновенье безучастный взгляд устремился к белому потолку, потом погас, и голова спокойно склонилась на грудь.

Тогда, вспомнив, о чем мы вместе читали, я подумал про тех двух человек, которые вошли в храм помолиться, и понял, что не могу сказать у его смертного одра ничего лучшего, как: «Боже! Будь милостив к нему, грешнику!»

ГЛАВА LVII

Оставшись теперь совсем один, я заявил о своем желании съехать с квартиры в Тэмпле, как только истечет срок найма, а пока что пересдать ее от себя. Немедля я наклеил на окна билетики, потому что у меня были долги и почти не осталось наличных денег, и я начал серьезно этим тревожиться. Вернее будет сказать, что я стал бы тревожиться, если бы у меня хватило сил сосредоточить мои мысли на чем бы то ни было, кроме того, что я заболеваю. Напряжение последних недель помогло мне оттянуть болезнь, но не побороть ее; и я чувствовал, что те-

перь она на меня надвигается, а больше почти ничего не чувствовал и даже до этого мне было мало дела.

День или два я почти сплошь пролежал то на диване, то на полу,— смотря по тому, где меня сваливала усталость,— с тяжелой головой, с ноющей болью в руках и ногах, без сил и без мыслей. Затем наступила нескончаемая ночь, сплошь состоявшая из терзаний и ужаса; а утром, вознамерившись сесть в постели и вспомнить все по порядку, я обнаружил, что ни того, ни другого сделать не могу.

Действительно ли я среди ночи спускался в Гарден-Корт и шарил по всему двору в поисках своей лодки; действительно ли, опомнившись на лестнице, в страхе спрашивал себя, как же я попал сюда из своей постели; действительно ли зажигал лампу, спохватившись, что *он* поднимается ко мне, а фонари задуло ветром; действительно ли меня изводили чьи-то бессвязные разговоры, стоны и смех, причем я смутно догадывался, что это я сам и смеюсь и разговариваю; действительно ли в темном углу комнаты стояла закрытая железная печь и чей-то голос снова и снова кричал мне, что в ней горит — уже почти сгорела — мисс Хэвишем,— вот загадки, которые я пытался разрешить, лежа в то утро на смятой постели. Но опять и опять все застилало парами от обжигательной печи, все путалось, не успев разрешиться, и сквозь этот-то пар я наконец увидел двух мужчин, внимательно на меня смотревших.

— Что вам нужно? — спросил я в испуге.— Я вас не знаю.

— Ну что ж, сэр,— отвечал один из них и, наклонившись, тронул меня за плечо,— надо думать, вы скоро уладите это дельце, но вы арестованы.

— На какую сумму долг?

— Сто двадцать три фунта, пятнадцать шиллингов и шесть пенсов. Кажется, по счету ювелира.

— Что же теперь делать?

— А вы переезжайте ко мне на дом *,— сказал он.— У меня в доме хорошо, удобно.

Я сделал попытку встать и одеться. Когда я опять о них вспомнил, они стояли поодаль от кровати и смотрели на меня. А я по-прежнему лежал пластом.

— Видите, в каком я состоянии,— сказал я.— Я пошел бы с вами, если б мог; но, право же, у меня ничего не выйдет. А если вы попробуете меня увезти, я, наверно, умру по дороге.

Может быть, они мне ответили, стали возражать, пытались убедить, будто мне не так уж плохо. Поскольку память моя ничего более о них не сохранила, я не знаю, как они решили поступить; знаю одно — меня никуда не увезли.

Что у меня была горячка и ко мне боялись подходить, что я страдал неимоверно и часто впадал в беспамятство, что время не имело конца, что я путал всякие немыслимые существования со своим собственным — был кирпичом в стене дома, и сам же молил спустить меня со страшной высоты, куда занесли меня каменщики, потому что у меня кружится голова; был стальным валом огромной машины, который с лязгом крутился над пропастью, и сам же в отчаянии взывал, чтобы машину остановили и меня вынули из нее,— что через все это я прошел во время своей болезни, я знаю по воспоминаниям и в какой-то мере знал и тогда. Что порою я отбивался и от настоящих людей, вообразив, будто имею дело с убийцами, а потом вдруг сразу понимал, что они желают мне добра, в изнеможении падал к ним на руки и позволял уложить себя на подушки,— это я тоже знал. Но, главное, я знал, что всем этим людям, которые в худшие дни моей болезни являли мне самые невероятные превращения человеческого лица и вырастали до чудовищных размеров,— главное, повторяю, я знал, что всем этим людям по какой-то необъяснимой причине свойственно рано или поздно приобретать необычайное сходство с Джо.

Когда самые тяжелые дни миновали, я стал замечать, что в то время как все другие странности постепенно исчезают, это одно остается как было: всякий, кто подходил ко мне, делался похожим на Джо. Я открывал глаза среди ночи и в креслах у кровати видел Джо. Я открывал глаза среди дня и на диване у настежь открытого, занавешенного окна снова видел Джо, с трубкой в зубах. Я просил пить, и заботливая рука, подававшая мне прохладное питье, была рука Джо. Напившись, я откидывался на подушку, и лицо, склонявшееся ко мне с надеждой и лаской, было лицо Джо.

Наконец я собрался с духом и спросил:

— Это Джо?

И милый знакомый голос ответил:

— Он самый, дружок.

— О Джо, ты разрываешь мне сердце! Изругай меня, Джо! Побей меня, Джо! Назови неблагодарным. Не убивай меня своей добротой!

Ибо Джо, от радости, что я узнал его, положил голову ко мне на подушку и обнял меня за шею.

— Эх, Пип, старина,— сказал Джо,— мы же с тобой всегда были друзьями. А уж когда ты поправишься и я повезу тебя кататься, то-то будет расчудесно!

После чего Джо отступил к окну и повернулся ко мне спиной, утирая глаза. А я, будучи слишком слабым, чтобы встать и подойти к нему, лежал и шептал покаянные слова: «Господи, благослови его! Господи, благослови его за его ангельскую доброту!»

Когда Джо снова уселся возле меня, глаза у него были красные, но я держал его за руку, и оба мы сияли от счастья.

— Сколько времени, Джо, милый?

— Это ты о том, Пип, что сколько, мол, времени ты проболел, дружок?

— Да, Джо.

— Уже конец мая месяца, Пип. Завтра первое июня.

— И все это время ты был здесь, Джо, милый?

— Да вроде того, дружок. Я так и сказал тогда Бидди, это когда мы узнали, что ты захворал, из письма узнали, а почтальон-то он все был холостой, ну а теперь женился, хотя жалованья получает всего ничего, при такой-то ходьбе, да сколько подметок стоптать надо, ну, он за богатством не гонялся весь век, а зато теперь гляди-ка — женатый человек...

— Какое наслаждение тебя слушать, Джо! Но я перебил тебя, что же ты сказал Бидди?

— А вот то самое, что как ты, скорей всего, сейчас один среди чужих людей, а мы ведь с тобой всегда были друзьями, то в такое время ты, может, и не будешь против, ежели тебя навестить. А Бидди так прямо и сказала: «Поезжай к нему немедля». Вот-вот,— протянул Джо, рассудительно поддакивая сам себе,— так Бидди и ска-

зала. «Поезжай, говорит, к нему немедля». Словом, ежели рассуждать попросту,— добавил Джо после короткого раздумья,— она эти самые слова и сказала: «Не медля ни минуты».

Тут Джо оборвал свою речь и сообщил мне, что со мной велено разговаривать как можно меньше, что есть мне велено понемногу, но часто и в положенные часы, хочу я того или нет, и что мне велено во всем его слушаться. Я поцеловал ему руку и затих, а он сел сочинять письмо Бидди, обещав передать от меня привет.

Как видно, Бидди научила Джо писать. Я смотрел на него из постели и так был слаб, что опять прослезился, видя, с какой гордостью он взялся за это письмо. Пока я болел, с кровати моей сняли полог и перенесли ее вместе со мной в гостиную, где было просторнее и больше воздуха, а ковер из комнаты убрали и день и ночь поддерживали в ней чистоту и порядок. И в этой-то гостиной, за моим письменным столом, отодвинутым в угол и заставленным пузырьками, Джо приступил к своей трудной работе, предварительно выбрав на подносике перо, как тяжелый инструмент из ящика, и засучив рукава, точно собирался орудовать киркой или молотом. Для того чтобы начать, Джо пришлось крепко упереться в стол левым локтем и отставить правую ногу далеко назад; когда же он начал, каждый штрих, который он вел книзу, отнимал у него столько времени, словно был длиною в шесть футов, а каждый раз как он поворачивал вверх, я слышал, как перо его отчаянно брызгает. Почему-то проникнувшись твердым убеждением, что чернильница стоит не справа от него, а слева, он то и дело макал перо в пустое пространство, но, видимо, оставался вполне доволен результатом. Время от времени его задерживала какая-нибудь орфографическая каверза, но, в общем, дело у него спорилось, и когда письмо было подписано и последняя клякса с помощью двух указательных пальцев переместилась с бумаги к нему на макушку, он встал и еще некоторое время похаживал вокруг стола, с глубочайшим удовлетворением созерцая свое изделье под разными углами.

Чтобы не огорчать Джо чрезмерной говорливостью (даже если бы таковая была мне по силам), я в тот день

не стал расспрашивать его о мисс Хэвишем. Наутро, когда я спросил, поправилась ли она, он покачал головой.

— Она умерла, Джо?

— Ну, что ты, дружок,— произнес Джо с укором, очевидно решив подготовить меня постепенно,— это уж ты через край хватил: только что вот... ее нет...

— Нет в живых, Джо?

— Вот так-то будет вернее,— сказал Джо.— Нет ее в живых.

— Она еще долго болела, Джо?

— Да после того как ты захворал, пожалуй, этак — чтобы не соврать — с неделю,— отвечал Джо, по-прежнему полный решимости ради моего блага обо всем сообщать постепенно.

— Джо, милый, а ты не слышал, что будет теперь с ее состоянием?

— Видишь ли, дружок,— сказал Джо,— говорят так, будто она еще давно почти все закрепила за мисс Эстеллой, отказала ей, то есть. Но дня за два до несчастья она сделала своей рукой приписочку к духовной — оставила круглых четыре тысячи мистеру Мэтью Покету. А самое интересное — почему бы ты думал, Пип, она оставила ему круглых четыре тысячи? «На основании отзыва Пипа о вышеназванном Мэтью». Бидди говорит, там так и написано,— сказал Джо и со смаком повторил мудреную формулу: — «На основании отзыва о вышеназванном Мэтью». И подумай, Пип, круглых четыре тысячи!

Для меня осталось тайной, откуда Джо были известны геометрические признаки этих четырех тысяч фунтов, но, должно быть, в таком виде сумма казалась ему более внушительной, и он всякий раз с увлечением подчеркивал, что тысячи были круглые.

Рассказ Джо доставил мне большую радость,— я увидел завершенным единственное доброе дело, которое успел сделать. Я спросил, не слышал ли он, что досталось по наследству другим родственникам.

— Мисс Саре,— сказал Джо,— той досталось двадцать пять фунтов в год — на пилюли, потому у нее частенько желчь разливается. Мисс Джорджиане — двадцать фунтов и точка. Миссис «Как мило»,— я догадался, что под этим именем у него значилась Камилла,— ей досталось

пять фунтов, покупать свечки, чтобы не очень скучала, когда просыпается по ночам.

Эти заветы были так метко направлены по адресу, что я без труда поверил сообщению Джо.

— А теперь, дружок,— сказал он,— подсыплю я тебе еще одну новость и хватит с тебя на сегодня, баста. Старый Орлик-то, знаешь, до чего дошел? Жилой дом ограбил.

— Чей дом? — спросил я.

— Побахвалиться этот человек любит, это уж как есть,— продолжал Джо с виноватым вздохом,— но все ж таки дом англичанина — его крепость, а вламываться в крепости не следует, кроме как в военное время. И хоть он и не без греха свой прожил век, но был, как-никак, лабазник, почтенный человек.

— Так это к Памблчуку вломились в дом?

— Вот-вот, Пип,— сказал Джо,— и забрали его выручку и денежный ящик, выпили его вино, угостились его провизией, надавали ему оплеух, нос чуть на сторону не свернули, и самого привязали к кровати да всыпали горяченьких, а чтобы не кричал, набили ему полон рот семян однолетних садовых. Но он узнал Орлика, и Орлик сидит в тюрьме.

Так, мало-помалу, мы перестали ограничивать себя в задушевных беседах. Я еще долго был очень слаб, но все же силы мои медленно, но верно прибывали, и Джо не отходил от меня, и мне грезилось, будто я снова превратился в маленького Пипа.

Ибо нежность Джо была мне нужнее всего на свете именно сейчас, когда я чувствовал себя беспомощным, как малый ребенок. Он часами сидел и говорил со мной постарому откровенно, по-старому просто, как заботливый, но не навязчивый старший брат, так что мне порой начинало казаться, что вся моя жизнь, с тех пор как я покинул нашу старую кухню, была одним из бредовых видений минувшей горячки. Он взял на себя все заботы обо мне, кроме стряпни, для стряпни же разыскал где-то вполне порядочную женщину вместо прежней моей служанки, которую он рассчитал немедленно по приезде.— Хочешь верь, хочешь нет, Пип,— говорил он не раз в оправдание такого самоуправства,— я своими глазами видел, как она

черпала из запасной перины, точно из бочки с вином, а перья унесла в ведерке, на продажу. Ей бы дать волю, она бы скоро и твою перину уволокла, да тебя бы заодно прихватила, и весь уголь перетаскала бы из дома в судках да в суповой миске, а вино — в твоих высоких сапогах.

Дня, когда мне можно будет в первый раз поехать кататься, мы ждали с таким же нетерпением, как во время оно — моего зачисления в подмастерья. И когда этот день настал и к воротам Тэмпла подъехала открытая коляска, Джо закутал меня, подхватил на руки, снес по лестнице вниз и усадил на подушки, словно я все еще был тем крошечным беспомощным мальчуганом, которого он так щедро оделял из сокровищницы своего большого сердца.

Джо уселся рядом со мной, и мы покатили за город, где трава и деревья уже зеленели по-летнему и воздух был напоен сладкими запахами лета. В этот воскресный день, глядя на окружавшую меня красоту, я думал о том, как все здесь на воле выросло и изменилось, как днем и ночью под солнцем и под звездами раскрывались скромные полевые цветы и учились петь птицы, пока я, несчастный, метался в жару и бредил, и одно воспоминание о том, как я метался и бредил, не давало мне дышать полной грудью. А когда я услышал воскресный перезвон колоколов и прелесть деревенской природы глубже проникла мне в сердце, я почувствовал, что далеко не так благодарен, как следовало бы,— что даже для этого я еще слишком слаб,— и припал головой к плечу Джо, как бывало в давние времена, когда он возил меня на ярмарку и детская моя душа изнемогала от обилия впечатлений.

Потом я немного успокоился, и мы хорошо поговорили, как говаривали, лежа на траве у старой батареи. Джо не изменился ни чуточки. Чем он был для меня тогда, тем остался и теперь: та же была в нем простота, и преданность, и душевная чуткость.

Когда мы возвратились домой и он, взяв меня на руки, легко понес через двор и вверх по лестнице, я вспомнил тот знаменательный рождественский вечер, когда он таскал меня на спине по болотам. До сих пор мы еще ни словом не касались перемены в моей судьбе, и я даже не

знал, много ли ему известно о том, что со мной произошло за последнее время. Я так мало доверял себе и так полагался на него, что все не мог решить, надо ли мне первому начинать этот разговор.

— Джо,— спросил я его наконец в этот вечер, когда он уселся у окна со своей трубкой,— ты слышал, кто оказался моим покровителем?

— Я слышал, дружок,— отвечал Джо,— что это была не мисс Хэвишем.

— А кто это был, ты слышал, Джо?

— Как тебе сказать, Пип, я слышал, что это был тот человек, что послал того человека, что дал тебе те банкноты у «Веселых Матросов».

— Да, так оно и было.

— Поди ж ты! — отозвался Джо невозмутимым тоном.

— А ты слышал, что он умер, Джо? — спросил я, помолчав, и уже более робко.

— Который? Тот, что послал тебе банкноты, Пип?

— Да.

— Кажется,— сказал Джо после долгого раздумья, уклончиво скосив глаза на ручку кресла,— кажется, я слышал, будто с ним случилось что-то вроде этого.

— А ты что-нибудь знаешь об этом человеке, Джо?

— Да ничего особенного, Пип.

— Если тебе интересно, Джо...— начал я, но он встал и подошел к моему дивану.

— Послушай меня, дружок,— заговорил он, наклоняясь ко мне.— Мы же с тобой всегда были друзьями, верно, Пип?

Я не ответил — мне было стыдно.

— Ну так вот,— сказал Джо, точно услышал от меня вполне удовлетворительный ответ,— об этом, значит, договорились. Так зачем же нам, дружок, касаться предметов, которых нам с тобой и касаться-то ни к чему? Как будто нам с тобой без этого и потолковать не о чем. О господи! Да взять хотя бы твою бедную сестру, и как она лютовала! А Щекотуна ты помнишь?

— Еще бы не помнить, Джо.

— Послушай меня, дружок. Я как мог старался, чтобы вы с Щекотуном пореже встречались, только не всегда

это у меня выходило. Ведь когда твоя бедная сестра бывало, наскочит на тебя, а я, бывало, вздумаю за тебя вступиться,— Джо снова впал в свой рассудительный тон,— так что получалось? Мало того, что она и на меня наскакивала,— это бы еще с полбеды,— но тебе-то доставалось вдвое. Я это хорошо заметил. Ежели взрослый человек хочет ребенка от наказания избавить, пусть его и за бороду оттаскают и об стенку стукнут — сделайте одолжение, пожалуйста! Но ежели за это ребенку же вдвое достается, тогда уж этот человек так начинает думать: «Какую ж ты этим пользу приносишь? Вред ты этим приносишь, это всякому видно,— так он думает,— а пользы я что-то не вижу. Хоть бы мне кто показал, какая от этого польза!»

— Этот человек так думает? — спросил я, когда Джо замолчал.

— Вот именно,— подтвердил Джо.— Так что же, прав этот человек или нет?

— Милый Джо, этот человек всегда прав.

— Ладно, дружок,— сказал Джо,— так и запомним. А раз он всегда прав (хотя по большей части он ошибается), значит, он и дальше правильно рассуждает, а рассуждает он вот как: ежели ты, еще маленьким мальчонкой, что-нибудь такое от всех утаил, так почему ты это сделал? Скорей всего вот почему: ты знал, что у Дж. Гарджери не всегда так выходит, чтобы вы, значит, с Щекотуном пореже встречались. А потому и не думай об этом больше, и нам с тобой этого предмета касаться нечего. Бидди, когда меня провожала, уж как старалась мне втолковать (я-то ведь всегда был туповат), чтобы я это понял, а потом, значит, чтобы и тебе как следует объяснил. А теперь,— сказал Джо, в полном восторге от своей здравой логики,— раз это сделано, тебе истинный друг вот что скажет. А именно. Переутомляться тебе нельзя, так что хватит на сегодня разговоров, а изволь-ка поужинать, да не забудь стаканчик воды с вином, да и на боковую.

Меня глубоко тронуло, как тактично Джо сумел замять неприятный разговор, и сколько доброты и душевной тонкости проявила Бидди, подготовив его к этому (она-то своим женским чутьем давно меня разгадала!). Но изве-

стно ли было Джо, что я — бедняк, что все мои большие надежды растаяли, как болотный туман под лучами солнца,— этого я не мог понять.

И еще одного обстоятельства я сперва никак не мог понять, а потом понял к великому своему огорчению: по мере того как я выздоравливал и набирался сил, в обращении Джо со мной стала проскальзывать какая-то натянутость. Пока я был слаб и всецело зависел от его помощи, он говорил со мной, как бывало в детстве, называл меня по-старому то «Пип», то «дружок», и слова эти звучали для меня музыкой. Я и сам говорил с ним, как в детстве, счастливый тем, что он это позволяет. Но постепенно, в то время как я крепко держался за старые привычки, Джо стал от них отходить; и я, удивившись сначала, вскоре понял, что причина этого кроется во мне и виною этому — не кто иной, как я сам.

Да! Разве я не дал Джо повода сомневаться в моем постоянстве, предполагать, что в счастье я к нему охладею и отвернусь от него? Разве я не заронил в его простое сердце опасение, что, чем крепче я буду становиться, тем меньше он будет мне нужен, и что лучше вовремя отпустить меня, не дожидаясь, пока я сам вырвусь и уйду?

Особенно ясно я заметил в нем эту перемену, когда в третий или четвертый раз, опираясь на его руку, прогуливался в садах Тэмпла. Мы хорошо посидели на солнышке, любуясь рекой, а потом я поднялся и сказал:

— Смотри-ка, Джо! Я уже могу ходить без помощи. Вот увидишь — дойду один до самого дома.

— Только чтобы не переутомляться, Пип,— сказал Джо,— а то чего же лучше, сэр.

Последнее слово больно меня резнуло, но мог ли я упрекнуть его? Я прошел только до ворот сада, а потом сделал вид, что страшно устал, и попросил Джо дать мне опереться на его руку. Джо тотчас подставил руку, но вид у него был задумчивый.

И я тоже задумался; полный сожалений о прошлом, я решал трудный вопрос: как воспрепятствовать этой перемене в Джо. Не скрою, мне было совестно рассказать ему, в каком печальном положении я очутился; но я думаю, что это нежелание можно отчасти оправдать. Я знал, что

он захочет помочь мне из своих скромных сбережений, но знал и то, что я не должен этого допустить.

Оба мы провели вечер в задумчивости. Но перед тем как уснуть, я принял решение — переждать еще день, благо завтра воскресенье, а с новой недели начать новую жизнь. В понедельник утром я поговорю с Джо об этой перемене в его обращении, поговорю с ним по душам, без утайки, открою ему мою заветную мечту (то самое «во-вторых», о котором уже упоминалось) и почему я еще не знаю, ехать ли мне к Герберту или нет, и тогда эта тягостная перемена бесследно исчезнет. Когда мои мысли таким образом прояснились, прояснилось и лицо Джо, словно он одновременно со мной тоже принял какое-то решение.

Воскресенье прошло у нас как нельзя более мирно,— мы уехали за город, погуляли в поле.

— Я благодарен судьбе за свою болезнь, Джо,— сказал я.

— Пип, дружок, вы теперь, можно сказать, поправились, сэр.

— Это было для меня замечательное время, Джо.

— И для меня тоже, сэр,— отозвался Джо.

— Этих дней, что мы провели с тобой, Джо, я никогда не забуду. Я знаю, некоторые вещи я на время забыл; но этих дней я не забуду никогда.

— Пип,— заговорил Джо торопливо, словно чем-то смущенный,— время мы провели расчудесно. А уж что было, сэр, то прошло.

Вечером, когда я улегся, Джо, как всегда, зашел ко мне в комнату. Он справился, так же ли хорошо я себя чувствую, как с утра.

— Да, Джо, милый, ничуть не хуже.

— И сил у тебя, дружок, все прибавляется?

— Да, Джо, с каждым днем.

Своей большой доброй рукой Джо потрепал меня по плечу, накрытому одеялом, и сказал, как мне показалось, немного хрипло:

— Покойной ночи.

Наутро я встал свежий, чувствуя, что еще больше окреп за эту ночь, и полный решимости все рассказать Джо немедленно, еще до завтрака. Я оденусь, войду к

нему в комнату, и как же он удивится — ведь до сих пор я вставал очень поздно. Я вошел к нему в комнату, но его там не оказалось. Мало того, исчез и его сундучок.

Тогда я поспешил к обеденному столу и увидел на нем письмо. Вот все, что в нем было написано:

«Не смею вам мешать, а потому уехал как ты теперь совсем поправился милый Пип и обойдешься без

Джо.

P S Всегда были друзьями».

В письмо была вложена расписка в получении долга, за который меня чуть не арестовали. До самой этой минуты я тешил себя мыслью, что мой кредитор махнул на меня рукой или решил дождаться моего выздоровления. Мне и в голову не приходило, что деньги заплатил Джо; но это было именно так — расписка была выдана на его имя.

Что мне теперь оставалось, как не отправиться следом за ним в милую старую кузницу и там во всем ему открыться, попенять ему, и покаяться перед ним, и высказать наконец то самое «во-вторых», которое зародилось у меня как смутное нечто, а теперь вылилось в ясное и твердое намерение?

А намерение это состояло в том, чтобы прийти к Бидди, поведать ей, как я раскаялся и смирился духом и как потерял все, о чем когда-то мечтал, напомнить, какие задушевные беседы мы с ней вели в далекие времена моих первых горестей. А потом сказать ей: «Бидди, мне кажется, что когда-то ты любила меня, и мое неразумное сердце, хоть и рвалось от тебя прочь, подле тебя находило покой и отраду, каких с тех пор не знало. Если ты можешь снова полюбить меня хотя бы вполовину против прежнего, если ты не откажешься меня принять со всеми моими ошибками и разочарованиями, простить меня, как провинившегося ребенка (а мне очень стыдно, Бидди, и мне, как ребенку, нужна ласковая рука и слова утешения),— я надеюсь, что сумею быть немного, пусть хоть очень немного, достойнее тебя, чем раньше. И ты сама решишь, Бидди, работать ли мне в кузнице с Джо, или поискать другого дела в наших краях, или увезти тебя в

далекую страну, где меня ждет место, от которого я отказался, когда мне его предлагали, потому что сначала хотел услышать твой ответ. И если ты скажешь, милая Бидди, что согласна разделить со мной мою жизнь, то и жизнь моя станет лучше, и я стану лучшим человеком, и всячески постараюсь, чтобы и ты была счастлива».

Таково было мое намерение. Дав себе еще три дня на поправку, я поехал в родные места, чтобы осуществить его. Как я преуспел в этом — вот все, что мне осталось досказать.

ГЛАВА LVIII

Весть о крушении моих блестящих видов на будущее достигла моей родной округи раньше, чем я сам туда прибыл. «Синий Кабан» уже был обо всем осведомлен, и в поведении Кабана я заметил разительную перемену. Тот самый Кабан, который из кожи вон лез, чтобы снискать мое расположение, когда фортуна мне улыбалась, теперь, когда она отвернулась от меня, держал себя как нельзя более холодно.

Я приехал вечером, сильно утомленный путешествием, которое всегда совершал так легко. Кабан не мог предоставить мне мою обычную комнату, оказавшуюся занятой (должно быть, каким-нибудь постояльцем с большими надеждами), и поселил меня в весьма неприглядной каморке в глубине двора, между голубятней и каретным сараем. Но я заснул здесь так же крепко, как если бы мне отвели самые роскошные апартаменты, и сны, вероятно, видел такие же, какие видел бы на лучшей в доме постели.

Рано утром, пока мне готовили завтрак, я пошел взглянуть на Сатис-Хаус. На воротах и на обрывках ковров, вывешенных в окнах, белели печатные объявления, гласившие, что на будущей неделе здесь состоится продажа с аукциона мебели и домашних вещей. Самый дом и флигеля продавались частями, на слом. На стене пивоварни было написано мелом, большими колченогими буквами: «Идет под № 1»; на той части главного дома, которая так

долго стояла запертой: «Идет под № 2». Еще несколько таких надписей украшало другие части дома; чтобы освободить для них место, со стен сорвали плющ, и множество ветвей его, уже увядших, валялось в пыли. Войдя в отворенную калитку и оглядевшись смущенно, как посторонний человек, которому и делать-то здесь нечего, я увидел, что клерк аукционщика расхаживает по бочкам и пересчитывает их, а другой клерк с пером в руке составляет под его диктовку опись, стоя за временно превращенным в конторку садовым креслом, которое я столько раз возил, напевая «Старого Клема».

В столовой «Синего Кабана», куда я возвратился позавтракать, я застал мистера Памблчука, занятого беседой с хозяином. Мистер Памблчук (отнюдь не похорошевший после своего недавнего ночного приключения) поджидал меня и теперь приветствовал следующими словами:

— Молодой человек! Я сожалею. что вас постигло несчастье. Но чего же было и ждать, чего же и ждать!

Так как он жестом величественного всепрощения протянул мне руку и так как у меня после перенесенной болезни не было сил затевать ссору, я молча протянул ему свою.

— Уильям,— сказал мистер Памблчук слуге,— подайте горячую булочку. И подумать только, до чего мы дожили, до чего дожили!

Я хмуро уселся завтракать. Мистер Памблчук стал над моим стулом, и я еще не успел прикоснуться к чайнику, как он налил мне чаю с видом благодетеля, твердо решившего остаться верным до конца.

— Уильям,— меланхолически произнес мистер Памблчук,— подайте соль. В лучшие времена,— это уже относилось ко мне,— вы, если не ошибаюсь, пили чай с сахаром? А с молоком тоже пили? Тоже пили. С сахаром и с молоком. Уильям, подайте кресс-салата.

— Благодарю вас,— сказал я резко,— но я не ем кресс-салата.

— Вы его не едите,— повторил мистер Памблчук со вздохом и несколько раз подряд кивнул головой с таким выражением, словно он этого ожидал и готов все мои несчастья объяснить нелюбовью к кресс-салату.— Так, так. Простые плоды земные. Да. Не надо кресс-салата, Уильям.

Я продолжал есть, а мистер Памблчук все стоял надо мной, выпучив по обыкновению глаза и громко сопя носом.

— Кожа да кости! — размышлял он вслух.— А ведь когда он уезжал из этих мест (можно сказать — с моего благословения) и я, подобно трудовой пчелке, угощал его из моих скромных запасов, он был кругленький, как огурчик!

При этом я вспомнил, как подобострастно он тогда совал мне свою руку, приговаривая: «Дозвольте мне...», и с какой нарочитой снисходительностью только что протянул мне ту же толстую пятерню.

— Ха! — продолжал он, пододвигая ко мне масло.— Теперь вы, вероятно, направляетесь к Джозефу?

— О господи! — воскликнул я, теряя терпение.— Какое вам дело, куда я направляюсь? Оставьте в покое чайник.

Хуже я ничего не мог придумать,— мистер Памблчук только того и ждал.

— Да, молодой человек,— сказал он и, выпустив ручку чайника, отступил шага на два от моего стола и продолжал с таким расчетом, чтобы его слышали хозяин и слуга, стоявшие в дверях.— Да, я оставлю чайник в покое. Вы правы, молодой человек, на этот раз вы правы. Я забылся, я позволил себе позаботиться о вас, искренне желая, чтобы ваш организм, ослабленный излишествами, почерпнул новые силы в здоровой пище ваших предков. А между тем, — сказал Памблчук, оборачиваясь к хозяину и слуге и указуя на меня,— это он, тот, с кем я резвился в счастливые дни его детства! Не говорите мне, что этого не может быть, я вам говорю — это он!

Оба что-то тихо пробормотали в ответ. Особенно сильно его доводы, казалось, подействовали на слугу.

— Это он,— продолжал Памблчук,— тот, кого я катал в моей тележке. Кого у меня на глазах воспитывали своими руками. Он, чьей сестре я приходился дядей, по мужу, а нарекли ее по родной матери Джорджиана-Мария,— пусть только попробует это отрицать!

Слуга, казалось, был убежден, что отрицать это я не посмею, а значит — дело мое скверно.

— Молодой человек,— сказал Памблчук и по старой привычке покрутил головой, точно штопором,— вы на-

правляетесь к Джозефу. Вы спрашиваете, какое мне дело до того, куда вы направляетесь? А я говорю вам, сэр, вы направляетесь к Джозефу.

Слуга кашлянул, точно вежливо приглашал меня с этим согласиться.

— А теперь,— заявил Памблчук, и у меня даже скулы свело, так ясно слышалось в его тоне, что каждое слово этого поборника добродетели является неопровержимой истиной,— я вас научу, что сказать Джозефу. Вот здесь перед нами хозяин «Кабана», человек известный и уважаемый в нашем городе, а вот Уильям, по фамилии Поткинс, если память мне не изменяет.

— Правильно, сэр,— сказал Уильям.

— В их присутствии,— продолжал Памблчук,— я научу вас, молодой человек, что сказать Джозефу. Вы скажете: «Джозеф, не далее как сегодня я видел моего первого благодетеля, человека, которому я обязан своим счастьем. Имен упоминать я не буду, Джозеф, но так его называют добрые люди, и его-то я сегодня и видел».

— Клянусь, что здесь я его не вижу,— сказал я.

— Вы и это ему скажите,— подхватил Памблчук.— Скажите, что вы это сказали, и я убежден, что даже Джозеф удивится вашим словам.

— О нет, ошибаетесь,— сказал я.— И не подумает.

— Вы скажете,— продолжал Памблчук,— «Джозеф, я видел этого человека, и он не таит злобы ни на меня, ни на тебя. Он видит тебя насквозь, Джозеф, ему известно и упрямство твое и невежество; и меня он видит насквозь, Джозеф, и ему известна моя неблагодарность. Да, Джозеф», скажете вы,— и тут Памблчук покачал головой и погрозил мне пальцем,— «он знает, что обыкновенное человеческое чувство благодарности мне решительно чуждо. Уж он это знает, как никто другой, Джозеф. Ты-то этого не знаешь, Джозеф, с чего бы тебе это знать, ну, а он знает».

Даже помня его с детства, я был удивлен, как у этого велеречивого болвана хватает наглости так со мной разговаривать.

— Вы скажете: «Джозеф, он просил меня кое-что тебе передать, и я это исполняю: в моем унижении он видит перст божий. Уж ему-то знаком этот перст, Джозеф, и

здесь он его видит совершенно ясно. Этот перст начертал: *Возмездие за неблагодарность к первому благодетелю, кому ты обязан своим счастьем*. Но еще этот человек сказал, Джозеф, что он не жалеет о том, что сделал. Нисколько. Это было хорошее дело, доброе дело, благое дело, и он завтра же сделал бы это снова».

— Очень жаль,— заметил я с сердцем, возобновляя прерванный завтрак,— что этот человек не сказал, что именно он сделал и сделал бы снова.

— Хозяин «Кабана»! — теперь Памблчук обращался к публике.— И Уильям! Я разрешаю вам, если вы того пожелаете, упомянуть при встрече с любым жителем нашего города, что это было хорошее дело, доброе дело, благое дело и что он завтра же сделал бы это снова.

С этими словами мошенник Памблчук величественно пожал им обоим руки и удалился, предоставив мне не столько восхищаться его праведным поступком, сколько гадать, в чем же этот поступок все-таки состоял. Вскоре после него я тоже вышел из гостиницы и, проходя по Торговой улице, увидел, что он стоит на пороге своей лавки и разглагольствует (несомненно все о том же) перед кучкой избранных слушателей, проводивших меня весьма неласковыми взглядами, когда я шел мимо них по другому тротуару.

Но тем приятнее было обратиться мыслью к Бидди и Джо, чья великая скромность словно засияла еще ярче рядом с этим беспардонным бахвальством. Я шел к ним — медленно, потому что ноги еще плохо меня слушались, но чувствуя, что с каждым шагом у меня все легче становится на душе и все дальше позади остается спесь и притворство.

Погода была чудесная. В июньском небе ни облачка, жаворонки заливались в вышине над зеленеющими нивами, никогда еще наши места не казались мне исполненными такой красоты и покоя. Я шел, и воображение рисовало мне картины мирной жизни, которой я здесь заживу, и перемену к лучшему, которая во мне произойдет, когда эту жизнь будет направлять женщина, чья простая вера и ясный ум уже не раз были мною испытаны. Картины эти пробудили во мне нежные чувства; сердце мое было взволновано возвращением: после стольких перемен

и событий я чувствовал себя как странник, который бредет домой босиком из дальних краев, где он скитался долгие годы.

Я никогда еще не видел школу, где Бидди учительствовала, но окольная тропинка, которую я выбрал, чтобы войти в деревню незамеченным, вела мимо нее. К моему огорчению, оказалось, что сегодня уроков нет; детей не было видно, домик Бидди был на замке. Я смутно рассчитывал увидеть ее за работой до того, как она меня увидит, и теперь почувствовал разочарование.

Но уже недалеко было до кузницы, и я бодро шел к ней под душистыми зелеными липами, каждую минуту ожидая услышать знакомый стук молота по железу. Уже давно мне пора было бы его услышать, и уже несколько раз мне казалось, что я его слышу, но нет, все было тихо. Липы были на месте, и белый боярышник, и каштаны,— останавливаясь, чтобы прислушаться, я слышал мелодичный шум их листьев; но знакомого стука молота по железу летний ветер не доносил до моего слуха.

Сам не зная почему, я уже стал побаиваться той минуты, когда увижу кузницу, и тут я ее наконец увидел: она была закрыта. Не горел огонь в горне, не сыпались дождем искры, не гудели мехи; пусто и тихо.

Но дом не был покинут, и парадная гостиная, как видно, стала жилой,— белая занавесочка развевалась в открытом окне, заставленном яркими цветами. Я тихонько направился к окну, решив заглянуть в комнату поверх горшков с цветами, и тут передо мной, точно из-под земли, появились Джо и Бидди, рука об руку.

Бидди вскрикнула, словно ей явилась моя тень, но в следующее мгновение уже бросилась мне на шею. Мы расплакались, глядя друг на друга, я — потому что она была такая цветущая и прелестная, она — потому что я был такой худой и бледный.

— Но, Бидди, дорогая, какая ты нарядная!

— Да, Пип, дорогой.

— А ты, Джо, ты-то какой нарядный!

— Да, Пип, дружок.

Я посмотрел на него, на нее, опять на него, и тут...

— Сегодня день моей свадьбы! — воскликнула Бидди, захлебываясь от счастья.— Я вышла замуж за Джо!

* * *

Они ввели меня в кухню, и я сидел, склонившись головой на старый некрашеный стол. Бидди целовала мне руки, Джо ласково гладил меня по плечу.

— Очень уж ты его удивила, родная, а силенок у него еще маловато,— сказал Джо.

И Бидди ответила:

— Как это я не сообразила, Джо, уж очень я обрадовалась.

Они были так счастливы меня видеть, так горды и тронуты моим приездом, в таком восхищении, что я совершенно случайно попал к ним в этот знаменательный день!

Первым моим чувством была великая благодарность судьбе за то, что Джо ничего не знал об этой последней, теперь тоже рухнувшей, моей надежде. Сколько раз, пока он жил у меня, я готов был заговорить. Останься он в Лондоне хотя бы еще час, и непоправимые слова слетели бы у меня с языка!

— Дорогая Бидди! — сказал я.— Ни у кого на свете нет мужа лучше твоего, а если бы ты видела, как он за мной ухаживал, ты бы... но нет, ты бы не могла полюбить его еще больше.

— Не могла бы, это верно,— сказала Бидди.

— А у тебя, Джо, самая лучшая на свете жена, и она даст тебе все счастье, какого ты заслуживаешь, милый, хороший, благородный Джо!

Джо посмотрел на меня, губы у него задрожали, и он прикрыл глаза рукавом.

— Джо и Бидди, дорогие мои, вы только что из церкви, вы полны любви и милосердия ко всем людям, так примите же мою смиренную благодарность за все, что вы для меня сделали и за что я так дурно отплатил! И когда я скажу вам, что через час я вас покину, потому что скоро уезжаю за границу, и что я не успокоюсь, пока не заработаю те деньги, которыми вы спасли меня от тюрьмы, и не пришлю их вам,— ради бога, не подумайте, что я считаю, будто, даже заплатив вам в тысячу раз больше, я хотя бы на фартинг мог уменьшить свой долг перед вами или захотел бы уменьшить его таким путем!

Оба они были растроганы моими словами, оба просили меня оставить этот разговор.

— Нет, я еще не кончил. Джо, милый, я всей душой надеюсь, что у тебя будут дети и что зимними вечерами в этом уголке у огня будет сидеть малыш, который напомнит тебе другого малыша, навсегда покинувшего этот уголок. Джо, не говори ему, что я был неблагодарен; Бидди, не говори ему, что я был черств и несправедлив; расскажите ему только, как я чтил вас обоих за вашу преданность и доброту и как говорил, что из него должен получиться гораздо лучший человек, чем я, потому что он ваш сын.

— Вот еще выдумал,— сказал Джо, не отнимая рукава от лица,— не стану я ему ничего такого говорить, Пип. И Бидди тоже не станет. И никто не станет.

— А теперь, хоть я и знаю, что в сердце своем вы уже это сделали, скажите мне оба, что вы меня прощаете! Скажите, чтобы я услышал ваши слова и унес их с собой, и тогда я буду знать, что впредь вы сможете верить мне и думать обо мне лучше, чем раньше.

— Ох, Пип, милый ты мой дружок,— сказал Джо,— видит бог, что я тебе прощаю, ежели мне только есть что прощать!

— Аминь. И я тоже,— сказала Бидди.

— Теперь я схожу наверх, посмотрю на свою старую комнатку и немножко побуду там один. А потом, когда я поем и попью за вашим столом, Джо и Бидди, дорогие мои, прежде чем проститься, проводите меня до столба на перекрестке!

* * *

Я продал все, что имел, отложил, сколько мог, чтобы на первое время успокоить моих кредиторов, которые не слишком торопили меня с окончательной расплатой, и уехал к Герберту. Через месяц меня уже не было в Англии, через два месяца я поступил клерком в торговый дом Кларрикер и К°, а через четыре — впервые оказался в весьма ответственной должности. Ибо потолочная балка над гостиной у Мельничного пруда перестала дрожать от рева старого Билла Барли, и Герберт уехал, чтобы обвен-

чаться с Кларой, а меня на время своего отъезда оставил возглавлять Восточное отделение.

Много лет протекло до того, как я стал третьим компаньоном; но я жил тихо и спокойно с Гербертом и его женой, жил очень скромно, понемногу выплачивал свои долги и все время поддерживал переписку с Бидди и Джо. Лишь после того как я вошел в дело, Кларрикер выдал меня Герберту, заявив, что достаточно долго хранил тайну его служебной удачи и больше не желает. Итак, Герберт все узнал, и не было границ его изумлению и благодарности, и дружба наша стала еще крепче. Не следует полагать, что наш торговый дом чем-нибудь прославился или что мы загребали горы денег. Мы не вершили особенно крупных дел, но пользовались добрым именем, и честно трудились, и жили безбедно. Столь многим мы были обязаны неиссякаемой энергии и бодрости Герберта, что я часто дивился, как он мог произвести на меня впечатление человека, не приспособленного к жизни, пока в один прекрасный день меня не осенила мысль, что неприспособленным-то, пожалуй, был в то время не он, а я.

ГЛАВА LIX

Одиннадцать лет прошло с тех пор, как я в последний раз виделся с Джо и Бидди — хотя мысленно я, живя на Востоке, часто видел их перед собой,— когда однажды декабрьским вечером, часа через два после наступления темноты, я тихо взялся за щеколду двери нашего старого дома. Я нажал ее так тихо, что никто не услышал, и осторожно заглянул в кухню. Там, на прежнем своем месте у огня, с трубкой в зубах, все такой же крепкий и бодрый, хотя и поседевший немного, сидел Джо; а в уголке, отгороженный коленом Джо, примостился на моей низенькой скамеечке и глядел на огонь... снова я, маленький Пип!

— Мы назвали его Пипом в честь тебя, дружок,— сказал Джо, с радостью заметив, что я уселся на табуретку рядом с мальчуганом (но не стал ерошить ему во-

лосы!),— и надеялись, что он будет хоть немножко похож на тебя, да, кажется, так оно и есть.

Мне тоже так казалось,— а на следующее утро я повел малыша гулять, и мы славно поговорили, в совершенстве понимая друг друга. Мы побывали на кладбище, где я усадил его на некий надгробный камень, и он показал мне с этого возвышения, в какой могиле покоится Филип Пиррип, житель сего прихода, а также Джорджиана, супруга вышереченного.

— Бидди,— сказал я, когда мы беседовали с ней после обеда и маленькая ее дочка заснула у нее на руках,— мне очень хочется взять Пипа к себе, хотя бы на время.

— Нет, зачем же,— ласково сказала Бидди.— Тебе нужно жениться.

— То же самое говорят мне и Герберт с Кларой, но я навряд ли женюсь, Бидди. Я так прижился у них, что где уж там. Я давно считаю себя старым холостяком.

Бидди взглянула на свою девочку, поцеловала ее кулачок, а потом протянула мне теплую материнскую руку, которой только что касалась ребенка. Этим жестом и легким прикосновением обручального кольца многое было сказано.

— Милый Пип,— промолвила Бидди,— ты уверен, что не тоскуешь по ней?

— Ну конечно... кажется, уверен, Бидди.

— Скажи мне, как старому другу. Ты совсем ее забыл?

— Дорогая Бидди, я не забыл ничего, что было значительного в моей жизни, я вообще почти ничего не забыл. Но эта жалкая мечта, как я когда-то называл ее, эта мечта развеялась, Бидди, развеялась навсегда!

Однако, произнося эти слова, я втайне лелеял намерение в тот же вечер посетить место, где стоял старый дом, посетить его без свидетелей, в память о ней. Да, в память Эстеллы.

До меня доходили слухи, что жизнь ее сложилась очень несчастливо и что она разъехалась с мужем, который жестоко с ней обращался и заслужил широкую известность как образец высокомерия и скупости, подлости и самодурства. Слышал я и о гибели ее мужа — от несчастного случая, вызванного его зверским обращением с лошадью. Избавление это пришло около двух лет тому

назад; вполне могло случиться, что она опять вышла замуж.

Мы отобедали рано, так что я и после нашего задушевного разговора с Бидди успел бы попасть в город засветло. Но я не торопился, дорогой поглядывал на знакомые места, вспоминал прежние дни; и когда я пришел туда, где раньше стоял Сатис-Хаус, дневной свет уже совсем померк.

Теперь здесь не было ни дома, ни пивоварни, ни других построек, уцелела только стена старого сада. Опустевший участок обнесен был дощатым забором, я заглянул через него и увидел, что кое-где старый плющ снова пустил побеги и затянул зеленым ковром низкие холмики щебня и мусора. Калитка в заборе стояла приотворенная, я толкнул ее и вошел.

С полудня в воздухе повис холодный, серебристый туман, и луна еще не рассеяла его. Но сквозь туман проглядывали звезды, луна уже всходила, и вечер был не темный. Я мог безошибочно определить, где находилась какая часть дома, и где была пивоварня, и ворота, и бочки. Припомнив все это и бросив взгляд на заросшую садовую дорожку, я увидел на ней одинокую человеческую фигуру.

Как видно, меня заметили: фигура, двигавшаяся навстречу мне, остановилась. Подойдя поближе, я разглядел, что это женщина. Когда я подошел еще ближе, она повернула было прочь, но потом, как бы раздумав, дала мне с собой поравняться. Тут она вздрогнула, словно изумившись чему-то, произнесла мое имя, и я воскликнул:

— Эстелла!

— Я сильно изменилась. Удивительно, как вы меня узнали.

И правда, юной свежести уже не было в ее красоте, но неизъяснимо горделивая осанка и неизъяснимое обаяние остались прежними. Их я хорошо помнил, но никогда еще я не видел такой тихой печали в этом некогда гордом взгляде; никогда не ощущал такого дружеского прикосновения этой некогда холодной руки.

Мы сели на скамейку, и я сказал:

— После стольких лет, Эстелла, как странно, что мы встретились именно здесь, где произошла наша первая встреча! Вы часто сюда наведываетесь?

— Не была с тех пор ни разу.

— И я тоже.

Поднималась луна, и я вспомнил безучастный взгляд, устремленный к белому потолку, теперь давно погасший. Поднималась луна, и я вспомнил, как он сжал мне руку, когда я произнес последние слова, услышанные им на земле.

Эстелла первая нарушила сковавшее нас молчание.

— Я часто мечтала и надеялась побывать здесь, но разные обстоятельства мешали мне. Бедный, бедный старый дом!

Серебристый туман дрогнул под первыми лучами луны, и в тех же лучах блеснули слезы, бежавшие у нее по щекам. Не зная, что я их заметил, и справившись с волнением, она сказала спокойно:

— Вас, вероятно, поразило, когда вы сюда пришли, почему здесь все осталось в таком виде?

— Да, Эстелла.

— Земля принадлежит мне. Это единственное, чем я еще владею. Всего остального я постепенно лишилась, но это сохранила. За все эти несчастные годы я только это и отстаивала с неизменным упорством.

— Здесь будут строить новый дом?

— Теперь наконец — да. Я приехала проститься с этими местами, до того как они изменятся. А вы,— сказала она, и в голосе ее было участие, дорогое душе скитальца,— вы все еще живете за границей?

— Да.

— И дела ваши, вероятно, идут хорошо?

— Я усердно тружусь, довольствуюсь малым, и поэтому... да, дела мои идут хорошо.

— Я часто о вас думала,— сказала Эстелла.

— Правда?

— Последнее время — очень часто. Была долгая, трудная пора в моей жизни, когда я гнала от себя воспоминания о том, что я отвергла, не сумев оценить. Но с тех пор как эти воспоминания уже не противоречат моему долгу, я позволила им жить в моем сердце.

— В *моем* сердце вы жили всегда,— отвечал я.

И мы опять умолкли.

— Не думала я,— снова первая заговорила Эстелла,—

что, прощаясь с этим местом, мне доведется проститься и с вами. Я рада, что так случилось.

— Рады снова расстаться, Эстелла? Для меня расставанье всегда тяжело. Мне всегда тяжело и больно вспоминать, как мы с вами расстались.

— Но вы сказали мне: «Бог вас прости и помилуй!»,— возразила Эстелла очень серьезно.— Если вы могли сказать это тогда, то, наверно, скажете и теперь, когда горе — лучший учитель — научило меня понимать, что было в вашем сердце. Жизнь ломала меня и била, но мне хочется думать, что я стала лучше. Будьте же ко мне снисходительны и добры, как тогда были, и скажите, что мы — друзья.

— Мы — друзья,— сказал я, вставая и помогая ей подняться со скамьи.

— И простимся друзьями,— сказала Эстелла.

Я взял ее за руку, и мы пошли прочь от мрачных развалин; и так же, как давно, когда я покидал кузницу, утренний туман подымался к небу, так теперь уплывал вверх вечерний туман, и широкие просторы, залитые спокойным светом луны, расстилались перед нами, не омраченные тенью новой разлуки.

КОММЕНТАРИИ

Роман «Большие надежды» печатался в журнале «Домашнее чтение» с декабря 1860 по август 1861 года и в том же году был опубликован отдельно, в трех томах. Сначала Диккенс предполагал давать его ежемесячными выпусками, как «Крошку Доррит» и большинство других крупных романов, но потом отдал в свой еженедельный журнал, чтобы поднять его тираж, хотя это сильно затрудняло работу. «Как трудно развивать сюжет из недели в неделю — этого никто не может вообразить, если сам не пробовал»,— писал он своему другу и биографу Форстеру и в том же письме выражал сожаление, что читатель, получая роман маленькими порциями, не может ясно представить себе авторский замысел.

По первоначальной идее Диккенса этот его роман, рисующий крушение честолюбивых надежд героя и, несмотря на ряд комических эпизодов и персонажей, выдержанный в строгих, приглушенных тонах, должен был кончиться печально: Пип, получив тяжелый жизненный урок, оставался одиноким холостяком. Однако друг Диккенса, писатель Бульвер Литтон, уговорил его изменить конец. Вот как пишет об этом сам Диккенс в письме к Форстеру от 1 июля 1861 года:

«Сейчас я вас удивлю: я переделал конец «Больших надежд» с того места, где Пип, приехав к Джо, находит там своего маленького двойника.

Бульвер (которому, как я вам, кажется, говорил, роман очень нравится) прочел конец в корректуре и так убеждал меня и привел столь веские доводы, что я согласился. Я написал премиленький новый кусок и не сомневаюсь, что в таком виде повесть будет более приемлемой» (Д и к к е н с, Письма, изданные его невесткой и старшей дочерью. Лейпциг, 1880, т. 2, стр. 335).

Места, описанные в книге, были хорошо знакомы Диккенсу. «Наш город» — это Рочестер, старинный городок к юго-востоку от Лондона, с собором XII—XIV веков. В прилегающем к Рочестеру Чатаме Диккенс прожил несколько лет ребенком. А в годы, когда Диккенс работал над «Большими надеждами», он жил в своем поместье Гэдсхилл, на пути из Рочестера в Лондон, в семи милях от тех самых болот, где происходит действие первых глав книги, и нередко заглядывал туда во время своих долгих пешеходных прогулок.

Стр. 48. *Коллинз* Уильям (1721—1759) — английский поэт. В его оде «Страсти» по очереди поют и играют на лире Страх, Гнев, Надежда, Мщение, Меланхолия, Веселье и др.

Стр. 127. *...трагедию «Джордж Барнуэл».* — «История Джорджа Барнуэла, или Лондонский купец» — трагедия Джорджа Лилло (1693—1739), родоначальника английской буржуазной драмы. Героя пьесы, подмастерья Джорджа Барнуэла, завлекает в свои сети бессердечная куртизанка Милвуд, под влиянием которой он грабит своего хозяина, затем убивает богатого дядюшку и вместе с Милвуд кончает жизнь на виселице.

Стр. 132. *...дни ныне исчезнувшей полиции в красных жилетах.*— В 1829 году, после преобразования лондонской полиции и службы сыска, яркие мундиры сыщиков (прозванных «снегирями») были заменены более скромной формой. На Боу-стрит до сих пор помещается главный полицейский суд Лондона.

Стр. 144. *Тимон Афинский, Кориолан* — герои пьес Шекспира.

Стр. 146. *...воздержаться от защиты до заседания суда?* — На дознании, по правилам английского судопроизводства, присяжные решают, оправдать ли обвиняемого или передать дело в суд. Защитник, по желанию обвиняемого, выступает либо в обеих инстанциях, либо только в суде.

Стр. 158. *...он, пожалуй, не стал бы толковать нам про богатого и про царствие божие...*— намек на евангельское изречение: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие божие».

Стр. 165. *...собаку матушки Хаббард.*— Матушка Хаббард — персонаж известных детских стихов.

Стр. 178. *...площадь словно облепила меня своей грязью, жиром, кровью и пеной.*— На площади Смитфилд был в то время самый большой в Лондоне мясной рынок (в 1868 году заменен крытыми рядами). Раньше Смитфилд был местом публичных каз-

ней еретиков. Здесь же был убит мэром Лондона вождь крестьянского восстания 1381 года Уот Тайлер.

Стр. 186. *«Нюхайте смесь Барнарда!»* — реклама табачного торговца.

Стр. 214. *Бейли,* или Олд-Бейли (Старый Бейли) — центральный уголовный суд для Лондона и части южных графств Англии.

Стр. 235. *Росций* (ум. в 62 году до н. э.) — комический актер в древнем Риме.

Стр. 247. *Квентин Массейс* (1466—1530) — фламандский художник.

Стр. 287. *...подобно младенцу Моисею в тростниках...* — По библейской легенде, будущий израильский пророк Моисей был сразу после своего рождения спрятан матерью в тростниках у реки, где его нашла дочь фараона.

Стр. 293. *Ллойд* — ассоциация купцов, судовладельцев и страховщиков, занимающаяся сбором и распространением сведений о торговом флоте и страхованием судов и грузов. Свое название получила от кофейни Ллойда, где в конце XVII века собиралась для деловых бесед группа купцов. С 1774 года главная контора Ллойда помещается в здании лондонской биржи на Треднидлстрит, напротив Английского банка.

Стр. 358. *Молодой ученый, оказавшись во власти чудовища, которое он создал в своей гордыне...* — Имеется в виду герой фантастического романа «Франкенштейн» (1817) Мэри Уолстонкрафт Шелли, жены знаменитого поэта. Физиолог Франкенштейн создал некое чудовище, которое совершило ряд преступлений и умертвило своего создателя.

Стр. 461. *Белая башня Тауэра и Ворота изменников.* — Тауэр — крепость на северном берегу Темзы, построенная в XI—XIII веках. Служила в разное время королевской резиденцией и государственной тюрьмой. Теперь — музей. Белая башня — одно из древнейших сооружений Тауэра. Ворота изменников — старинные ворота, выходившие прямо к воде, к которым преступников, осужденных на заключение в Тауэре, подвозили в лодках.

Стр. 489. *А вы переезжайте ко мне на дом...* — К Пипу явился бейлиф — полицейский чиновник, в полномочия которого входил арест должников по заявлению кредиторов и содержание их (за известную плату) у себя в доме до погашения долга или до препровождения арестованного в тюрьму.

М. ЛОРИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Собр. соч., т. 23

Редактор Н. Банников
Художник Н. Семпер
Художественный редактор Л. Калитовская
Технический редактор Г. Каунина
Корректор В. Седова

Сдано в набор 11/V 1960 г. Подписано к печати 25/VII 1960 г. Бумага 84×108 1/32.
16,25 печ. л. 26,65 усл. печ. л. 26,09 уч. изд. л. Тираж 474 000 (374 001—474 000) экз.
Заказ № 2490. Цена 10 руб. С 1/I 1961 г. цена 1 руб.

Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.